

ЗНАМЯ

март

Александр КАБАКОВ
Поздний гость

Алексей КОНДРАТОВИЧ
Нас волокно время...

Владимир РЕЦЕПТЕР
Ностальгия по Японии

Карен СТЕПАНЯН
Отношение бытия к небытию

Белла УЛАНОВСКАЯ
Сила топонимики

Конференц-зал
Говорят лауреаты “Знамени”

3/2001



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

содержание

| | | |
|-------------------|-----|---|
| Александр КАБАКОВ | 4 | Поздний гость. <i>История неудачи</i> |
| Борис КОЧЕЙШВИЛИ | 77 | Дешевый скипидар. <i>Стихи</i> |
| Владимир РЕЦЕПТЕР | 85 | Ностальгия по Японии. <i>Гастрольный роман</i> |
| Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ | 148 | Солакичан. <i>Стихи</i> |
| Белла УЛАНОВСКАЯ | 154 | Сила топонимики. <i>Рассказ</i> |
| Алексей АЛЕХИН | 159 | Конец света в Люксембургском саду. <i>Стихи</i> |

мемуары. архивы. свидетельства

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Алексей КОНДРАТОВИЧ | 162 | Нас волокло время... <i>Публикация В.А. Кондратович</i> |
|---------------------|-----|--|

публицистика

| | | |
|------------------|-----|--|
| Николай РАБОТНОВ | 195 | Когда закончится Вторая мировая война? |
|------------------|-----|--|

конференц-зал

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------------------|
| Инна ЛИСНЯНСКАЯ | 201 | Говорят лауреаты «Знамени» |
| Владимир МАКАНИН | | |
| Николай РАБОТНОВ | | |
| Дмитрий РАГОЗИН | | |
| Джон РОБЕРТС | | |
| Валентина и Ольга ТВАРДОВСКИЕ | | |
| Александр ЧУДАКОВ | | |

март

3/2001

критика

Карен СТЕПАНЯН 207 Отношение бытия к небытию

наблюдатель

Рецензии

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| Наталья Иванова | 219 | Татьяна Толстая. Кысь |
| Галина Ермошина | 221 | Алексей Варламов. Купавна |
| Жорж Нива | 223 | Е. Эткинд. Три автобиографические новеллы |
| Елена Иваницкая | 224 | Олдос Хаксли. Серое преосвященство: этюд о религии и политике. Перевод с англ. В. Голышева и Г. Дашевского |
| Владимир Шпаков | 226 | Бруно Шульц. Трактат о манекенах |
| Сергей Арутюнов | 228 | Диана Бургин. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. Перевод с англ. С. Сивак |
| Николай Поболь | 231 | 58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Аннотированный каталог. Март 1953–1991 |

Выставка

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| Вера Чайковская | 234 | Живопись Льва Табенкина в галерее «Манеж» |
|-----------------|-----|--|

Незнакомый журнал

- | | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Людмила Вязмитинова | 236 | Альманах «Черновик» |
|---------------------|-----|---------------------|

Коллективу редакции журнала «Знамя»

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с юбилеем — семидесятилетием одного из старейших литературных ежемесячных изданий страны — журнала «Знамя».

Сегодня — не только ваш праздник. Сегодня — праздник всей нашей литературы. Ведь именно благодаря «Знамению» увидели свет многие произведения, составившие гордость отечественной словесности. По числу публикаций, отмеченных самыми престижными премиями, вышедших в свет отдельными книжными изданиями и переведенных на иностранные языки, «Знамя» сегодня — безусловный лидер.

Последние годы были непростыми для «толстых» литературно-художественных журналов. Но вы смогли сохранить высокий профессионализм, основательность и серьезность — черты, присущие классическим «толстым» журналам. И сегодня, как и прежде, продолжаете знакомить читателей с наиболее яркими произведениями современной литературы. Открываете новые, талантливые имена.

Желаю коллективу редакции доброго здоровья, благополучия и успехов, а читателям — новых встреч с любимым изданием.

В. Путин

18 января 2001 г.

* * *

Редакция благодарит Московскую городскую Думу и Правительство Москвы, отметивших деятельность журнала «Знамя» своими Почетными грамотами.

Слова нашей искренней признательности — государственным учреждениям и общественным организациям, деловым партнерам, средствам массовой информации, всем авторам и друзьям журнала, направившим в адрес редакции поздравления по случаю 70-летия «Знамения».

Александр Кабаков

Поздний гость

история неудачи

*А что сверх всего этого, сын мой, того берегись:
составлять много книг — конца не будет, и много
читать — утомительно для тела.*

Книга Екклесиаста, или Проповедника,
глава 12, 12.

1

Есть много причин, по которым я начал это писать — кстати, совсем не будучи уверенным, что тех же причин хватит, чтобы и закончить. Более того, уже сейчас я знаю, что завершить начатое, а не бросить на середине будет очень трудно. Тем не менее, несколько не задумываясь о будущем (вот и первая ложь, каких будет здесь еще полно — на самом деле очень даже задумываясь, но все же решил начать, потому что больше делать нечего, приходится), сразу приступаю к рассказу о том, откуда, почему и каким образом возникает в данный момент (когда я пишу) то, что вы в данный момент (другой? но ведь тоже данный, подумайте сами) читаете.

Нет, не сразу. Сначала отвлекусь для более подробного рассуждения на тему, слегка затронутую в предыдущей фразе.

Действительно, смотрите, что получается. Вот я пишу сейчас то, что пишу. Испытываю в это время жуткое количество ощущений — нога почему-то болит, например, хотя, вроде бы, не ушибал и не подворачивал — и чувств — главное из которых несколько отчаянная решимость, всегда сопутствующая началу работы; думаю о многом — прежде всего, конечно, об этой чудовишной фразе, но и о предстоящем звонке, и черт его знает о чем еще, включая общий план сочинительского предприятия, который, естественно, как бы я ни пытался действовать спонтанно, имеется; одновременно прислушиваюсь к установившейся в доме полной тишине, всегда, с детства, меня пугавшей, из-за чего не мог и не могу выносить одиночества, а отсюда множество житейских глупостей и общая интеллектуальная поверхностность... И перечисленное — только ничтожная часть того, что можно было бы бесконечно перечислять. Сажу, шлепаю по клавишам одной рукой, между прочим, левой, так как я переученный в школе левша, а правой подперев щеку, и пытаюсь нечто описать.

А вы в это самое время заняты чем-нибудь, совершенно не имеющим к состоянию моему и действиям отношения. Телевизор смотрите, едете в метро, разговариваете с кем-нибудь или читаете газету. Можно даже тщеславно допустить, что читаете не газету, а какой-нибудь другой мною же написанный текст.

Прошли годы, как обозначали смену ситуации в титрах старых фильмов. И, предположим, я закончил эту книгу, захватил врасплох беднягу издателя, боящегося отказать — а вдруг хорошо пойдет или премию какую-нибудь огребет, да и просто неловко отказывать постоянному автору — и выпустил написанное. Долго кропал, так что к концу не только находился совершенно в ином настроении души и ума, чем нахожусь сейчас, но даже просто забыл суть этого начала, о чем тут речь идет, и лишь немного восстановил в памяти при последней вычитке, да и то текст уже воспринимался как чужой. Что вполне объяснимо: болела уже не нога, а, очень вероятно, голова; никакой решимости уже не было, а была, как обычно перед сдачей, только радость освобождения — уж что получилось, то получилось, закончено; о фразах думал только узко технологически, так как общую интонацию уже не изменишь, хорошо бы хоть явные повторы убрать. К тому же предстоял не звонок — который, а ргрос, пока я предыдущий абзац заканчивал, уже состоялся, а встреча, и не тишина меня мучила, а, к примеру, серый утренний свет донимал, который я тоже ненавижу... А пока длился издательский цикл, я и вовсе о книге забыл, занялся совсем другими делами. Уж не говорю о том, что — бывает и так, особенно в соответствующем возрасте — увы, вообще незадолго до выхода, скоростижно... Ладно, не будем произносить. Вы понимаете?

Короче, книга вышла. И вы ее купили. И сейчас как раз читаете это место. И уже, конечно, никаким образом не можете вспомнить, если бы даже и постарались, что вы думали и делали тогда, когда я это писал — то есть сейчас, в двенадцать часов пять минут субботнего январского дня.

Что же это получается? Получается, что я нечто рассказываю человеку, который услышит это спустя такое время, как будто между нами космическое расстояние. Однажды я разговаривал со своей покойной матерью из Австралии, из телефона-автомата. И она никак не могла приноровиться делать небольшие паузы между моим ответом и своим следующим вопросом, а делать их было необходимо, потому что между перекрестком возле отеля «Южный крест» в центре Мельбурна и квартирой возле метро «Ботанический сад» в Москве много тысяч километров — двадцать? или около того? — и электрический сигнал идет заметное время, полсекунды, пожалуй. Какое же расстояние получается, если так считать, между мною, сейчас пишущим, и вами, достопочтенный мой читатель, это читающим, если слова идут годы? Как до какой-нибудь Кассиопеи, ей-богу. Хотя вполне можно предположить, что в момент написания вы находитесь за стеной, в соседней квартире нашего рушащегося, загаженного бомжами дома.

Какой там Эйнштейн...

2

Впрочем, все это совершенно не относится к делу. А дело состоит в том, что я намеревался объяснить, почему и зачем принялся за эту книгу... Опять немного споткнулся на последнем слове. Может, совсем не в книге вы это будете читать, а в «толстом» журнале, которые выжили несмотря на объявления о их смерти и, думаю, еще долго проживут. Скорее всего один из них, который я уже, понятное дело, имею в виду, это и опубликует.

До того, как я приступил к этому сочинению — ненавижу современное слово «текст», хотя иногда и употребляю, — я попробовал продолжить свою обычную практику. Придумал некий рассказ, написал сколько-то, но, как это и раньше бывало, бросил: не пошло, не возбудился, не завелся, получалось скучно, неискренне и потому абсолютно неинтересно. Не возникало такой чуть-чуть истерической ноты, без которой сочинение превращается, по-моему, в изложение, как будто прилично грамотный школьник пересказывает «Даму с

собачкой»: в Москве купец Дымов стал тяготиться своим мещанским окружением... Не получалось, я и бросил. Но если раньше, когда не получалось, было впечатление, что ошибся дверью или этажом, то теперь показалось, что вообще не знаю, какой адрес мне нужен.

Возможно, такая тотальная растерянность была подготовлена долгим предшествующим состоянием, я предчувствовал кризис, как предчувствуешь грипп. Еще ничего нет, ни насморка, ни температуры, а голова тяжелая, и, когда ложишься, хочется сильно, до хруста, потянуться.

И я решил — вместо поиска конкретной квартиры сюжета, вламывания в интерьер и обживания его деталей и, наконец, заключительного поджога-развязки, вместо всего этого бесчинства беллетристики — отправиться на бесцельную прогулку, какие раньше очень любил. Выходишь в свободный день, часов в половине одиннадцатого утра, и плетешься, то выбираясь на неестественно чистые центральные, то спотыкаясь на запущенности боковых улиц, народ разглядываешь без особого интереса, поскольку многое уже про этот народ знаешь, и жизнь любого можешь описать по одной только его нутриевой ушанке при плюсовой температуре, в магазинчик какой-нибудь забредешь и обнаружишь что-нибудь страшно интересное, но, слава Богу, не купишь по отсутствию денег, рюмку под бутерброд где-нибудь перехватишь, а то и две, если не в стоячке... И возвращаешься под вечер, уже еле передвигая ноги, но в куда лучшем настроении, чем если бы в гостях, скажем, побывал, с друзьями встретился и потрепался бы от души — словом, если бы провел время в некотором сюжете, с характерами, отношениями, развитием и завершением. От визитов и встреч, даже самых милых, осадок остается неизбежно. Может, конечно, только у меня, у других таких комплексов нету, но, в конце концов, я свою жизнь живу или чью? Вот и нечего насиловать организм, а надо пойти пройтись. В одиночку. Или с привычной ко всему, пусть иногда невпопад разговорчивой, зато не устающей и сочувственной спутницей.

Это такая отдельная форма отношений — спутничество. Слово нескладное, но необходимое в этом рассуждении. Оно ко всему прочему отношение имеет не прямое. Я не хочу сказать, что оно выше, или сильнее, или глубже, чем любовь, или семья, или там дружба, или равно им... Но для жизни существенно, во всяком случае, не меньше. Вот возьмем любовь: вполне может быть, что со спутничеством не совмещается. И наоборот тоже бывает: спутник прекрасный, но не на ходу трудно переносим. То же самое и с друзьями...

Да. И вот так идешь, идешь, идешь, потом возвращаешься усталый и даже не очень довольный, нечем особенно, но зато без отвращения и кислоты в душе.

Так же и с сюжетом. Вроде бы, скучновато без него и цели нет, зато потом не надо; пыхтя и ломая ногти, концы силком увязывать и стесняться чего-нибудь. Путь заканчиваешь с чистой и здоровой усталостью.

3

Поэтому
и в результате всего вышесказанного
приступил я к этому труду — к труду бесцельной свободной прогулки.

4

Совершенно невозможно понять, кто ты есть такой. Считалка была: царь, царевич, сапожник, портной...

Начнем с царя.

Почему не получается быть царем? Ведь в цари не то чтобы очень хотелось, но и отвращения не испытывал. Однако, считая себя порядочным человеком и старательно это самомнение поддерживая (по двум, по крайней мере, причинам, о которых еще как-нибудь поговорим), не хотел делать и, в общем, не делал всего гадкого, да и многого хорошего, что сопряжено с получением и удержанием любой власти.

Вот, вспоминаю, выбирают по рекомендации классного руководителя председателем совета отряда. Приятно? Да уж чего скрывать... Отличие. Привилегия быть единственным из тридцати пяти в одинаковых серых гимнастёрках, коричневых платках с черными фартуками и сильно слинявших к шестому классу красных галстуков — все равны, а председатель один. Причем отличие его не в журнале и табеле за четверть, в которых пятерки фиксировали отличия разовые, заработанные грамотным диктантом или гладким ответом, а постоянное, статусное, как бы включенное в сущность. Ведь, если не заглядывать в будущее, демократическое избрание, по ощущениям избранного, ничем не отличается от аристократического избранничества. Уж потом наступают муки временности, махинации в следующей предвыборной кампании, цепляния зубами и когтями за кончающийся срок...

С чего же начинает такой, которому данная народом власть досталась справедливо, по склонностям и потенциям? Что он делает — не только по инстинкту укрепления и удержания власти, но просто по присущим ему, как достойному должности, представлениям?

Прежде всего приводит свое поведение в соответствие тем нормам, которые провозглашены вынесшей его на вершину общественной системой. Тут возможны варианты. Первый: фанатик. Мучает себя строжайшим следованием канону, без всяких колебаний и милосердия добивается того же от всех остальных. Удерживает власть долго, чаще всего пожизненно, и остается в памяти большей части современников героем, меньшей — чудовищем, что, собственно, одно и то же. Второй: человек нравственно заурядный. Искренне старается соответствовать официальному идеалу, что, разумеется, невозможно. Постепенно привыкает скрывать некоторую часть своей жизни, в лучшем случае с длительным успехом, в худшем — с менее длительным, тогда поражение на следующих выборах, или импичмент, или просто тихое выталкивание элитой в отставку под угрозой раскрытия всего тайного... Третий: циник. Сознательно обманывает народ, ловко лицемерит, получая удовольствие не только от официально осуждаемых поступков, но и от самого процесса ловкой лжи. Как всякая обдуманная и прагматическая деятельность, такая бывает весьма успешной, жрецы догмы более или менее удовлетворены, а население посмеивается, но с симпатией: прохвост, конечно, так ведь и мы... Четвертый: реформатор. С выпученными глазами в полный голос ниспровергает все то, что фанатик — с которым по психологическому типу совпадает — так же провозглашал. Добивается своего, но ненавидим и проклиная всеми, даже теми, кто с удовольствием пользуется результатами его деятельности. Пятый: искренний идиот. Считает всех своими единомышленниками. Откровенно делится с подданными сомнениями в безусловности установленных до него правил и, не стремясь к их революционной отмене, с усмешкой предлагает ими сообща пренебрегать. Распространяет свое общепризнанное чувство юмора туда, куда с ним вход категорически воспрещен — в настоящую жизнь. Крах неизбежный и немедленный: снятие с должности по настоянию хранителей завета при недолгом и вялом сочувствии подчиненных.

Нужно ли говорить, к какому из типов относился и относится любитель бесцельных городских прогулок, автор, сбежавший от диктатуры сюжета в не-

организованную болтовню? Изгнание пронизательным завучем из пионерских председателей... разжалование из командиров отделения суровым начальником штаба... удивительное, на первый взгляд, практическими причинами не объяснимое выпадение из номенклатуры в собственной профессии — хотя удивляться-то надо было, когда в номенклатуру попал...

Нет, не для царствования родился.

Конечно, можно и по-другому повернуть: мол, ты царь, живи один. Просто царь, без всяких карьерных подтверждений, плюй на все и всех.

Так ведь до этого дойти надо. А чтобы дойти в юном возрасте — Господи, да он погиб пацаном! — надо именно им и быть: умнейшим, по словам штатного царя, человеком в стране, а значит, и в мире, потому что наш мир начинается и кончается здесь, мы к другому отношения не имеем. Человеку же обычно, не умнейшему и гениальному, а просто неглупому и способному, требуется для осознания преимуществ такого одиночного, автономного царствования прожить до старости, не один раз приложиться мордой обо все стены и углы, побыть на разного масштаба тронах и с каждого навернуться, и только потом, если мозги не разлетятся и не растворятся в разных едких жизненных жидкостях, допереть... Да и то, как правило, на чисто теоретическом уровне, а чтобы действительно одному и царем — тут еще воля нужна и сила, или сила воли, «силволя», как говорил старшина. Но где та воля, не говоря уж о силе?..

Надежда попробовать все же остается. Если честно — даже пробую.

6

Теперь про царевича.

Можно было бы предложить читателю целую систему более или менее (теперь даже культурные люди говорят «более-менее») сложных построений, из которых следовало бы, кого в обществе я условно именую царевичами и почему. Но лучше эти построения опустить, так как обоснование терминологии всегда занимает слишком много места, отвлекает на бесконечные отступления, а мне сейчас не терпится перейти к сути дела, выбранный темп длинной и ветвистой речи тяготит. Буквально чувствую, как давит заданная медленность, а мысли и пишущая левая рука дергаются, суетятся — надо скорее высказаться. Так что царевич и есть царевич, сами поймете, о ком речь.

По некоторым чертам характера, и в первую очередь по склонности к занятию, которое сочинители наших эстрадных песен применительно к себе всерьез называют творчеством, я, вроде бы, безусловный царевич. В семье, состоявшей исключительно из сапожников и портных — позже об этом, позже, — полный выродок.

Склонность к излишествах на грани, а то и за гранью порока — ну, нормальный комплект: пьянство, бабы, детали опустим.

Почти женские чувствительность и сообразительность по части вещей тонких, простых, но трудно различимых — в отличие от мужской размашистости, неспособности скрутить или хотя бы нащупать слишком толстыми пальцами узелок на нитке или на чужой судьбе. Порвут, а чаще просто не разглядят.

Бешеное честолюбие, тщеславие за пределом представимого. Чтобы все знали и не просто знали, а завидовали. Но одновременно, вопреки всякой логике, и любили.

При этом страшнейший комплекс: я самый тупой, бездарный, необразованный, уродливый и нелепый, все, что получил, досталось незаслуженно и путем обмана, другие не видят, но себя-то не обдуришь, везучая посредственность.

И, конечно, одновременно: не такая уж везучая... им-то откуда известно про бездарность, подумаешь, эксперты... рядом с ними вообще гений!.. а раз

не оценивают, значит, просто злые гады, и все. Да, самому все про себя понятно. Но не им же?!

Еtc.

Можно было бы и дальше описывать эту дрянь, но тип уже ясен: тот еще джентльмен, полный набор для царевича. Творческая, блин, личность, которой негодяйство так же извинительно и даже положено, как перстень и шейный платок.

Такова традиция. Можно считать от Рембо или Бодлера, можно от Лермонтова или Некрасова — размер таланта не рассматриваем, человеческий тип от других типов отличается качественно, а не количественно. Можно продолжить Селином или Буковски, можно Есениным и Маяковским. И закончить какими-нибудь Смитом, Шмидтом или Кузнечиковым — теперешние имена не имеют значения, потому что все равно вряд ли будут известны через пару лет. Да и негодяи они ненастоящие, эти ненастоящие гении: международная университетская опека, гранты и семинары по их творчеству (!) мгновенно превращают — даже если и была завязь — цветы зла в бумажные гвоздики, воображающие себя по крайней мере черными розами в ядовитых шипах.

Однако оставим злобствование. Сложилась так жизнь: если хочешь книги читать, музыку слушать, картинами любоваться и прочие искусства употреблять внутрь, то примиришься с тем, что производители этих продуктов неблагонравны и даже просто гадки в быту. Долги не отдадут, с женщинами неблагородны, бывает, что и к гигиене равнодушны... Либо — по-моему, это еще хуже — делают вид, что такие, потому что положено.

И ладно. Следуя классической шутке, не за это мы их любим, а за то, что настоящие художники. Бросим общее и вернемся к частному, к тому, кого, вроде бы, почти определили как царевича...

Почему же почти? А потому, что не хватает до необходимого минимума ни дряни, ни, соответственно, креативности, как нынче принято выражаться среди тех, кто вообще на такие темы рассуждает. Раньше-то, до всеобщей грамотности, вынесенной из провинциальных университетов и немецких семестров, говорили по-комсомольски: «творческое начало». Вот начала этого самого и не хватает. Какая-то беда с началом.

Начинаешь, к примеру, рассказ или повесть. Так все мило идет! Есть занятая и не бессмысленная идея, которая самому иногда представляется даже тянущей на притчу; неожиданно возникают интереснейшие ситуации, из которых с честью выходишь, выволакивая за шиворот и героев; по ходу этих испытаний они постепенно начинают проявлять некоторые характеры, пусть не особенно яркие и не очень оригинальные, но детальки мелькают впо-олне живые... Наконец, в какой-то момент, где-нибудь ближе к последней четверти объема, вдруг чувствуешь, как легкий, чуть ощутимый ознобец пополз по спине... колотишь, чтобы записать побыстрее, с такой скоростью, что буквы налезают одна на другую... и самому горько до слез, и хорошо, и даже немного задыхаешься...

И точно знаешь, что вот теперь попал, и, значит, вся работа окупилась, стоило корпеть: раз сам почувствовал, то и читателя достанешь, удалось.

Когда-то давно такой вид оргазма назывался вдохновением.

Ну, ладно.

Кончил.

Собрал и подровнял листки, завязал в древнесоветскую папку, отвез.

Вышло и продается.

Через несколько месяцев в очередной раз убедился, что критики мерзавцы, а друзья познаются только в беде. Сделал вид, что на все наплевал и забыл, тем более что несколько знакомых дам в полном восторге.

И однажды перечитал от нечего делать.

Ах, е. т. м. (разверните аббревиатуру сами)!

Что особенно ужасно — абсолютный повтор. Общий замысел и сюжет по всему контуру накладываются на известнейшее произведение вполне живого классика, которое уж лет двадцать так и называется — не «роман» и не титулом, а именно «произведение». Как сразу не заметил? И ведь «произведение» же читал тысячу раз с восторгом, анализировал... Полное затмение. (А взять то, что сейчас пишу! Разве не похоже на недавно прочитанную книгу приятеля, живущего в странной полузагранице, самодельное его евангелие или, может, тору? Черт возьми! Или, все же, не совсем?..)

Ну, и дальше по мелочам. Никаких характеров нет вообще, а есть кое-как раскрашенные маски из самого употребительного набора литературы для юношества, видно, намертво усвоенной в школьные пятидесятые. Коллизии сплошь нелепые, без начала и конца, так, последовательность выписанных с тщательностью крестина картинок. То, что принял за катарсис, оказалось, как в анекдоте, астматическим всхлипом, имитацией судороги. Читателя-то — из самых простодушных — обмануть не велика хитрость, а критики все просекли правильно, и друзья еще благородно себя вели, отводя глаза.

Так-так. Хорошее дело. Повеситься, что ли?

Или вот взять полистать это... Лежит на столе уже месяц. Дарственная надпись банальнейшая, а все равно лживая. С каким там уважением, если он вообще никого в грош не ставит и недавно о «Дубровском» сказал «ничего»... Ну-с, и что же пишет?..

Через пару часов замечаешь, что, испытывая жуткое отвращение к тому, о чем и как написано — все персонажи ублюдки и подонки, во всем тексте ни одного слова в простоте, притом, что есть и очевидная неграмотность, к тому же омерзительная личность автора проступает явственно, — продолжаешь читать, и бросать не хочется. Что же это творится, люди добрые?! Это, что ли, и есть талант? А то, что сам изготовил, не вышло, следовательно, потому...

Нет, скорее веревку. Или без пафоса (среди нынешней интеллигентной молодежи это слово ругательное) — просто раз и навсегда оставить дурацкое занятие, тем более что оно уже давно не кормит, да и кормило недолго. Высвободившиеся силы и время, если потратить их разумно, на то, что умеешь делать по крайней мере на уровне крепкого ремесла, удовлетворения принесут куда больше, не говоря уж о деньгах.

И уход из неуважаемого занятия получится достойный — не взашей вытолкали, а сам распрощался, — позволит сохранить не только лицо, но и имя, что важно с практической точки зрения...

Насчет выталкивания взашей и лица двусмысленно получилось, потому что «взашей» — это эвфемизм для «под жопу», а при чем здесь «лицо»? Да Бог с ним — но что же все-таки делать?

Выпить разве что...

Да. Так о чем это я? О том, что жизнь пропала? Ну, пропала.. Но ведь есть же, разумеется, и утешения? Рассмотрим.

Относительно их талантов. Это еще вскрытие покажет. А вот нечистоплотность, неумение себя вести, общее какое-то неприличие уже есть. Вроде тех истопников, дворников и просто бездельников, которые, сидя на шее жен, выстывавших жилы на службе, или родителей-пенсионеров, в семидесятые писали неподцензурные романы, стихи или картины. Дескать, мы с поганой властью ни на каком уровне сотрудничать не желаем, сохраняя душу незапятнанной, а гениальные произведения адресуя в вечность. Однажды такому гению-нахлебнику сказал: а если роман-то не по цензурным причинам непубликабельный, а по художественным? Ну, допустим, накрылись коммунисты, а сочинение твое все равно никому не нужно. Кто твоей бабе эти годы вернет?.. Он в ответ, как и положено творцу, только глянул с презрением.

А ведь так и вышло, и не с ним одним.

Что прежде всего надо семью кормить, коли завел, а уж потом оставшиеся

силы тратить на доказательства своей гениальности, причем свои силы, а не чужие, — это им и в голову не приходило.

Жить все хотят, как великие, особенно у нас, все свои пакости вечностью извиняют. Да величия на всех не хватает. Богемы — целая страна, а художников — как в любой другой.

Нет уж. Выглядеть пристойно, за себя всегда платить, умываться регулярно, с женщинами не жлобствовать. Мещанский кодекс? И слава Богу. Зато не стыдно. И если не вышел в гении, так хоть приличия соблюл. Баловался художеством — ну, и никого не касается, на свои гулял.

И за крайний предел не залетал.

Еще, что ли... последнюю...

А все же уверенности нет. И продал бы, пожалуй, душу, да некому. Так и болтаешься — среди бюргеров Моцарт, а рядом с Моцартом — счетовод.

7

Все время употребляю какие-то безличные формы неопределенного лица. Кто же есть автор этих рассуждений и, следовательно, их герой? Я сам? Не совсем... Хотя бы потому (внимание!), что совершенно точно своих мыслей не выразишь, отмечено еще классиком. Следовательно, все написанное выше не есть, строго говоря, мои размышления во всей полноте и многозначности (банальности и сумбурности), а некоторая их адаптация для передачи словами, текстом — в меру моих литературных способностей. И, значит, это уже не совсем я рассуждаю, а некий литературный фантом, некий герой-рассказчик-рассуждатель.

Выражаясь в терминах давно и начисто забытой (а ведь было же, было: ободренные аудитории... комичный старик лет пятидесяти пяти, преподаватель аналитической геометрии, показывавший на себе, что такое поверхность, называемая **обезьяньим седлом**... лаборатория аэродинамики, перегороденная маленькой трубой... диплом на тему «**Движение нелинейного осциллятора под действием негармонического возбуждения**»... и еще какой-то **метод начальных параметров**...) науки:

в процессе *сочинения* (результат которого мы также будем обозначать *сочинение*) возникает не тождественный *сочинению текст*, который есть некая функция f переменной $я$, а первой производной от этой функции является *персонаж*, то есть в условных математических обозначениях:

$$\begin{aligned} \text{текст} &= f(я) \\ &\text{и} \\ \text{персонаж} &= \text{текст}' \\ &\text{следовательно} \\ \text{персонаж} &= f(я)' \end{aligned}$$

Второй же производной от функции *текст* является *сюжет*, третьей — *смысл* или *идея*, *идейное содержание* (*И.С.*), по определению критиков-материалистов, четвертой — *цель*, или, как ее называют некоторые идеалистически настроенные исследователи, *Божественное Назначение* (*Б.Н.*):

$$\begin{aligned} \text{Б.Н.} &= \text{цель} = (\text{И.С.})' = \text{идея}' = \text{смысл}' = \\ &= \text{сюжет}'' = \text{персонаж}''' = \text{текст}'''' = f(я)'''' \end{aligned}$$

Таким образом, получаем:

$$\text{Божественное Назначение} = f(я)''''$$

Сформулируем это равенство словами:

«Божественное Назначение» «сочинения» является четвертой производной от текстовой функции переменного «я». «Я» в данном случае обозначает некоторую личность, которую для простоты называют «творческой».

Примечание: иногда «я» называют также «автором», «художником», «демиургом» и некоторыми другими терминами. Мы (т.е. автор. — *Прим. автора*) в дальнейшем, из соображений экономии знаков, будем употреблять термин «автор».

Рассуждая от противного, а в некоторых частных случаях *сочинений* — от очень противного и даже отвратительного, мы легко придем к выводу, что последовательным интегриро... (УВЫ! НЕ ЗАВЕДЕНО ЗНАЧКА В МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ! А КАК БЫЛО БЫ ЭЛЕГАНТНО — ВЫТЯНУТЬ ЗДЕСЬ СКРИПИЧНЫМИ ПРОРЕЗЯМИ ИНТЕГРАЛЬЧИК-ДРУГОЙ!) ...ванием можно из *Божественного Назначения* получить *я*, то есть личность так называемого автора. Что же необходимо для этого? Как известно, необходимо математическое описание основной функции автора, то есть текстовой:

$$f(\text{я}) = \text{текст}$$

Но именно с этим и возникают затруднения, поскольку до сих пор эксперименты не дали сколько-нибудь систематических результатов, которые позволили бы установить закономерность. Не определены даже основные константы, более того, относительно некоторых величин, таких, например, как часто употребляемый специалистами *талант* (обозначим T), есть гипотеза о свойстве меняться на отрезке, равном существованию одного *я* («автора»). Следовательно, T нельзя считать const. , а следует, в свою очередь, рассматривать как неизвестную функцию (обозначим ее F) от времени (t):

$$T = F(t)$$

Еще большую сложность представляет описание такого крайне редко входящего в уравнение $f(\text{я}) = \text{текст}$ члена как *гений* (Γ). Отдельные источники указывают на некоторые необходимые признаки наличия Γ в функции $f(\text{я})$, например:

$$\Gamma \text{ и } Z = \text{несовм.}$$

где Z обозначено *злодейство*. Однако, даже если считать верным, что отсутствие Z в *я* есть необходимый признак существования Γ в этом *я* (что опровергается многими случаями), то признака достаточного мы до сих пор не имеем. Существует, впрочем, мнение, что использование коэффициента Γ в уравнении $\text{текст} = f(\text{я})$ правомерно, если *текст* и *сочинение* в целом не зависят от времени t :

$$\begin{aligned} \text{текст} &= \text{текст} \\ &\text{при} \\ t \text{ (стремится)} &\text{хрен его знает куда} \end{aligned}$$

Однако проверить это утверждение в тех случаях, когда *я* («автор») еще, черт бы его драл, жив, практически невозможно.

Наконец, многие считают, что наличие Γ несомненно, если *Божественное Назначение* не равно 0 . Но это утверждение представляет собой тождество и порочную попытку определить одно неизвестное через другое, что передовая наука отвергает.

Эта самая передовая наука в последние годы склонна, чтоб она провалилась, и T , и Γ , и еще многие прежде вносившиеся в рассматриваемое уравнение

величины — такие, как *труд* (TP), *удача* (Y), *здоровье* ($ЗД$) — умножать на коэффициент KCC (*критическое свободное слово*). Введение его в формулу *сочинения* значительно упрощает задачу, и мы получаем:

$$\text{текст} = f(\text{я}) = KCC \{ \Gamma(\text{при } t \text{ любом}) + [T = F(t)] + TP + Y + ЗД \}(\text{я})$$

Итак, мы можем описать *сочинение* — как процесс, так и результат — неопределенным (совершенно, гадство, неопределенным) уравнением со многими (и еще далеко не всеми) неизвестными и одним коэффициентом, хорошо известным многим из нас, который, если он равен нулю, приравнивает к нулю и весь многочлен. Если же учесть, что указанный коэффициент, мать бы его так, почти всегда равен именно нулю, 0, зего, то...

В общем, хватит, пока вы вместе со мною совсем не офигели и не запустили этой занимательной арифметикой в угол.

Хотя... Что-то в ней есть. Как во всякой науке — начинается, вроде, с чистой ерунды — цифирки, букровки, значочки, искры сыплются между шарами, и пахнет хорошо, железяка светится в темноте — а потом как даст!..

Но до Чернобыля доводить не будем. А будем считать, что все понятно насчет автора, героя-рассказчика, текста и так далее.

И вернемся к делу.

И за большие заслуги в деле... ну, в общем, в нашем деле, герою-рассказчику присвоим почетное наименование.

Назову тебя И.

Нет, лучше № 1.

Потому что теперь все стали своих героев называть инициалами, мода пошла, почему-то вспомнили «господина N.» и другие классические обозначения.

Значит, воспользуемся номером.

8

А получается-то г-н № 1 весьма несимпатичным.

Всячески декларирует свою ни с чем не сравнимую нравственность. Карьеру она ему сделать не позволила — пришлось бы, видите ли, поступаться своими принципами, манипулировать людьми, принимать себя и окружающее всерьез, отказаться от столь органически ему присущей наивной иронии. Вы, значит, возитесь, как хотите, а я в сторонке ухмыляться буду. И при этом страшно обижается, когда получает в ответ — ну, стой, мы себе другого найдем, он нас замотает, но и себе жилы рвать будет, а не посмеиваться. Надувает губы: я-то, сам про себя, могу сказать, что дурак и шут, но почему же вы соглашаетесь?

То же самое и с творчеством так называемым. Очевидно стремится к осуждаемому самим же идеалу — и рыбкой перекусить, и присесть удобно.

Как-нибудь так устроиться, чтобы жить, как добропорядочный мещанин, в достойном лицемерии и со всеми приличиями, а талант не зарыть и равняться в нем с пропойцами, бездельниками, настоящими злыднями и прочей гениальной дрянью.

Предлагать рукоплещущему человечеству прописи, рисунки домиков и собачек, любовь, одной левой побеждающую смерть, торжество добра, только что разбившего свой кулак об морду зла — и жутко расстраиваться, обнаружив все это уже имеющимся в букваре.

При этом с отвращением и даже ненавистью плевать в сторону тех, кто заплатил за умение создавать готовностью разрушать — себя, свою мораль и жизнь, жизнь близких и так далее — вплоть до всего мира включительно. Фу, как нехорошо! Тот был жуликоват, тот растлитель, а этот, современник, просто хитрован и карьерист...

А вот сам № 1 — лапочка.

Пожалуй, извиняет этого господина только одно: уже упомянутое происхождение. В мирном обывательском семействе вырасти нечто действительно экзотическое вряд ли могло. Отклонение от заурядности незначительное, а результат плачевный: раздвоение в чистом виде.

Среди хороших скучно, среди интересных противно.

К «Герою нашего времени» приписать бы хэппи-энд... И еще — убрать мерзкую эту историю с издевательством над Грушницким, гадость же. И в конце Максим Максимыч, сам герой, Мэри и эта... как ее... ну, черкешенка... то есть она, кажется, и была Мэри... или Мери... в общем, скажут к горизонту.

9

Впрочем, что ж происхождение? Генетикой все объяснить можно, семьей и школой, но неприятное чувство к этому № 1 остается. Снисхождения он, конечно, заслуживает, тем более что никому, в общем, большого зла специально не делал, только брюзжит да с собой разбирается. Но, в общем, тип не из привлекательных, со всеми его моральными кодексами, прозрениями в рамках умеренности и — забыли упомянуть — сентиментальной до слюнявости любовью к животным. Он такой ТЕПЛЫЙ! — говорят о нем даже симпатизирующие ему (немолодые тетки в основном). Забыв — а может, и не зная, — что не горячего и не холодного, а именно ТЕПЛОГО ИЗБЛЮЮ ИЗ УСТ СВОИХ...

10

Правда, в той считалке мы пропустили короля и королевича. Этому можно дать такое объяснение: титулы иностранные, а наш № 1, будучи с детства низкопоклонником и космополитом, с наслаждением вслушивавшимся в хриплое эхо дальней жизни, в зрелом возрасте стал патриотом — оставшись, как ни странно, и западником, еще одно проявление шизофрении. Поэтому ни о какой перемене географии и возможном достижении там высших степеней не помышлял. То есть если только бежать придется от большой беды и под угрозой...

Но, в то же время, «король» и «королевич» в его системе понятий и соответствующих им условных терминов присутствовали.

Слово «король» он употреблял — главным образом, мысленно — в том переносном смысле, в котором существовали дошедшие из его полного вычитанных мифов детства «нефтяные короли», «короли джаза» и Бенья-Король. Сам он ни в мечтательных и жадных подростковых годах, ни в годах вполне сознательных, и даже еще позже, немолодым человеком, совершенно не заманивался на королевский титул, правильно предполагая, что за королевство надо немало заплатить — может, самой жизнью или, по крайней мере, серьезными событиями, судьбой. А к этому он, как уже сказано, не был готов в силу своей умеренности, неприятия крайностей. Нет уж, думал он, читая художественную литературу сверх программы вместо приготовления урока по тригонометрии, таская из сахарницы куски рафинада, лучше обойдусь без памятки с бронзовой шляпой, чем на дуэли меня убьют. Удивительна, не правда ли, такая трезвость в тринадцатилетнем человеке? Но что было, то было, нам достоверно известно.

При этом к королям и даже к королевичам испытывал спокойное уважение, начисто лишённое зависти, просто признавал их права. И то сказать: а чему завидовать? Судьба. С самого детства, с рождения, некоторые особые обстоятельства, как правило — незаурядность общественного положения родителей и связанный с этим риск падения, которое тоже в своем роде избранность, привилегия: грохнуть могли только те, кто высоко забрался. Отече-

ственные цари и царевичи отправлялись в лагеря, а сыновья и дочери начинали рано хлебать настоящую жизнь, что уже годам к двадцати наполняло их таким запасом энергии, таким потенциалом, который быстро вырабатывает из просто способного молодого человека настоящего королевича, даже международного класса, а потом, по прошествии десятилетий уже собственных подъемов и картинных срывов, истинного и общепризнанного короля. Действительно, понимают они что-то такое, чего № 1, проживший тихо и, в общем, безбедно и безрадостно, понять никак не может, какие-то вроде бы простые, но серьезные, фундаментальные вещи. Не стесняются казаться банальными и даже не очень умными, но при этом почему-то сохраняют значительность, которая ему не дается ни безупречностью вкуса, ни интеллектуальными прорывами...

Словом, короли — они и есть короли, а мы с тобою, дорогой мой № 1, как было сказано, сидим на стене и заслоняемся руками от солнца. И каждый день им дается то, что нам, может, досталось по разу-другому за всю жизнь — но они за это платили вперед.

И пошли им Бог здоровья и долгих лет, а нас избавь от ехидного нашего взгляда, замечающего их немощь, лень ума, даже мелкие пошлости. Королям позволено, а мы сами отказались от королевства — пусть у нас и шанса не было, но ведь мысленно-то, мечтания-то отвергли? Помнишь: не надо мне бронзового цилиндра и голубя, гадающего на плечо, но и пули в живот не хочу... И отца с матерью, ушедших по пятьдесят восьмой, не надо, и реабилитированных их друзей. И даже просто раскулаченных или с происхождением — не надо. Пусть мирные сапожники и портные, пусть потом всю жизнь их наследственность тянет тебя в тень, пусть робость одолевает не вовремя... И так проживем. Пройдем обочинной, вежливо уступая дорогу встречным, любезно улыбаясь каждому. Незаметно, но, по возможности, достойно. Осторожно неся, чтобы случайно не уронить, спрятанную под безукоризненным — по средствам — пиджаком, как Walter PPK в плечевой кобуре, потайную гордыню.

Правда, иногда вежливость оборачивается суетливостью, любезность — тьфу, черт! — искательностью... Ну, что поделаешь, объяснимо: слаб, как положено человеку.

На том и порешим.

11

Ладно, надо докрутить до конца метафору, разобраться с сапожниками и портными.

Или не докручивать?..

И вообще — стоило ли городить огород?..

Придумал некое сравнение, более даже хромое, чем обычно, чтобы объяснить, к какому социально-психологическому типу принадлежит лирический герой, № 1. Кстати, и появившийся-то под этим именем — вот, пожалуй, единственное достижение — по мере разворачивания затянувшегося приема. Ну, и объяснил? Да ничего не объяснил, кроме того, что вроде бы художественного склада персонаж, но с сильной мещанской закваской, и от этого мучается раздвоением какой-никакой, но личности. Вот и все, так и можно было сразу сказать, не громоздя всяких царевичей-королевичей и прочей многозначительной ахинеи. В рамках которой сапожники и портные представляют, как уже, наверное, понятно, тех, кто занят практической жизнью — мэнэсов и инженеров, врачей и учителей, системных программистов и менеджеров в сфере real estate... И понятно, конечно, почему № 1, как бы ни тянули его семейные традиции и даже какие-то собственные способности в эту сторону, при первой же возможности бежал в противоположную, туда, где предмет деятельности иллюзорный, цели расплывчаты и никак не формулируются без высоких слов, а квалификация, место на шкале престижа и оплата определяются не потре-

бителями, а самими производителями, присваивающими друг другу категории вплоть до «великого художника» и «гения»...

Опять заболтался. Хватит.

Лучше займусь окружающим нас всех, в том числе и господина № 1, миром -- который его категорически не устраивает.

Кто кого не устраивает, ты, стилистический инвалид?! Мир господина № 1 или наоборот?

А это всегда взаимно.

12

Можно было бы проследить историю расхождений между объективным течением времени и параллельной эволюцией моего единственного на все времена персонажа по имени «Номер Первый», или, короче, «№ 1» — проследить от самого рождения, вспоминая отрывочные рассказы о его появлении на свет и первых годах жизни, более или менее правдоподобно домысливая неизвестное, исходя из общих сведений, руководствуясь логикой... Но это потребовало бы определенного (что значит «определенного»? дурацкое выражение, как и «достаточного» — все это современные уродования речи) повествовательного насилия над свободным извержением слов, которое мы — помните? согласны? — приняли принципом данной работы.

Поэтому лучше влетим в сложившееся положение с разгону, прямо в сегодняшние ощущения, соответствующие дню, когда это пишется.

13

Нечто гложет № 1 уже несколько часов, с того времени, когда, проявив свое всегдашнее слабодушие, он согласился пообедать с друзьями. Точнее было бы, конечно, назвать их приятелями, так как, во-первых, друзей в собственном смысле этого слова у № 1 уже давно нет, а возможно, и никогда не было в силу его глубочайшего безразличия к людям вообще; и, во-вторых, те именно, кто позвал его на обед в ресторане, вопреки абсолютному отсутствию у него аппетита, твердому решению не пить и вообще не тратить деньги без особой нужды, уж никак не могли считаться друзьями, самое большее — хорошими знакомыми.

И, в общем, мужчина, несмотря на постоянно проявляемый им интерес к посторонним и незначительным лицам и событиям, был довольно (опять! «довольно» для чего?) симпатичен господину № 1. Рабский интерес к окружающему был простителен, поскольку в значительной степени порождался способом добывания куска хлеба, такая у мужчины была неприятная профессия. А сам он был мил и добр, достаточно (вот тут к месту!) неудачлив, чтобы не благоухать самодовольством, и достаточно уверен в себе, чтобы не портить воздух комплексами.

Но вот дама...

Боже мой, какими нестерпимо противными бывают женщины!

Иногда я — и вместе со мною г-н № 1 — изумляемся: какова же сила телесного желания, если она способна победить совершенно естественное омерзение, испытываемое любым, пожалуй, мужчиной от общения с особями иного пола!

И ведь все они почти равно отвратительны, независимо от того, к какому из основных типов принадлежат.

Допустим, это один из распространенных — и, заметьте, еще и самых привлекательных — видов: «прелестная debilка». Кретинская — и наверняка специально культивируемая — неспособность воткнуть вилку в розетку, запомнить дорогу с двумя поворотами и правильно употребить падежное окон-

чание. Безошибочный выбор при любой покупке в пользу вещи более дорогой и худшего качества. Шумная радость от примитивной шутки и надувание губ — «какая пошлость» — от изысканной остроты. Жирная грязь везде, где не видно, назойливая чистота на виду и неумение запомнить, где что лежит. Полная беспомощность в любом деле, безнадежная тупость в любой профессии — при уверенности, что так и должно быть, «неужели вы будете ругать женщину?», ей кажется, что курносость и пухлые губы извиняют все... В общем, не хочется продолжать.

Или, предположим, «звезда компании» (пропускаем множество других, не менее часто встречающихся разновидностей). Убежденность в собственных исключительной одаренности, высочайшем профессионализме (часто лезет в ту же профессию, в которой на высоком уровне действуют ее мужчины) или выдающейся привлекательности — в наихудшем случае и в том, и в другом, и в третьем. Полнейшая уверенность, что иллюзию ее значительности разделяют все окружающие — особенно, разумеется, мужского пола. Постоянные рассказы о торжествах своего таланта, ума или (и) красоты. При этом пользуется мужиками — связями и прямой поддержкой, вплоть до кошелька — с ловкостью опытной проститутки. Очарование ее действует, правда, не на самых умных, но терпят почему-то все.

А сколько есть комбинированных, промежуточных типов! Например, «безобразная debilка» — со всеми недостатками «прелестной», но без ее милой внешности... Или «звезда компании», сочетающая все свои качества с убийственной назойливостью «верной подруги» — тоже та еще категория... Или «я и так хороша» — вообще ужас...

Нет, положительно загадочна любовь, если она способна все это победить. Впрочем, как известно, любовь побеждает смерть.

И вот, значит, № 1 обедает с этими друзьями, с симпатичным малым и, скажем, «всемирной верной подругой всех, звездой первой величины самой лучшей компании города».

Боже мой, думает он, поедая без всякого желания не особенно вкусную еду, выпивая смертельно опасную для него водку в обстановке, которая ему если не противна, то уж, во всяком случае, безразлична, Боже мой, как я провожу жизнь! Говорю о неинтересном, утомительно улыбаюсь, сижу прямо... А хочется лечь, закрыть глаза, и чтобы рядом было кислое питье, и заботливая жена массировала плечи и шею. Или долго ехать куда-нибудь по хорошей дороге, разглядывать симпатичный пейзаж и чувствовать на лице прохладный ветер из полностью открытого окна машины. Или просто сесть в удобное кресло и задремать, но чтобы поблизости была жизнь, тихонько ходили и переговаривались между собою любимые домочадцы. Какие к чертовой матери друзья и любовницы, все больше раздражаясь, думал № 1, по-настоящему нужны только домашний врач и нянька, да еще — нет, в первую очередь — единственная женщина, которую берешь за руку бессознательно, как только она оказывается досягаемой, так автоматически берут за руку идущего рядом ребенка, так начинают гладить кошку, едва она усядется на коленях... Но врачи смотрят мимо и интересуются только анализами; у нянек своя жизнь, для которой ты не цель, а средство; женщину же за руку взять удается редко, потому что руки почти все время заняты — и твои, и ее.

Между тем, обычный разговор образованных и с неплохим положением людей — состоящий на две трети из сплетен, а в остальном из более или менее удачных острот, высказывания мнений, в основном вполне расхожих, и самовосхваления — шел своим чередом. Политические и светские новости, окрашенные лестной для собеседников интонацией причастности или, по крайней мере, близкого знакомства с основными участниками событий, оценивались с позиций как бы реального знания, как бы трезво, без предубежденности — на

самом же деле со смешным наивным цинизмом подростков, только что точно узнавших, что следует за поцелуями.

№ 1 положительно измучился — сил больше не было поддерживать эту болтовню хотя бы минимальным, из приличия, участием, да еще старательно скрывать отсутствие интереса и усиливающуюся неприязнь к тем, кому при этом вполне любезно улыбался. И сидеть в тесном зале, среди запахов еды, стало абсолютно невыносимо...

14

Тогда № 1 на несколько минут, может, всего на две-три, эмигрировал из жизни, скрывшись в бесконечно придумываемом им сюжете.

Кстати, ведь именно недостижимая мечта о совершенном и образцовом сюжете привела в конце концов к тому, что от всякого сюжета, как было сказано в самом начале, отказался полностью в пользу неорганизованной свободной речи. Но дружеская беседа настолько истерзала (опять незаметно вернулись к безличным оборотам!), что, не имея сил сопротивляться давней постыдной страсти... Итак:

15

Дамы и господа! Вашему вниманию предлагается универсальный сюжет для всей семьи. При его создании использованы высшие достижения мирового и отечественного сюжетостроения — от «Трех мушкетеров» до «Крепкого орешка-III», с включением «Великолепной семерки» («Семь самураев») и многих других высококачественных продуктов и компонентов; современные технологии — все написано на note-book Toshiba Satellite 110CS — и экологически чистые материалы: вы не найдете здесь слов «отпаривал», «пошил», «обустроил», выражений «в этой связи» и «на тему о ...» — только природный русский язык по традиционным рецептам с минимальным количеством вкусовых добавок для обозначения времени действия либо характеристики персонажей. Сюжет приспособлен для российских условий и годится для чтения, изготовления кинофильмов, телевизионных сериалов, инсценировок и пересказа знакомым — все это не потребует специальных навыков. Употребление сюжета в соответствии с расположенными внутри него рекомендациями «представьте себе» гарантирует невозможность оторваться от чтения или просмотра, способствует размышлениям об устройстве и смысле жизни, укрепляет светлую грусть и, наконец, дарит вам радость от победы добра. Сюжет безвреден и выводится из организма через несколько часов. Возможно и многократное его применение...

16

Господи! Ну чего ерничать-то? Или, как следовало бы сказать о таком словоблудии по-современному, — стебаться... И прием-то с пародированием рекламы из самых дешевых. Правда, позволяет в «легкой, увлекательной форме» объяснить или хотя бы намекнуть, откуда все взялось, из какого именно сора вырастает данный, извините, цветок...

Опять?! Да хватит же!

Ведь всегда хотелось написать именно это, и хотелось вполне всерьез, и убежден, что вот теперь придумал...

Тут № 1 начал-таки всерьез.

Поэтому снова:

Итак,

Не пропадай надолго сюжет

Представьте себе — темнота.

Так темно бывает в комнате с наглухо задернутыми шторами, это теплая темнота сна в середине ночи. Телефонное дребезжание раздается будто над самым вашим ухом. Еле видная светлая тень проплывает в воздухе — это поднялась рука, и близко к вашим глазам оказался циферблат часов со старомодными светящимися цифрами и стрелками. Половина второго... Звонок оборвался после короткой возни с нащупыванием трубки. Хриплый со сна, застоявшийся голос прозвучал неестественно громко — как бывает в тишине, да еще и в темноте.

Слушаю... Кто?... Ни хрена себе... Не понял... Давай подробней...

Бормочет в ухо трубка.

Все чище и яснее голос человека, еще пять минут назад тяжело спавшего после длинного рабочего дня и длинного нетрезвого вечера, совсем уже он проснулся.

Шлепает рукой в темноте, пытаюсь найти выключатель настольной лампы, а выключатель куда-то делся...

И под эти шлепки, телефонное бормотание и короткие вопросы, в темноте с вечера прокуренной комнаты, начинается история, которая могла бы произойти в любое время и с любым из нас, со мной или с вами, но не происходит, слава Богу.

Разве что ночью, в полусне, когда так легко принять чужой голос за свой, чужую беду приложить к своим неприятностям, а чужое умение представить доступным тебе.

И эти ребята, мои и ваши ровесники, теперь будут делать то, что нам бы хотелось, да не решаемся, и справляться со своими проблемами так, как нам никогда не придется.

Сейчас мы познакомимся со всей компанией.

Начинается сказка, опять начинается сказка, снова нам предстоит по каньонам коней загонять, маски старые, вечный расклад и, конечно, все та же развязка — помирать-выживать, как болгарским крестом вышивать.

Соберутся старые друзья, каждый, хоть и стар, порядком стоит, связываться с ними вам не стоит, шансов нету, точно знаю я. В глаз стреляют муху на лету, семерых кладут одною левой, спят, уж коли спят, то с королевой, и берут любую высоту. Соберутся, гадов отметелят и ускачут грустно на закат. Здоровее дух в усталом теле от историй про таких ребят.

Начинается сказка, опять начинается сказка...

Песня постепенно затихает.

Впрочем, нет, не нужно нам этих самодеятельных песен, этой как бы иронии. Лучше так:

Бормочет трубка, задает короткие вопросы человек, слушающий ее бормотание во тьме, но постепенно эти звуки перекрываются голосом мальчишки, заучивающего стихотворение из хрестоматии: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он... как там... малодушно погружен, молчит его святая лира... вот гадство, опять забыл... душа вкушает хладный сон...».

И вспыхивает свет.

Представьте себе — пробуждение.

На сползшей с матраца простыне, поставив на пол голые уродливые ступ-

ни немолодого мужчины, сидит человек. Обстановка обычной городской советской комнаты — убогая прелесть старых вещей, по которым вовсе невозможно определить время действия. Не то двадцать четвертый, не то тридцать седьмой, не то пятьдесят второй, но, может, и девяносто первый... Конечно, обязательный резной буфет до потолка со снятым — потолок низок — декоративным верхним карнизом, не то фамильный, не то купленный за гроши в те времена, когда жлоб охотился за румынской стенкой, а интеллигенция обставляла кооперативы с Преображенского рынка..

Возле постели стоит неведомо как оказавшаяся здесь вращающаяся рояльная табуретка, на ней полная окурков большая мраморная пепельница. Человек вытаскивает наиболее сохранившийся окурочек, чиркает зажигалкой, затачивается, закрыв от наслаждения глаза.

Встает, подходит к буфету, присаживается перед ним на корточки. Жутковатые семейные трусы и растянутая нижняя рубашка не могут скрыть его фигуры — сильно обозначенные икры, жилистые длинные руки, покатые, но мощные плечи — он похож на старого лося.

Сидя на корточках, распахивает дверцы нижней части буфета, вываливает оттуда на пол какие-то тряпки, старую одежду, картонную коробку, которая при этом раскрывается, и по полу раскатываются спортивные медали на лентах... Наконец достает длинный чемодан или футляр из прекрасной кожи, некоторое время смотрит на него, все так же сидя на корточках... Трудно понять, что при этом выражает его лицо.

Так и не открыв футляр, относит его к двери.

Берет со стула одежду, натягивает грубо связанный свитер, вельветовые штаны мешком, зашнуровывает, сидя на кровати, тяжелые ботинки.

Вытаскивает из пепельницы еще один бычок, раскуривает. Подходит к подоконнику, на котором стоит телефонный аппарат, явно купленный в те же времена, что буфет. К телефону множеством разноцветных проводов присоединен древний портативный катушечный магнитофон.

Нажимает клавишу. «Сереженька, вы обещали позвонить, — говорит кокетливый женский голос, но человек щелкает клавишами, проматывает пленку, и уже другая женщина продолжает, — заходила в среду, что же ты, зараза, делаешь, я ж не сплю, — щелчки, шорох протягивающейся пленки, третий женский голос, пьяноватый, — прямо сейчас и приезжай, мы тут сидим, а мне без тебя ску-учно... — щелчок, и неожиданно мужской голос, деловой, — Серега, завтра моя смена в тире, не подменишь ? перезвони...»

Человек переворачивает катушки, берет микрофон, надиктовывает на свой «автоответчик»: «Я уехал. Вернусь через месяц». Секунду думает, прокручивает ленту назад, диктует снова: «Я уехал». И останавливает запись.

Стягивает с вешалки старое длинное пальто из некогда шикарного «букле», подхватывает футляр и захлопывает за собой дверь.

Пустая комната.

Незастеленная постель на диване.

На буфетной доске — ряд наградных жестяных кубков.

И множество картинок по стенам — изображения стреляющих людей на лыжах. Вырванные из книг учебные рисунки, старая гравюра: охотник на плетеных снегоступах с кремневкой, положенной для прицела на рогатину, фотографии самого обитателя комнаты — лежащего в снегу, развернув лыжи в стороны, и целящегося; несущегося по редколесью с косо висящей винтовкой за спиной; стоящего на пьедестале почета под надписью «Чемпионат СССР по биатлону»...

В поезде метро футляр мешает людям, они смотрят на Игоря с ненавистью, он, извиняясь, проталкивается в угол, ставит футляр вертикально, оперев его на носок ботинка.

Глядит на свое отражение в темном зеркале дверного стекла. Длинное, в

глубоких складках лицо, седые волосы, лежащиеся на поднятый воротник пальто, — когда-то так выглядели художники, не настоящие, а из тех, кто копировал парадные портреты по клеткам и делал афиши к фильмам во весь фасад кинотеатра. В стекле отражение несетя на фоне туннельной стены, серые тени мелькают...

Вот тень:

пятеро солдат в старой форме, еще в мундирах со стоячими воротниками, выходят из вагона, на вагоне табличка «Вюнсдорф — Москва», явные дембеля в выгнутых горбом погонах, в значках и нашивках, с дембельскими немецкими чемоданами, один из них молодой Игорь, они идут по перрону в ряд, передавая друг другу бутылку и глотая на ходу из горлышка, а навстречу движется строгий и непреклонный столичный патруль, а они идут, и Игорь клоунски отдает честь левой рукой с зажаты в ней бутылкой, патруль каменеет, а друзья спокойно проходят мимо — и вдруг срываются, несутся, как пацаны от завуча, топя тяжелыми сапогами, и вылетают на площадь Белорусского вокзала, полную старых «волг», носильщиков, командированных с колбасой и апельсинами в авоськах и дембельских неопределенных надежд на счастье.

Еще тень:

Игорь в распахнутой дубленке, под которой виден спортивный свитер с гербом, среди таких же здоровых ребят в таких же свитерах, спускается по трапу самолета, несколько фотографов фиксируют возвращение сборной, спортивные чиновники в шапках-пирожках из нерпы, по тогдашнему канону, жмут победителям руки, чуть в стороне, посмеиваясь и переговариваясь между собой, стоят четверо повзрослевших сослуживцев, и Игорь незаметно выбирается из официальной толпы, делает шаг к друзьям, один из которых, передразнивая технику биатлона, как бы вытягивает из-за спины винтовку, но в руке у него бутылка, он прицеливается горлышком в Игоря, и пятеро мчатся, бегут с летного поля, как бежали дембелями по перрону Белорусского вокзала, а длинный кожаный футляр Игорь держит осторожно, чуть на отлете.

И еще тень:

зимнее кладбище с засыпанными снегом узкими проходами между оград, холм свежей земли, вокруг открытого гроба на высокой кладбищенской тележке теснится, оступаясь в сугробы, небольшая толпа, старики в меховых шапках, женщины в платках коробом на лоб, мальчик в круглой вышитой шапочке, и в этой толпе стоит Игорь, уже седой, с тремя, не меньше, чем он, постаревшими друзьями, а серое, с выпуклым лбом и коротким, прямым и ставшим после смерти костистым носом лицо пятого из компании едва возвышается из цветов, и вот уже могильщики вытаскивают свои веревки из-под опущенного в землю гроба, а четверо, шагая рядом, уходят по белой широкой центральной аллее, среди памятников и крестов, медленно шагают, будто и не бежали никогда.

Пронеслись в тишине тени видений за стеклом — и звуки вернулись, загрохотал поезд метро, зажужжали голоса пассажиров, лицо Игоря плывет, отражаясь в темном стекле.

Представьте себе — расплывается отражение.

И плывет, отражаясь, уже другое лицо, в котором с трудом можно найти черты одного из тех, кто бежал когда-то от комендантского патруля по перрону Белорусского вокзала. Это оплывшее, круглое лицо некрасиво состарившегося человека. Тонкие и очень длинные волосы вокруг неопрятной плечи шевелит ветер, по щеке катится капля пота, рот кривится от напряжения. На зеркальной поверхности мутнеет пятно от его дыхания.

Широко растянув руки, человек несет огромное зеркало — стеклом к себе — в старинной резной раме. Дует зимний ветер, несет мелкий снег, но человек работает в одних старых джинсах, из которых вываливается широкое

брюхо, и майке, прилипшей к жирным плечам. Растоптанной кроссовкой он нащупывает ступеньку на крыльцо, протискивается боком и присев, чтобы зеркало прошло по высоте, в подъезд — дверь настезь, небольшая стопка связанных веревкой старых журналов придерживает ее, «Искусство кино», 1971 год...

Из кабины мебельного фургона, у распахнутых задних ворот которого пыхтят, вытаскивая длинный павловский диван красного дерева, еще три грузчика, высовывается шофер. «Леха, — кричит он вслед уже почти скрывшемуся в подъезде человеку с зеркалом, — диспетчер звонила! Тебя какой-то Руслан ищет, понял? Сказал срочно позвонить, понял-нет?!»

Огромная пустая квартира. То, что на дикарском языке называется евро-ремонт. Алексей осторожно ставит зеркало на пол, осторожно прислоняет его к стене рядом с уже внесенными угловой горкой, лаковым китайским столиком, золоченым штофным креслом...

На подоконнике, подобрав красивые ноги в чулках — сапоги брошены на сверкающий паркет, — сидит девица в длинной распахнутой шубе, наблюдает сверху за разгрузкой. Не замечая Алексея, взволнованно комментирует: «Ну, ..., ну, все исцарапают же, козлы!..»

Алексей кашлянул, она оглянулась. На красивом лице выражение глубокой озабоченности. «Позвонить, — говорит Алексей, — можно позвонить от вас?» Девица машет рукой куда-то в глубь квартиры — да звони, если надо, — и продолжает с возмущением, ища сочувствия у толстого работяги: «Мы артистке за обстановку тридцать штук отдали, ты понял, а твои уроды сейчас обдерут все!.. Я по стольнику за царапину снимать буду, ты понял?..»

Алексей молча уходит.

На мраморном полу посередине кухни, беспорядочно заставленной ящиками с надписями «Siemens» и «Bosch», стоит телефон. Алексей снимает трубку, отходит с нею к окну, набирает номер, глядя, как внизу останавливается рядом с фургоном тяжелозада немецкая машина, выходит из нее человек в темном пальто и заводит с неаккуратными грузчиками серьезный базар...

«Русик, — говорит Алексей в трубку, в голосе его забота и странная нежность, — это я... Случилось чего?..» Слушает, выражение лица его постепенно меняется, теперь даже не заметны одутловатость и дряблость — мощные скулы очень сильного мужчины. И гигантский бицепс, и огромная кисть, в которой почти не видна трубка с короткой антеннкой...

Не взглянув на продолжающую с еще большей увлеченностью свое наблюдение нанимательницу, проходит через комнату. Останавливается перед принесенным им зеркалом, лезет в задний карман штанов, вынимает круглую резинку, автоматическим движением стягивает остаток волос на затылке в pony-tail.

Несколько секунд внимательно смотрит на свое отражение.

Видит молодого атлета — помост, широко расставленные ноги, черное трико, кожаный пояс, перетягивающий еще только намечающийся живот, и чуть вздрагивающие вскинутые руки, вознесшие над головой заметно прогнувшийся гриф штанги. И расплывчатые фигуры зрителей, вскочивших на трибунах, разинувших рты в беззвучном вопле восторга...

Видит толпу, стоящую под афишей «VII Московский кинофестиваль. „Беспечный ездок“»... А вот и он в толпе в лопающейся на плечах тенниске, в длиннейших и густых кудрях, вот и элегантный Игорь, в белой куртке и белых джинсах клеш, вот и остальные...

Крепко зажмуривает и сразу открывает глаза.

В зеркале темная пустота — нет никакого отражения, ни его, ни комнаты...

Выходит из подъезда.

Толкает коленом, отодвигая с дороги, поставленный на снег диван.

Обойдя продолжающих дискуссия хозяина и работников, вынимает из фургона перегородивший проем гигантский пейзаж в тяжелом багете.

Оглянувшись и не найдя, куда поставить картину, сует ее в руки одному из грузчиков, владелец успевает подхватить другой край.

Снимает висящую на запорном крюке фургонных ворот кожаную куртку, натягивает, наглухо застегивает косую молнию.

При полном молчании растерявшихся зрителей лезет в глубь фургона.

Оттуда выдвигается и косо опускается на снег дощатый пандус.

Вылетает пустая пивная банка, еще одна.

И через мгновение, ужасающе ревя двигателем, выпрыгивает из темной глубины, срывается по доскам мотоцикл, старый рогатый Harley, а над седлом полустоит пожилой easy rider.

Подняв пологую струю снега, разворачивается возле крыльца, застывает на миг.

Окаменевшая группа смотрит на него от фургона,

Он наклоняется, подхватывает журнальную пачку, кладет ее перед собой на бак.

И уносится в снежном вихре, в реве.

Стелется по ветру жидкая косица.

«Он чего, вообще, по жизни?» — спрашивает, выглянув из-за рамы, новосел.

«Он рояль один на шестой носит, — отвечает, выглянув из-за рамы с другой стороны, грузчик. — А ездит всегда сто тридцать. А сам полтинник осенью разменял. А в обед четыре баночных примет — и нормально. А однажды поспорил на сто баксов и с эстакады...»

Снежный вихрь и рев уже далеко.

Представьте себе — снежный вихрь белых искр.

Крутится с визгом шлифовальный круг, толстые, вроде бы неловкие пальцы прижимают к нему какую-то маленькую железку, почти в этих пальцах невидимую.

Человек подносит железку близко к глазам, рассматривает, вращение круга замедляется, замирает.

Люди с такой внешностью изображают в рекламе милых европейских дедушек — аккуратный седой пробор, седые усы щеточкой на круглом лице, очки-«половинки» на кончике носа, вязаная кофта поверх белоснежной рубашки с клетчатым галстуком, на левом мизинце небольшой и явно старинный перстень.

Очень трудно узнать в нем одного из тех пятерых друзей, вернувшихся из армии солнечным сентябрьским днем в начале шестидесятых.

Он сидит за перегородкой, отделяющей рабочую часть помещения от предназначенной для клиентов. Сейчас в мастерской пусто.

На стене позади него висят десятки болванок для ключей, прејскуранты и объявления: «Клепка и точка коньков», «Ремонт зонтов», «Печати и штампы»...

Рассмотрев готовый ключ, он кладет его на верстак, удивительно старомодным жестом, как бы оставаясь в образе, удовлетворенно потирает руки и тянется к стоящему на отдельном столике для инструментов телефону — не столько старому, сколько битому-перебитому, заклеенному скотчем. Одновременно вытаскивает откуда-то из заднего брючного кармана записную книжку, начинает листать, другой рукой, не глядя, снимает трубку... Есть! Телефон летит на пол.

Но прежде чем была снята трубка, прежде чем коснулся пола многострадальный аппарат, раздался звонок — короткий, прервавшийся.

«Алле-о, — по-барски растягивает слесарь, — будьте добры, погромче, у меня... гм-м... плохой аппарат... Да, Виктор Павлович слушает... Кто?! Да слушаю, конечно, слушаю!...»

Прижимая трубку к уху, кряхтя, медленно сгибая и скрещивая по-турец-

ки ноги в отличных фланелевых брюках и домашних туфлях с меховой опушкой, он усаживается на пол — этого требует слишком короткий, перекрученный шнур между трубкой и аппаратом, поднять который уже невозможно, он развалился на части, но почему-то продолжает работать.

«Слушаю, Руслан, — повторяет он время от времени, — да, я тебя слушаю... Ужас... Я понял... Понял...»

Он выходит на улицу — грузный, важный, в дорогом светлом пальто, в хорошей английской кепке — пожилой джентльмен. Запирает дверь, над которой написано «Металлоремонт». Открывает дверцу старого, но вполне приличного на вид Mercedes'a...

Открывает сетчатую дверь старого лифта в старом, просторном, со следами сталинского шика подъезде...

Открывает толстую, красиво обитую дверь квартиры...

Из глубины коридора, спотыкаясь, падая и скользя на животе по паркету, бежит его встречать мальчишка лет пяти — круглолицый, копия дед.

Из кухни появляется высокая немолодая дама, красиво причесанная, в светлом фартуке поверх элегантно темного платья, в туфлях на каблучке.

Из гостиной выходит, катя за собой пылесос, молодая женщина, в джинсах и клетчатой мужской рубашке навывпуск.

Из кабинета, оставив открытой дверь, за которой видны книжные стеллажи и стол с компьютером, делает шаг в коридор мужчина лет тридцати, фамильно круглолицый, в сползших на кончик носа, точно так же, как у отца, очках.

И это все тоже как бы из рекламы или сериала: эпизод называется «Клан встречает патриарха».

А сам патриарх, не раздеваясь, оставляя на полу мокрые следы, проходит в спальню, становится на колени перед кроватью и с трудом вытаскивает из-под нее небольшой старый чемодан — такие были в моде в пятидесятые: черный лакированный, с желтым кожаным кантом по ребрам.

Сев на постель, раскрывает его. Это походный набор слесаря-взломщика — отвертки, сверла, коловороты, клещи и плоскогубцы в ременных петлях и гнездах, ручная дрель, разводной ключ, фомка и гроздья отмычек на проводочных кольцах...

Входит и садится на постель рядом с ним жена. Он делает вид, что не замечает ее, она двумя руками поворачивает к себе его голову — возможно, таким жестом она когда-то начинала поцелуй — и просто смотрит в его лицо.

Он высвобождается, склоняется к чемодану, рассматривает, вынимая, некоторые инструменты, кладет их на место...

На дне чемодана лежит старый альбом в плюшевом переплете.

Жена вынимает альбом, раскрывает на коленях.

И он заглядывает сбоку.

Он видит:

старые черно-белые фотографии,

на одной — застолье в «Арагви», все пятеро еще почти такие же, какими вернулись из армии, он в центре,

на другой — он возле новенького «москвича», на капоте сидит его молодая жена, друзья позируют, как бы толкая машину,

на третьей — он, уже немного погрузневший, с молодыми усиками, держит на руках сына, жена стоит рядом, позади «волга» и недостроенная дача — открытые стропила — посередине пустого, со штабелями досок и грудой кирпича участка,

на четвертой — он, худой и заросший серой щетиной, в эковской телогрейке и мятой ушанке, с узелком в руке, перед воротами лагеря,

на пятой — современной, цветной — уже почти такой, как сейчас, с непокрытой седой головой стоит у небольшого надгробья на заснеженном кладбище, а рядом — трое, тоже старые...

Он закрывает альбом, кладет на кровать.

Закрывает чемодан.

Несколько минут они молча сидят рядом на постели — Виктор и его жена.

В коридоре садится на банкетку возле вешалки невестка...

В кабинете сын сел за стол, достал из пачки сигарету, но не прикурил — невидящими глазами смотрит на экран монитора, по которому бегают заставка: за маленьким человечком бесконечно гонится огромный динозавр...

И мальчишка тоже присел, чтобы деду была удача в дороге, — выкатил откуда-то педальный пластмассовый вездеход, влез...

Виктор садится в машину, перегнувшись, бросает чемодан на заднее сиденье.

Секунду сидит, глядя прямо перед собой.

И уезжает.

Ряды окон на огромном фасаде сталинской высотки, они блестят, отражая свет, и нельзя понять, из каких именно смотрят вслед уехавшему.

Представьте себе — сверкающие стекла шикарной московской новостройки.

А за стеклами длинный коридор, ведущий от холла к холлу, искусственный мрамор, полированный пластик под дерево, искусственные березы в кадках, синтетические ковры, металл под бронзу и через каждый метр светильники в виде факелов над маленькими нефтяными вышками...

По коридору очень быстро идет молодой человек под стать интерьеру — длинное черное пальто нараспашку, черный костюм, черная рубашка, черный галстук, черный cellular держит возле уха. За ним спешат двое почти таких же, только по сложению видно, что охрана.

«Все уже едут, дядя Миша, — говорит молодой человек в телефон, — я тоже еду, вы только не волнуйтесь, дядя Миша, посоветуемся и придумаем, ладно, да?..»

У подъезда стеклянного офиса, среди огромных контейнеров и остатков строительного мусора, стоят два черных, с черными стеклами, угрожающего вида джипа, словно готовые к прыжку ротвейлеры. Молодой человек, подобрав полы пальто неожиданно дамским жестом, садится на водительское место в первый, двое сопровождающих идут к другому, но юноша, высунувшись, решительно машет рукой — оставайтесь, еду без вас. Один из охранников подходит: «Но как же, Руслан Ахметович?..». «Позвоню, если что, — твердо обрывает Руслан, — будьте на связи, keep in touch, ясно? Конкретно на связи...».

Швыряя в стороны грязный снег, Таное берет с места.

Руслан, почти неразличимый в черной одежде внутри черного кожаного пространства — видно только лицо: твердые скулы со смугловатым румянцем, пробивающимся из-под трехдневной молодой щетины, короткий прямой нос, неожиданно пухлые губы, — сует в держатель телефон и, положив левую руку поверх толстого кожаного руля, правой шарит где-то под сиденьем, достает пистолет, несколько секунд искоса рассматривает «настоящего» советского выпуска ТТ, советский кольт.

Почти по осевой, как и положено такой машине, летит, обдавая отстающих дорожной жижей, джип.

Светится космическими цветами приборная панель, блики на лице Руслана скрывают щетину, жесткую линию скул и подбородка, и пухлогубое лицо молодого мужчины превращается в совсем мальчишеское, детское.

Губастый мальчик сидит на краешке больничной табуретки рядом с койкой, на которой лежит умирающий — резиновая трубка капельницы делит пополам то, что видит мальчик: серое, уже почти неживое лицо отца, выпуклый серо-желтый лоб, короткий заострившийся нос...

Подросток на роликовой доске с разгону тормозит перед стоящими посреди заполненной скейтбордистами площади четырьмя немолодыми мужчи-

нами, нелепыми среди этого мелькающего детского сада, ловко выбрасывает из-под себя доску и, держа ее под мышкой, лезет в рюкзак, достает папку, из нее вынимает лист плотной бумаги и гордо поднимает его перед дядей Сережей, дядей Лешей, дядей Витей, дядей Мишей — вверху листа, заполненного по-английски, крупное Certificate...

Уже взрослый Руслан, уже со всеми приметамы удачника нового времени — телефон в руке, охрана позади — идет, проваливаясь в снег, по унылому редколесью, между деревьями видны часто клюющие журавли нефтяных качалок, группа выходит на поляну, где стоит вертолет, идет к нему, лопасти начинают медленно раскручиваться, вдруг Руслан застывает, охранники, недоумевая, останавливаются тоже, внимательный и спокойный взгляд Руслана шарит по вертолету и площадке, будто приближая и увеличивая детали — на снегу следы с противоположной стороны поляны, они обрываются возле стрекозинного хвоста машины, из-под которого едва заметно выступает край прилипшей к нему снизу коробочки, — Руслан падает ничком, прикрыв затылок руками, а взрыв уже гремит, вертолет пылает, летят в небо оторвавшиеся куски обшивки, присев, стоя на коленях, бессмысленно тычут в разные стороны стволами телохранители...

Летит по загородному шоссе Tahoe.

И старенький Mercedes съезжает с кольцевой на это же шоссе.

Harley, строптиво задрав нос и старомодные высокие рога руля, несет наездника, такого нелепого в зимнем русском пейзаже.

Выходит на пригородной платформе из электрички седой высокий человек с длинным футляром в руке.

Грустной и вечной российской стариной отдает картина — серый снег, черные пятна рош, извилистые нитки дорог и кучная сыпь домиков, деревня.

Представьте себе — деревня в Подмосковье.

Именно деревня, а не дачный поселок: черные срубы, прогнувшиеся заборы, облезшая краска на обшитых доской домах, маленькая кирпичная будка «Продукты» с висячим ржавым замком на закрытом засове железной двери. Вроде бы вымерла деревня, ни звука, ни человеческого следа, ни колеи между сугробами. Только стая бродячих псов, лениво обнюхиваясь, крутится у магазина.

В такой же черной, как другие, бревенчатой избе с полусгнившей крышей, посередине заснеженного участка, обнесенного изломанным, как плохие зубы, штакетником, в слуховом кривом окошке какое-то движение, будто занавеску там чуть отдернули — хотя какая может быть занавеска на чердаке брошенного деревенского дома?

Впрочем, и жиденький светло-серый дым поднимается над этой трубой...

И две пары валенок, большие и маленькие, стоят под навесом крыльца...

А если заглянуть в это окно, за эту — действительно, надо же! — занавеску, странную можно увидеть картину.

Мансарда, прямо-таки парижская: хорошие гравюры на гладких белых стенах, книги на полках и стопками на полу, на истертом ковре, заброшенная подушками тахта, небольшой, вроде дамского, резной письменный стол правее окна, на столе старая пишущая машинка с заправленным, наполовину заполненным мелкими слепыми буквами листом. Бледно в ранних сумерках светит бронзовая настольная лампа.

У окна, спиной в комнату, стоит немолодой мужчина, вглядывается в быстро темнеющее пространство.

Хороший некогда пиджак с кожаными налокотниками обвис на сутулой спине, хорошие некогда брюки вытянуты на коленях, он стоит в одних шерстяных носках.

На узком подоконнике перед ним лежит двустволка.

Напряженно смотрит он в окно, сам уже почти невидимый в сумерках — лысоватый, в круглых стальных очках, с короткими, пегими от седины бородой и усами, похожий на либерального американского профессора в исполнении, допустим, Джина Хэкмена.

За окном стреляет выхлопом мотоцикл, рычит мотор джипа, осторожно сигналист, подъезжая, вторая машина...

Мужчина, стоящий у окна, резко оборачивается, уже с двустволкой в руках: за дверью комнаты громко скрипит лестница, ведущая в мансарду с первого этажа.

— Здорово, Мишка, — Игорь входит, оглядывается, не подавая руки хозяйину, не раздеваясь и не выпуская из рук длинного футляра, садится на диван, — ну, пока ребята не подошли, скажи сразу: у тебя с печенью как? Или ты завязал?

Михаил молча прислоняет к стене ружье, молча берет с книжной полки квадратную бутылку, делает большой глоток из горлышка, протягивает гостью.

Лестница скрипит.

— Что я тебе говорил, Леха? Эти скоты уже выпивают, — преодолевая одышку, обернувшись к поднимающимся за ним, говорит Виктор...

...№ 1 давно придумал сюжет и дальше, точнее, даже не придумал, а как бы посмотрел когда-то фильм и теперь время от времени вспоминал его, пересказывал сам себе, но от пересказа к пересказу детали, конкретный фон, тонкости характеров менялись, при том, что общая конструкция, конечно, оставалась неизменной, поскольку менять такую конструкцию — как, например, и конструкцию швейной машинки Singer или пистолета Colt 1911A1 — только портить, проверено временем: совершенство. Но сейчас, пока шла скучная и даже противная застольная беседа, № 1 успел прокрутить только до этого места и выключил проектор, дальше все было ясно, потому что такое начало, как и вообще любое из канонических начал, полностью определяет, что и как будет дальше.

Значит, схема называется «Команда». В нее укладывается все между «Великолепной семеркой» и каким-нибудь «Армагеддоном».

Все такие схемы были прекрасно известны нам с № 1, поэтому всякий раз, когда мы погружались в сюжет, сбегаая таким образом из жизни, отвратительной, глупой и бесцеремонной, как соседка-активистка, — всякий раз не удавалось нам продвинуться до самого конца, последовательно и подробно перемещаясь от картинке к картинке. Увлекательное это занятие через некоторое время теряло свое очарование, превращаясь как бы в обязательку, поскольку канон тем и хорош, что с ним все понятно, качество драматургии гарантировано — но тем же и плох. Покупаешь Levi's 501, свой размер 34x34 — и точно знаешь, что все будет хорошо, удобно и прочно, но уже пятую, допустим, пару просто не замечаешь — оделся, и все.

И жизнь, бесконечно изобретательная в создании дискомфорта, сыпавшая все новыми и новыми мерзостями, обязательно оказывалась сильнее сюжета.

18

№ 1 вернулся в ресторан.

К счастью, обед тут естественным образом завершился, и № 1 (напомним: он по абсолютно бессмысленной прихоти рассказчика называется № 1) порадовался, что временное отсутствие помогло ему все перенести, не потеряв контроля над собой и не нахамив приятелям — увы, в последнее время такое

случалось, а ведь раньше никто даже не представлял, что он может с кем-нибудь поссориться...

Кроме домашних, разумеется.

Но постепенно № 1 стал совершенно невыносим. Задумываясь над причинами этого — видимо, возрастного, вроде склеротических холестериновых бляшек в сосудах — явления, мы с № 1 пришли к выводу, что дело тут не только в изменениях характера самого героя, но и в переменах окружающей жизни.

Получилось так, что человек и время с какого-то момента двинулись в разные стороны, постоянно увеличивая скорость расхождения. Именно: не просто время ушло от человека, что бывает довольно часто и даже с не очень старыми людьми, а они взаимно разбежались, причем скорость упрямого и осознанного бегства человека не уступала скорости течения времени — а оно, следует признать, в описываемые годы несло, как очумелое.

Многочисленные попытки выделить главную причину такого, самого трагического из всех, развода привели к тому, что она была найдена. Внимание! Вот: время безусловно, несмотря на все зигзаги и даже краткие возвращения, вело послушных к жизни в толпе (коллективе, community, соборности, общине), а строптивец все более отдалялся от общности, дичал, отгораживался, будто старался оправдать еще школьную злобную характеристику: «...отметить наряду с этим проявления индивидуализма, высокомерия, противопоставления себя классу...».

Собственно, можно и не продолжать. Можно не вдаваться в объяснения, почему № 1 пришел к выводу, что время, в которое он, по своему невезению, угодил, есть эпоха окончательного торжества количества над качеством и большинства над отщепенцами. Сам № 1 накопил множество наблюдений, убедительно подтверждавших: покончив с самым ярким и отвратительным рассадником коллективизма, человечество немедленно — и даже еще до этого — принялось компенсировать потерю эпидемическим распространением той же болезни, но в латентной, вялой форме. Хамскую рожу, которая есть такой же признак этой инфекции, как «львиный лик» — запущенной проказы, № 1 замечал везде, она то высывалась из-за знамени безусловно гуманистической организации, то кривлялась над трибуной, с которой обращался к миру уважаемый мыслитель и общественный деятель, то пролезала между строк самого интересного современного сочинения. Иногда он пугался: а уж не мания ли у него, уж не сошел ли он с ума, что всюду и во всем ему мерещится кроваво-красный цвет их торжества? Но, как это, впрочем, и бывает с сумасшедшими, немедленно находил десятки логически безукоризненных аргументов, доказывавших, что он здоров и ясен умом. Единственный же его недостаток, из-за которого существование внутри данного времени делалось все невыносимее, — нежелание и даже неспособность № 1 превратиться из целого в часть.

19

Однако вернемся же и мы следом за героем в этот чертов ресторан — кстати, совсем неплохой на фоне бесчисленного количества заведений, появившихся и продолжающих, несмотря ни на что, появляться в бывшей столице мира и социализма даже и после крушения краткого пира глупых победителей. Большею частью новые рестораны в Москве производили на нашего № 1 впечатление неаккуратно сбитой картонно-фанерной декорации с бутафорской едой из папье-маше и идиотскими сценами из оперетки про трансильванских бояр. Он никак не мог поверить, что эту пошлость и свинство можно всерьез сравнивать хотя бы с любой захудалой кафешкой хотя бы в районе площади Италии — ну, не придет же в голову хозяину, какому-нибудь Бернару или, ска-

жем, Полю в пятом поколении, в связи с чем и место называется «У Поля», затащить в зал телегу и использовать ее вместо стола с *hogs d'oeuvres*, эдакую пейзажную пошлятину, или совать в гарнир консервированный горох!

Хотя, подумал № 1, каждый народ заслуживает не только своего правительства, но и своих рестораторов, архитекторов, певцов и полицейских. Не нравилось бы, подумал он, как обычно, старым анекдотом, не ели бы. Собственно, додумал он построение до конца, каждый народ и есть сам себе ресторатор в широком смысле слова.

Тем временем подошел срок расплачиваться, и, после жеманных препирательств с приятелем и пихания каждым денег за всех, № 1 вложил свою долю — дама, понятное дело, не платила, хотя пила, само собой, не дешевую водку, а дорогой мартины. Подавив очередной приступ сожалений; № 1 выполз на воздух, сердечно расцеловался с друзьями и немедленно свернул за угол, чтобы перебить вкус, оставшийся от еды и общения, нормальной рюмкой в одиночестве малюсенькой полустоячей забегаловки, в которой с ним уже давно здоровались.

Здесь нас настигло следующее обострение не прерывающегося, к сожалению, ни на минуту мыслительного процесса, неизменным предметом которого оставался сам № 1.

20

Прогрессирующее ослабление памяти, думали я и № 1, связано не только с вредными привычками (в объявлениях пишут «без в/п», а мы, если бы нанимались в водители «на инофирму», в охранники или в мужья к «молодой сексуальной блондинке с ч/ю, без мат. и жил. проблем», должны были бы написать «с в/о и с в/п») и вызванным ими склерозом, но и именно с разрывом между временем и рассматриваемым субъектом.

На первый взгляд, парадокс, но на самом деле вполне логично. В ушедшем прежнем времени, с которым еще не было таких противоречий, все слилось в ясную, не раздражающую ум картину, где свет и тени распределены нормальным, естественным образом — а потому в воспоминаниях остались только отдельные сцены, пейзажи, ощущения, последовательности же и связи выветрились — незачем помнить то, что полностью подчинено известным и простым закономерностям, достаточно знать сами закономерности. Хранится как бы рассыпанный *puzzle* и общий рисунок, который нужно сложить... А во времени настоящего (как будто бывает искусственное! идиотский оборот) так много раздражающего, задевающего и оскорбляющего разум и вкус, чувства и даже инстинкты, что царапины постепенно покрывают все зеркало памяти, на нем появляются темные ободранные углы, расползаются пятна как бы плесени — сдирается амальгама.

И в результате возникают провалы во времени, а оно смыкается, срывается, поглощая эти разрывы, — и укорачивается, как неправильно сросшаяся сломанная нога. Человек становится хром, ходит медленно, переваливаясь и припадая на плохо сросшееся время, а когда смотрится, бреясь по утрам, в зеркало, видит свое лицо в темных пятнах и провалах, будто уже начавшее распадаться...

Да гори оно огнем, это накручивание метафор одна на другую!
Конечно, грустно.

Быстро прошло все, что не проходило, быстро пройдет и сама эта грусть... Все я забыл... Да и ты ведь забыла? Ладно, оставим. Потом разберусь...

Это начало романса. Ладно... Лучше подумаю о том, решил № 1, беря из рук сочувственно улыбнувшейся ему буфетчицы вторую рюмку, почему так

часто люди, разделяющие — или высказывающие — социалистические идеи, склонны хамить прислуге, не отдавать долги, подделывать документы на подотчетные суммы и пить на чужой счет.

Однако ответ оказался очевидным, попросту лежащим на поверхности самого вопроса, поэтому № 1 рюмку выпил быстро и вышел на мокрую и грязную, как всегда, улицу.

21

На улице, под влиянием окружающего, он вернулся к размышлениям о времени, прежде всего о прошедшем — прошедшем длившемся (Past Continuous), прошедшем совершенном (Past Perfect), ну и, конечно, о прошедшем, черт его возьми, неопределенном (Past Indefinite fucking Tense).

Начнем с длившегося.

То ли так коротка человеческая жизнь, то ли так мало людей живет на земле, но, обратите внимание: вы постоянно встречаете одних и тех же. Начавшись в раннем детстве, приобретение друзей, приятелей и знакомых идет с переменной скоростью — достигает максимума в то же время, когда вы сами находитесь в зените, когда достигли в завоевательном своем походе, подобно Александру Македонскому, границ представимого мира; потом замедляется довольно быстро, сходит к началу старости до нуля, чем, собственно, и можно определить это невеселое начало; и дальше до конца движется в отрицательном направлении через Николо-Архангельское, Митинское, Востряковское и другие пересечения координат... Но пока вы живы, время от времени выплывают из прошлого знакомые очертания, иногда, правда, с трудом узнаваемые, однако присмотришься — нет, даже и изменились мало. Кто-то как бы совсем исчезает, отплывает в невообразимую удаленность, в Австралию или Южную Африку, не пишет, конечно, никогда после первого года, растворяется и стирается из той памяти, которая занята только еще действующими факторами прежней жизни — бывшей женой, которую встречаешь на улице с каким-то нескладным малым, прежним начальником, от которого так нахлебался, что до сих пор вкус во рту, другом, раза три в год наезжающим в командировки и ночующим на диване... Но вдруг раздается телефонный звонок — а то и у двери — и снова длившееся уже однажды прошедшее начинает длиться. В разгар текущего жизненного процесса, в мешанину новых связей, отношений и интересов влетает нечто совершенно постороннее, ненужное, безразличное: твоя старая жизнь. Инстинктивно пытаешься изолировать зону вторжения, не знакомишь с новыми приятелями, разве что близким покажешь: вот, видите, это тот самый, о ком рассказывал, помните, когда в армии служил, он был сержантом... Потом выпиваете вдвоем, после твоего короткого рассказа о теперешней жене и квартире, о нынешней работе и осторожного сообщения о заработках — кто его знает, может, ему не везло все это время — говорить абсолютно не о чем. Женщина в ответ показывает фотографии внуков, а мужчина переходит на политику и, понося начальников, вскользь материт твоего хорошего знакомого, милого и честного парня. У метро вы прощаетесь, но знай — теперь эта тень будет возникать часто, пока снова не рассеется надолго... Надолго. Не навсегда. И, появляясь, это будет все то же длившееся прошлое, а не настоящее, пусть даже досадное, никогда не возникнет снова тех ощущений, которые когда-то давно были испытаны, и даже завалявшиеся по углам разрозненные картинки воспоминаний, на которых вы вместе, не приобретут большей яркости — наоборот, нынешнее изображение заслонит их, размывает очертания, приглушит цвета.

Такова уж эта глагольная форма.

В отличие от прошедшего совершенного.

В нем до поры до времени хранятся именно эти самые картинки, в беспо-

рядке, без всякой последовательности и иерархии прищипленные вспомогательными глаголами. Никакого особого смысла в каждой из них нет.

Вот узкие, потрескавшиеся асфальтовые дорожки, ничем не обрамленные, и нечеткими, изъеденными краями сползающие в пыль, как ручейки, катящиеся от маленькой лужи у забора, а вдоль каждой дорожки, как лес вдоль просеки, стоят заросли таинственного кустарника — или высокой травы? — известного в городке под ненаучным названием «веники», и мальчик в кожаных кустарного изготовления тапочках со шнурками, обернутыми вокруг щиколоток, в коротких брюках-шароварах с дурацким названием «гольф», стянутых под коленками узкой застегивающейся манжетой, в вязкой, обтягивающей узкую грудь и тощие плечи тенниске с длинными острыми углами воротника быстро, уже задыхаясь, уже почти без сил, бежит между пыльных темно-зеленых «веников» по одной из этих дорожек... то ли гонится за ним кто-то, то ли он спешит куда-то по важным и срочным делам... неизвестно...

Вот большая квартира, в окнах сизо-стальной свет раннего, очень морозного рассвета и огненный отблеск встающего в морозе солнца, в квартире спит большая молодая компания, крепко, видать, по молодым их меркам, гулявшая здесь допоздна, здоровый парень, опасно закинув назад голову, свешивается и ею, и ногами в сползших бумажных носках с короткой тахты, две девушки, втиснувшись в кресло и накрывшись пальтишками, обнялись, пара на сброшенных на пол диванных подушках, с головами укрывшись волосатым верблюжьим одеялом, повернулась друг к другу спинами, видно, до ссоры ночью довели неубедительные его просьбы, и так по всем комнатам, а в спальне открывает глаза на хозяйской кровати растрепанный бледный юноша, подслеповато щурится и морщится от подступающей нестерпимой тошноты, осторожно приподнимает стеганое одеяло в пододеяльнике с прошвами вокруг центрального вырезанного ромба и видит с одной стороны хозяйку, по-домашнему спящую в ночной рубашке, а с другой еще какую-то, тоже довольно толстую девушку в шелковой розовой комбинации, поднявшейся, как и рубашка, складками до самой шеи, видит худые свои ноги и закинутые на них с двух сторон крепкие, выпуклые женские — и замуривается, когда взгляд, скользя выше, цепляется за каштановые, черные, пепельно-русые волосы и выше, выше, стараясь не задерживаться, до розово-бежевых кружков, с тех пор всю жизнь напоминавших ему бледные парковые грибы... было это в действительности или приснилось ему новогодним утром?... нет, после празднования дня конституции... нет, все же первого января, наверное... вот он тихо одевается, выходит на пустую, в заледеневших сугробах улицу, быстро идет к остановке, а трамвай уже выворачивает на конечном круге...

Вот сиреневое, запорошенное золотой пылью небо между высокими крышами...

22

Тут № 1, которого мы бессовестно бросили наедине с его размышлениями о времени и временах, решительно и эти размышления прервал, поскольку дальше тоже все было ясно. Я могу коротко пересказать. Значит, коллекция картинок, альбом — прошедшее совершенное. Уже не изменишь, не сотрешь и не подправишь — будет заметно — и выкинуть никогда не решишься. Отбор картинок вроде бы случайный, какие-то лица, пейзажи, компании, города, где с тех пор никогда не был и, вероятно, уже не побываешь, сцены, неизвестно чем начавшиеся и кончившиеся... Однако эта необъяснимость отбора кажущаяся. Если вдуматься, обнаружишь общий принцип: в тот момент, когда картинка отправлялась на хранение, зафиксированное на ней происходило с тобой впервые. В первый раз ты заметил, какое небо над переулком в начале весны, в первый раз испытал утреннее сожаление и испуг, в первый раз почувствовал

свое бессилие перед миром... Первое и хранится, коллекция первых ощущений и остается от жизни, и чем их больше, тем больше сама жизнь.

Небольшое открытие, подумал № 1 и не стал уже углубляться в неопределенное прошедшее, болтающееся где-то между бесповоротно миновавшим и нынешним, залетающее даже в грядущее и потому неприятное, чреватое проблемами. Можно было бы додумать и про него, но ведь опять изобретешь велосипед, откроешь жуткую банальность, как всегда бывает, когда задумываешься о серьезном. Между тем, напомним себе № 1, я ведь настоящий № 1 и, следовательно, должен тратить свои силы только на действительно серьезные вещи, а не на поиски смысла жизни или ее универсального определения. Иначе ничего не успею...

Действительно серьезными вещами № 1 считал те, которыми заниматься приходилось не по желанию, а по необходимости — чтобы заработать на жизнь, и заработать как можно больше, чтобы утвердиться в глазах тех, от кого зависели возможности зарабатывания на жизнь, чтобы в дальнейшем его способность делать нечто, дающее заработок, меньше подвергалась сомнению или вовсе не подвергалась, чтобы в конце концов он и сам поверил в то, что он может и должен зарабатывать все больше и больше...

Короче говоря, № 1 занимался вот чем: он служил начальником отдела в большом учреждении, которое организовывало перемещения различных вещей из одних мест в другие. Это не была транспортная контора, нет — учреждение не имело дела с вагонами, автомобилями, самолетами, кораблями или трубопроводами. Сутью дела было само перемещение в принципе, а уж техническими вещами занимались другие учреждения, с которыми то, где служил № 1, сотрудничало. Оно обнаруживало где-нибудь какие-нибудь имевшиеся там предметы, находившиеся там по природным причинам или изготовленные на каком-нибудь тамошнем заводе, и организовывало отправку этих предметов туда, где прежде их не было. Какие предметы? Ну, бревна какие-нибудь, или песок, или бумажные рулоны с мятыми краями и грязным верхним слоем, или мед в стеклянных банках в виде бочонков, или оружейный плутоний, или мелкие осколки гранита с искрящимися острыми краями, или электронные приборы для измерения небесных координат любого райцентра, или заготовки спичек без серы, или некавалифицированную рабочую силу в количестве восьми человек мужчин с незаконченным средним образованием, отслуживших в армии и до 35 лет... Кстати, люди в терминологии учреждения тоже назывались п. п., «перемещаемые предметы», но, чтобы не возникало недоразумений, обозначались так: п. п. п., «первыми перемещаемые предметы». Или «три пэ». Действительно, людей отправляли раньше горючего сланца крупного дробления или, допустим, наборов кухонной мебели, отделанной резьбой по мотивам национального эпоса, но значения им в учреждении придавали не больше и не меньше, чем любым другим п. п. Во всяком случае, п. п. п. приносили дохода не больше, чем все остальное, а поскольку именно доход был единственным свидетельством того, что учреждение существует — а существование, как известно, есть самая высшая цель деятельности любого учреждения и человека, — то и людям как предметам перемещения особого внимания не уделяли.

Впрочем, именно потому, в частности, что его отдел занимался «первыми перемещаемыми предметами», мы и назвали этого господина «№ 1», а не как-нибудь еще. Понятно?

И вот он ходил на службу и считал это очень серьезным делом, поскольку в зависимости от количества перемещенных отделом «трипов» (от «три пэ», что давало основания называть работников отдела соответственно «триперными», дурная учрежденческая шутка) он получал деньги — и немаленькие, а в удачные месяцы даже очень большие. Размышлял же о прошедших временах, о различных человеческих типах, о женщинах и книгах, придумывал сюжеты и пил водку в кафетериях и закусовых он в свободное время...

Экую же ахиною производит моя голова, снова прервал себя № 1, если дать ей волю! Надо ж выдумать про себя такую чушь... Слушай, обратился он ко мне, кончай эту ерунду, ей-богу, давай лучше займемся чем-нибудь полезным, послушаем, например, что говорят серьезные и умные люди.

23

А к этому времени, надобно вам знать, № 1 уже не шел по залитой грязным талым снегом улице, преодолевая достигающие колен броды у тротуаров и отступая от швыряющих в лицо воду машин, а сидел на большом совещании. Обсуждались направления финансовых потоков, квоты на экспорт энергоносителей, возможности влияния группы N на политику группы NN в области НДС и шансы объединения этих групп в борьбе против коалиции NNN — описываемые мысли посещали № 1 в те времена, когда все постоянно это обсуждали.

Вот и слушай, урод недоразвитый, что настоящих взрослых мужчин интересует, сказал № 1 себе (в полной мере этот совет мог относиться и ко мне), слушай и вникай, может, хоть на старости лет что-то поймешь про жизнь.

Однако, как всегда бывает, когда принимаешь непоколебимо твердое решение, например, бросить пить, оно нарушается сразу же и самым ужасным образом. Напиваешься в лоскуты в тот же вечер... Вот и теперь № 1 немедленно погрузился еще глубже обычного в размышления и фантазии, не имеющие никакого отношения к происходящему вокруг, а именно: он начал думать о сущности любви.

24

И ничего на этот раз не придумал.

25

Потому что № 1 хотел найти общее, идя от частного, а этот проверенный классиками философии метод для решения данной проблемы не применим.

26

Ибо нет одной для всех любви, а только твоя любовь истинна, и любовь есть ты.

27

Если же станешь искать иной любви, то эту убьешь, и будет другая, но той, что была, не постигнешь.

28

Ну, понятное дело, речь о такой любви, которой любят друг друга любовники, родители и дети, наконец, хозяева и домашние животные, а не о любви к родине, партии, товарищам по труду и наставникам — мы не отрицаем существование и такой любви, но оставляем ее пока вне рассмотрения.

29

О Боге здесь говорить вообще не место.

30

Короче, он сидел и вспоминал разные случаи из жизни своей и известных ему мужчин и женщин.

31

Вот однажды некий женатый человек имел связь с чужой женой.

Происходило это, кажется, в небольшом городе на юге страны... у небольшого теплое и очень соленого моря... среди пыльно-зеленых акаций... абрикосов-паданцев, лежащих вдоль дощатых заборов... низких деревянных, в линялой голубой краске домиков частного сектора за этими заборами, которые расходились широкими и кривыми улицами... от огромного завода.. Вот главное, что помню.

На заводе работала большая часть жителей города — делала самые современные и мощные предметы для уничтожения людей, видом напоминавшие, напротив, детородные мужские органы метров по двадцать пять длиной из матово-блестящего титана. Возможно, именно невидимые тени этих баллистических межконтинентальных фаллосов, имевших каждый по два буквенно-цифровых секретных названия, одно из которых было наиболее секретным, лежась на город, наполнили население непреодолимой тягой к плотской любви, причем чаще всего к любви тайной.

Надо ли добавлять, что герои истории тоже работали на этом предприятии п/я № таком-то?

Словом, они лежали в середине дня — хитростями вырвавшись на два часа, он из своего отдела главного механика, а она из четвертой лаборатории, и преодолев почти тюремную проходную — на его супружеской диван-кровати, раздвинутой и застеленной, разумеется, его супружеской простыней, с его супружеской наволочкой на подушке и пододеяльником на одеяле. Лежали, отдыхая после первого лихорадочного раза, в семейной постели, в которой не далее, чем накануне ночью, он занимался тем же самым со своей женой. Точно так же изнемогал, полностью выложившись, старался не закапать простыню — и тогда тоже, к счастью, не закапал — и прятал лицо в сгиб локтя. Точно так же и жена сначала лежала, как мертвая, на спине, потом медленно покатила на бок и свернулась, как креветка, подтянула ноги к животу, потащила на себя одеяло — замерзла. И точно так же он положил руку на ее грудь, прижав к себе ее спину, положил руку, пропустив между указательным и средним пальцами сосок, и начал дремать...

И вот теперь он так лежал, крепко прижавшись к любимой — нет, все же это совсем не то, что накануне ночью, думал он — спине животом, гладил, просунув под мышкой руку, ее грудь, немного теребил сосок, отчего он уже снова начал напрягаться, распрямляться и становился все меньше похож на бежево-розовый парковый нежный гриб (любимое сравнение господина № 1), а все больше на пулю от патрона 9x18 к пистолету Макарова (мое любимое сравнение). Потом он повел рукой вдоль ее тела, добрался до жестких кудрявых волос и начал раздвигать их, разбирать пальцами, а она начала перекачиваться, поворачиваться к нему, оказавшись в результате лежащей на спине, одна нога была закинута на него, а другая, согнутая в колене, упиралась ступней в ковер, висящий на стене над постелью — когда она лежала в такой позе, его руке было удобнее.

Ее глаза, до этого закрытые, открылись и остановились — как всегда от движений его достигшей цели руки. Он заглянул в эти глаза, немного приподнявшись на локте, а потом проследил ее неотрывный взгляд.

Через проем, ведущий из комнаты в прихожую (квартира была так называемая распашонка), она смотрела в полумрак, в котором ярко выделялся светлый прямоугольник: входная дверь была распахнута, и в прямоугольнике чернел контур женской фигуры. Его жена, с утра уехавшая вместе с отделом, где работала конструктором второй категории, на сельхозработы по межотдельскому графику, вернулась, поскольку сильно вступило в спину и продолжать, согнувшись, прополку она не могла.

В результате чего она стояла в полутемной прихожей, механически продолжая растирать поясницу заведенной назад рукой, и смотрела в освещенную через большое окно и балконную дверь ярким солнцем комнату, где на ее простыне лежал ее муж с чужой женщиной, которую она знала в лицо, поскольку иногда встречала в столовой третьего этажа, но имени не знала, и теперь эта незнакомая голая женщина лежала здесь, одной ногой упираясь в чужой ковер, а другую положив на чужого мужа, чтобы его руке было удобней.

А накануне ночью почти так же здесь лежала я, подумала жена, и ей стало ужасно стыдно, как будто это на нее, голую, лежащую на диване, смотрит из прихожей кто-то чужой.

Она повернулась, захлопнула за собой дверь, до того так глупо не запертую любовниками изнутри на защелку или хотя бы цепочку, и ушла.

Она посидела час в жарком сквере — боль в спине, между прочим, почти прошла, или она просто внимания не обращала, а потом решила вернуться. Идти ей, кроме как домой, было некуда, да и посоветоваться, что дальше делать, не с кем, кроме мужа.

Но ни мужа, ни его возлюбленной она, вернувшись, не застала.

Женщина, работавшая старшим инженером в четвертой лаборатории, как только жена ее любовника захлопнула за собой дверь, быстро и молча оделась, вернулась на работу, отпросилась у начлаба уже до конца дня, приехала к себе домой, там немного посидела на стуле, просто глядя перед собой, а потом встала, достала из холодильника и проглотила, мелко запивая водой, одну за другой таблетки из целой упаковки какого-то лекарства, которое она приняла за снотворное, а это было средство, снижающее давление, которым пользовалась ее свекровь. Но до того, как лекарство подействовало, она залезла на табуретку, привязала к решетке вентиляционной отдушины на кухне кусок бельевой веревки, надела на шею петлю и, не переставая беззвучно плакать, оттолкнула табуретку. К счастью, решетка выломалась, женщина упала и сильно ушибла руку — кажется, даже сломала ключицу, уже не помню. А тут вернулся с работы муж, замначальника третьего испытательного стенда, быстро разобрался, что происходит, и вызвал разными способами рвоту, так что таблетки не успели подействовать. В общем, женщина осталась жива, а к тому времени, как вернулась из больницы, где ее лечили тазепамом, отчего она сильно поправилась, муж ее уже договорился со смежниками из одного НИИ под Ленинградом насчет работы, они поменяли квартиру и уехали. Как уж они потом жили, никто не знает.

А неверный муж, оставшись один в комнате со смятой постелью, среди наполнявшего пространство яркого солнечного света, выкурил одну сигарету, оделся, положил в портфель то, что обычно брал в командировку, — ну, трусы и носки, рубашку, свитер, бритву «Нева», зубную щетку и металлическую мыльницу — и пошел пешком на вокзал, там было недалеко. Денег у него хватило на билет только до Харькова, а что с ним происходило в дальнейшем, знал, возможно, только один его друг, которому он написал — просил устроить увольнение заочно, заявление прислал, а на трудовую потом в отдел кадров, вроде бы, пришел запрос с какого-то харьковского «ящика», их там полно.

Друг кому-то рассказывал, что в Харькове мужик пить стал сильно. Ну, удивляться нечему — запьешь после такого...

Что же касается женщины-конструктора второй категории, то она так и осталась в городе, в своем КБ-7. После того, как уехал ее муж, а потом и его любовница с семьей, все постепенно успокоилось. Она радовалась, что детей у них не было, а сама к своему новому положению через год примерно привыкла.

Уже совсем другие люди сбегали среди дня с работы, выбирались через строгости проходной, шли в свои или чужие пустые квартиры ради тайной любви на своих или чужих супружеских простынях. По ночам огромные краны поднимали гигантские титановые дубинки над специальными грузовыми платформами — крыша и стены, имитирующие пассажирский вагон с занавесками на окнах, сдвигались, обнаруживая лежбище для органа. Длинные тени скользили по городу, и все начиналось сначала — поднималось тайное возбуждение, скрывалось за лживой декорацией, военно-промышленные комплексы раздирали души на части.

И обманутая, брошенная и опозоренная жена однажды тоже среди дня бежала, оглядываясь, по солнечной улице, оставляла незакрытой входную дверь в ту самую, где все началось, квартиру — чтобы соседская бабка не слышала открывающегося замка, когда придет ее женатый любовник, он входил беззвучно, и она лежала, упиравшись ступней в ковер, а он иногда незаметно смотрел на свои часы за ее плечом — к трем надо было вернуться на совещание в отделе эскизного проектирования...

32

А то еще был случай: один молодой мужчина решил расстаться с девушкой, с которой до этого прожил три года.

Началось все с того, что он в метро увидел немного прихрамывающую брюнетку. Она слегка припадала на левую ногу, почти незаметно переваливаясь на ходу — такое бывает либо следствием врожденного вывиха бедра, либо вылеченного костного туберкулеза. Он это знал, так как вся его семья занималась медициной: и дедушка-профессор, и папа, и мама, и все дядьки и тетки-профессора. Только он сам в медицину не пошел, вовремя осознав себя слишком легкомысленным для этой суровой профессии, а занялся такой редкой вещью, как сравнительное страноведение (или странное сравнение? забыл), но кое-что из медицинских разговоров помнил, в том числе и то, что такая хромота часто необъяснимым (или объяснимым? тоже забыл, помню только, что об этом как-то упомянула тетка-профессор, один из первых в стране сексологов) образом связана с повышенной против средней сексуальностью. Причем не только половое чувство самого калеки, неважно, мужчины или женщины, сильнее нормального, но также — это известно и из литературной классики — его привлекательность для других.

Что наш искатель приключений испытал на себе почти немедленно после того, как вышел из метро с новой подругой.

В течение следующих двух лет он продолжал это испытывать и узнал много нового про отношения между мужчиной и женщиной. Не только в его собственном — уже немало к тому времени, заметим, — опыте ничего подобного не было, но и в рассказах живых людей или в кино ему не встречалось.

Например, несмотря на легкое увечье — действительно, вывих бедра — она могла уместиться между ним и рулем его «восьмерки», причем ноги ее упирались в потолок, так что со временем на обшивке остались едва заметные маленькие следы...

Да, забыли сообщить: в метро-то он оказался случайно, аккумулятор сел. Будь оно проклято, отечественное автомобилестроение!

...или склониться под этот же руль, так что он видел только жесткие черные кудри, мерно и неумолимо двигавшиеся к педали газа и обратно...

...или провести на мокрой насквозь простыне — когда у них уже завелась арендованная комната в коммуналке и была куплена собственная простыня — шесть часов, не вставая, зато умудряясь сделать так, что все остальные участвующие в процессе не ложились ни на минуту...

...или прийти к нему в страноведческую (сравнительно страноведческую?) контору, быстро переложить все бумаги со стола на подоконник и управиться, пока не вернулся с обеда его коллега...

...или однажды в гостях, куда он, немного поколебавшись, привел ее знакомить с друзьями, на балконе, пока все отвлеклись на важные теленовости, рискуя вывалиться с шестого этажа вместе с гнилыми перилами и почти заглушая стонами орудийную пальбу, доносившуюся от телевизора. Друзья были вполне любезны, но звонить ему на следующий день не стали, ну, и он не позвонил.

Закончила она пару лет назад техникум городского хозяйства и работала в префектуре округа инспектором. Лет ей было двадцать семь.

И вот на третьем году этого распуствия она встречала его у подъезда сравнительного страноведения. Она часто так делала: стояла на противоположном тротуаре, ждала, пока он, попрощавшись с товарищами по сравнению стран, отъедет, развернется за перекрестком, остановится и, перегнувшись, откроет дверь — и мгновенно вдвигалась на правое сиденье. Так она сделала и в тот день, но затем, вместо того чтобы, по традиции, быстро поцеловать его сбоку в угол губ и слегка прихватить небольшой, очень цепкой рукой низ ширинки в качестве приветствия главному члену их тройственного союза — вместо этого она ловко развернулась в тесном пространстве и жестким маленьким кулаком въехала точно в то же место, в которое всегда целовала. Губа его мгновенно онемела, по подбородку потекла теплая кровь, а выходявшие сослуживцы смотрели через дорогу на то, что происходило в машине их непутевого товарища — такого они не ожидали, хотя и прежде встречали его с этой переваливающейся на ходу девицей, удивлялись ее жестокому и пустому лицу, зная его как парня мягкого и вполне интеллигентного, ну, женолюбивого, а кто без греха...

В общем, дело было в том, что она приревновала его к начальнице, доктору исторических наук и доценту, довольно интересной женщине около сорока, но, самое обидное, приревновала зря, честное слово. Просто несколько раз видела их выходящими со службы вместе, а, выйдя в этот день, они еще и поговорили минут пять, а она стояла и смотрела с другого тротуара, как ты, сука, с этой ...ю старой, проституткой ученой, ... уже седая, а туда же, падлы кусок, на палку просится, минетчица ...ая, ну, говори, хорошо сосет? Так она орала, и из машины все было слышно.

Но и это, и распухший на неделю рот, и несколько удивленные взгляды всей семьи, включая жену...

Как?! Разве не было сказано, что речь идет о женатом к тому времени уже почти десять лет тридцатипятилетнем человеке, и что жене его тридцать два, что она кандидат медицинских наук, конечно, наук, диссертацию делала под научным руководством его отца, а работала в области организации здравоохранения? Не сказал? Ну, забыл, значит.

Я вообще многое из этой истории забыл, ушло как-то, расплылось.

Да... Так вот, все это он готов был бы вынести ради того, что продолжало еще несколько месяцев происходить раз-два в неделю между ним и хромой хамкой. Но почему-то возникла в нем после того случая и постепенно стала расти скука, а вот уж скуки, оказалось, он вынести не мог. И все ее акробатические возможности, и способность испытывать любовное счастье непрерывно, по десять — пятнадцать раз на один его, и сама ее адская хромота, так притягивавшая его когда-то, стали скучны.

Со службы он стал уходить в разное время, то раньше, то намного позже, чтобы она не поймала. Научился определять, что звонит именно она, и не брал трубку, а коллега, сосед по служебной комнате, тоже научился определять и из комнаты на время угрожающего трезвона выходил.

Машину теперь ставил в соседнем дворе.

Короче, он ее бросил.

Она подкараулила его у дома тех друзей, на балконе у которых они однажды делали свое дело под телевизионную канонаду, и бросилась на него с небольшим кухонным ножом, но он успел отступить и захлопнуть за собой кодовый замок, а уже в лифте обнаружил, что рукав джинсовой куртки разрезан и торчат клочья и нитки. Потом она несколько раз звонила его жене и рассказывала, где и как именно он ее (хромую) е... . Она рассказывала это также его отцу и один раз дозвонилась до той начальницы.

Беда ее была в том, что ей никто не верил. Возможно, если бы она не звонила, эти люди поверили бы и так, на основании собственных наблюдений, во все, что она рассказывала про него — сослуживцы многое видели, отец сам в свое время был сильно склонен, а жена внимательно посмотрела на руль «восьмерки», когда он утром следующего за мордобитием дня подвозил ее к метро, наклонилась, чтобы ближе рассмотреть все в косом свете, вот что значит настоящая ученая, и вслух удивилась, что ему удалось так хорошо стереть кровь после того, как он приложился ртом об руль, резко затормозив, чтобы не въехать в какого-то чайника... Словом, они бы поверили, не звони она, и не ругайся матом, и не рассказывай такого, что, возможно, и бывает, да о чем никто и никогда не рассказывает.

Хотя, возможно, жена все же поверила.

Есть одно основание это предположить: месяца через два после того, как начались постоянные телефонные звонки в академическую квартиру, хромая работница окружной власти попала в серьезную беду. Возвращаясь часов в десять вечера со службы, где отмечали день рождения супрефекта, и будучи поэтому несколько навеселе, она в своем темном и неблагоустроенном дворе встретила двух мужиков. Уже почти прошла мимо них, по нетрезвому состоянию не придав ничему значения, когда один обхватил ее сзади, пережав горло согнутой в локте рукой, а другой дважды ударил кулаком в низ живота. Она потеряла сознание сразу же, однако, как ей потом казалось, услышала: «Не звони, сучка! Не звони!».

А, может, и показалось спьяну или от боли.

Но, позвонив, когда выписалась из больницы, где пролежала три недели с сильными кровотечениями, еще пару раз, она действительно это занятие бросила. И исчезла, растворилась, как и положено растворяться кошмарам.

А он с женой и сейчас живет мирно и спокойно. Новая любовница скандалить в принципе не умеет, она абсолютно интеллигентный человек, хороший экономист. Она вместе с ним работает в экспортной фирме, в которую он перешел вскоре не только от стыда перед коллегами, но и потому, что за страноведение совсем платить перестали. А с языками у него как у сравнительного страноведа большой порядок, и такие специалисты всегда нужны.

33

И эту историю вспомнил № 1, размышляя о любви, и еще множество других.

Как один девятиклассник очень любил учительницу физкультуры, а спали с нею по очереди все другие девяти- и десятиклассники, и, узнав об этом, он поджег школу, и погибли четверо детей.

Как одна женщина, художница по текстилю, прожила со своим мужем,

преподавателем военной академии, тридцать лет, у них вырос сын, и все эти годы она вспоминала прекрасную романтическую историю их знакомства и первые годы любви и была очень счастлива, хотя вокруг все удивлялись, как она может жить с таким неприятным, желчным и недоброжелательным человеком, а потом он вдруг бросил ее и немедленно женился на молодой бабе с двумя маленькими детьми, которых бывший муж ей оставил, а сам уехал в Петрозаводск с азербайджанской беженкой, баба была очень нехороша собой, бесцветная, как альбинос, и одутловатая какая-то, работала в бухгалтерии, а жила с детьми в пригородном селе, в косой бревенчатой избе, и он, полковник и доцент, там поселился, а художница по текстилю так ничего и не поняла.

Как другие люди тоже были женаты почти тридцать лет, и все считали их изумительной парой, они всюду появлялись вместе, и работали, играли в знаменитом струнном квартете, он на скрипке, а она на альте, вместе, и вообще их нельзя было представить друг без друга, а потом вдруг развелись и судились десять лет из-за имущества, и он всем рассказывал, как она его обокрала, а она — как он лез к ее подруге, но тайком они встречались все эти десять лет, и два часа проводили в постели, а потом он нес в суд новое исковое заявление, а она шла к той самой подруге и долго рассказывала ей, что он всегда был импотентом.

Как двое ужасно хотели ребенка, но ничего не получалось, потому что у нее что-то там было не в порядке, она долго лечилась, лежала на сохранении в лучшей клинике и родила-таки, а когда ребенок был еще грудной, ушла от своего мужа, прекрасного специалиста по рекламе и большого умницы, к известному на весь город придурку, тусовщику и бездельнику, а специалист по рекламе так ничего и не мог понять и долго жил один, давая большие деньги на лечение очень слабенького мальчика.

Как один женатый немолодой человек настолько увлекся дешевыми проститутками, что не только тратил на них весь свой приличный приработок, но и семейный бюджет стал урезать, к тому же приходилось лечиться от разной гадости, которой, несмотря на все предосторожности, время от времени заражался, и вдруг однажды увидел все ясно: тесная комната, не отдохнувшее от одежды сероватое тело, он сам в смешном виде и уродливой позе, и, увидев это, вернулся домой, и поздно ночью попытался отравиться снотворными, принятыми вместе с водкой, однако желудок воспротивился, началась неудержимая рвота, он остался жив, а о девках забыл начисто, именно забыл, будто и не было, и спиртного видеть не может, но жена и дочь так ничего и не поняли, решили, что отравился какой-то дрянью в буфете.

Как одна девочка вышла замуж за человека на двадцать семь лет старше ее, он работал в серьезном издательстве редактором и казался ей, гуманитарной студентке, невероятно умным и образованным, поскольку семья у нее была приличная, но не очень культурная, отец прапорщик, певец в военном ансамбле, а мать бухгалтер, и вот муж начал всячески подталкивать молодую жену, которую действительно очень любил, к интеллектуальному росту, она закончила аспирантуру, защитилась блестяще, поскольку оказалась выдающихся способностей, быстро защитила и докторскую, стала много зарабатывать, ездить по конференциям во все страны, купила для семьи новую квартиру, машину, дачу, а муж все быстрее старился, обнаружилось, что это просто дико неряшливый старик, неодаренный и даже просто глупый человек, и она, не решаясь его бросить из жалости и благодарности, начала заводить одного любовника за другим, так что эта семья постепенно погрузилась во мрак и тоску.

34

Вот что вспоминал № 1, размышляя о природе и свойствах любви. И даже не только случаи из жизни всплывали, но и просто обрывки фраз. Вроде таких: «...девочка моя сладкая... мальчик мой бедный... любимая моя де-

тонька... подвинься, еще подвинься... какая же ты все-таки сволочь... да пошла ты на ... в таком случае... моя родная, милая... мразь ты... в конце концов, ты меня достанешь, я сюда его приведу и спрашивай сам... любимый мой, солнышко мое... раздевайся же, мне в полтретьего надо бежать, обязательно, не сердись, быстрее, милая, я тебя прошу, ну, ну... какое же ты ничтожество...» Как видите, ничего оригинального — да ведь оригинального и не бывает.

Ну-с, спросил себя № 1, и ты будешь утверждать, что такая поганая суета и полное безобразие — и вся любовь?

Нет, отчего же, ответил он себе, пожалуйста: прожили почти до золотой свадьбы, никогда друг другу не изменяли, он подчинялся безропотно весьма вздорному ее характеру, содержал исправно семью и ходил за хлебом утром, до работы, и почти все эти годы жалел, что однажды, в давней командировке, постоял перед дверью, за которой ждала, точно ждала случайная знакомая по гостиничному буфету, веселая крупная блондинка с прелестными глазами невероятного сиреневого оттенка, постоял-постоял, да так и не зашел, и от этого воспоминания на миг возникала такая страшная ненависть к жене...

Так что же, что же это такое, мысленно заорал № 1, как же можно жить в этой жизни, где все, абсолютно все пронизано, словно бетон ржавой витой арматурой, этой проклятой любовью, которую ни теоретически определить, ни эмпирически удовлетворительно описать по основным признакам, ни даже от обратного нащупать — что же, хотя бы, не есть любовь?!!

Успокойся, не ори, мысленно оборвал себя № 1. Ну, нет любви. Можно это вытатуировать на плече. А развитие тезиса в такую наручную татуировку, конечно, не уместится, но его следует запомнить: любви нет, а есть только стремление любить.

От юношеского томления до старческого безумия.

От барахтанья всех со всеми до тонких измен.

И разврат есть не что иное, как попытка покончить с самой этой идеей, с идеей любви, развенчав ее, сделав все, чтобы свести ее к чепухе, к осязанию, но ничего не выходит и у разврата.

Такова любовь, решил № 1 в тот раз, и в природе есть и другие подобные явления. Истина, например, или абсолютный вакуум, или еще какой-нибудь абсолют. Или даже известная каждому дефективному линия горизонта, черт возьми — вот она, но пойдика, достань. Пришел туда, где полчаса назад небо, высокое небо сходилось с грязной землей — да, грязная земля есть, вот тянется полуметровой глубины колея от грузовика и догнивает серо-желтая прошлогодняя трава по обочине, а небо далеко-о, и в нем колышется, расплываясь на волокна, ватный тампон облака.

И № 1 бросил — и на этот раз, заметим, как всегда, ничего не придумав, потому что, повторимся, шел от частного к общему, не понимая, что в данной области существует только частное и мгновенное — думать о любви, тем более, что у него и без того хватало, о чем подумать в свободное от работы (день-то, между тем, вместе с совещаниями и всем прочим, уже давно кончился) время.

35

К примеру, № 1 мог бы обдумать, как должна быть устроена достойная жизнь.

Он и начал обдумывать.

36

Корней — вот чего не хватало № 1 в этой жизни больше всего. И нельзя сказать, что он сильно страдал от их отсутствия. Наоборот, склонен был с не-

которой гордостью и даже самодовольством подчеркивать свою беспочвенность, возникновение из ничего — в основном мысленно, в нескончаемых разговорах с самим собой, а иногда и вслух, но мимоходом, чтобы, не дай бог, не показаться тому, с кем беседовал, самодовольным и приводящим себя в пример идиотом. Но в то же время постоянно ощущал свою неукорененность, считал, что многое в жизни он из-за этого потерял, а если что и приобрел, то вопреки.

То есть корни у него, как и у каждого, были, но он-то не чувствовал их опорой. И если бы ему сказали, что не в отсутствии корней дело, а в том, что по собственной воле он от них отказался, и что укорененные люди отличаются от таких, как он, не качеством корней, а именно своей неспособностью отказаться от родового начала, — он бы стал спорить. Мол, от чего отказался-то? Что было, кроме физиологического акта возникновения, какой heritage — почему-то ему пришло в голову это чужое слово — он получил?

Ошибался, конечно. И более того: даже будь он прав, из этого не следовали бы изначальная ущемленность, худшие стартовые условия. Многие сказали бы ему, что, напротив, будучи перекати-полем, он обладает возможностями, не доступными привязанным к своему происхождению людям. Свобода, сказали бы ему, вот что ты получил, а уж от нее все пошло...

В общем, на вопрос о роли корней как основ личности применительно к собственной жизни № 1 ответить однозначно сам не мог, а соображения других людей ему то казались убедительными, то нет.

Но независимо от этого он часто перед сном думал о жизни, которая могла бы быть, родись он по-другому, в другой семье, или в другом месте, или в другое время. Мысли, ничего не скажешь, глупые, а для взрослого человека даже необыкновенно глупые, но, согласитесь, очень увлекательные.

Он представлял себе, понятное дело, не корни, где-то в подземельной темноте пронизывающие землю и местами вылезавшие на поверхность узловатыми фалангами, а просто фамильное жилище.

Темные углы прихожей, на литых из серого матового металла двойных крюках вешалки тонкий сиренево-песочный пыльник, голубовато-серый коверкотовый макинтош и прорезиненный плащ, черный сверху и в мелкую черно-серую клетку с изнанки,

солнечный столб, протянувшийся, как положено, от окна через всю гостиную и наполненный танцующим воздушным прахом,

сильно скрипящие, но сияющие узкие дощечки паркета,

черная, с красноватым оттенком на закруглениях, резная мебель, шелковая полосатая обивка, вытертая местами до почти полной бесцветности и жемчужного блеска,

разведенные на шарнирах в стороны медные канделябры чуть наклонившегося вперед из-за неровности пола пианино с овальным медальоном на верхней передней деке,

неисправимо пыльные чемоданы с коваными углами на шкафу в спальне,

сам этот шкаф, его мощный тяжелый низ и зеркальная дверь, открывающаяся немного косо, отвисая на ослабевших шурупах длинных петель, при этом в зеленоватом зеркале с широко срезанными фасками едет в сторону спальни, неубранная постель с толстым атласно-голубым горбом стеганого одеяла, выпирающим из ромба посередине пододеяльника,

настежь открытая высокая форточка в уборной, болтающийся перевернутым скорописным «Г» крючок на ней, желтая лакированная подкова деревянного сиденья, цепочка спуска с как бы сложенными вдвое звеньями и фарфоровой грушей внизу, свисающая от чугунного, крашеного шершавым белым маслом бачка, забытый том Жюль Верна в голубом ледерине, стоящий, распушив страницы, на желто-розовых шашечках пола, четвертушками нарванная газета в шелковом мешочке с вышитой болгарским крестом угловатой розой, и шум, доносящийся в тишину дневной пустой квартиры из глубокой про-

пасти улицы, от редко проезжающего двухэтажного троллейбуса, или длинного английского автобуса с тупым носом, или маленького автофургончика с деревянными боковинами, развозящего мороженые торты, или газогенераторного грузовика с высокой как бы печкой и трубой сбоку кабины, или двухцветного, вишневого низ, кремовый верх, лимузина, летящего к стадиону — белые, неразлично крутящиеся обода, мечущий солнечных зайчиков на тротуар хром оскаленного мелкой решеткой радиатора — если лечь животом на шелушащийся белой краской подоконник, все видно, хотя далеко внизу и сплющено...

На этом месте — или немного раньше, или чуть позже, додумав уже до собственных белых носков-«гольф» с кисточками вверх (так никогда их ему и не купили!) — № 1 обычно засыпал, спокойный и почти примиренный с миром, как будто и на самом деле была когда-то в его жизни такая жизнь, как будто и сейчас он может встать, зажечь свет и увидеть все это, оставшееся ему и предназначенное остаться после него.

Но иногда он как-то пропускал момент засыпания, и тогда картинки начинали путаться:

...наплывала большая дача, нагромождение всяких террасок и верхних пристроек, почти скрывших сруб, мягкие желтые сосновые иглы на земле...

...утреннее купе, подстаканники с выдавленными буквами «НКПС» и сильно сужающимся в перспективу паровозом, разрезанные вдоль огурцы и раздавленная яичная скорлупа, мечущиеся под ветром батистовые занавески на стальном, выпадающем из гнезд пруте...

...шоколадно-коричневый автомобиль с круглым тяжелым задом, широкое и высокое заднее сиденье, с которого никак не рассмотреть громко тикающие впереди, рядом с бежевым кругом руля, часы...

А иногда начинали появляться и запахи:

дорожный: сероводородный, угольной вокзальной гари;

праздничный: ванильный, идущий из кухни;

утренний: легкий, приятно пыльный, из круглой картонной коробки с зубным порошком, когда с нее снимается выпуклая крышка;

и так далее.

В этом случае № 1 действительно вставал и зажигал свет, потому что было понятно, что сон уже отступил полностью — запахи воспоминаний свидетельствовали, что перевозбудился.

Вокруг, естественно, не было ни паркета, ни резьбы, ни зеркальных шкафов, а было то, что было. И следовало принимать меры, принимать внутрь — желтых шариков валерьянки горсть, или глотнуть валокордина неплохо, или... Ну, сами понимаете. Конечно же, ничего не помогало, сон исчезал бесследно, а дальше и начинались муки: ну почему же не было этого у меня, и почему же не засчитан мне гандикап, ведь у многих было, а у кого не было такого, было другое, не хуже — сибирская деревня, или лагерный барак, или, допустим, настоящая лубочная коммуналка, с велосипедами и корытами по стенам...

У него же позади была пустота.

Так ему казалось.

Не будем ни соглашаться с ним, ни судить его за такое легкомысленное отношение к своей личной истории, просто примем к сведению: такой человек.

.....

.....

.....

39

40

41

Я опасливо шел по заснеженной и скользкой Москве, еле-еле поднявший-ся утром с жесточайшими болями в правом боку после вчерашнего бессмысленного пьянства, и думал о смерти.

Мысли эти, давно ставшие привычными, не то чтобы пугали и удручали, но придавали дню некоторый дополнительный к декабрьскому отчаянию отенок решимости. В таком настроении — да еще и окончательно не протрезвел — человек способен на многое. Нет, не на суицидную попытку, о которой, конечно, вы прежде всего подумали, на улице самоубийство среднему, психически не совсем бракованному экземпляру в голову не приходит. Скорее вот какое было состояние: ну и пусть! В этом состоянии прежде всего решаешься еще выпить, несмотря ни на что. Затем, выпив, куда-нибудь кому-нибудь звонишь — решив как раз перед тем никогда первым не звонить. Затем еще выпиваешь — благо, теперь у нас в стране для этого подходящих мест хоть залейся и средств достаточно совсем небольших, — и понеслось!..

Так все и случилось.

Он выпил. То есть это я выпил. В смысле, выпил № 1. Поскольку, выпив, я немедленно понял глупость и беспричинность своего решения отказаться от лирического героя и покончить с Номером Первым на исходе уже написанной части текста. Почему? Зачем это надо — отказываться от такого симпатичного лирического героя, кокетливого и безвредного, да еще с таким отличным, удобным номерным именем? Нет уж, пусть № 1 и дальше тащится по страницам, выдумывая всякий бред и начиная его пересказывать, рефлектируя по любому поводу и тут же отвлекаясь, страдая от глубокого сочувствия к себе и натываясь на фонарные столбы... Пусть у него будет собственная какая-никакая история, но пусть в нем легко угадывается и автор — что ж? Разве автор чем-то хуже любого другого и не может быть героем? Такой же человек, как и все, и те же права имеет.

Короче, № 1 шел по скользкому под снегом московскому асфальту и думал о том, что если так пить, то обязательно скоро умрешь, а по-другому он пить не может.

Мысль эта, хотя и привычная, давно лишившаяся первоначальной энергии, когда-то, во времена первых вспышек, в ней заключенной, все же отвлекла от передвижения по пересеченной столичной местности, и пешеход на короткое мгновение утратил необходимую координацию движений. Нога чуть легче, чем следовало, не совсем точно встала на зимнее покрытие родной городской почвы, трение между подошвой — вообще-то нескользкой — и настоящим уменьшилось благодаря тончайшей водяной прослойке и силам поверхностного натяжения... И не успел бывший инженер осмыслить физическую природу явления, как его

повело в сторону,

подбросило,

руки его взлетели, будто он намерился хлопнуть себя в изумлении по бокам (при этом в левой взлетел и тяжелый, внесший дополнительный дисбаланс портфель со всяким газетно-журнальным барахлом),

и всею правой стороной, включая лоб под вязаной шапкой, дужку очковой оправы, бок сверху донизу и колено, несчастный трахнулся о фонарный столб и об укрепленный на этом столбе рекламный щит.

Будьте же прокляты отныне и веки сигареты Sovereign, естественно, подумал № 1, вместе с их английским качеством!

Последствия — частично наступившие сразу, частично обнаруженные вечером, когда разделся, — оказались менее разрушительными, чем могли быть. Очковую дужку он выправил немедленно, зажав портфель между ног: просто разогнул до первоначального вида. Лоб потрогал и убедился, что шишка без царапины и крови нет. Одежду справа отряхнул от перешедшей на нее со столба грязной влаги — почему столб не только мокрый, но и грязный, думать не стал, просто обругал страну. Постоял немного, прислушиваясь к общему сотрясению организма и саднящим отдельным его частям, убедился, что существенных повреждений нет, и пошел дальше осторожно.

Но ход его размышлений после столкновения с реальностью резко изменил направление. И теперь № 1 уже не думал конкретно об алкоголизме, а вообще о жизни.

42

Самой большой загадкой для него — несмотря на вполне зрелые и даже немолодые годы, достигнув которых, люди обычно худо-бедно разбираются в тайнах мироздания и человеческой природы, — оставалось само отделение человека от окружающего. Формулировка невнятная, поэтому попробуем проиллюстрировать ее путем описания несложного эксперимента.

Возьмем человека и посадим его в обычную комнату. Ковер протертый, стол письменный под бумажным культурным слоем, кресла, диван, укрытый пледом, шкафы с прочитанными большею частью книгами, умеренный налет пыли на всем, серый свет из окна... И никого больше нет во всей квартире, кроме нашего несчастного подопытного. Тишина, только иногда за сухой штукатуркой ненесущей стены тихо стонет местное привидение — поселившееся, скорее всего, в старых трубах и забитых мусором вентиляционных ходах. Тишина... Проходит пятнадцать минут, полчаса... Испытуемый пытается мысленно определить свое место во Вселенной. Он вспоминает мелкие подробности давно минувших событий, чтобы удостовериться в своем в тех событиях участии; он прислушивается к перистальтике собственного кишечника, чтобы получить подтверждение физическому присутствию тела в пространстве; он одновременно старается проследить и зафиксировать сами эти умственные процессы, надеясь таким образом уверить себя и в психических проявлениях принадлежащей ему личности...

Истекает час.

После чего несчастный плюет на безрезультатные усилия, придя к твердому относительно себя убеждению, что не существует, что является фикцией, духовной рябью на поверхности всеобщей Пустоты (она же Ничто, она же Все, она же, как считают атеисты, Бог), и идет на кухню варить сосиски.

Тому, чья бездумная самоуверенность подсаживает другой вывод, мы предлагаем проделать описанный опыт над самим собою — и если у него хватит терпения и беспристрастности, он будет вынужден согласиться с нашими заключениями.

Мыльный пузырь, взявшийся из ничего, из мутной жидкости; и вдруг раздувшийся; засиявший всем спектром «каждый охотник желает знать, где сидит фазан»; заключивший в себе строго определенную часть пространства; и поплывший, неся это пространство в себе, по воздуху; озаряя радугой недалекое окружающее; пересекая косой пыльный столб, тянувшийся от окна — и

вдруг погасший; превратившийся в небольшое количество микроскопических брызг; исчезнувший навсегда.

Это вы и есть, уважаемый.

И я.

И мой № 1 тоже.

А скрытое секунду назад в пузырь пространство сольется с пространством общим, присоединится к мировой душе, что и даст нам жизнь вечную, где нет ни печали, ни вздохов.

Так думал наш герой, плетясь по грязи, по снегу, смешанному с грязью и слезами забрызганных машинами девиц. Я растерял, он думал, чувство связи с бесчисленными внешними мирами, что скрыты за сомнительностью лиц.

Вот люди, думал он, они все вместе идут по скользким улицам столицы, а я? Я одинок и людям чужд. Мне это горько? Нет, сказать по чести, ни их миры, ни скучные их лица не входят в круг моих насущных нужд.

Несимпатичны мне их быт и нравы, обычаи и жуткие манеры, хотя я сам недалеко ушел... Да, думал он, друзья, наверно, правы: я полностью утратил чувство меры, и вечно раздражен, и неприлично зол...

Последнее соображение оказалось со сбитым ритмом. Так что, понятное дело, № 1 не мог не зайти в оказавшуюся, как по заказу, на пути закусочную «бистро». После пережитого он особенно осторожно ступил на крыльцо из искусственного мрамора, скользкого и в хорошую погоду, и потянул на себя дверь, на которой так и было написано — «на себя». Конечно, будь он не так раздерган душевно, № 1 обязательно обратил бы внимание на намек, заключающийся в этой рекомендации: мол, тяни, тяни на себя одеяло, занимайся, как привык, только собою, копайся, жалея себя...

Но он, погруженный в свои банальнейшие размышления, казавшиеся ему чрезвычайно глубокими, никакого внимания на надпись не обратил.

43

44

45

46

Обычно он засыпал рано, иногда забыв включить таймер телевизора, и в таких случаях просыпался через два-три часа не только от общеизвестной похмельной бессонницы, но и от раздражающего мигания мертвого экрана.

Тут он ощущал все положенное: если лежал на правом боку — соответственно и боль в правом боку, и пылание изжоги, и особенно отвратительное для лежащего человека головокружение, немедленно вызывавшее мысль о смерти; если спал, пренебрегши традиционными рекомендациями, на левом — удушье и мощное, громкое сердцебиение, заглушавшее телевизионный шум;

если же на спине — то ломоту и особую тянущую боль во всех суставах, будто начинался грипп...

Он отлично знал, что все это вместе не более как симптомы алкогольного отравления, и давно научился принимать меры, которые могли дать облегчение.

Не зажигая света, он хватал лекарства, снимающие изжогу и боль в печени, отвратительные жидкости, имеющие вкус растворенного в кипяченой воде мела. Если сердце прихватывало сильнее обыкновенного, выпивал, чуть разбавив минералкой из стоявшей на полу возле кровати бутылки, валокордин — это было хорошо тем, что давало шанс минут через двадцать уснуть еще на пару часов. Если же, кроме внутренних органов, начинало бунтовать и распущенное сознание, опускал руку за тахту, вытаскивал початую бутылку водки и делал три-четыре глотка прямо из горлышка, в темноте опасался перелить через край стопки, на всякий случай тоже имевшейся поблизости.

А в совсем последнее время появилась еще одна напасть: до пробуждения он успевал обязательно увидеть длинный, весьма связный и жуткий сон. Не Татьянин кошмар с чудовищами и предметом страсти, не добротный сюрреалистический фильмик, которые иногда просматривал в бившей гормонами молодости, а реалистическую чернуху, безысходную и отвратительную, как настоящая жизнь.

Очень часто в сюжете участвовал покойный отец — но он не спасал и даже не помогал, а смотрел нехорошо и иногда говорил что-то осуждающее, как он умел при жизни, резко и обидно.

47

Так как № 1 был склонен и наяву бредить, отключаться, погружаясь как бы в сновидения, называемые им сюжетами (теперь, ради отличия, станем называть их сюжетцами), то собственно сновидения он тоже считал сюжетами, только не сконструированными, как дневные, по известным классическим образцам, и потому даже не нуждавшимися в досматривании до конца — все и так понятно, известно, а неуправляемыми и непредсказуемыми, и, соответственно, более интересными. Беда же состояла в том, что эти сюжеты исчезали бесследно, терялась возможность обнаружить и среди них такой, который тоже мог бы оказаться совершенным и стать новой классикой — он их, как бывает с большинством людей, забывал сразу по пробуждении.

№ 1 уродился, как следует из всего о нем сказанного на предыдущих страницах, человеком рациональным (что не помешало мечтательности как бы художнического склада). Поэтому решение любой проблемы он находил быстро — другое дело, что чаще всего решение это было хотя и логичным, но совершенно невыполнимым. Так и с проблемой снов — он легко додумался до того, каким образом сохранять их: надо только было спать постоянно и во сне же фиксировать видения, с тем чтобы постепенно отобрать из них наиболее интересные и художественно полноценные, способные стать новыми классическими сюжетами, новой классикой.

Другое дело, что решение это никак нельзя было исполнить. Еще поэт хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, однако не получилось. Заснуть без пробуждения выходило только таким образом, что после шло кремление, выдача близким, спустя время, по квитанции, эмалированной урны — и так далее, при полном отсутствии возможности записать сны, отобрав из них наиболее достойные.

Впрочем, кое-что все-таки оставалось в памяти: навязчивые темы и ситуации, повторявшиеся во снах по многу раз, годами. Постепенно они сложились во вполне связную, хотя не совсем реалистическую историю, которой № 1 дал рабочее название «Поезд ушел». Фрагменты этой бесконечной истории он

видел во сне время от времени взброс, возникали варианты, дубли — короче, шел некоторый процесс, очень напоминающий съемку фильма, в которой № 1 однажды неудачно участвовал.

Если бы он рассказал, никто не поверил бы, однако это была чистая правда: иногда ему даже удавалось еще до засыпания привести себя в такое состояние, что он уже наверняка знал — этой ночью съемки продолжатся.

Так он и жил, а поскольку сюжетцы были наиболее существенной и любимой им частью его жизни, а среди сюжетов наиболее перспективными он считал увиденные во сне, а из них сохранилось только бесконечное сновидение под названием «Поезд ушел» — то оно и стало основным итогом прожитого...

В общем, не будем развивать, все и так понятно. Уснув перед телевизором, наш герой № 1 в очередной раз погрузился в очередной классический сюжет под названием «Поезд ушел».

48

Нетрудно догадаться, что именно в нем, в этом сне, и есть весь смысл сочинения о некоем человеке, которого мы назвали «Номером Первым», № 1. То есть подсознательное раскрытие итоговой жизненной ситуации, в которой оказался герой, — а все прочее будет не более чем канвой событий, по которой вышита эта слабо проступающая, как обычно бывает с вышивкой по канве, картина. К этой самой, будь она неладна (не люблю конкретных описаний, вот в чем дело, хотя постоянно приходится ими заниматься), канве мы еще обратимся, а теперь милости просим в сюжет:

Поезд ушел

Со светом у него вообще были сложные отношения.

В сущности, он никакого света не любил — ни яркого, какой бывает в городе весной, с латунным оттенком, слепящего, приводящего животных и молодых людей в возбуждение, ни рассеянного, бледного, равномерно идущего из-за облаков, который обычно разливается за окном по утрам и угнетает еще не включившуюся в жизнь психику, ни сильного искусственного, особенно того, который называют дневным и любят устраивать в производственных помещениях, где лица становятся сиреневыми и на них проступают все красные пятна и старые шрамики, ни обычного электрического, желтого, режущего глаза и почему-то наводящего на мысли о болезнях и слабости...

В общем, он не любил свет, идущий от далекого источника или многих источников, расположенных так, что освещение делалось ровным и всепроникающим, тени укорачивались или вовсе исчезали — такой свет, от которого негде было укрыться. Эта его нелюбовь, уже понятно, объяснялась той же причиной, по которой не любят такой свет состарившиеся или просто плохо выглядящие женщины: все недостатки, морщины и дефекты кожи, просвечивающие лиловые сосуды и темные точки в порах при таком освещении становились не просто заметны, а только и оставались заметными, собственно же облик человека — выражение глаз, черты лица — расплывались и делались почти неразличимы. Не то что он придавал такое уж первостепенное значение своей внешности, опыт научил его спокойствию и даже внушил некоторую самоуверенность, выражавшуюся в словах «и так сойдет». Но расщепление видимого мира и, в частности, той его части, которую он привык называть «я», на множество мелких и царапающих глаз деталей, исчезновение поверхностей, проявление крупного зерна и неровного цвета раздражали, томили и без того большей частью беспокойную душу.

Поэтому в его доме было полно настольных и настенных ламп, ночничков,

всяких подсветок, а под потолком лампа была тусклая, да и та почти никогда не включалась, и плотные шторы на окнах открывались редко.

Однако теперь шторы были широко раздвинуты вместе с полупрозрачной белой, потемневшей от городской пыли узорчатой сеткой, водевильно называвшейся «тюль», и проклятый свет наполнял всю комнату до самых дальних ее углов. Он чувствовал, как свет течет на лицо, проникает в кожу, разъедая ее, превращая в кашу из неровно отросших волосков, шелушащихся складок, мелких черных точек в порах и красноватых, воспаленных бугорков, между которых проступают багровые прерывистые спутанные нитки сосудов.

В комнате было холодно, и, как всегда, казалось, что и холод этот возникает от света, от сплошной этой пакости, выживающей его из последнего убежища — из привычно пыльной, такой теплой по вечерам, такой надежной комнаты. Сейчас пыль, и какие-то ошметки на ковре, и царпины, и трещины, и пожелтевшая бумага обоев стали безобразны и даже вызывали страх: казалось, что вот-вот все это рухнет, рассыплется, превратится в кучу мусора, и тогда уж свету ничто не помешает добить его. Собственно, подумал он, я потому и ненавижу свет, что это угроза. От света все распадается, и я распадаюсь тоже, и сейчас эти обои, и все в прилипших волосах сукно письменного стола, и мое лицо, и покрывшаяся от холода гусиной кожей худая левая рука, которую пришлось вытащить из-под одеяла, чтобы посмотреть на часы, — все исчезнет.

Тут появилась жена.

Вернее, она не появилась, она и до этого была рядом, тоже лежала под одеялом, но он как-то не заметил ее. Несомненно: это была его первая жена, с которой познакомился еще в детстве, в тринадцать лет. Но, поскольку после нее и другие жены — он точно знал — существовали, и даже одна была тоже где-то здесь, в комнате, стояла, глядя на них с женою сверху, то никак не удавалось припомнить имя этой, которую стал будить, привычно злясь из-за ее способности крепко спать при любом свете допоздна. Так и не вспомнив и зная, что из-за ошибки начнется ссора, он обратился к жене другим именем, назвав ее так, как звали ту, что глядела на них сверху. Жена раскрыла глаза и зло засмеялась ему в лицо: «Мы все равно давно опоздали, — сказала она, — ты же говорил, что проснешься рано, а сам спал и спал, я давно проснулась, а ты все спишь, и мы не успеем собраться».

Что время позднее, он убедился, посмотрев все же на часы, свои большие старые часы, ремешок которых свободно болтался и крутился вокруг запястья, так что пришлось долго водить рукою по одеялу, по шершавому истертому одеялу с двумя поперечными полосками в ногах, которым он укрывался в армии и однажды в больнице, где лежал с инфекционной желтухой после третьего курса, — долго водить рукою, пока ремешок не повернулся и часы не оказались на месте. Ему показалось, будто за ночь, как это нередко бывало, часы остановились, но секундная стрелка двигалась, и выходило, что уже семь вечера, хотя по освещению было похоже на утро.

Тут же они все стали складывать вещи, чтобы ехать в Москву — сначала поездом до Харькова, а там уж пересесть на самолет Ли-2, с алюминиевыми лавками вдоль, в выемках которых сидеть холодно, твердо и скользко.

Вещи складывал отец, как всегда. Несмотря на холод — уже пошел снег, от которого свет стал еще более серым и противным, и не хотелось вылезать из-под одеяла, и одеваться не хотелось, тем более не хотелось надевать совершенно не по сезону черную с белыми узорами тубетейку, над которой все в школе смеялись, — отец был в тенниске и сандалиях. Отец стягивал чемоданы поверх чехлов брезентовыми ремнями с деревянными ручками, а мать сидела в нашем покосившемся кресле-качалке, которое жена потом отвезла на дачу, и все смеялась, повторяя, что не надо столько спать, и, главное, что если уж спишь, так не надо говорить, что проснешься раньше всех.

Конечно, это была мать, а не первая жена, потому он и не смог вспомнить

ее имя. А первая жена толкалась тут же, помогая отцу стягивать ремни, принося что-то из кухни, куда надо было идти через длинный общий коридор, поэтому она стеснялась, что выходить приходится в одной ночной рубашке. И матери было неловко на нее смотреть, она все смеялась — не надо столько спать, ты же жалуешься на бессонницу, а сам проспал Царствие Небесное — мать все повторяла и смеялась, а на самом деле старалась не смотреть на первую жену, чтобы не обнаружить, как она ее не любит.

Он-то знал, что на самом деле мать больше не любила другую жену, ту, которая смотрела на них сверху при пробуждении — за холодность и скрытность, за расчетливость и высокомерие, которые действительно в характере той жены присутствовали, но не в такой степени, как матери казалось. Но главное заключалось в том, что неприязнь матери к другой жене жена первая сейчас ощущала как неприязнь к себе, и поэтому вдруг заплакала, вместо того чтобы просто надеть что-нибудь поверх ночной рубашки и тем самым разрядить ситуацию.

На вокзал ехали восьмым троллейбусом, вернее, пятым, который поворачивал у восточной проходной на Парковую, потом шел по Кировской, а восьмой проезжал еще две остановки и только у кладбища уходил налево, на Краснодонскую — но ни тот, ни другой до вокзала не доходили, предстояло еще как-то добираться потом, а он забыл, как. В троллейбусе было тесно, их разделила толпа, отец стоял далеко впереди, в узком месте у кабины водителя, так что всем мешал своими чемоданами. Матери вовсе не было видно, либо ей кто-то уступил место и она сидела, либо она вообще не поехала этим троллейбусом, даже скорее всего не поехала, потому что уже стало известно, что отец будет встречать ее в Харькове, когда вернется из этой командировки, в которую сейчас его провожали.

Жена в дорогу оделась, как всегда, нелепо. Зачем-то натянула берет, который носила еще в школе, да хорошо, если б натянула, как раньше, а то просто косо прикрыла им голову, как тарелкой. Именно по этой манере носить берет он и понял, что едет другая жена, а та осталась вместе с матерью, и он даже сообразил, почему: она так ничего и не надела вместо ночной рубашки, потому что мать уложила всю ее одежду в большой чемодан еще до того, как отец стянул его ремнями.

Поскольку жена была в одной ночной рубашке, то ничего не мешало потихоньку, незаметно для всех — только мать, наверное, догадалась и даже что-то заметила, но это не имело значения, так как мать осталась дома — задрать эту рубашку, смяв ее в гармошку над грудью, и заняться с женою тем, чем они занимались почти непрерывно со дня его возвращения из армии. А место для этого он выбрал отличное: на задней площадке троллейбуса поручни образовывали небольшой треугольный закуток, он, как делал всегда, если другой мальчишка не поспевал раньше, пролез под руками взрослых и под самими поручнями, с которых слой хрома слезал острыми струпами, открывая ржавую трубу, и устроился в этом закутке отлично, так что еще осталось место жене, а из-за толкотни их никому не было видно.

«Я оближу, — сказала жена, — здесь же негде помыть».

Ему очень не хотелось ехать поездом до Харькова, он знал, что в поезде его будет тошнить от паровозной гари, мелкие черные кусочки которой влетают в окно и остаются на белой наволочке, и въедаются в лицо, особенно в складки у крыльев носа, которые уже давно стали очень глубокими, и делаются с каждым годом все глубже, и наутро после выпивки краснеют и шелушатся. Его вообще тошнило от любых сильных запахов и укачивало в троллейбусе, который все крутил и крутил по извилистому шоссе от Симферополя до Ялты, а он еще не совсем отошел от самолета, где его тоже сильно укачало и даже стошнило в темно-коричневый бумажный пакет, так что карамель «Взлетная» прямо вылетела в этот пакет целая.

Мать резко и коротко крикнула на отца за то, что он уже застегнул все ремни, а теперь снова придется все распаковывать, потому что и одежда жены, и жакет матери, в котором она собиралась ехать на похороны, были в чемоданах, одежда жены в большом, а материн жакет в меньшем, чешском. Отцу пришлось все открыть и вынимать все вещи, и оказалось, что посуду уложили, не вымыв как следует.

«Если вам было трудно вымыть посуду, — сказала мать жене, — вы бы сразу отказались, и я прекрасно все сделала бы сама».

К первой жене она обращалась «на ты», потому что знала ее тринадцатилетней девочкой, а к другим «на вы», потому что знакомилась с уже взрослыми женщинами, но сейчас, раздраженная дурацким беретом и грязной посудой, стала говорить «вы» этой жене.

Он расстроился, предстояло ехать на похороны, а мать, как всегда, затевала скандал, в троллейбусе уже все оглядывались на них, жена одернула рубашку, и он, весь липкий из-за того, что жене врачи запретили предохраняться, и она просто отдергивалась от него в последний момент, стал помогать отцу. Он сразу нашел платье жены, толстое зимнее платье с длинной молнией спереди, к движку которой он сам приладил большое металлическое кольцо, как на моделях Кардена из журнала Рапогата, это кольцо отец принес с завода. В толстом платье живот почти не был заметен, но мать заставила жену сесть, уступив ей свое место, а сама стояла, глядя прямо перед собой в окно троллейбуса, и держала жакет, вывернув его наружу шелковой подкладкой, переброшенным через руку. Ей было жарко, и сильно поредевшие за последнее время ее седые кудри взмокли от пота.

Под его правые ребра кто-то сильно уперся чем-то твердым, стало неудобно и даже больно лежать, во рту появилась привычная горечь, и, пока изжога не разыгралась в полную силу, он поспешил повернуться на левый бок. Сразу стало легче, особенно когда он подтянул колени к животу, приняв известную каждому язвеннику позу эмбриона. Да и теплее от этого стало, и, чувствуя сквозь опущенные веки синие вспышки взлетающих и опадающих за вагонным окном длинных полос, в которые сливались станционные и складские огни, он снова уснул.

«Ну, вставай, сынок, — сказал отец ласково, и он удивился: отец редко его так называл, только в каких-нибудь особых случаях. — Вставай, еще собраться надо, а в семь поездов».

Он тут же вспомнил, какой особый случай — похороны, до Харькова они доедут поездом, а там знакомые отца, какие-то «харьковские смежники», часто упоминавшиеся в разговорах, посадят их с матерью в самолет, который как раз летит завтра. Он знал, какой это будет самолет: Ли-2 с алюминиевыми продольными сиденьями, разделенными на места-выемки, холодные, твердые и скользкие. В Харькове в него погрузится много мужиков в меховых куртках, штанах и унтах, весь проход заставят огромными деревянными, покрашенными темно-зеленой краской ящиками, некоторые мужики будут на них сидеть всю дорогу до Коровина Луга, и на них же поставят бутылки и консервы, а ему с матерью уступят выемки впереди, у самой двери в кабину, закрытой изнутри двери в рядах заклепок.

Жена опять заплакала, и он подумал, что, наверное, она искренне жалеет о смерти отца, но все равно не стоило бы ей все время плакать, потому что это не такие слезы, которых невозможно сдерживать, а если так, то и следует сдерживать, потому что уже не дети — плакать сверх неизбежного.

Отец лежал на левом боку, подтянув колени к животу в позе эмбриона, поэтому было понятно, как страшно жжет у него внутри. Голову отец сдвинул с подушки, почти свесив ее с кровати, и смотрел снизу почти с обычным своим выражением внимательного слушателя, так что необходимо было что-нибудь сказать.

«Держись, дед, — сказал он, — держись, скоро сестра придет, сделает укол, поспишь. Я тебе еду в холодильнике оставил, скажешь сестре, она тефтели разогреет».

Не выживет, подумал он, на этот раз не выживет, слишком плох.

Запах паровозной гари стал невыносимым, потому что поезд шел на подъем, и мимо окна неслась широкая полоса черно-желтого дыма, разделяющаяся на рваные хвосты в жарком дневном воздухе. Выеденные до зелени арбузные и дынные корки лежали на газете, постеленной поверх железнодорожной салфетки на столик, и зелень их была вся в зубных выемках. Изломанные конструкции куриных тонких костей громоздились, как уцелевшие при пожаре стропила. От одного края столика к другому, упираясь в невысокие металлические борта под салфеткой, каталась заткнутая серой резиновой пробкой баночка от пенициллина с косо стекающей внутри солью. Отец спал на верхней полке, закинув за голову голые руки с толстыми жилами, и ветер из окна шевелил волосы у него под мышками, а натянутая лямка голубой майки вздрагивала под этим ветром.

Ему стало ясно, что после похорон отца уже больше никогда не увидишь, и он стал внимательно и запоминая рассматривать лицо старика, но это уже было почти неузнаваемое лицо, за две недели последней болезни отец еще больше похудел, а пятна зеленки на лбу и щеках мешали увидеть то, что осталось не изменившимся.

Потом собрались идти в парк за Домом офицеров.

Снова он мучался обычными сожалениями: наговорил кучу ненужной ерунды, эти откровенные рассказы о себе оставили, как всегда, отвратительный осадок, он ловил снисходительные взгляды и понимал, что они правы — над такими болтунами, которые готовы поделиться с кем угодно своими переживаниями, все справедливо посмеиваются. Тем более что никому такие признания не нужны, у каждого есть что рассказать свое, но ведь сдерживаются.

И жена, стоя у постели и глядя на него сверху вниз, сказала, что лучше бы он, чем идти с кем попало, только позовут, пить, собирался, потому что времени уже осталось совсем мало.

Ему пришлось бежать.

Сначала бежалось легко, и он испытывал даже удовольствие от бега. Он сбежал по старой лестнице, с глубоко вытертыми выемками посреди бетонных, с вкраплениями каменной крошки ступеней. На некоторых маршах деревянные перила были оторваны, остались только железные полосы на железных же штырях, некоторые из которых были погнуты так, что между двумя соседними образовался довольно широкий проем, и он мгновенно сообразил, что погнули штыри такие же мальчишки, как он, чтобы перескакивать с пролета на пролет, потому что съезжать по сорванным местами перилам было невозможно. Наверное, поэтому мать и тетка, подумал он, запрещают спускаться по лестнице одному — боятся, что он тоже полезет в такой проем и сорвется. Но ему и самому было страшно лезть, даже думать об этом, глядя в узкую и глубокую щель между пролетами, было страшно. И он побежал дальше, старательно смотря под ноги, чтобы не оступиться на стертом бетоне. Голова уже немного кружилась от мелькания каменной крошки, и он бежал, держась на всякий случай ближе к стене.

Внизу, в подъезде, было сыро, и из спуска в подвал возле черного хода шел пар, пахло баней и глиной.

Тут он увидел, что спускался зря: парадная была закрыта изнутри на длинную железную петлю, накинутую на скобу, сквозь которую проходила толстая подкова запертого висячего замка, а черная дверь, он знал, была забита снаружи досками-горбылем с огромными загнутыми гвоздями.

Вместе с женою он метался в подъезде, понимая, что последние минуты уходят, и они уже наверняка опоздают.

Они стали прощаться.

Жена снова заплакала, но он уже не останавливал ее, на этот раз ему было все равно, да и причины искренне плакать у нее теперь появились, подумал он.

«Уже ничего нельзя наладить, — сказал он, — теперь уже ничего не получится. Уже неважно, кто виноват, сделать ничего не удастся, даже если мы оба захотим. Постепенно привыкнем...»

Жена продолжала тихо плакать, сидя на последней ступеньке лестницы, и на пыльном бетоне у ее ног появилось мокрое пятно. Он впервые видел, чтобы от слез было такое пятно, но не испытывал гордости от того, что так плачут из-за любви к нему, хотя боялся испытать ее. Но он уже думал только о том, как вернуться из этого подъезда.

Кто-то — он забыл, кто — открыл парадную дверь, висячий замок оказался странной конструкции: надо было просто потянуть его на себя, и скоба, на которой он висел, проходила сквозь его подкову свободно, какой-то фокус.

Теперь предстояло бежать дальше, потому что времени оставалось в обрез. Он побежал дворами, дорогу он знал хорошо.

Это были хорошие дворы больших каменных домов, стоявших вдоль большой улицы, обнесенные высокими, в хороший рост, заборами из стальных прутьев, а не дощатыми сквозными, называвшимися «штaketом», как дворы бревенчатых барачков в переулках вокруг. Даже помойные ящики в этих дворах были из железных листов, ржавых и сизых вдоль сварных швов по ребрам, бугорчатых и неровных швов, похожих на плохо зажившие шрамы. Все дворы были асфальтовые, и в центре каждого двора возвышался плоский холм бомбоубежища, на холм вела железная лесенка с дырчатыми, отполированными и скользкими ступеньками, а на плоскогорье в тонком слое привезенной грузовиками земли росли серо-зеленые березки и стояли вокруг сырой песочницы садовые гнутые скамейки с чугунными боковинами и сплошными сиденьями и спинками из толстых выпуклых палок в белой облупленной краске.

Дворы соединялись один с другим низкими квадратными проходами глубиной в дом и высотой до второго этажа, и так шли до самой рыночной площади, переходя один в другой и прерываемые поперечными улицами, а дальше, от рынка до самого вокзала, были уж одни бревенчатые бараки, и палисадники с низкими штaketами, и желтые круглые цветы золотых шаров, и герань цвета фашистской формы в окнах, и полукруглые деревянные ворота посреди длинных лабазов, и старый одноэтажный кинотеатр, и высокий глухой забор металлобазы, и потом уже железнодорожные постройки, и вход в кольцевое метро, и терема самого вокзала.

Вот по дворам больших домов он теперь и бежал, уже задыхаясь и больно ударяясь подошвами об асфальт, шлепая в проходах по никогда не просыхающим лужам, оббегая бомбоубежища и напрямую пересекая узкие и темные поперечные улицы, а свет от большой улицы падал в то время, как он пересекал поперечные, справа, и иногда в свете фонаря ложилась во всю длину поперечной мостовой тень липы, стоявшей тоже там, на главной улице.

Он знал, что все равно опоздает, но в то же время знал, что остановиться никак нельзя, ни в коем случае, надо бежать, хотя часы показывали, что уже поздно, но почему-то была уверенность, что часы спешат и сильно врут. Ноги пока не устали, но в правом боку, под ребрами, кололо, и воздуха все сильнее не хватало, и никак не удавалось дышать равномерно, вдохи и выдохи были короткие и сбивчивые, он понимал, что с таким дыханием долго бежать невозможно. Перешел на быстрый шаг, но тут же снова побежал — шаг получался не быстрый, а медленный, потому что сразу почувствовал, что уже и ноги устали тоже, и захотелось вообще остановиться, сесть на асфальт, даже лечь и полежать на этом прекрасном, совершенно здесь сухом асфальте.

Теперь он бежал, как бы падая при каждом шаге вперед, так получалось

вроде бы легче, но подошвам было еще больнее. Однако по-другому бежать было уже просто не под силу, он совсем выдохся, и в правом боку кололо все сильнее, и что-то там екало на бегу так, что ему казалось, будто этот звук разносится на весь гулкий двор и отдается эхом от стен прохода.

В конце концов он не выдержал и двинулся шагом, стараясь все же идти быстро и из-за этого постоянно спотыкаясь и сбиваясь, проскребая подметкой. Но дыхание не успокаивалось, а движение замедлилось настолько заметно, что он опять не выдержал и побежал. К его удивлению, теперь стало немного полегче, как будто он успел отдохнуть, и он, почти не думая об усталости, пересек один двор, второй, третий, поперечную улицу, выбежал на маленькую и ужасно грязную, как деревенская, площадь перед рынком.

Здесь его должны были ждать, он знал точно, потому что был уговор, о котором он только сейчас вспомнил.

Он остановился, всмотрелся в темноту.

Чуть более темный, чем тьма вокруг, силуэт человеческой фигуры маячил метрах в тридцати, ему показалось, что это женщина в темном пальто или макинтоше, чего, собственно, он и ожидал, и потому быстро двинулся в ту сторону. Пришлось сойти на мостовую, так как женщина стояла — вернее, прохаживалась, делая пару шагов в одну сторону, резко поворачиваясь и делая пару шагов назад, как обычно поступают нетерпеливые ожидающие — прямо посреди перекрестка, и над ней болтался на перекрещивающихся проводах погашенный к полуночи светофор.

Когда он приблизился к ней настолько, что мог бы разглядеть даже в темноте лицо, она в очередной раз резко повернулась и пошла прочь — именно не сделала несколько шагов, как до этого, не остановилась и не повернула обратно, а стала быстро удаляться. Теперь, если бы продолжать идти за нею, получилось бы, что он ночью преследует женщину, и она вполне могла закричать, а он никак не мог допустить никакого шума, потому что это было бегство, бегство, тайное ускользание от того ужасного, что осталось в сыром подъезде, запергом и заколоченном. Ему пришлось остановиться, а фигура вдали становилась все менее заметной, сливалась с темнотой, уходила, и он понял, что никогда уже не догонит ее, не узнает, кто вывел его этой ночью из дому.

К счастью, комната оказалась гораздо меньше, чем ему сначала померещилось со страху. Позади кто-то щелкнул выключателем, и сильный свет из-под потолка залил все, так что тьма, которая скрывала перекресток и уходившую женщину, сразу разлетелась в осколки, мелькнувшие у него перед глазами, как бывает обычно, когда в полной темноте включают яркий свет, и осколки эти исчезли, и, привыкнув к освещению, он увидел, что не так уж далеко женщина и ушла — во всяком случае, он вполне мог рассмотреть ее и узнать.

Женщина стояла в дальнем углу и глядела в окно, повернувшись к комнате спиной, так что видна была только короткая прическа, концы недавно остриженных волос мерцали огненными точками, плечи под темным свитером и концы пальцев — она обхватила себя за плечи руками. Лицо ее отражалось в темном оконном стекле, но разглядеть его было невозможно, да он и не пытался, он и так узнал ее. Когда-то, очень давно, у нее было гладкое, обтекаемое, как у морского существа, тело, маленькая грудь сходила к животу и плечам плавно, не было явной границы, и широкая талия скрадывала очень широкие бедра, и живот уравнивался тяжелыми ногами, а ступни были короткие, широкие и ровные, будто пальцы ног подравнили по линейке, а руки, очень полные вверху, сильно сужались к маленьким кистям — и он говорил ей, что она похожа на девушек Майоля, но иногда называл ее тюленем, и это было более точно, у нее и лицо было тюленье, с довольно большим тупым носом, маленьким круглым ртом и немного скошенным подбородком, а глаза были яркие, темные, но небольшие. Ей не хватало только усов — вернее, и усы у нее были, заметный против света пушок, но маленькие для настоящего тюле-

ня. Она жила на юге, никаких тюленей там никто никогда не видел, про Майю тоже слышали не все, поэтому ее считали просто очень симпатичной, и этим отчасти объясняли известное многим небезупречное ее поведение.

Она действительно была очаровательна. Тогда ей приходилось много плакать, и, кроме того, тюленья ее сущность вообще проявлялась во влаге: круглый рот был влажен, пот легко выступал на ее круглом животе, а ниже влага появлялась сразу, и ее становилось все больше, так что простыни намокали с самого начала, и потом было не понять, кто же их сильнее намочил.

Он сразу вспомнил все это, глядя на ее спину, вернее, он никогда этого и не забывал, только вспоминал редко и во сне.

Тут же он вспомнил, что уже давно, лет через пять после того, как он перестал называть ее девушкой Майюля и тюленем, она — ему рассказывали — очень растолстела, родив подряд двоих детей, стала весить больше ста килограммов, что при ее небольшом росте было чудовищно много, но поскольку такой он ее никогда не видел, то и сейчас она оказалась нормальной, так что он ее сразу узнал со спины по короткой стрижке и маленьким кистям рук, которыми она обхватила обтекаемые плечи под свитером.

В комнате горел яркий свет, и поэтому было очень холодно, перекрестки почему-то всегда продувает, скрещиванье плоских дорог создает сквозняк, будто не дороги это, а трубы, подумал он. Женщина все стояла, не оборачиваясь, словно не слышала, как он вошел. Ему это показалось странным, тем более что вовсе не она так стояла у окна спиной к комнате, не оборачиваясь, а совсем другая женщина, через очень много лет, когда эта уже давно растолстела и исчезла, никто о ней даже не рассказывал. Но она все стояла, глядя в темное окно на свое отражение, так что понемногу он начал сомневаться, она ли это, или та, другая, появившаяся годы спустя.

Мать торопила на самолет, хотя еще оставалось полно времени, а до аэропорта ехать было не больше получаса, и вещи все давно были сложены в небольшой чешский чемодан, тот самый, который набит старыми журналами и уже несколько лет стоит на шкафу в прихожей. На женщине было длинное и узкое пальто с пушистым меховым воротником, мать низко на лоб, по-татарски повязала платок, как стала повязывать еще совсем молодой женщиной, ей и сорока не было, а она уже считала себя старухой и вовсе не думала о том, нравится ли это отцу — вообще об этом никогда не думала.

Чтобы подавить раздражение против матери, он напомнил себе, как сочувственно она относится к этой женщине, но обида за отца заставила его признать, что и с женщиной мать добра только назло жене, а с женой вообще получилось нехорошо, так что надо было действительно спешить, жена уже давно уехала и, наверное, сейчас волнуется.

Кошмар заключался в том, что машину вести было некому, отец тоже уехал, да если бы он и остался, помощи от него, собственно, не было бы, только, может, уверенности побольше. Но дорога была совершенно пуста, и он решил. Всю последовательность действий он помнил прекрасно, машина медленно поехала, и он решил так дальше и ехать, тут недалеко, вполне успеет, а ехать оказалось совсем нетрудно, только немного подправлять движение небольшими поворотами руля, чтобы машина шла по колею — и все.

Дорога оставалась совершенно пустой, все еще спали в дачах за высокими глухими заборами и черными деревьями выше заборов.

Он не уставал радоваться тому, как легко вести машину, и в конце концов решил ехать немного быстрее, но и это оказалось так же легко, и, когда он выехал на шоссе, скорость уже была вполне нормальной, и он совсем не боялся ехать среди других машин, которых здесь было уже порядком, уверенно крутил руль, только скорость не менял, чтобы не отвлекаться рычагом и педалями. Теперь предстояло лишь справиться с торможением и остановкой, когда доедет до места, но, решил он, в конце концов остановится там, где будет

удобнее и удастся, на каком-нибудь свободном месте, а дальше дойдет пешком. И он начал тормозить, понемногу съезжая вправо, надеясь, что более умелые водители его объедут, но ему просто везло — никаких других водителей в это время поблизости вообще не оказалось, дорога снова стала совершенно пустой, он медленно съехал к тротуару, косо ткнулся правым передним колесом в низкий бордюр и застыл.

Отец ждал его в метро и, увидев издали, пошел навстречу. На нем было его толстое серое пальто и ушанка из черного меха, сидящая, по обыкновению, криво, потому что на ней не было звездочки, чтобы выровнять, приложив вертикально ко лбу ладонь. Отец привез еду в стеклянной литровой банке, которую мать приготовила, чтобы он отвез ее отцу в больницу.

«Ну, давай, — сказал отец, — вези. Передавай, что у нас все в порядке. А мне пора на электричку, у меня в девять пятнадцать, а потом окно».

Теперь все время приходилось спешить — хорошо, что он был без вещей, налегке.

Вниз по эскалатору он бежал, как раньше, даже слегка подпрыгивая, опустив руку к резиновому поручню, но даже не скользя по нему ладонью, чтобы не выпачкаться черным.

Потом он побежал по перрону. Это был длинный перрон, и поезд был очень длинный, и он бежал, заглядывая во все окна и в тамбуры всех вагонов, чтобы найти своих.

Женщина не могла бежать, да ей и не нужно было торопиться, у нее еще было время. Вдоль перрона стояли садовые скамейки с чугунными боковинами и сплошными сиденьями и спинками из выпуклых толстых палок в облупившейся белой краске, она села на одну из этих скамеек и махнула ему рукой — мол, беги, я подожду тебя здесь — и улыбнулась, чтобы он не расстраивался, не думал о плохом.

Тут поезд дернулся, сдал немного назад и поехал.

Вагоны двинулись медленно, очень медленно, дергаясь, так что он легко обгонял их, все заглядывая в окна.

Но вдруг у него, как и раньше бывало от бега, закололо под ребрами справа, он сбился с шага и остановился, вдыхая горячий воздух. Колотье не проходило, он тяжело поднял голову, оперся о подушку локтем и перевернулся на спину. Горький металлический вкус во рту — тоже, конечно, от бега — заставил сглотнуть слюну, но горечь осталась. Ничего нельзя было поделать, и он, прижав рукой правый бок, побежал дальше.

Когда он пробегал мимо жены, она отвернулась, но он успел заметить, что глаза ее покраснели, и подумал, что по-своему она искренне сочувствует ему, только не понимает, как тяжело сейчас ему бежать, потому что сама уже давно не бегают.

Он еще обгонял поезд, убеждаясь, что ни в одном окне не видно тех, кого он искал. Далеко впереди был конец перрона, а за ним пути сдвигались, сходились, так что невозможно было понять, по какой паре рельсов поезд пойдет дальше, туда, где струящаяся сталь вспыхивала под солнцем и сверкали острые мелкие обломки гранита, иногда попадавшие в гравии, которым было засыпано междупутье, и он сообразил, что даже если прыгнуть с перрона, то бежать по этой насыпи будет невозможно, а перепрыгивая со шпалы на шпалу по пути, соседнему с тем, по которому будет двигаться поезд, тем более, потому что расстояния между шпалами примерно в две трети длинного шага.

Теперь поезд шел все быстрее, и он, добежав уже почти до середины первого вагона, начал понемногу отставать. Вернее, перестал обгонять, а бежал все время рядом с одним окном, пытаясь заглянуть в него, но окно было наглухо закрыто белыми матерчатыми и еще опускающейся клеенчатой серой шторой, так что можно было предположить за ним пустое купе. Переставлять ноги стало уже невыносимо трудно, огненные вдохи резали глотку и легкие, сердце уве-

личилось и колотилось в голове, из глаз текли слезы, высыхая на бегу и стягивая кожу. В купе была мгла, в тонких лучах, пересекающих пространство от щелей и дырок в шторе до двери и потолка, металась пыль. Все тесно сидели на нижних полках, потому что верхние были заняты вещами, а встать и переложить их в специальную нишу над дверью и в ящики под нижними не было сил. Он удивился, что здесь едет так много народу, но потом сообразил, что Игорь, Юра и Сашка пришли из соседнего купе, полностью занятого чемоданами. Мать закрыла глаза, ее нижняя губа и подбородок стали сине-серыми, как обычно бывало, когда делалось хуже. Отец смотрел в пол, сидя, как сидят смертельно уставшие люди: опершись локтями на раздвинутые колени и свесив между ними кисти. Жена все плакала, слезы, не проливаясь, стояли в ее покрасневших глазах, и она по-прежнему отворачивалась, чтобы не встретиться с ним взглядом. С Юрой было совершенно невозможно иметь дело — от этого человека прямо исходила недоброжелательность, и всем было понятно, чему Юра завидует, но мать, конечно, делала вид, что ничего не происходит, была с Юрой особенно любезна и все время предлагала какую-то еду, хотя есть в такой духоте никто не хотел. Он не выдержал и ужасно, неприлично поссорился с Юркой, в конце концов, кричал он, никто не виноват, что здесь душно, неужели не понятно, что в такой тесноте неизбежны духота и жара, и наверняка у всех давит в правом боку, но надо терпеть, терпеть, понимаешь, и делать свое дело, никто никому ничем не обязан, тебе кажется, что ты заслужил нечто особенное, а никто не заслужил, и ничего ты такого не сделал, в конце концов, кричал он, если хочешь, я скажу откровенно: я сделал куда больше, чем ты, потому так все у меня и было, а что в конце? Вот что: это купе, сидим в тесноте все одинаково, и я не жалуюсь, не завидую тебе, что ты попал сюда без труда, что ты не бежал, задыхаясь и отшибая подошвы, а ты все завидуешь, надоело...

Вагонная подушка, жидкая, в слишком большой, полупустой наволочке, все время съезжала то вбок, то вниз, на ней было невозможно спать, к тому же от слез, выбиваемых из глаз ветром, и от слюны из полукрытого рта она в нескольких местах намокла. Он отодвинул ее вовсе в сторону, лег головой на простыню, сухую и даже холодную в этом месте.

Поезд шел все так же медленно, но теперь он отставал безнадежно. Просто поезд не устает, подумал он, не теряет дыхание, поэтому с ним нельзя соревноваться, все равно он уйдет, а ты останешься у края перрона, за которым сияние солнца в пустоте.

Уже далеко впереди взлетал сизый, прозрачный, легко растворяющийся в воздухе дымок над тепловозом, уже крыша над перроном кончилась, и солнечное сияние теперь было сверху, сбоку, вокруг, а он все бежал, чувствуя, как быстро убывают силы, и начиная догадываться, почему в последнее время они убывают все быстрее.

Некоторое время назад он заметил, что бежит на некрутой, но ощутимый подъем. Перрон начал забираться в гору, и даже не просто в гору, а как бы сворачиваясь, поднимаясь по дуге к дальнему краю, и сейчас он бежал уже как бы внутри сворачивающегося листа толстой бумаги. Так бывает, если бумагу свернуть трубкой, а потом развернуть и разглядить на столе: она снова начнет сворачиваться, край ее, храня память о трубке, которой только что была бумага, начнет приподниматься над столом, сворачиваясь, и бумага по краям станет похожа на нос лыжи.

Асфальт перрона пересекли складки, потому что асфальт не мог сворачиваться, как бумага, морщил, эти морщины еще больше затрудняли бег.

Да он уж и не бежал, а карабкался по этому поднимающемуся перед ним асфальту.

Поезд давно ушел, исчез, расплавленный солнцем, все так же сиявшим за асфальтовой стеной, потом сияние тоже исчезло, потому что стена, круче и круче поднимающаяся к небу, заслонила перспективу.

Он карабкался и срывался, стена сбрасывала его, поднимаясь прямо под руками, которыми он пытался зацепиться за морщины асфальта, прямо под коленями, на которых он полз по вертикальному перрону.

Это было смешно, и она рассмеялась, наклоняя голову, щурясь и вытягивая губы трубочкой, она всегда делала такую гримасу, смеясь над его нелепостями.

Ну чего ты смеешься, как бы сердито спросил он, но и сам засмеялся, потому что получалось действительно очень смешно.

«Знаешь такое выражение: «пора сворачиваться», — спросил он ее, — в смысле «пора закругляться»? — Тут он снова засмеялся, потому что «пора закругляться» тоже было похоже, — в смысле «время кончать», в общем, понимаешь?»

Она стояла там, откуда он убежал и куда уже не мог вернуться, почти в самом начале перрона, он махнул ей рукой и сделал строгое лицо — мол, смотри, веди себя хорошо, но на перроне толпился народ, и за спинами ее уже не было видно, и он так и не рассмотрел, какую гримасу она состроила в ответ.

Асфальт продолжал сворачиваться, теперь стена уже была не только перед, но и над ним.

В общем, это не было страшно, потому что он ведь знал и раньше, как заканчивается перрон.

Но все же стало грустно — почему-то он надеялся, что на этот раз обойдется, но не обошлось.

Ах, не надо было бежать, подумал он, остаться там, в самом начале, где осталась она, смотреть вслед уходящему поезду спокойно, помахать рукой, вернуться, снова жить, улыбаться, но он не улыбался, а плакал навзрыд, вслух, так что, наверное, было слышно за стеной.

Ломило суставы, видимо, перед пробуждением он слишком долго лежал на спине, во рту жгло горечью, подступала уже и головная боль, но пока она не отвлекла, он успел подумать о том, что все чаще видит их во сне, с тех пор, как они умерли — сначала отец, а потом и мать.

Все остальное — бег, поезд, людей, перрон в асфальтовых морщинах — он вспомнить уже не успел, потому что открыл глаза, и ненавистный рассеянный свет раннего пасмурного утра окончательно вытеснил навязчивый сон.

49

Пару дней спустя № 1 решил говорить только правду.

Начал с того, что постановил плюнуть на условности и формальные приемы, отказаться от дурацкого «№ 1» и вернуть себе собственное человеческое имя, Ильин Игорь Петрович.

50

К этой серьезной перемене он подступался давно, начав несколько лет назад все более и более ясно осознавать, что никаким первым, и даже вторым, а может, даже и десятым номером не является и уже не станет, и, более того, ничего в этом нет ужасного, поскольку и номера эти неизвестно от чего считаются и присваиваются абсолютно произвольно, по выбору совершенно никем не уполномоченных для этого людей, и, следовательно, не только ничего обидного нет в том, чтобы оставаться впредь просто Игорем Петровичем, но даже и достойнее как-то, уважительней к себе — Игорь Петрович Ильин, и все.

Конечно, к такой жизни, в качестве Игоря Петровича, еще следовало привыкнуть, но об этом он особенно задумываться не стал. В конце-то концов,

если и не привыкнет, ничего страшного уже не будет — как нет уже ничего страшного в его сутулости или манере сильно оскаливаться от напряжения, даже небольшого, к примеру, если шел быстро или поднимал что-нибудь хотя бы в пять килограммов весом: потому что не так уж долго осталось сутулиться, скалиться и называться Ильиным И.П., можно потерпеть.

51

Назвавшись по-новому, вернее, настоящим своим именем, он на этом остановился, а вскоре, в какой-то незначительной беседе с одним крайне надоедливым и неприятным сослуживцем, сказал то, что давно хотелось, но не позволял себе раньше. «Какой же ты глупый, пошлый, хитрый и жадный мудака, — сказал Игорь Петрович, — как ты мне надоел, да и не мне одному, пошел же ты на ...!» Сослуживец ужасно обиделся, но не замолчал и не отошел молча, а стал кричать, что он раньше не верил, когда про Ильина говорили, что он злой и просто подлый, а теперь он верит, и еще чего-то кричал, чем окончательно утвердил Игоря Петровича в том, что и дальше следует говорить только правду.

52

Возвращаясь в этот же день с работы домой пешком — решил немного пройтись, чтобы успокоиться после правды с непривычки, — Игорь Петрович сказал еще одну правду себе: если продолжать жить так, как он привык жить, будучи № 1, то уже до самого конца жизни он не испытает не то что счастья, но даже простого, доступного почти любому человеку удовольствия, например, такого, какое испытывают от незамысловатого, но любимого блюда, или от хорошей погоды, или от крепкого сна. Потому что живет он по привычке, постоянно подчиняясь многим обязательствам — и перед другими людьми, с которыми связан разными отношениями, и перед собой, вернее, перед своими представлениями о правильной и приличной жизни. А если уж теперь он додумался говорить только правду, то дальше так жить просто не удастся, и, значит, надо менять не только манеру общения с собой и окружающими, но и всю жизнь целиком.

Трудность состояла в том, что менять надо было, продолжая говорить только правду, следовательно, невозможно было бы хитрить — к примеру, на законный вопрос близких: «Что же ты теперь собираешься делать?» — следовало бы прямо ответить: «Почти то же самое, что и раньше, только где-нибудь в другом месте и среди других людей». Но такой ответ, конечно, вызвал бы обиду и крик, потому что никто не был готов к появлению нового человека, которого все знали раньше как № 1, а он теперь стал просто Ильиным.

Менее тяжелые, но не менее сложные объяснения предстояли и на службе, потому что там ведь тоже спросили бы, почему он вдруг решил уволиться и куда он переходит, если не секрет. Можно было бы, конечно, сказать, что секрет, и это поняли бы, это было в обычае — никому не говорить, куда переходишь, мало ли что... Но ведь весь смысл затеи заключался в том, чтобы говорить правду, и, значит, пришлось бы отвечать: «Никуда». А на следующий неизбежный вопрос: «А на какие шиши жить собираешься, Номер Пер..., то есть, в смысле, Игорек, извини, а?» — пришлось бы сказать опять правду: «Не знаю пока. Как-нибудь». И тут уж любой обязательно бы решил, что он просто врет, и неприятная бы наступила тишина.

Словом, впереди были обиды, которых он вовсе не хотел, просто даже горе для нескольких человек, которым он совсем не желал горя, к которым и

в новом своем качестве еще оставался привязан. Неприятные недоразумения были впереди и столь же неприятные разъяснения этих недоразумений.хлопоты предстояли Ильину и дома, и в казенном доме, большие хлопоты перед дальней дорогой и, похоже, пиковый интерес.

53

Но и это казалось Игорю Петровичу не самым главным в создающейся ситуации — главным и крайне тяжелым для самого Игоря Петровича в ней была ее очевидная пошлость.

54

Пошлость была во всем — в детской выдумке «говорить только правду», словно взятой из плохой старой книжки для младшего школьного или какие там были возрасты; в следующем из этой глупости решении уйти, уехать, в левтолстовской этой бессмысленной жестокости самовлюбленной дубины, вообразившей себя собственным ходячим памятником; в следующих из этого решения разговорах, непереносимо оскорбительных для близких, друзей и приятелей, людей в основном неплохих и ни в чем перед ним не провинившихся... Все эти сведения счетов с «бессмысленным привычным существованием», исчезновения, «новые жизни с нуля» тысячу раз описаны в среднего качества литературе, показаны в среднего качества театре и кино, и стыдно, стыдно ради такой заезженной чуши ломать свою и несколько чужих жизней!

55

Впрочем, возразил он себе, стыдно и отказываться от серьезного и обдуманного поступка из того соображения, что «пошло выходит». Ведь не роман же пишу, не пьесу сочиняю, а жизнь живу — какая ж разница, пошло или нет, если это моя жизнь!

56

Дальше все пошло быстро и ускоряясь, тронулось тяжело, со скрипом и рывками, а потом покатилося.

Разговоры и объяснения скоро слились в один бесконечный разговор. И уже наутро Игорь Петрович не мог вспомнить, кто что именно сказал, кто кричал об эгоизме, кто о предательстве, а кто просто тихо плакал, кому стало плохо, так что пришлось искать лекарства, а кто просто встал, повернулся и ушел, кто час допытывался, какую все же такую работу он нашел, что бросает все, и сколько же там платят, кто просил, как другу, рассказать, с кем уезжает, а кто — в какую страну...

Он сам себе удивлялся, пожалуй, не меньше, чем те, с кем он говорил: ну, совершенно ничего не чувствовал. Мелькнула естественная мысль — может, мне показалось, что я принял это идиотское решение, а на самом деле я просто умер? Может, это и есть смерть — говорить только правду, ничего при этом не чувствовать, никого и ни о чем не жалеть. И собираться исчезнуть вовсе. На сороковой, кажется, день — вовсе. Во всяком случае, на жизнь, по крайней мере на его жизнь, то, что теперь происходило, совсем не было похоже.

Ему сказали, что его поступок есть самое настоящее убийство, тем более страшное, что он совершает его из совершенно придуманных, искусственных побуждений, из-за бредней, постыдных для взрослого человека, и это значит, что он еще более жесток, чем обычный убийца — Ильин тихо улыбался и отвечал, что не понимает, о каком убийстве идет речь, потому что средств, которые можно получить за дачу, хватит лет на пять приличной жизни, а если наоборот — продать квартиру и переселиться на дачу, то и на все двенадцать, а ведь есть и еще возможности, так что не надо драматизировать, извини.

Как хочешь, сказали ему, но я привыкла и буду очень скучать, понимаешь, просто скучать, я ведь всегда скучаю по тебе, ты думаешь, это прошло? Ты не веришь? Ну, что ж, говорил Ильин, почему же не верить, верю, тебе будет плохо какое-то время, но ведь мне уже давно плохо и не проходит, а у тебя это пройдет, разве нет? Ведь ты же не умрешь от этого, а я, мне кажется, умру, если не сделаю так, как решил, понимаешь? Извини...

Ну, просто посмотри на меня, разве ты хочешь больше никогда меня не видеть, говорили ему, ведь ты же раньше... Да, извинившись, перебивал Игорь Петрович, да, раньше, но теперь я вообще ничего не хочу, и в конце концов тебе наскучит — и с удивлением отмечал про себя, что не мучается больше, видя слезы, что действительно говорит правду: не хочет ничего.

Дед, ты какую-то ерунду придумал, слышал он, ну, если так уж хочется, попробуй, только договорись как-нибудь, чтобы вернуться было можно — и испытывал благодарность за эти самые нейтральные и спокойные слова из всех сказанных ему на прощание, и кивал, да, конечно, стоит, наверное, попытаться, подумая.

Подумайте, Игорь Петрович, подумайте, советовали ему уже почти официально, оставив дружеский тон, раз человек сошел с ума, так какой смысл говорить с ним по-дружески, но хотя бы официально, для очистки совести надо еще раз предостеречь, подумайте, не торопитесь ли вы, если устали, просто возьмите отпуск, отдохните, придите в себя, но он вежливо дослушивал до конца и качал головой — нет, спасибо, я все обдумал, дело не в усталости, я просто решил оставить службу, хватит — и с полнейшим безразличием смотрел, как на лице начальника возникают отчетливо прописанные слова: «Старый идиот совсем выжил из ума».

Оставшись один, что все чаще с ним бывало в последние годы, а с тех пор, как он начал готовиться к отъезду, одиночество занимало большую часть суток — раньше, особенно в молодости, он не переносил и двух часов полного одиночества, а теперь мог ни с кем не разговаривать неделями, во всяком случае, ему так казалось, потому что день в молчании проходил незаметно — оставшись один, надо признать, иногда он снова переживал последнее объяснение и прощание, но не сожалел, а просто вспоминал, как иногда вспоминаешь давно умершего человека, с удивлением: ведь он был, ясно видишь лицо, слышишь голос, а его нет, невозможно это понять, непостижимо, но и горя уже нет. Правда, такое отношение к потере прежде возникало через несколько лет или месяцев, а теперь через пару часов, но Ильин объяснял это тем, что ведь вспоминал не вообще ушедшего из жизни, а только из его собственной, так что у оставленного еще все будет нормально — и он точно знал, что человек успокоится и продолжит свою обычную жизнь гораздо скорее, чем теперь кажется.

Однажды ему пришла в голову мысль, что, вообще-то, уже можно и не уезжать никуда, дело и так сделано: почти прекратились телефонные звонки, исчерпались необходимые прощальные встречи, все всем было сказано.

Если звонили или случайно налетали на улице неблизкие знакомые, он в объяснения не вдавался, просто ни о чем не договаривался, не назначал времени следующего контакта, а говорил неопределенно — ну, повидаемся как-нибудь — и при этом не считал, что обманывает: ведь правда же, что все как-нибудь повидаемся.

Постепенно и такие встречи стали более редкими, хотя теперь Игорь Петрович большую часть времени проводил на улицах, бродя по городу бесцельно и бесконечно, как в молодости, когда томился бездельем и не находил никакого дела, да и не искал.

Собственно, тогда он не был способен ни к какому делу, только мог рассматривать жизнь разными способами — ходить по городу, или читать книги, или сидеть в кино, что для него было, по сути дела, одним и тем же, единственно привлекательным и доступным его сонному уму подростка и характеру зеваки занятием. В те давние, почти совсем уже забытые годы только на улицах Ильин и мог оставаться один, не испытывая тоски, но такого времени выдавалось немного, надо было идти в университет, на службу, к друзьям, домой, и он привык к тому, что одиночество — это короткая и потому приятная пауза.

Потом, в среднем возрасте, жизнь словно решила взыскать с него долг, и Игорь Петрович работал много, все больше и больше, уже ни на минуту не оставаясь один, непрерывно — такая у него была работа — находясь среди людей, разговаривая с ними, а если даже молчал, ненадолго сосредоточившись на производительной составляющей его деятельности, то все равно кто-нибудь был поблизости, сослуживцы или домашние. Если же на совсем короткое время он случайно попадал куда-нибудь без компании, например, дня на три в командировку, то испытывал какую-то тяжесть, ему было трудно справляться в одиночку с окружающей жизнью, он уже не мог быть просто зевакой и только разглядывать мир, хотелось немедленно об увиденном кому-нибудь сообщить и отделаться таким образом от нового, даже не очень существенного впечатления — иначе внутри что-то начинало ворочаться, мучительно двигаться, будто он переел и испытывает несварение. В таком состоянии он обычно начинал рисовать в воображении картинку, населяя окружающий и проникший в него пейзаж тенями знакомых людей или персонажами разных историй из числа самых любимых, придумывал свои сюжеты — и становилось легче.

Теперь же Ильин целыми днями болтался по городу, но не испытывал от этого ни удовольствия, ни противоположных чувств, а просто понемногу уставал, начинал шаркать ногами, по не изжитому пока обыкновению и тратя полученные под расчет деньги, заходил в какое-нибудь дешевое место перекусить и, главное, выпить, сидел, глядя перед собой, слишком быстро глотал водку и жевал салат, пельмени, бутерброд с бужениной или ветчиной, снова брал сто граммов, пьянел и начинал чувствовать уже привычный дискомфорт в желудке от выпитого, что-то вроде тянущей пустоты или тошноты, зная, что на самом деле это не желудок, а, по мнению врачей, печень или поджелудочная железа — и ничего больше не возникало, ни мыслей, ни фантазий.

Он уже был не здесь, вот в чем дело.

И вот однажды Игорь Петрович Ильин
(далее следует первый из фрагментов текста, удаленных из компьютера, но сохранившихся в неведомых для автора недрах его подсознания:

после проведенного таким образом дня вернулся домой в обычном состоянии — напряженный и готовый сорваться в конфликт по любому поводу, с предчувствием трудного засыпания и еще более тяжелой второй половины ночи, когда все выпитое и съеденное накануне начнет бунтовать, терзая полуразрушенные внутренности.

Он прошел в свою комнату и, от греха подальше — в последнее время дома с ним почти не разговаривали, и он не нарушал молчания, — закрыл дверь плотно.

Обыкновенное полудетское желание отодвинуть неприятности, проявляющееся в известной любому алкоголику непреодолимой потребности добавить, заставило его проглотить еще граммов сто из домашнего прикроватного запаса. После этого, как правило, наступало забытье, которое отличалось от нормального сна так же, как истерика от настоящих слез, но все же давало передышку.

Так произошло и на этот раз, и он рухнул в ничто, прорезаемое обрывками видений, мутными вспышками заторможенного сознания, приглашенной болью...

По обыкновению же проснулся он и посмотрел на светящиеся стрелки никогда не снимаемых с запястья часов в половине пятого утра. Чувствовал себя не более отвратительно, чем всегда в это время, — все, описанное выше, пришло и пытало несчастного. Но сверх привычного появился страх — не бессмысленный похмельный, знакомый многим, а вполне конкретный и формулирующийся словами: Ильин с необъяснимой, но безусловной ясностью понял, что этой ночью или совсем недавно тяжело заболел, что теперь разрушительные процессы в его теле пошли по-другому. Кое-как, глотая попеременно таблетки и — ну, сейчас дотерпеть, а там все будет иначе — понемногу из бутылки, он дотянул до восьми, отчаянными усилиями привел себя в порядок — душ, бритье, чистое белье из груды неглаженного — и пошел в поликлинику.

...Рентгенолог, молодой бородатый человек, включив свет, усадил его на стул и начал писать в только что заведенной на Ильина карточке...

...Ильин повернул голову на подушке и увидел, что на соседней кровати что-то изменилось, но он не сразу смог понять, что — сосед все так же лежал на спине, и белое длинное возвышение простыни все так же...

...Много будет народу, — подумал Ильин и усмехнулся этой глупой мысли, точнее, подумал, что усмехнулся, а лицо его осталось неподвижным...

— *конец первого удаленного фрагмента*

застал себя сидящим в маленьком кафе, которое приткнулось к гастроному в районе одной из центральных площадей города.

Эта площадь на протяжении почти всей жизни Ильина — по крайней мере, значительной ее части — была главным местом действия. Здесь начинались и продолжались годами большие отрывки биографии Игоря Петровича, здесь он пережил основные опыты человеческого существования, как личного, так и социального, здесь созрели и начали разрушаться физиологическая и лирическая составляющие его собственной мелодрамы, длившейся без перерывов, только тонкости моды, меняясь, фиксировали течение времени, да новая актриса на главную роль вводилась по ходу спектакля...

Сама же площадь перестраивалась, и даже очень. То появлялись на ней небывалые прежде здания, павильоны и навесы, то восстанавливались некогда утраченные, уничтоженные до основания, почти забытые дворцы и прекрасные особняки; иногда прокладывались подземные пути, иногда же и надземные прерывались; вдруг, без всякой разумной причины воздвигали какую-нибудь временную дрянь, которую и в другом, куда менее известном месте не решились бы соорудить, но тут же ее и сносили — в общем, шла созвучная эпохе городская жизнь.

И вместе с нею, внутри нее, шла отдельная, частная жизнь Игоря Петровича Ильина, тоже зависевшая от времени, даже гораздо больше, чем может по-

казаться из всего предшествующего описания, способного, вполне вероятно, у кого-нибудь создать впечатление, что Игорь Петрович жил как бы в душевном вакууме, совсем не откликаясь на великие перемены и национальные катклизмы, с которыми совпал его наиболее продуктивный возраст. Ничего подобного — Ильин был как раз очень подвержен политическим веяниям, он даже прямо включался в события того известного всем исторического периода... Но к тому моменту, в который мы его встретили бессмысленно мотающимся в урбанистическом пространстве, непрерывно рефлектирующим, придумывающим сюжетцы и видящим во сне сюжеты новой классики — к этому моменту он, в силу возраста или просто перебрав, уже полностью утратил общественные интересы и настолько углубился в личные, что стал практически недосыгаем для окружающих. А потому, почувствовав непреодолимую преграду между собою и другими, решил закрепить ситуацию, удалившись из среды, мысленно уже покинутой, и физически.

Впрочем, еще будет некоторая возможность поговорить с ним обо всем названном выше — о рефлексиях, сюжетцах, новой классике и взаимоотношениях Ильина и общества — до его отъезда, пока же дадим ему устроиться за столиком.

Итак, он зашел в кафе, взял водки и простой мясной еды, отнес все это на пластмассовый, вполне, однако, чистый стол и сел.

60

Выпив водки, он быстро поел — всегда, еще со службы в армии, очень быстро ел — и, закурив, стал думать, не взять ли водки еще.

В последние годы опьянение, то есть желательное после выпитого прояснение мыслей и чувств, не наступало, а если наступало, то слишком поздно, когда выпито было уже очень много, и поэтому через несколько часов сменялось особого рода плохим самочувствием: сосущей тошнотой, дрожью, испариной на ладонях, ощущением опасности от того, что в голове возникала кружащаяся пустота, а ноги делались слабыми и при ходьбе будто плыли над землей, а не становились на нее твердо. Ильину было известно, что это просто похмелье, которое теперь, в расплату за все выпитое, наступает все быстрее и быстрее, но от этого знания было не легче, он — и не без оснований, уже бывало — боялся в таком состоянии потерять сознание и упасть, сильно разбиться или, того хуже, оказаться в больнице, а то и в милиции.

Однако почти всегда желание достичь цели, прояснить душу оказывалось сильнее страха, и он пил, пил, пил — и, чтобы избежать страшных последствий, уже в дрожи, уже на ватных ногах, пил еще, что помогало, но направляло существование по замкнутому кругу, иногда приводило даже к врачам, ненадолго прерывалось, и снова, снова, снова...

Он взял еще сто граммов и вернулся к тому же столу, где оставил сумку, плащ и кепку.

За столом сидела дама.

Вероятно, пока он ожидал получения в буфете своей рюмки, она стояла перед теми двумя, что брали пиво, потом со своим ужасным даже на цвет коньяком и бутербродом выбрала свободное место — а тут и он вернулся.

Игорь Петрович был немолодым человеком, к тому же весьма наблюдательным, так что уже давно умел по одному взгляду на человека, особенно соотечественника, вполне близко к истине определить его социально-психологический тип — то есть, применительно к этой женщине, кем работает, много ли пьет и как дела с мужиками. Выходило, что работает в культуре (осмысленный взгляд в сочетании с черной одеждой на сорокалетней и не проститутке, к тому же несколько крупных серебряных колец), пьет порядочно (до-

вольно милое, с мелкими правильными чертами лицо уже в сеточке морщин и сосудов, которые скоро превратят это лицо в такое же милое старушечье, а к тому времени она и седину окрашивать перестанет), с мужчинами в отношении входит легко, а выходит из них всегда трудно и с неприятностями.

Словом, вполне его категория.

— Извините, я...

— Пожалуйста, пожалуйста... я закурую?

— Да, конечно, я и сама...

— Вот, пожалуйста... Нет, они не крепкие, видите, лайт... Прошу.

— Спасибо... Да, некрепкие...

Молчание, курят. С небольшим движением в ее сторону он поднимает рюмку, она проделывает то же самое «ваше здоровье, а вотр санте» — культурные люди.

— А я вас часто здесь вижу... Работаете поблизости?

— Работаю? Нет... Просто привык... Раньше тут недалеко работал, а теперь... Ну, знаете, центр, все время как-то мимо приходится... А вы действительно меня видели? Странно... Я вас как-то не замечал...

— Что ж, значит, такая незамет...

— Ну, что вы, что вы, я не в этом смысле, я вообще не очень наблюдательный человек (*соврал, а то неловко получается*), знаете, все в себе копаюсь, хожу как во сне (*правда*)... А вы живете тут где-нибудь?

— Нет, работаю. Французский преподаю.

— А, так вы, наверное... В институте? Тут же ваших студентов полно...

— Ничего, теперь все можно... Да я ж при них не напиваюсь и с мужчинами не знакоплюсь (*ложь*), а они не стесняются...

— А без них? Сегодня что-то не видно ваших молодых гениев...

— Напиться предлагаете или познакомиться? Пить больше не буду (*снова ложь*)...

— Ну, рюмку? Сейчас я...

— То есть и познакомиться...

Он идет к стойке, она достает из его пачки сигарету, снова закуривает, смотрит в пространство. Он возвращается с коньяком, водкой, соком, бутербродами, садится, поднимает свою рюмку.

— Итак...

— Лена.

— Игорь Петрович... Ну, Игорь, конечно... Ваше здоровье.

— А вотр санте.

— А... Ну, да, конечно... Да, вот я и говорю: брожу, Леночка, как во сне. Понимаете? Чего-то в последнее время такое состояние... Видеть не могу все это... не в смысле забегаловку, а вообще... одно время как-то повеселей было, да? Лучшие годы, согласны? Знаете, я думаю, что с каждым поколением так бывает — лет пять, а то и три настоящей жизни, без оглядки, без раздумий, все ясно, живешь по-настоящему... А до этого и, особенно, после — ничего. То есть ничего уже не будет нового, и начинается — ну, пусть на каком-то другом уровне, чем до этого, понимаете, но все равно — ожидание, а ждать-то уже нечего (*чистая правда*)... Простите, Лена, я, как пьяный, с откровенностями лезу...

— Ничего, не извиняйтесь. Я ваше состояние понимаю, хорошо понимаю (*понимает, но не совсем*)... Но вам еще рано...

— Смеетесь? Меня вон коллеги уже давно дедом называют... И вообще...

— Дураки ваши коллеги, извините... Просто усталость. Поехать куда-нибудь, отдохнуть... Работаете много? А кем, если не секрет?

— Какие секреты... Если честно — уже никем. Неделю как уволился. Вот и отдыхаю... Может, и поеду...

– Уволились?! Странно... Теперь такая жизнь, что особенно не поувольняешься (с завистью)... Новую работу нашли?

– Ничего я не нашел, Леночка... Еще по одной, а?

Все уже было ясно и ему, и ей. Не совсем пока понятным оставалось, где и когда — прямо сейчас, если, конечно, есть куда, встать и ехать или еще посидеть, сильно выпить, потом вместе до метро, долго уговариваться о звонках... Кафе между тем уже заполнилось, и ее студенты, проходя за пивом, вежливо и без интереса здоровались, сидит француженка с каким-то старым дядькой, небось, тоже француз из какого-нибудь другого института. А они разговаривали, он ходил еще и еще за выпивкой, она уже пропускала, и на его три, потом четыре, пять стограммовых стопок приходилось две, потом недопитая третья рюмка...

Видишь, рассказывал он, я человек пьющий, но не в этом дело, а просто не совсем, знаешь ли, думаю, нормальный, честное слово, это не кокетство, понимаешь, я не могу жить свою жизнь, мне в ней скучно, логики, что ли, не хватает, сюжетца, понимаешь? Чтобы смысл был, чтобы следствия наступали, соответствующие причинам, чтобы... ну, я же вижу, ты понимаешь, Лен, я серьезно тебе говорю, я же раньше, знаешь, как назывался, — Номер Первый, понимаешь, в каком смысле, а теперь все, Игорь Петрович Ильин, никто, и потому все бросил и ухожу, понимаешь, к клепаной матери, извини, к клепаной матери, потому что мне кажется, что все живут, как люди, а я болтаюсь среди них со своими выдумками и схожу понемногу с ума, и не могу их всех видеть, и себя тоже, и поэтому уеду, слышишь, и даже тебя не возьму с собой, ты хорошая девка, Лен, но тебе еще рано уезжать, а я все, больше не могу, на работу, с работы, время пролетает, и я не в том смысле, что не сделал чего-то важного, чего там важного можно сделать, человечество осчастливить, что ли, я ж не сумасшедший, время все равно пролетает, что ты ни делай, хоть гений, хоть мудака последний, а оно все равно исчезает все быстрее, понимаешь, такая теория относительности, твое время идет тем быстрее, чем больше его уже прошло и меньше осталось, а если так, то какого черта я должен, почему я всем что-нибудь должен, всем, работать, ходить туда, ходить сюда, домой вечером, на службу утром, друзья, женщины, извини, я в смысле вообще, ну, нет больше сил, ты понимаешь меня, Лен, Леночка, сейчас, я быстро, еще по рюмке возьму и едем, едем, придумаем что-нибудь, я позвоню, сейчас, сейчас быстро по рюмке и едем.

Он сильно напился, такое уже редко бывало с ним.

Лена ушла, на ее месте совершенно незаметно для Ильина оказался какой-то человек, вроде бы даже знакомый.

Уезжаю, старик, сказал ему Игорь Петрович и тут узнал: это действительно был знакомый, тот самый, с которым недавно они обедали, сплетник, но неплохой мальчик, и неглупый.

Куда едешь, спросил знакомый, в командировку? Далеко? Если в Германию, то я тебя попрошу одну мелочь сделать, позвонишь там просто...

Нет, старик, не в Германию, перебил его Ильин, а вообще... уезжаю отсюда на фиг, понял, все, кранты.

Ты что же, и квартиру продал, спросила, тоже незаметно подсев, та самая подруга, которая всегда раздражала его своим жутким самомнением, звезда доморошенная, интересно, чего они с этим сплетником постоянно вместе, впрочем, хрена ли здесь интересного? Его и раньше не особенно интересовали чужие жизни, чужие отношения, со своими бы разобраться, а теперь ему и вообще ни до кого здесь нет дела, скоро все они исчезнут.

Зачем мне продавать квартиру, ее и без меня продадут, может, уже продали, вдруг совершенно ясно услышал Ильин свой ответ.

В Питере за такие деньги можно купить хорошую квартиру, сказала подруга всех и звезда всего, очень хорошую, а если ты и дачу продашь...

И дачу, сказал Ильин, и дачу.

А почему в Питер, спросил он, почему ты считаешь, что надо ехать в Питер?

Но подруга не ответила и стала разговаривать со знакомым о чем-то, показавшемся поначалу совершенно не понятным Ильину, как вдруг был упомянут некий Юрка, и из упоминания следовало, что этот Юрка — общий приятель — знает про близкий Ильина отъезд. Он и сам в глубокой жопе, сказал знакомый, понимаешь, поэтому очень сочувствует.

А откуда Юрка про мое решение знает, спросил Ильин, и ужасная тревога охватила его, и он выпил еще, чтобы собраться с мыслями, откуда Юрка знает вообще про мою жизнь?

Ну, сказал знакомый, все уже знают, ты как думал, если ты с работы уволился, прощаешься со всеми, вот с нами пришел проститься, с Ленкой вот простился...

С какой Ленкой, спросил Ильин, тревога все усиливалась, откуда ты-то знаешь Лену?

Да все ее знают, старик, захохотал знакомый, мир же тесен, что ты удивляешься, ну, простился и простился, правда?

Правда, сказал Ильин.

Он стоял на улице, пытаясь в темноте рассмотреть ее название на угловом доме, но табличка была высоко и уплывала все выше, а без нее понять, где он находится, Игорь Петрович не мог, хотя чувствовал, что это недалеко от кафе, знакомый район. Наконец табличка спустилась, он прочел название и немного удивился — но тут же вспомнил, что, провожая знакомого и подругу, он с ними на такси забрался на жуткую окраину, они сюда приехали в гости к общему другу, но Игорь Петрович идти с ними категорически отказался, а как только они ушли, отпустил и такси, что касается Лены, то она ушла еще раньше... Шел мокрый снег, и, почувствовав холодную воду на темени, он сообразил, что плащ и сумку из кафе, слава Богу, взял, а вот кепку или забыл, или в такси выронил. Тут метрах в тридцати

(второй удаленный автором из note-book'a, но сохранившийся таинственным образом фрагмент:

зажглись фары, и он обрадовался — такси или не такси, значения не имеет, но сейчас его можно тормознуть и уехать.

Ильин шагнул навстречу огням, поднял руку, сумка начала сползать с плеча, он сделал движение, чтобы удержать ее, поскользнулся и, уже падая на мостовую, сообразил, что шофер его не видит за сплошным снежным туманом...

...Много будет народу, — подумал Ильин и усмехнулся этой суетной и неуместной мысли, вернее, ему показалось, что усмехнулся, потому что он не мог уже усмехаться раздавленным лицом, залитым кровью, снежной грязью и еще какой-то жидкостью, которая всегда заливает убитых и, возможно, это есть просто воды реки Стикс...

— конец второго варианта судьбы)

вспыхнули желтые фары другого такси, Ильин нашел в сумке деньги — почему они лежали мятой кучей на дне сумки, а не в бумажнике, он не знал — и добрался домой, проспав всю дорогу.

Пил он и на следующий день, и на третий, а на четвертый ему, как и следовало ожидать, стало совсем плохо, приезжал врач с обычными в таких случаях средствами, и некоторое время Ильин, совершенно трезвый и потому не очень размышляя о поставленной цели, почти автоматически занимался важными своими делами — точнее, сворачивал все дела.

62

Он заметил, что с тех пор, как перестал называться цифрой и принял свое настоящее имя, почему-то сделался груб и сильнее ругался матом. Это его не огорчило, но удивило — он не считал раньше такой язык истинно органичным для себя.

63

Между тем время шло, и он почувствовал некоторую дополнительную неловкость ситуации: безумное и шокирующее решение, если уж объявлено, должно бы выполняться сразу, а у него все затягивалось, возникали новые осложнения, и он никак не мог даже приблизительно, хотя бы для себя, назначить срок. Дни, казалось бы, совсем недавно наполнились новым содержанием — место службы с утра до вечера, обязательных встреч и редких коротких прогулок без цели заняли прогулки многочасовые, встречи все более случайные, а служба вообще исчезла и не вспоминалась, будто ее и не было никогда, растворилась... Но эта новизна почти сразу же стала однообразием. И по утрам Игорь Петрович с привычным раздражением и усталостью, как прежде о своей каторге обязательств, думал об уже почти наступившей свободе — собственно, свобода времени уже наступила, свобода обстоятельств действия тоже была практически достигнута, поскольку прервались все отношения и связи, осталось только совершить короткое путешествие до свободы места — но чувствовал он не свободу, а обреченность.

Да и одиночество понемногу перестало его радовать и утешать, а все более давило, даже пугало, как в незапамятные времена, и, обрывая и укоряя себя, он начал задумываться о будущей безнадежности свободы — которая может оказаться ничем не лучше разрушенной им безнадежности рабства.

64

Возможно, такое удрученное состояние Игоря Петровича объяснялось тем, что я его совсем забросил — особенно с тех пор, как он отказался от данного ему мною Номера Первого и стал просто Ильиным, живущим свою жизнь. Занялся важными переменами собственной судьбы, перестав непрестанно впадать в сочинение сюжетцев, в эти сновидения наяву, которые, чего уж хитрить, в основном навязывал герою я, используя его — как постоянно использовали его и многие другие — как средство решения своих проблем.

Теперь он превратился, начал превращаться, из средства в цель, его существование приобрело для него (и, соответственно, для этой истории) основную ценность, а привыкать к тому, что ты и есть главное в твоей жизни, вообще тяжело. Кто-то успевает это понять еще в молодости, кто-то с этим даже рождается, а кому-то, как Игорю Ильину, требуется для такого прозрения почти весь жизненный срок, да и того не совсем хватает.

65

Что безусловно радовало его, так это легкость, с которой теперь переносили новое положение вещей люди, поначалу пораженные и сильно расстроенные его почти состоявшимся уходом.

Относительно женщин он уже много лет не обольщался, твердо зная, что их основной инстинкт выживания преодолевает все. Нисколько не был к ним в претензии за это, не ждал и не опасался всерьез, что они как-нибудь повре-

дят себе от отчаяния, что потеря лишит их жизненных сил. Он уже много видел вдов, оставленных жен, брошенных любовниц и понял: самое страшное, что с ними происходит после того, как они утрачивают мужчину, это недолгая растерянность. А затем даже слабые и потому более других привязанные к любимому возобновляют отношения с миром почти на прежнем уровне, сильные же нередко начинают проявляться так, что вскоре достигают всего, о чем раньше мечтали, но не предпринимали усилий, чтобы осуществить, — возможно, подсознательно берегли энергию, переживая, пока мужчина сделает для них все, что успеет, чтобы потом самим продолжить движение.

Такое его представление о женщинах, повторю, нисколько не мешало Игорю Петровичу ими увлекаться, любить, ценить как лучшую, если не главную, часть мужской жизни и принимать как абсолютно естественную, неотъемлемую и даже привлекательную часть их сущности описанную живучесть.

И сейчас он спокойно наблюдал, как жена (правда, он никак не мог вспомнить, какая это из жен, мешал тот самый повторяющийся сон, в котором они все время менялись местами) обживает новое положение. В доме даже в то небольшое время, которое он там проводил, мелькали какие-то люди, которых он раньше никогда не видел, казавшиеся ему странными, а некоторые и неприятными, но с женою, очевидно, знакомые хорошо. Звонили у дверей, он слышал, как жена открывала, слышал приветствия, смех, потом голоса понижались, и доносилось только бормотание, невнятная беседа, в которой отдельных слов было не разобрать — впрочем, он, конечно, и не старался, заранее раз и навсегда сказав себе, что это уже совершенно чужое.

Однажды вдруг донеслось отчетливо: «Вроде бы, с Ленинградского... все тянет, жалеет уже, наверное, испугался...». Тут он действительно испугался — откуда знают? кто это говорит с женой? что следует из их осведомленности? Ильин вышел из комнаты, проходя в ванную, искоса взглянул. Жена и гость — он мог бы поклясться, что это первая жена, хотя не разглядел точно — сидели на кухне, пили кофе. Гость был совершенно незнакомый, бесцветный пожилой мужчина, плохо одетый — это Игорь Петрович заметить успел — и с очень невыразительным, простым лицом. На кухне замолчали и сидели в тишине, пока он не вернулся из ванной в свою комнату и не закрыл за собой дверь, потом бормотание, уже совсем еле слышное, возобновилось. Ему вдруг стало ужасно обидно, особенно потому, что это оказалась первая жена, и когда дверь хлопнула за визитером, он было собрался выяснять отношения, в конце концов, он не сделал ей ничего такого, чтобы она обсуждала его характер и поступки с посторонними — но жена, как и следовало ожидать, была на самом деле не первая, а последняя, у которой-то, он признавал, имелись все основания, связанные и с его поведением, и с ее психологическим складом, чувствовать себя обиженной и вести, особенно теперь, собственную житейскую политику. То, что он принял ее за первую, давным-давно никак не участвующую в его судьбе и мыслях, Ильин мог объяснить только разгулявшимся неврозом.

Постепенно он успокоился и почти забыл этот эпизод.

Но после этого начал бояться во время своих постоянных бесцельных блужданий по городу встретить другую женщину — представлял себе, что и она будет в какой-нибудь компании. Почему-то воображался именно тот мужичок, что сидел на кухне, линиялый не то блондин, не то седой, с правильным и пустым лицом, неподвижным и вялым. Вспомнилось, что как раз от таких терпел самые главные поражения, необъяснимым образом они оттесняли его — те считанные разы, когда это случалось, удачливыми соперниками бывали именно белесые и пустолицые — от женщин, в деловых же обстоятельствах побеждали всегда.

При этом женщину он мысленно почему-то называл Леной, даже Ленкой, хотя пьяный разговор в кафе совершенно вылетел из головы, будто его и не было. Ну и, конечно, встретил ее.

На ярком солнечном свете, посреди заполненной дневной толпой центральной улицы выглядела она ужасно.

Морщинки и сосудики только и были видны, да еще повисшие по сторонам подбородка щечки, будто сползшие с обтянувшихся скул, да красный носик, да воспаленный острый подбородок. И фигура вся, следуя как бы движению щек, оплыла книзу. И, вдобавок ко всему, она была так несвежа, будто не помылась утром, будто серая пыль лежала и на морщинках, и на сосудиках, и на волосах. И одежда была ужасна — изношена и затерта, вся в каких-то волосках и нитках, вообще заметных на черном, а при солнечном свете особенно. И, когда поцеловались, он почувствовал сквозь духи запах из ее рта — не то что бы дурной, как пахнут плохие зубы, а специфический запах, исходящий обычно от мужчин с нездоровым и измученным желудком, — запах сырого мяса.

— Когда едешь? — спросила она деловито, словно все уже было решено, причем не им, а как бы ими вдвоем. — Я слышала, в воскресенье ночным?

Он не успел не только ответить, но даже плечами пожать, как вдруг ее лицо напряглось, взгляд, устремленный за его спину, застыл, она по-дружески быстро приложила к его щеке и, со словами «ну, позвони, еще поговорим», быстро обошла его, как обходят замешкавшегося, неловкого встречного прохожего. Он, изумленный, оглянулся и увидел блондина с правильным, но вялым лицом, на котором если и можно было что-то прочесть, то угрюмое недоумение — и она спешила навстречу этому блондину, зачем-то с двух шагов махая ему рукой, будто через улицу.

Ильин неожиданно для себя расстроился так, что слезы выступили. Он закурил, постоял, глядя мокрыми глазами сквозь мерцающие, сдуваемые ветром капли в пустоту перед собой. Она теперь представлялась ему прелестной чуть состарившейся девочкой, помятость, запах, изношенность мгновенно забылись. Да если бы он был с собою в этот момент до конца откровенен, он должен был бы признать, что никакая и не Лена это была, а совершенно другая женщина, которую — он знал — только что видел в последний раз и опять отдал белесому ничтожеству.

Вот кто исчезал после прощания начисто, это друзья и коллеги. Не звонили, не встречались, будто он уже действительно находился от них далеко, уехал. Если же раздавался звонок и слышался мужской голос, то это обязательно был голос малознакомый, долетевший вдруг из какой-нибудь совсем старой жизни, одной из тех жизней, которые сами по себе кончились много лет назад, исчезли без всяких решений Ильина — просто время их миновало. Игорь Петрович говорил любезно, но коротко и ничего не отрицал. Да, уезжаю, ну, так получилось, спасибо, что позвонил. Бог даст, свидимся. Пока.

Замерзнув во время блужданий под декабрьским ветром, грязным снегом и косо летящим в лицо дождем, он заходил выпить кофе и съесть что-нибудь сладкое — из-за отказа от алкоголя все время не хватало сахара. Сидел над пустой чашкой, курил. Мыслей не было вообще никаких, только удивление: как это раньше в голове все время что-то происходило? Картинки какие-то возникали, сюжетцы, целые складные истории, настолько складные и понятные, что не было необходимости додумывать их до конца... Теперь было чисто.

К вечеру в воскресенье он остался дома один.

Тишина стояла такая, что даже человеку более уравновешенному, чем Игорь Петрович, и находящемуся не в столь трудных для нервов обстоятельствах стало бы не по себе.

Он никак не мог сообразить, куда девались даже животные, которых всегда было полно в доме. Где маленькая черная дворняжка, которую нашел

убитой возле дачных ворот, почему прячутся толстая кошка, умершая так неожиданно в прошлом году, и старый сиамский кот, давно похороненный во дворе, на этом месте теперь построили новую трансформаторную будку, зачем жена увезла всех остальных, еще живых?

Что женщины разъедутся к этому моменту, он предполагал, никому не нужны лишние сцены во время прощания, все эти тихие рыдания, притрагивания к ледяному твердому лбу, к скрюченным рукам с криво воткнутой свечой, все эти примиряющие перед общим горем, полные ненависти объятия друг с другом. Но не представлял себе, в какой окажется полной пустоте и невыносимой тишине.

Можно было бы сделать музыку погромче и даже самому подпевать знакомой мелодии, но он не захотел — просто прилег немного отдохнуть перед дорогой, может, подремать...

Но и заснуть не смог тоже, лежал в оцепенении, но не спал.

Прислушивался к тишине. Даже лифта не было слышно, даже гул машин, не прекращающийся обычно и ночью, не доносился с ближней улицы. С трудом поднес к глазам руку, посмотрел на часы — пожалуй, пора, чтобы *(третья забракованная развязка, восстановленная по памяти:* не спешить потом.

Вещей у него было немного, прилетов, он собирался просто снять теплую куртку и свитер, а кроссовки, джинсы и майка вполне сошли бы на первый день даже для тамошней жары. Поэтому сумка оставалась полупустой — свитер и куртку вполне можно будет запихнуть перед прилетом.

Машина мчалась по просторной, сверкающей мокрым и чуть подмерзшим опасным асфальтом Ленинградке, пронзала ярко освещенный тоннель и неслась дальше, оставляя позади все — город, людей, жизнь... За поворотом прорезались уже огни гостиницы, аэропорта, мерцали в небе красные точки на крыльях набирающего высоту джета, струились вдоль шоссе полотна ленты разделительных фонарей...

...Вот, пожалуй, и все, — подумал он, защелкнув ремень и откинувшись к спинке сиденья, прикрывая глаза в полусвете ночного самолетного салона. — Теперь почти ничего не изменится, если этот сарай даже рухнет. Только лучше бы над морем, а то если сейчас, то найдут, опознают...

...Много народу будет, — подумал он и едва заметно усмехнулся, не отрывая глаз и потому не видя, что за окошком, у которого он сидел, вдруг вспыхнул, сорвался и снова полетел за мотором длинный огонь...

— конец третьего неудачного варианта)

не торопиться и не нервничать, если машина не придет вовремя.

Игорь Петрович запер за собой дверь, положил ключи в карман, решив их выбросить из вагонного окна где-нибудь на середине пути, и спустился пешком по лестнице, не вызывая лифта, хотя сумка — с чего бы это, только смена белья, носки, рубашка и свитер — была тяжелая. Но не хотелось нарушать тишину.

67

На вокзальной площади было необыкновенно пусто даже для позднего зимнего вечера. Вместо ожидаемой озабоченной толпы, словно объединенной каким-то будущим совместным делом, Ильин увидел редкие тени, бестолково и медленно перемещающиеся в темно-синем дрожащем воздухе от одного освещенного участка к другому. Оставленные машины образовали плотные ряды, казалось, что эти предметы вообще не имеют отношения к людям и не могут передвигаться, а стояли и будут стоять здесь вечно. За вокзальными зданиями не угадывались платформы и пути — скорее можно было представить себе за ними пустую степь, или лес, или даже замерзшую воду, запорошенное тон-

ким снегом ледяное поле. Площадь поэтому выглядела центром крепости, окружавшие башни и приземистые дворцы укрывали ее от враждебного и опасного внешнего пространства, а шпиль гостиницы за мостом поднимался, как вершина собора, оставленного неприятелю.

Ильин подумал, что, наверное, теперь площадь всегда такая. Он в последние годы ездил мало и помнил это место по старым временам, когда поезда набивались битком, трудно было купить билет, народу везде было тесно. Вероятно, и другие теперь ездят реже, и причин для движения, и возможностей стало меньше...

Перебрасывая тяжелую сумку из руки в руку, Игорь Петрович направился туда, где, как он предполагал, у перрона уже стоит его поезд — раньше его подавали для посадки задолго до отправления. Пассажиры успевали расстаться по купе, переодеться и даже, выпросив стаканы у хмуρο позволявшей такую вольность проводницы, еще стоявшей на платформе у тамбура, начать непременно, иногда на всю ночь, дорожное пьянство. Морские полковники, возвращавшиеся из генштаба в адмиралтейство, актеры между съемками и театром, влюбленные пары... Никто из них не шел сейчас рядом с Ильиным.

Он миновал старый вокзальный вестибюль и теперь, слыша громкий стук своих каблучков — такая здесь была плитка на полу, — двигался по длинному залу, устроенному уже на его памяти на месте крытых перронов, которые, соответственно, сдвинулись ближе к цели классического путешествия.

Здесь, возле высокого и узкого постамента, с которого бессмысленно сурово смотрел на случившееся бюст, я ждал своего героя, чтобы присутствовать при его попытке к бегству, при последней его попытке настичь время. Слава Богу, наша фамильная точность сократила ожидание, он появился даже раньше срока, мой бывший № 1, Ильин Игорь Петрович, московский служащий, пожилой мечтатель, тихий бунтарь, потерпевший окончательное поражение в своей долгой борьбе с пустотой.

Сейчас, наверное, как обычно бывает, когда он остается один, уже начал раскручиваться в его голове какой-нибудь сюжетец, подумал я — и ошибся.

Ничего, совсем ничего не было в его голове. Просто он шел, смотрел по сторонам, продолжая удивляться почти полному отсутствию народа, только какой-то мужик топтался возле памятника, и чувствуя, как в затылке начинает гудеть поднимающееся давление — потому что не сплю в непривычно позднее время, сообразил Ильин.

Так он достиг противоположного площади конца зала и обнаружил, что двери, ведущие отсюда на платформы, закрыты, заперты наглухо и, судя по стационарному указателю обхода со стрелкой вправо, заперты давно.

Мир продолжал меняться все то время, что я провел, отвернувшись от него, подумал Ильин, мир вообще меняется, стоит от него отвернуться, позади тебя он совершенно другой, чем ты увидишь, даже резко оглянувшись, люди успеют сделать иные лица, а вещи — занять иные места...

Так, мимоходом, он сформулировал вывод, сделанный им давно, но никак не укладывавшийся до этого в слова, но теперь не придал этому никакого значения. Уже было все равно.

Он пошел в сторону стрелки. Пришлось вернуться до середины зала, почти до памятника, где все околачивался тот мужик, слишком прилично одетый для вокзального бомжа, — и тут Игорь Петрович обнаружил небольшую дверь, ведущую наружу, возле нее тоже стрелку и надпись «к поездам». Он вышел в синюю тьму и тут же попал на обычный привокзальный базар.

В два ряда тянулись ярко освещенные изнутри ларьки и магазинчики. Дрянь, продававшаяся в них, от этого яркого желтоватого света казалась сверкающей роскошью. В узких промежутках между ларьками шелестел под сквозняком мусор, спали мелкие бродячие собаки, рылись бродяги — здесь было немного оживленней, чем на площади и внутри вокзала. По этой аллее между

ларьков Ильин пошел туда, где, по его представлениям, должны быть поезда. Он старался не глядеть по сторонам, потому что бродячих собак было жалко, к тому же они напоминали об оставленных им животных, мусор был отвратителен, а бродяги еще отвратительней. В свете из ларьков были хорошо видны их ужасные разбитые лица со странно осмысленными выражениями — озабоченности, интереса, размышления... Однако, как обычно бывает, когда стараешься не смотреть вокруг, все лезло в глаза, и, помимо воли, Ильин все замечал.

Так он заметил и какое-то движение на куче мусора в щели между двумя закрытыми и потому темными ларьками и сразу, еще издали, понял, что там происходит: бомжи занимались любовью. Мелкий снег падал на зеленоватую плоть, тощие голые ноги гребли по мусору, и бормотание доносилось оттуда, но никто из идущих мимо не видел этого, либо люди просто не обращали внимания.

Игорь Петрович ускорил шаг, чтобы быстрее миновать отвратительное место, и даже прикрыл на ходу глаза, удивляясь при этом себе. Он вспомнил, как раньше, в его наконец завершающейся жизни, которая делилась всегда на две части, одна проходила среди достойных женщин и в приличных романах, другая же была полна мелкого и омерзительного разврата, к которому он тогда относился как к неизбежной составляющей физиологического существования, как к грязным подробностям гигиены, — вспомнил, как тогда действовали на него подобные картины, и удивился, что теперь не испытал ровно ничего, кроме естественной тошноты.

Значит, подумал он, и с этим действительно покончено, как я и предполагал.

И немедленно подвергся испытанию со стороны другого своего порока.

Уже почти у самого поворота к платформам в левом ряду стекляшек он увидел обычную забегаловку. Внутри освещенной коробки несколько человек стояли у протянувшейся вдоль стен узкой доски, ели сосиски, политые багровым соусом, драли куски жареной курицы и пили водку, темная тень которой просвечивала сквозь белые пластмассовые стенки стаканчиков.

Игорь Петрович глянул на часы. Времени до отхода было еще много, действительно рано приехал. С полминуты он колебался: во-первых, и с выпивкой отношения за последние годы сложились уже новые, если раньше он всегда был готов проглотить рюмку, и другую, и третью, совершенно не задумываясь о дальнейшем, поскольку ничего особенного из выпивки и не следовало — или ему казалось, что не следовало, то теперь он постоянно помнил о наказании дурнотой, дрожью, отчаянием; во-вторых, больно грязным было заведение... Но эта слабость оказалась более живучей, чем, как только что окончательно выяснилось, покинувшая его навсегда половая одержимость, — механически отметил Игорь Петрович и вошел.

Неловко перехватывая сумку, он расплатился за сто граммов и бутерброд с сомнительно розовой рыбой на бумажной тарелке, поочередно отнес выпивку и закуску на доску, в угол, и собрался уже по-быстрому со всем покончить, как обратил внимание на мужика рядом — конечно же, это был тот самый, от памятника!

Нельзя сказать, что Игорь Петрович очень удивился или, тем более, испугался. В конце концов, сегодня в его судьбе происходило важное, даже самое важное событие — она должна была полностью перемениться или даже прекратиться, сменившись совершенно другой — и некоторые странности, сопровождающие такое свершение, он готов был принять. Тем не менее, он посмотрел на преследователя с демонстративным удивлением, подняв вопросительно брови.

В ответ мужик деликатно улыбнулся, приподнял и слегка качнул в сторону Игоря Петровича свой стаканчик — точно так же, как это делал в таких обстоятельствах сам Ильин — и негромко пожелал удачной дороги. Ильин молча ответил тем же движением, и они выпили.

— Что ж, — сказал, чуть скривившись от проглоченного напитка, но ничем не закусывая, неожиданный провожающий, — все успели сделать?

— Вроде все, — ответил Ильин, уже вовсе не раздумывая о природе собеседника и причинах его появления, какая разница, — вроде бы все... А если что и не сделал, обойдется... Всего никогда не переделаешь, а уж раз решил кончать, надо кончать.

— Это верно, — убежденно кивнул мужик, — верно... Значит, до главного уже додумались. Ну, тогда и правда пора. Вот только одно еще хочу спросить: вы за эти последние дни насчет себя к какому-нибудь выводу пришли? То есть я имею в виду, хороший вы были человек, или не очень, или просто говно, и зло вы делали только по слабости или намеренно тоже? Собственно, на этот единственный вопрос у меня нет ответа потому, что вы сами его никогда себе не задавали, оттого и некая пустота возникала всякий раз, как я пытался разобраться в вашем, извините, не подберу других слов, внутреннем мире. То, что вы называете сюжетами и сюжетцами, да еще банальные, полудетские рассуждения о банальных же предметах — а больше ничего, пусто...

Игорю Петровичу показалось вдруг, что разговор этот уже не раз бывал прежде и что мужик ему смутно знаком, но распутывать дежа вю было уже некогда. Он снова посмотрел на часы.

— Да, время, — сказал сосед, — вы ведь хотите успеть...

Он, очевидно, понял, что ответа на свой вопрос не получит, и уже смотрел не на Ильина, а в стекло перед собой.

— Не знаю, — сказал № 1. — Мне кажется, что я был не злой... А относительно пустоты вы правы, конечно, правы, только я на это вот что могу возразить: а разве есть другие? Разве в вас не пустота, и только мелочи какие-нибудь в ней болтаются, вроде моих сюжетцев или ваши собственные... А во многих и того нет. Насчет же добра и зла — это вы зря, это совсем из другой оперы, по-моему. Вот уеду — все и выяснится. Оставшиеся решат...

Он кивнул все так же глядящему на свое отражение в стекле человеку и вышел. По радио как раз объявляли о начале посадки на его поезд.

Вступив на длинный влажно блестящий перрон, он почувствовал вдруг давно не испытываемое, ушедшее вместе с частыми путешествиями: какую-то детскую гордость уезжающего. Она возникала всегда, но особенное ощущение избранности появлялось именно здесь, перед этим имперским путем, на чистом во все времена вокзале, среди приличной публики. Главная в стране ночная дорога была когда-то едва ли не единственной доступной роскошью, теплые вагоны, век не менявшийся уют...

И тут же, в тени указателя с номером и временем отправления его поезда, он увидел ее.

Вероятно, он обратил внимание на фигуру в темном потому, что она сделала небольшое движение, как бы собираясь преградить ему путь.

— Извини, пришла, — тихо сказала она, не приближаясь, но ее слова были хорошо слышны. — Просто так...

— Что ж ты извиняешься, я очень рад, — он отвечал, никакой радости не чувствуя, а только легкую досаду, все уже было кончено, он уже был в дороге, — и ты не расстраивайся...

— Я не расстраиваюсь, — она действительно улыбнулась, и под косым светом, идущим от вокзальных больших окон, ее глаза блеснули сухо, ясно, по-дневному. — Чего расстраиваться? Все обойдется, ты прав...

— Столько лет, — вдруг, неожиданно для себя, сказал он, — а что на самом деле я про тебя знаю? Ничего...

— А что же про меня знать? — она пожала плечами, подошла чуть ближе, притронулась к его руке, в которой он держал сумку, чуть поскребла по ней ногтями, такая у нее была привычка. — Я человек легкий, легкомысленный, сама не очень задумываюсь о жизни, чего ж обо мне думать?.. И о каких

годах ты говоришь? Мы ж познакомились на прошлой неделе... Ну, счастливо. Пока.

Он было сделал попытку обнять ее, но она уже отстранилась, повернулась спиной, быстро пошла прочь — и он увидел, что это действительно та самая, как ее, Лена, кажется, и какие, правда, годы он придумал?

Его вагон был второй с головы поезда, и идти предстояло долго. Возле каждых вагонных дверей стояли группками люди, курили, разговаривали, кто-то высматривал запоздавших провожающих, в нескольких компаниях разливали прощальную бутылку — пили почему-то все шампанское...

Теперь он смотрел внимательно — и не зря.

В слабеющем по мере того, как он удалялся от вокзала, свете он увидел возле одного из вагонов жену. Она стояла с какими-то не знакомыми ему людьми, но немного в стороне, участия в разговоре не принимала, вглядывалась в лица спешивших мимо отъезжающих — очевидно, ждала, когда пройдет он. Зачем-то она надела серую замшевую куртку с меховым воротником, в которой уже провожала его двадцать лет назад. Возможно, чтобы он сразу заметил ее и вспомнил... Она никак не обнаружила, что увидела его, не двинулась с места, но, когда он проходил мимо, оказалась рядом, близко.

— Ты все придумал, — сказала она. — Ты придумал, что всюду опаздываешь, ты решил, что везде поспеваешь к шапочному разбору... Я знаю, это твоя теория, но она глупая, ты пришел вовремя и еще все успеешь... Вернешься, устроишь все. А я...

— Теперь уже я точно ничего не успею, — перебил он. — И не вернусь, ты что, так и не поняла, что я уже не вернусь? Мы все успели к шапочному разбору, целая страна, мы всегда начинаем, когда остальные уже заканчивают. А поздние гости вечно скандалят... Ну, ладно, что же теперь говорить! Прости.

— Не спеши, — сказала она, — только не спеши.

Он шагнул, оглянулся... Как и следовало ожидать, это была первая жена. Длинное и узкое пальто было на ней, а никакая не куртка, но воротник действительно был меховой, пушистый. Просто он не разглядел в таком свете. Надо было бы вернуться, попрощаться по-человечески, осмотреться — может, и последняя тоже здесь...

Но времени уже не оставалось, и он пошел дальше, не глядя по сторонам, не обращая внимания

на подмигнувшего ему из какого-то тамбура знакомого, который хотел знать все обо всех,

на подругу всей Москвы, было кинувшуюся к нему с объятиями и фальшивым возгласом «Илья!» — ну, как можно пожилого человека называть идиотским прозвищем,

на Юрку, неодобрительно, по обыкновению, наблюдавшего очередную ни к чему не ведущую эскападу приятеля,

на начальника, доброжелательно помахавшего рукой из-за каких-то солидных спин возле международного вагона,
и на всех остальных.

68

Ночью с тихим лязгом поехала в сторону дверь, режущий свет ворвался из коридора и тут же перекрылся расплывающимися силуэтами, с таким же лязгом дверь закрылась, зажегся тусклый свет под потолком купе, и он увидел возле своего лица руку, опускающую защелку.

Странно, подумал он, необъяснимо, я ведь сам опустил ее перед тем, как лечь, как же ее открыли снаружи? Или я забыл? Выпил много, забыл, что же это я... Так ведь все пили, сегодня же...

Бабки за квартиру, сказал один из вошедших, шлепнув Ильина ладонью

по лбу, слегка, как шлепают плохо соображающего ребенка, бабки за квартиру, за дачу, давай быстро бабки и свободен.

Второй склонился, толкнув в тесноте первого, над столиком, рассматривая лежавший там, рядом с пустой бутылкой и смятой оберткой от бутербродов, бумажник.

Здесь ...ня какая-то, сказал второй, смотри, да, триста баксов и рубли, и все.

Где бабки, спросил первый, бабки, рублишь, деньги куда положил, Игорь Петрович?

Он выдернул из-под головы Ильина подушку, так что задралась простыня и показался матрац.

Я не продавал квартиру, сказал Ильин, все осталось — и квартира, и дача, вам неверно сообщили, больших денег у меня нет.

Лучше ты бы отдал, сказал второй, неловко протискиваясь от столика, меняясь с первым местами, и давил бы себе дальше, до Питера.

Ильин приподнялся, чтобы предложить им обыскать все и убедиться, что ни квартиры, ни дачи он не продавал, что ушел, все оставив, как и решил еще когда-то, когда впервые задумался об уходе, но голова закружилась, все же много выпил перед сном, его качнуло, и он сильно ударился всею правой стороной лица — лбом у виска, и скулой, и углом губ, и подбородком — о стальную раму дверного проема, отшатнулся от склонившихся над ним невидимых против света лиц разбойников и снова ударился, теперь уже затылком о металлическую оправу ночника над полкой...

Он вспомнил, как однажды поскользнулся на улице и так же, всею правой стороной лица, ударился о столб.

Но тогда было не так сильно, не текла кровь, не капала на матрац, не щипало от крови глаз, и никто не тащил вверх за ворот рубахи, и не бил затылком снова о дверную ручку, потом об угол столика, и не грохотал так поезд по рельсам.

В Бологом открой, тихо сказал кто-то прямо над ухом, открой нерабочую дверь, поняла, мы его ссадим.

Убили, что ль, спросил кто-то

(последний удаленный кусок:

и больше Ильин ничего не услышал.

— Народу будет много, — подумал он, и ему показалось, что он усмехнулся, но губы его уже коченели, и снег уже переставал таять на обращенном к темному небу лице.

— конец вычеркнутого)

издалека.

Чего его убивать, он сам помер, сказал третий голос откуда-то сверху, они часто так, напьется, полдороги не доедет, вылезет дурной и мордой об рельс.

69

Через час будет обратный, на Москву, сказал лейтенант. Хорошо хоть — документы не взяли.

Спасибо, сказал Ильин, спасибо, что не стали всей этой ерунды заводить.

Если у вас претензий нет, нам это тоже не надо, сказал лейтенант и слегка поплыл в сторону, но Ильин сделал усилие, и дежурка встала на место. Он осторожно прикоснулся к повязке — проверить, не просочилась ли кровь.

Не трогайте, посоветовал лейтенант, доедете до Москвы, а уж там в травму сходите.

Спасибо, еще раз поблагодарил Ильин, я вам сразу же за билет вышлю.

Да какой там билет, мы вас так посадим, махнул рукой лейтенант, а без нас в таком виде ни с каким билетом вообще не посадят.

Спасибо, повторял Ильин, большое вам спасибо.

Не за что, сказал лейтенант. Надо же, за сотню баксов человека чуть не убили, отморозки.

Там три было, сказал Ильин, и еще тысяч пять рублями.

Три, говорите, удивился лейтенант и, от удивления, видимо, даже подтолкнул Ильина, помог ему быстрее влезть в вагон, три, вот отморозки же беспредельные, ладно, проверим.

Спасибо, лейтенант, до свидания, сказал Ильин, с трудом повернув к проважавшему перевязанную голову.

До свидания, Игорь Петрович, отвечал офицер, больше уж в дороге не пейте, а то снова ударитесь где-нибудь. Ну, и с Новым годом, конечно.

70

Даже сквозь стекло было видно, что мороз установился лютый. Тонкий лед на откосе сверкал искрами, и пар поднимался вдалеке, над низкой и широкой тропой.

71

А над паром, в еще совсем темном зимнем утреннем небе бледно светились, катясь друг за другом, высокие огненные круги, катясь и все не настигая плывущий впереди не то челн, не то ковш... Нет, пожалуй, это похоже на глупую птицу, подумал Ильин, глупую птицу, вот что. Вроде утки. И больше ничего. Зря я затеял все это, поздно — догнать не догонишь, только людей насмешишь.

72

Таким образом, Игорь Петрович Ильин завершил все, что должен был завершить, но, все же, не догнал то, за чем так утомительно, иногда из последних сил, гнался, что иногда уже почти настигал, но рука повисала в пустом пространстве, судорожно сжимались пальцы, ловя воздух, а объект преследования снова раздражающе мелькал перед глазами и постепенно удалялся, и снова Ильин... Нет, не догнал.

73

Что ж, ладно. Он ещё раз глянул в окно, на этот большой вечный календарь, который все висел в небе, пока поезд медленно втягивался под навес. На чудовище Несси она похожа, вот на что, подумал Ильин, на придуманное чудовище. И три нуля — просто дымные кольца, выпущенные ловким курильщиком.

Без багажа и с разбитой рожей — так и надо возвращаться в назначенное тебе время, думал он, выходя в город.

На площади почти ничего не изменилось.

На ней я и оставлю моего потерпевшего.

Никуда он не денется.

Москва, декабрь 1998 — май 2000

Борис Кочейшвили
Дешёвый скипидар

* * *
ты чего
 нибудь
 понимаешь
мысленно
 обратился я
 к своему
 псу
всё
 мысленно
 ответил
 пёс
 всё

* * *
интересно
 если бы
 кошки
зарабатывали
 деньги
кормили бы
 меня
такого большого
 и прозорливого

долговая расписка

раз я обязан
 пищей этой
друзьям
 ссужающим
 меня

и коль вернуть
 мне не удастся
считайте вы
 моя родня
Кирилл
 спешащий на работу
Иван по-русски
 щедро пьян
Актриса в кресле
 и капоте
Наум
 еврей
 поэт
 мужлан

* * *
бредёшь домой
 не сыт
 но пьян
и шаркаешь
 в ночи
а из кустов
 весёлый
 хвост
как дым трубы
 торчит
и узнаёшь что это
 твой
домашний кот
 Иван
и вот уже бредём
 вдвоём
Борис тире Иван

Борис Петрович Кочейшвили родился в 1946 году в подмосковной Электростали. Поступил в Московское художественное училище имени 1905 года, где был в числе самых ярких учеников; а через несколько лет стал самым молодым членом Союза художников. Его графика и живопись хорошо раскупались на аукционах в Чикаго и Сотбисе; картины ушли в музеи и частные коллекции Америки, Израиля, Норвегии, Австрии, Польши... В России работы Бориса Кочейшвили присутствуют в экспозициях Третьяковки, Пушкинского и Русского музея, в музее современного искусства в Москве. Последняя по времени выставка, в которой принимал участие Б.К. -- в Новом Манеже. Стихи Борис Кочейшвили писал всегда, в 1992 году собрал их в книгу «Два дома», вышедшую в Москве, оформленную им собственноручно. Живет в Москве.

* * *

выйдешь
 за хлебом
 и спичками
 всучат
 бутылку
 вина
 так в темноте
 и без хлеба
 личная греет
 вина

Боровицкая — Владыкино

сел на Боровицкой
 и кроме
 боров госпожи Вицкой
 ничего не пришло
 в голову
 приближается Чеховская
 а там переход
 на Пушкинскую
 и Чехов не чех
 и Пушкин не палил
 из пушки
 далее Цветной бульвар
 цветы для бар
 Менделеевская
 что-то далёкое
 школьное
 Савёлово
 соловьино разбойное
 Тимирязевская конно
 ямская
 а вот Петровско-Разумовская
 бороды стричь
 окно рубить
 в Неве топить
 Русь московскую
 Владыкино
 не успеваю ничего
 сочинить
 мне выходить

* * *

помнится
 у нас
 была
 горничная
 Агата
 Кристи
 говорила
 по-английски
 а мы по-русски
 звали её
 Агашкой
 и дразнили
 эй Агашка
 скинь
 рубашку

* * *

мещанский
 интерьер
 революционеров
 кроме
 Ленина
 у Ленина
 мавзолей
 кубический
 а интерьер
 аскетический

* * *

электрики
 братья
 Иосифовы
 упали
 около
 трансформаторной
 будки
 и разрушили
 последнюю
 последнюю

* * *

Г. Лукомникову
 есть приятели
 сумасшедшие
 есть приятные
 сумасшедшие
 есть приятные
 приятели
 сумасшедшие

* * *

я очень
 страдающий
 а меня
 никто
 не понимающий

* * *

все ехали
 домой
 я ехал
 от тебя
 водитель
 намекал
 когда
 остановиться
 я ехал
 не домой
 я ехал
 в никуда
 и смутно понимал
 что мне
 не расплатиться

* * *

меня облётывает
муха
как материк
архипелаг
а я лежу
бессильный
глупый
накрытый
наг

* * *

водку из Черкесска
арестовали
в Москве
бедная
одинокая
в чужой
Москве

* * *

хотел было
встать
но на коленях
сидит
кошка
это меняет
планы
немножко
а ведь хотел
поменять
кабинет
разогнать
Госдуму
президентские
полномочия
сдать
но то что на
коленях
будет кошка
сидеть
об этом я
не подумал

* * *

Алла Борисовна
Киркорова
Киркор Борисович
Пугачёв
всего-то
два слова
переставил
а как ново
и как хорошо

* * *

а ведь
на одной
грядке
поспели
Пиросмани
Иоселиани
Шеварднадзе
Церетели

* * *

по просьбе жителей
Нижнего Новгорода
город Горький
переименован
в Шалапин.

Ворон

Я летаю вдоль
канала
где костями полёт
народ
я летаю по посёлку
старых большевиков*
я летаю много знаю
но умру не знаю где
на канале или даче
зимней ночью в
декабре.

* * *

О! дятлы
родные
ребята
С какой
непонятную
целью
своей головой
маловатой
долбите недвижимые
цели

* * *

я конечно
настоящий
грузин
чтобы
держать
магазин
и всё-таки
недостаточный
грузин
чтобы ходить
в магазин

* Орфография ворона

* * *

я отказался
от приёма
пищи
в пользу
котов
и сразу
стал
строен
молод
и весел
вот я каков

* * *

давай купим
на двести
рублей
осетрины
говорит
утренняя
Ирина
и отпустим
в море
говорит
Боря

* * *

Башмет
а Башмет
денег дашь
или нет
Растропович
а Растропович
голодает
Борис
Петрович
Лужков
а Лужков
сколько дать
готов
Президент
а Президент
подари
если не доллар
то цент

* * *

в честь двухсотлетия
со дня рождения
Александра
Сергеевича
переименовать
мавзолей
Ленина
в мавзолей
Пушкина

но букв не
менять
это не игрушки
вам

* * *

жена у меня
и машинистка
и прачка
и цензор
и дрессировщик
и по истреблению
пищи
помощник
и добытчица
денег
а я у неё
бездельник
без
денег
нарцисс с отражением
но говорит привычно
жить
с гением

* * *

я говорит
и картошку
чистить
не буду
я говорит
пальцы свои
истончила
на машинописных
работах
и дальше
говорит
говорит
говорит
но не вызывает
сочувствия
ей богу

Государь

испортилось
или выключили
электричество
но это не дело
нашего величества
буду сидеть
без звуков
и жечь
лучину
и родину
не почию
но и не покину

Путеводитель по Москве

около сорока
видов
лучшей в мире
карамели
делают на
старинной
фабрике
«Красный Октябрь»
что за задницей
Церетели

* * *

и нечего
впадать
в меланхолию
и вообще
прекращай
ныть
ведь пришло же
человек
двенадцать
Холина
замечательного
русского поэта
хоронить

* * *

я говорю
плохая
нация
человек
двенадцать
замечательного
поэта
Игоря
Холина
пришло
хоронить
а мне говорят
плохая
информация
а то бы
поток
прощающихся
не остановить

* * *

кто-то из котов
в очередной раз
опырскал
угол
стихов
я в очередной раз
был возмущён
но оказался
Вознесенского
томик стихов

может быть
целенаправленно
действовал
кот

* * *

миска с ландышами
подле две конфетки
изрисованный карандашик
медная пепельница
тень ветки
полированный стол
сигареты норд
натюрморт

* * *

был бы я
укропом
меня бы
продали
и купили
омаров
креветок
пастилок
конфеток
карбонат
сервелат
вот бы я
был бы рад

* * *

баба у меня
какая
никакая
а букет
из погибших
цветов
составила
что тебе
изошрённый
японец
да и в словесной
перепалке
любого заткнёт
за пояс
в том числе и
меня
семья

* * *

брошенная
дорога
одинок
хоть бы кто
показался
старуха
девица
грузовик
с эсэсовцами

* * *

русские люди
нанимающие
корейцев
для выращивания
белокочанной
капусты
достойны
всяческого
уважения
и ни при чём
здесь
Ленин
и тем более
евреи

* * *

средний
уровень
стихов
повысился
высокий
уровень
понижился
и начался
паводок
стихов
и несёт
и несёт

* * *

Лимонов
сгоревшая
спичка
и гвоздик
по шляпку
гнилой
где зайчик
где мальчик
где
с пальчик
народный поэт
и портной

Маше

можно
опозтезировать
и Англию
но что-то я
не
могу
мне лежать
в деревянном
тебе в стеклянном
гробу

22 июня 99 г.

* * *

Машка приехала
издалека
головка
русая
русская
душа
но что не
характерно
для Англии
большие
бока
как они
колебались
над русскими
полями
я срываю
укроп
обошёл их
едва
седая
голова

* * *

Анна
у тебя
всё устроено
так хорошо
к примеру
ласточки
могли бы
приклеить
к тебе
гнездо

* * *

кот свернулся
как
пельмень
сибирский
кот
из мясной
пищи
живот

* * *

в Тарусе видел
живую
поэтессу
всё в ней
интересно
и бусы
и прибабасы
инферальность
тоже
наличествует
но случай
клинический

поэтесса
с плохими
стихами
на уютном
диване
с ногами

* * *

мир
разболтался
но если
подкрутить
гайку
найти
гаечный ключ
найти
а потом
личные усилия
найти
но нет
так и катимся
здравствуй
Катенька

* * *

уж лучше бы
я ехал
по ночные ягоды
или по утренние
грибы
а не в этом
расхлябанном
поезде

в никуда
в нитуды
уж лучше бы
я сидел
на коленях у матери
или у озёрной
воды
а не в этом
углу
бронированном
в никуда
темноты

* * *

я забыл тебе
сразу сказать
что купил
в опустевшей
Тарусе
замечательный
тот скипидар
тот живичный
дешёвый
пахучий

редкий случай
в остывшей
Тарусе

я забыл тебе
сразу сказать
а теперь записал
и опять

скипидар
удивительный
случай

всё в Тарусе
в дешёвой
Тарусе

там такой
скипидар

слышишь
слушай

мне так редко
в округе везёт
ну и вот

* * *

Зураб!
Российский
Президент

пусть академии
но ловко
Москве на шею
наколот
из бронзы
бля
татуировку

* * *

собак
о собак
у тебя
золотистая
шуба

у тебя
чукотские
клыки

у тебя
шлейф —
хвост

у тебя
как
у Бунина
лёгкое

дыхание
ты
тёплый

* * *

вообще-то у меня
как на даче
за окном
листва

на окне
 цветы
на улицу выхожу
 в шлёпанцах
где меня приветствуют
 кошки коты
иногда
маячит
 в подворотне
секретный
 агент
это значит
 к патриарху
 в гости
приехал
 президент

Глагольные рифмы

тот дом
 надо продать
другой
 прикупить
дать себя ещё раз
 обворовать
самому
 разлюбить
что-нибудь
 написать
как-нибудь
 порисовать
частично всё
 переменить
но не жену

* * *

Российские
 домики
в лучшем
 случае
котлета
накрыта
 газетой

* * *

Марья
Алексеевна
 Платонова
«некрасивая
 и злая»
мужа считала
писателем
 высшего
 начала
и я так
 считаю

говорит
 моя
 жена
красивая
 и не злая
а про кого
 так
 считает
 не знаю

Гамлет

так что ли
грамотнее
 жить
пришёл
 и спрашиваешь
быть
 или не быть
а после
 детку убить
 дядьку детки убить
братика детки убить
мамку собственную
и дядьку собственного
 туда же
впрочем у Шекспира
 всё оправданнее
 и глаже

* * *

я полюбил
 водку
как мужик
 молодку
а потом она
 состарилась
и мы
 расстались

* * *

возьми меня
 на руки
а потом я тебя
 на руки
а потом ты меня
 на руки
следом я тебя
 на руки
и случится
 физкультурная
 пирамида
а через короткое
 время
нас за облаками
 станет
 не видно

Владимир Рецентер
Ностальгия по Японии

гастрольный роман

*Разве Луна не та?
Разве ныне весна иная,
Чем в былые года?
Но где же былое? Лишь я
Вернулся все тот же, прежний.*

Аривара-но Нарихира
в переводе Веры Марковой

1

Ностальгия по Японии возникла разом у всех, как только стало известно, что вопрос о гастролях практически решен. И пока в главном кабинете обсуждалось, какие именно спектакли должны произвести наилучшее впечатление на японцев, за кулисами возникла особая атмосфера ожидания, тревог и надежд.

Разумеется, были в театре корифеи, которые знали, что поедут при всех обстоятельствах; их заботили вопросы личной подготовки. Были такие, кому поездка наверняка не маячила; в их скорбные души я боюсь заглядывать. Типовое волнение охватило «средний класс», тех, чье свидание с видом на Фудзияму зависело от самого простого: занятости в спектакле, который поедет. Таких было много, и к ним принадлежал я. На Хонсю и Хоккайдо, а тем более на Сикоку и Кюсю попасть очень хотелось.

В один из определяющих дней у доски с расписанием спектаклей я встретил артиста Михаила Данилова.

— Привет, Миша! — бодро сказал я.

— Привет, Володя! — весело откликнулся он.

Миша — один из счастливых, что-то, а уж «История лошади» не может не поехать, и сведений у Данилова больше, чем у меня.

— Ну, как, учишь японский? — Это моя завистливая шутка, которую Миша должен подхватить.

— Учю, конечно. Но есть трудности...

— Какие же именно? — теперь подыгрываю я.

— Слишком много иероглифов!..

— Что делать, Миша, надо напрячься, речь идет о взаимовлиянии древнейших культур, — сочувствую я.

— А пропаганда метода Станиславского?! — развивает мысль мой славный коллега.

Данилов — интеллигент. Он влюблен в Гоголя и держит в уме целые страницы «Мертвых душ». Из горячительных напитков, завязав однажды и навсегда, пьет только крепчайшие чай и кофе. Курит не только сигареты, но и трубки и сам режет их из вишневого корня. Миша невысок, плотен и во все времена года, даже в жару, носит беспримерной прочности ботинки на толстой подошве. Важно сказать, что Данилов — отменный фотограф, и у меня созда-

лось впечатление, возможно, ошибочное, что из каждой зарубежной поездки он привозит если не фотокамеры, то объективы, фильтры, футляры, штативы, увеличители, бинокли и сотни репортажных снимков, на которых мы выглядим такими, как есть, а не такими, какими хотим казаться.

- Миша, если я спрошу, как по-японски «вишня»...
- Я от тебя не скрою, что «вишня» по-японски — «сакура»...
- А если я захочу узнать, как по-японски «капесес»...
- Я отвечу тебе, что по-японски «капесес» значит «векапебе».

Кроме нас у расписания никого нет, и разговор носит свободный характер.

- Миша, в Токио у тебя будет заслуженный успех!
- Разумеется, Володя. А на крайний случай у меня есть еще одна надежда...
- Какая, если не секрет?
- Это, конечно, секрет, но тебе я скажу: у нас с Гогой будет свой переводчик.

В детстве нашего Мастера, Г.А. Товстоногова, звали Гогой, и это уменьшительно-ласкательное имя сохранилось на всю жизнь для домашних и близких друзей; об этом знал не только весь город, но и весь театральный мир, и наши артисты, которые к Георгию Александровичу так никогда не обращались, в разговорах между собой пользовались тем же, будто бы сокращающим дистанцию, именем.

— Вчера японец смотрел «Лошадь», — сообщает между тем Миша, — а завтра смотрит «Ревизора».

— Вот оно что, — говорю я, — к нам приехал...

— Менеджор, — заканчивает фразу Миша, делая ударение на последнем слог. — На нас он может погореть, но ему обещают цирк. А цирк, как ты понимаешь, покроет все убытки...

Теперь я набит сведениями, остается задать главный вопрос.

— А ты не знаешь, «Мещан» этот японец будет смотреть? — «Мещане» — моя главная надежда.

Миша вздыхает.

— Нет, Володя, должен тебя огорчить, по моим данным, «Мещане» в Японию не едут...

Короткую паузу называют в театре «цезурой», и, помимо моего желания, она возникает в нашем разговоре. Взяв себя в руки, я спрашиваю:

— Ну, а что едет еще?..

— Еще едет «Амадей», — говорит Миша, глядя на меня с искренним сочувствием...

Я не сторонник «Амадея», и он это знает. На мой взгляд, это — наша репертуарная ошибка. На мой ревнивый взгляд, грешно ставить историю Моцарта и Сальери в изложении модного Шеффера, когда у нас есть гениальная трагедия Пушкина. Тем более что англичанин в нее заглядывал и, по мне, ничего не понял. Шеффера поставит кто угодно, а таких «Мещан», как у нас, не сделает никто...

— Ну, если смотреть с этой точки зрения, — задумчиво говорит Данилов.

— А с какой же еще? — капризно перебиваю я, окончательно теряя юмор.

И тогда, склоняя меня к разумной объективности, Миша говорит:

— Однако костюмы в спектакле красивые. Очень. С этим ты не можешь не согласиться.

И, выдержав еще одну цезуру, я соглашаюсь.

— Да, Миша. В этом ты прав. Костюмы выглядят красиво...

Поняв, что страна восходящего солнца мне больше не светит, я начал обрабатывать направление своих автономных гастролей по городам и весям нашей необъятной родины. Слава Богу, такая возможность в запасе у меня была.

Переговоры с администраторами шли к успешному концу, как вдруг открылись новые обстоятельства: снова заболел Григорий Гай, в Японию его не берут, и предстоит срочный ввод в спектакль «Амадей». Времени остается

мало, костюм сложен и дорог, и руководство театра ищет артиста, которому пришлось бы впору камзол и штаны широкогрудого приземистого Гая.

Нужно сказать, что для поездок за границу состав счастливых спектаклей всегда немного корректировался либо из-за так называемых невыездных, либо ради простого сокращения общего числа едущих. В таких случаях даже на скромные роли могли быть назначены артисты ведущего положения. А что касается массовых сцен, то были в нашей гастрольной практике звездные эпизоды, когда на какой-нибудь революционный митинг, подобрав одежонку поскромней, выходили статистами и Лебедев со Стржельчиком, и Шарко с Эммой Поповой, и другие прославленные мастера, радуя и веселя своим появлением привычное народонаселение массовки...

И вот, смиренно настроившись на уральский маршрут, я вдруг узнал, что первым кандидатом на замену Гая в спектакле «Амадей» назначен именно Рецептер. Здесь, конечно, сказались прежде всего интересы дела, но нельзя было также исключить доброго отношения именно к нему, так как эта поездка являлась бесспорным поощрением каждого участника. И не только моральным: суточные в валюте не шли ни в какое сравнение с домашним жалованьем. А тут — сорок дней в Японии!..

Однако вместо бурной радости в моей неблагодарной душе возникла смута, и на то было несколько причин.

Во-первых, с Гаем я давно и преданно дружил и в случае такой замены становился по отношению к нему невольным злодеем.

Во-вторых, я не скрывал, что к пьесе Шеффера отношусь с негативной пристрастностью, и теперь входить в спектакль «Амадей» значило поступать чем-то глубоко принципиальным...

А в-третьих, сама ситуация казалась мне, будущему отщепенцу, просто унижительной: не роль примерялась к артисту, и не артист — к роли, а фигура — к костюму!..

Все так...

Но, подумав, ситуацию можно было рассмотреть и с другой точки зрения...

Разве самому Гоге не жаль заменять Гая?! Он-то с ним дружит подольше моего. Ведь это — болезнь, несчастье, злая воля судьбы, а не каприз, не произвол отношений...

И разве не существуют на театре элементарная дисциплина, производственная необходимость?

Разве его величество Театр не выше каждого из нас?..

К тому же есть общее мнение актерской братии, согласно которому я должен не «возникать», то есть не капризничать, а выполнять свой прямой долг и благодарить судьбу и лично Георгия Александровича за удачный для меня выбор...

Существует, наконец, единственная в жизни возможность своими глазами увидеть по меньшей мере Сикю и Кюсю.

И вот меня, отуманенного сомнениями, конвоем ведут на свидание с Гришиным костюмом. Справа — Таня Руданова, заведующая костюмерным цехом, высокая и решительная молодая женщина, прошедшая трудный путь от робкой одевальщицы до ответственного руководителя важного подразделения; а слева — Юра Аксенов, режиссер и помощник Г.А. Товстоногова, по слухам, уже назначенный главным режиссером Академического театра Комедии и, в порядке последнего поощрения у нас, едущий в Японию. Оба они призваны всмотреться в сочетание костюма с кандидатом на его ношение и доложить Мэтру, насколько это соединение пристойно. Итак, мы поднимаемся по лестнице, и мое нервное напряжение растет...

А вот и костюмчик на распялке, вот и дармовой билет до Японии и обратно...

Стоит мне сейчас подобрать кисти и приподнять плечевые суставы, тем самым укоротив руки; стоит, несколько раздувшись, увеличить объем грудной

клетки и изящно сгруппироваться, внедряя себя в штаны и камзол, — и вот она, древняя островная империя! Разве Токио, как и Париж, не стоит мессы?! И разве я не артист прежде всего?

Настоящий артист должен становиться крупной или меньше ростом, соответствуя выпавшей роли. Нужно только призвать на помощь всю силу воображения и войти в Гришину мерку, как в предлагаемые обстоятельства собственной жизни. Ну, Рецептер, давай, не стесняйся! Вот и Юра Аксенов, со своей непроходящей улыбкой, подтверждает: «А что? А ничего...». Вот и Таня Руданова делает ласковые стежки на моей биографии путешественника: «Тут немного заузим, тут немного отпустим»... Конечно, они желают мне только добра!..

И вдруг, помимо желания и умысла, абсолютно вопреки складывающемуся намерению, мое тело и, очевидно, заключенная в нем душа бесконтрольно и пугающе неожиданно выдают неуправляемую реакцию. Артист Р. вытягивается во весь рост и воздевает вверх руки, отчего камзол взлетает до пупа, а рукава задираются до локтей, по-клоуновски раскорячивает колени и в отчаянье кричит своим доброжелательным конвоирам:

— Да вы что, ребята? С ума вы посходили! Не могу же я... во всем этом выходить на сцену!.. Все!.. Снимаю!.. Скажите Гоге, что мы честно мерили и у нас ничего не вышло!.. Таня, ты же видишь?.. Юра!.. Только не улыбайся!.. И не говори ему, что Рецептер не хочет!.. Скажи, как есть: костюм не подходит!..

И Юра улыбается мне в ответ многозначительной улыбкой придворного. Я весь в его руках.

На другой день в костюм Гая удачно помещается артист Валерий Караваев, который все равно едет в Японию в «лошадином табуна», т.е. в «Истории лошади», а я получаю своего «дурака» от каждого, до кого доходит история моей примерки.

Ну, конечно, дурак. Дурак в своем репертуаре!.. А я и не спорю. Я сам себя ругаю дураком...

Я даже много лет играл роль дурака-правдолюбца в пьесе Л. Жуховицкого «Выпьем за Колумба!», героями которой были трое друзей-биологов. Роль гения играл Олег Борисов. Роль карьериста — Олег Басилашвили. А роль дурака — я. Такое было распределение. Однажды на репетиции что-то не заладилось, принялись выяснять, почему, и вот, в пылу творческого спора, Басилашвили, между прочим, замечает:

— Понимаете, Георгий Александрович, я называю его дураком, а он не реагирует...

Товстоногов поворачивается ко мне и говорит:

— Володя, почему вы не реагируете, когда Олег называет вас дураком? Ведь это же оскорбление!

А я отвечаю:

— Георгий Александрович! Ну какое это в России оскорбление? Это — героизация: дурак, идиот, юродивый, сумасшедший... А в нашем случае — просто текст, потому что по действию Олег меня никак не оскорбил.

Тогда Товстоногов поворачивается к Басилашвили и говорит ему:

— Олег! Володя прав! Вы говорите текст безо всякого оскорбления!.. Попытайтесь его оскорбить!..

И вот я сам пытаюсь себя оскорбить, но действую вяло, потому что поезд ушел, то есть списки составлены, и на собеседование к старым большевикам мне в райком не надо... И то хорошо...

Но если сознаться честно, на душе у меня — очень нехорошо...

Во время таких головокружительных гастролей оставшиеся дома начинают комплексовать и чувствовать себя вторым сортом. А что может быть в театре ужаснее этого?

И бессонными ночами артист Р. тайно возвращается к сцене примерки и грызет себя за мерзкую распушенность и неумение собой владеть.

— Кто ты такой? — задает он себе бессмертный вопрос Паниковского и свирепо отвечает: — Высокомерный, провинциальный, жалкий премьер! Костюм на тебя мал?.. Врешь!.. Не костюм, а роль для тебя мала, а ты, Гамлет несчастный, хочешь играть только большие роли!.. Бесстыжий каботинец!.. Вся ситуация глупа, а ты в ней — глупее глупого! И все потому, что тебе смерть как хочется в Японию, и ты как огня боишься какой-нибудь своей внезапной подлости...

Но проходит темная ночь, и ясным днем начинаешь настраивать себя на другой лад, и в ушах звучит уже другой монолог:

— Прощай, страна восходящего солнца! Прощайте, гейши в тонких кимоно! Нам не суждено узнать друг друга!.. Я поеду в Челябинск, я повидаю Свердловск и Нижний Тагил, и нежные тагильчанки будут улыбаться одному мне... Чем Урал хуже Японии?.. Пусть мне это объяснят наши патриоты!..

Вот каким изворотливым может быть сознание уязвленного артиста. Но бодрости оно не прибавляет, и к вечеру он начинает понимать, что еще не достиг пределов самоедства.

— Что Гришин костюм, — объясняет он себе самому. — Давно пора надеть должную форму и беззаветно встроить себя в систему любимого театра. Так же, как театр, с помощью политкостюмеров, встраивает себя в систему нашей великой страны. Разве Товстоногову легко снимать «Римскую комедию» Зорина и рядить сцену по «юбилейно-датской» моде? И пора честно признаться, что домашние вольнодумцы потому и позволяют себе смелые фразы и свободные жесты, что их прикрывает Георгий Товстоногов, оставляя за собой тесный костюм компромисса... Компромисс — вот знамя эпохи, а значит, и твое!.. Вспомни слова потерпевших и понимающих время людей...

И я вспомнил, как однажды на галечном пляже санатория «Актер» в городе Сочи Сережа Юрский, успевший переехать в Москву, рассказал мне подробности своего разрыва и ухода, те, которых я еще не знал, и с горькой иронией опального мудреца заметил на мой счет:

— Будь всем доволен, и все будут довольны тобой... И никто тебя не обидит ни в городе, ни в театре...

Конечно, он, как Чацкий Чацкому, объяснял мне один из дьявольских законов театра, который постиг на своем мучительном опыте, а не советовал перейти в Молчалины и стать подлецом...

Но не успел я додумать до конца парадоксы неистощимой действительности, как грянула еще одна новость.

Снова мы стоим у расписания с Даниловым, и он говорит.

— Володя, по-моему, ты этого еще не знаешь...

— Миша, по-моему, я не знаю ни того, ни этого...

— Так вот, только не падай... Вместо «Амадея» в Японию едут «Мещане». Фантастика!

— Миша, скажу тебе, как Станиславский: «Не верю!».

— Честное пионерское, Володя!.. Спроси у Дины!.. — он имеет в виду нашего легендарного завлита Д.М. Шварц. — Или подымись к Гоге, он сам тебе скажет!..

Миша от души рад и за меня, и за театр: он высоко ценит наших «Мещан».

— Понимаешь, Володя, нам не хватает современной пьесы для пропаганды среди японцев советского образа жизни. Но поскольку Горький — великий пролетарский писатель, чье имя носит наш первый советский театр...

— Мы будем пропагандировать мещанский образ жизни... — прерываю я, а он завершает:

— Как самый наисоветский!..

— Bravo, Данилов! — искренне восклицаю я, а он повторяет любимое слово:

— Фантастика!

Такова судьба и ее вольнодумная прихоть. Такова незаслуженная награда. Я еду в Японию, еду! Не вместо кого-то, а сам по себе. Не в костюме с чужого плеча, а в своем. Я выйду на сцену Петрушей Бессеменовым в ношенной косоворотке, старых штанах и потертом студенческом кителе. Моему костюму, как и спектаклю «Мещане», чуть ли не двадцать лет!..

«Я личность!.. Личность свободна!» — брошу я новенький текст в глаза верноподданным дряхлого микадо!..

Я сорву с побежденных японцев свою толику аплодисментов!..

2

«Не говори „гоп“, пока не перепрыгнешь». Буквально накануне отъезда мне снова предложили натянуть пиджачок с чужого плеча. На этот раз мы проходили «примерку» вместе с Владиславом Стрельчиком.

Дело было так. Второго сентября в одиннадцать тридцать на Малой сцене открылось общее собрание отъезжающих. Боясь что-нибудь упустить и напортачить, а может быть, подсознательно предчувствуя рождение гастрольного романа, я решил занести в тетрадь таможенные инструкции и общие предписания.

Директор театра Геннадий Иванович Суханов, бывший оперный певец, мужчина высокого роста, вальяжный и улыбчивый, начал с международной обстановки.

— Уважаемые товарищи, — сказал он торжественным тенором, — конечно, вы — опытный, испытанный коллектив, сознательные люди. Но никогда прежде мы не выезжали за рубеж в столь напряженной ситуации и в такую сложную страну. А большой опыт усыпляет... На этот раз нам предстоит серьезное испытание. Я не имею в виду сейсмические вещи... Хотя от вулканов тоже можно ожидать неожиданностей. Дело в том, товарищи, — тут Суханов перешел на баритон, — что правящая партия Японии ведет себя не так, как хотелось бы...

По правде сказать, я не знал, чего мне хотелось от правящей партии Японии, а Геннадий Иванович дипломатично не сообщил этого впрямую, но явно дал понять, что высокая вежливость японцев не должна обмануть нашу проницательность.

На этом тревожном фоне и были даны «уточнения по еде». Мы имели право взять с собой по две палки копченой колбасы, не более десяти банок консервов, три-пять пачек чаю, двести граммов или банку растворимого кофе, триста граммов икры, черной или красной, хрустящие хлебцы, а также по полтора блока сигарет и две бутылки водки. Таможня в Находке характеризовалась как очень строгая, но если наши «звезды» возьмут с собой свои фотографии для подарков и сделают на них сердечные надписи в адрес тружеников проверки, то весь коллектив может надеяться на таможенную снисходительность. (Смех, возгласы одобрения, аплодисменты.) Хотя муку, крупу, хлеб и полуфабрикаты даже «звездам» брать с собой категорически не следует...

Читателю, не пережившему наших времен, следует объяснить, что все эти дозволенные яства нужно было еще, что называется, «достать», потому что на общедоступных прилавках всего вышеперечисленного не было или почти не было. Один из моих друзей справедливо советовал развернуть историческую тему добывания продуктов, и я, благодарно приняв совет, чуть позже непременно им воспользуюсь, но пока, дабы не тормозить действие, обязан вернуться на собрание.

После директора взяла слово едущая руководителем гастролей Анта Антоновна Журавлева, в сфере культуры женщина историческая и бессменная, в те поры секретарь областного (или городского?) комитета партии, а некото-

рые говорят, что не секретарь, а заведующая отделом или генеральный инструктор...

Здесь знатоки могут мне возразить в том смысле, что никаких «генеральных инструкторов» ни в обкоме, ни в горкоме не было и быть не могло, а был всего лишь один-единственный и незабвенный Генеральный секретарь. Но если хорошенько вдуматься, эпитет «генеральный» должен был произойти не иначе как от слова «генерал», а поскольку партия у нас была всего одна и всем руководила («руководящая и направляющая сила эпохи»), то любой ее инструктор, выйдя за порог своего штаба, тотчас начинал чувствовать свою избранную роль и генеральское положение. И, конечно же, все остальные, то есть те, кто не имел счастья служить в обкомгоркомрайкоме, понимали себя по отношению к каждому инструктору значительно ниже рангом или вообще маялись своей неполноценностью, как штатские по отношению к военным. Что уж тут говорить о заведующих отделами, третьих, вторых, а тем более первых секретарях, которые смотрелись просто генералиссимусами. Недаром же Анту Журавлеву назначили руководителем японских гастролей, поставив ее не только над Геннадием Сухановым, но и над самим Георгием Товстоноговым. И, кстати сказать, именно Анта выгодно отличалась от других подобного рода руководителей.

— Товарищи, — твердо сказала Анта, — паспорт нужно всегда иметь при себе. Беспаспортных забирает полиция. Одна балерина забыла паспорт, и ей пришлось танцевать в полиции, чтобы доказать, кто она такая... В гостиницах большой порядок и чистота, поэтому консервные банки не нужно швырять в свой мусоропровод, их следует заворачивать в бумагу, выносить из гостиницы и складывать в урны, чем дальше, тем лучше... Теперь... В номерах дают кимоно и тапочки; не увозите их с собой, как это сделал один наш известный артист... И самое главное, товарищи, в магазинах разбегаются глаза. Не переходите из отдела в отдел с неоплаченными товарами и сохраняйте все чеки до выхода на улицу... Ну вот, как будто все... Ах, да!.. Чуть не забыла!.. Владислава Игнатьевича Стрельчика и Владимира Эммануиловича Рецептера после собрания просил заехать в отдел культуры обкома (или горкома?..) товарищ Барабанщиков...

«Вот тебе, бабушка, и юрьев день!» — подумал я, и во мне шевельнулось тоскливое подозрение, что после визита к товарищу Барабанщикову мои консервные банки могут не достичь японской урны. Стрельчик тоже недоумевал.

— Ничего особенного, — успокоила нас на ходу Анта Антоновна, — не волнуйтесь, это по поводу какого-то комитета, езжайте смело.

Однако я стал лихорадочно вычислять, о каком именно комитете может идти речь у товарища Барабанщикова и при чем тут я и Слава.

Когда мы сели в машину Стрельчика и выехали с театрального двора, я сказал:

— Слава, у меня такое предчувствие, что нас хотят повысить в звании до членов антисоциалистического комитета.

Он пристально взглянул на меня и нервно спросил:

— Ты думаешь?

Я сказал:

— Ну, а какой там еще может быть комитет?.. Не безопасности же?..

Некоторое время мы ехали молча. Потом я спросил:

— Слава, клянусь, я никому тебя не выдам, ты — еврей?..

Стрельчик скрипнул тормозами и сказал:

— Я — поляк... Это тот комитет, в котором Райкин?

— И Быстрицкая... Но если ты не еврей, чего они хотят от тебя?..

Стрельчик ехал на красный свет и молчал.

В задачу изобретенного в Москве комитета входила пропагандистская

борьба с международным сионизмом и происками израильской военщины. Его президиум, который не раз показывали по телевидению, выглядел довольно картинно, и в устраиваемых комитетом спектаклях принимали участие многие еврейские орденосцы и знаменитости. Таинственно было одно: при чем здесь Стржельчик?..

На Суворовском проспекте я высказал еще одну догадку:

— Знаешь, по-моему, они надеются на тебя как на молодого члена партии.

Недавно первый секретарь обкома товарищ Романов лично вовлек наконец Стржельчика в партию коммунистов, дав ему свою высокую рекомендацию.

Я берег свою беспартийность, неуклюже хитря и уклоняясь от прямых предложений, как девственница.

— Это — хулиганство! — убежденно сказал Стржельчик, когда мы вышли из машины, и, крепко хлопнув дверцей, добавил: — Хрен им!

Теперь мы были готовы к встрече на высоком уровне.

На нашу удачу, товарищ Барабанщиков, имя и отчество которого я по дороге учил наизусть, но с тех пор безнадежно забыл, совершил тактическую промашку, решив обсудить вопрос не с каждым в отдельности, а открыто и вместе: чего там! все свои!.. А вместе нам было все-таки полегче: нас двое, а он — один.

Моя трусливая догадка нашла свое подтверждение:

— В Москве есть такой комитет, а у нас еще нету, — сказал товарищ Барабанщиков с ласковой улыбкой, — это непорядок. Чем Ленинград хуже Москвы? — задал он риторический вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Вот мы и хотим предложить вам, Владислав Игнатьевич, как известному артисту и вам, Владимир Эммануилович, как артисту и писателю войти в это дело...

«Надо же! — оценил я. — Продумано!.. С одной стороны, дельце — дрянь, а с другой — накануне выезда в Японию... Скромная такая доплата за проезд! Или дополнительная страховочка...» На минуту мне показалось, что сейчас товарищ Барабанщиков достанет из стенного шкафа парочку форменных кителей и станет вежливо подавать нам для примерки и одному, и другому. Впрочем, форма одежды членов ленинградской фракции нового комитета могла быть и гражданской: фрак, смокинг, интеллигентная «тройка», спортивный пиджак, украинская рубашка с вышивкой, косоворотка, подпоясанная шнурком... Так сказать, с учетом художественной индивидуальности. Главное, чтобы мы согласились войти в это дело.

— Нет, — твердо сказал Стржельчик. — Мою жену не берут в Японию, и я отказываюсь.

Позавидовав безупречной логике Славиного аргумента и не давая товарищу Барабанщикову опомниться, я почти без паузы стал горячо убеждать:

— Понимаете, Имя-Отчество, к сожалению, я тоже не могу... Кроме театра, который, конечно, прежде всего, у меня очень много других обязательств: и Союз писателей, и Пушкинская студия, и секция чтецов, и общество «Знание»... Вы сами посудите, Имя-Отчество, ведь это все требует времени!.. И вызывает какое-то недовольство в коллективе: слишком много посторонних забот... Нельзя же брать на себя так много!.. Пожалуйста, поймите меня правильно...

Товарищ Барабанщиков так и понял...

О, Господи!.. Что это было?..

Я говорил чистую правду и в то же время врал, беспардонно, чудовищно врал, преодолевая рвотное чувство...

И Слава, которого тоже тошнило от этой вербовки, тоже врал, приводя свои семейственные мотивы...

И товарищ Барабанщиков врал, говоря, что понимает наши сомнения и все же просит подумать еще...

Ну, подумать всегда не вредно, так же, как и хотеть... «Хотеть не вредно», — говорила ухажеру одна девушка, смягчая свой отказ...

Конечно, по оценкам отважных времен, мы вели себя не Бог весть как круто. Но тогда, когда это случилось, некоторые последствия могли и наступить. Ну, например, по срочному докладу товарища Барабанщикова нас могли «тормознуть» и у самолетного трапа. Если и не обоих, то хоть одного. Балетные прецеденты бывали: после бегства Рудольфа Нуриева, а тем более Миши Барышникова, обжегшись на молоке, «выпускающие» дули на воду...

Испытание сблизило нас, и, взглянув на часы, Слава предложил:

— Время обеда... Пойдем, посмотрим, чем питается «белая кость».

— Белая? — переспросил я, а он вместо ответа выразительно посмотрел мне в глаза...

Питались они недурно: и осетрина, и икра шли в обкомовской столовой по смешным ценам. Женщины на раздаче и подкрепляющиеся партийцы гостеприимно улыбались нам...

Домой ехали молча...

Я долго не мог взять в толк, по какой же логике это приглашение подфартило Стржельчику? И лишь через много лет меня осенила простодушная мысль, что поводом для включения в список антиссионистов могла послужить роль старого еврея Соломона, которого Слава так прекрасно сыграл в пьесе Артура Миллера «Цена». Конечно! Он говорил с сипотцой и характерным напевным акцентом, дрожащими руками надбивал и чистил куриное яичко, доставал ложечку и долго кушал его, а потом сладострастно торговался о цене никому не нужной мебели. Перевоплотившись так органически и проникновенно, Стржельчик, очевидно, стал ассоциироваться у наших идеологов с типичными представителями древнего народа. Вероятно, он должен был войти в состав бойцового комитета как глубокий знаток еврейского характера и национальной психологии.

Наверное, тут была проявлена даже некая тонкость: с одной стороны — знаток, а с другой — поляк. А польские коммунисты к этому времени решили вопрос почти радикально: взяли и всех своих евреев выслали из страны. Следовательно, товарищ Стржельчик, с точки зрения товарища Барабанщикова, на роль борца с сионизмом подходил как нельзя лучше. А он возьми и откажись!.. Не ожидали...

А однажды коренной москвич, обладающий трезвым умом, пояснил мне еще одну причину, по которой в антиссионистскую команду призывали поляка...

— Если бы Стржельчик был русским, — сказал он, — его бы не обеспокоили... А что такое поляки с точки зрения правящей партии?.. Такой же сомнительный народец, как цыгане и евреи... Российская империя их давила... Сталин с Гитлером их приговорили... Они себя выдали, понимаешь? Ты, мол, для нас все равно что еврей!.. Поэтому Стржельчик и напрягся... Ты вспомни, сколько поляков расстреляли в Катюши...

Я вспомнил...

Но самым противным на сегодняшний день показалось то, что от нас не ожидали отказа...

Чего они вообще ждали от нас? Сами-то понимали, чего ждут, или просто так зарплату оправдывали?.. Или их вообще нельзя отделять от нас, а нас — от них, потому что мы составляли единое целое?..

А чего ожидали мы? И от кого, главное?.. Бога у нас еще не было, фортуна казалась членом партии, а зарубежные гастроли — признаком избранничества...

Ну чего я, темный, ждал от Японии? Экзотики или глотка «другой жизни»? Разве мы не потащили с собой свои робкие привычки и вялые надежды?

Разве послушно не разбились на «четверки» для удобства подробного надзирательства за каждым из нас?..

Юрий Алексеевич (или Александрович) представлял Комитет государственной безопасности и на нашем собрании держался скромно. Обаятельно улыбаясь, он честно признался в том, что театрального образования не получал, в Японии ни разу не был, но в трудных случаях может выручить и спичечный коробок с адреском отеля. Вообще же Япония — высокоорганизованная страна, и мы постараемся соответствовать ей своей высокой организацией. А вместе нам нечего бояться, так как нас «будут охранять».

— Ого! — сказал на это Иван Матвеевич Пальму и радостно оглянулся на остальных.

— С вами могут искать контакта лица негативные, — продолжил еще один новоявленный руководитель коллектива, уверенный, что мы одинаково понимаем значение слова «негатив», — так вот, контакты с ними не возбраняются, единственное, о чем я вас попрошу, поставить нас в известность... Единственное...

Юрий Александрович (или Алексеевич) живо напомнил мне мою университетскую практику в газете туркестанского военного округа «Фрунзевец» и то, как радушно встречал меня заведующий отделом пропаганды полковник Борщиков.

Полковник был, очевидно, родом с Украины, но долго служил в Сибири, и речь его вобрала в себя как южные, так и северные особенности.

— Ну, Володя, — говорил он, вкусно окая, какая и подбирая при этом особо выразительные предлоги и ударения, — мы рады, шо ты прышел к нам на практику... Ну шо тебе сказать?.. Мы тебе как прѐдставителю нашей мѐлодежи дадим полную творческую свободу... Понимаешь?.. Так... Ну какую тебе, Володя, поставить задачу, — спрашивал полковник и сам же радостно отвечал: — Ага!.. Сходи, пажалуста, у кино, Володя... Идет у наших кинотеатрах такая картина под названием «„Бахатырь” идет у Марто». Посмотри, пажалуста, эту картину. И напиши рыцензию... Вот шо хочешь, то и напиши. Буквально шо только захочешь, то и пиши... Хочешь, пиши 200 строк, а хочешь — 300 строк пиши. Сколько хочешь, столько и пиши. Вот только есть у меня одна маленькая просьбица. Ты усе-таки так напиши, дорогой Володя, чтобы наших солдат... Сержантоу... Офицероу... И генералоу... Да, и генералоу тоже... воспитать в духе ненависти к американскому империализму...

Я написал.

— Ну, Володя, — сказал полковник Борщиков, — хорошую рыцензию ты написал на картину «„Бахатырь” идет у Марто»... Мы тебе ганарар выпишим приличный и поместим рыцензию на доску лучших материалов номера... Маладец!.. Ну, шо тебе еще сказать?.. Ага!.. Вот... Вышла у нас такая книга корреспондента «Правды» Даниила Краминоуа под названием, если не ошибаюсь, «Многоэтажная Америка». Так ты возьми, Володя, в библиотеке эту книгу или купи ее у магазине, прочитай внимательно и напиши на нее рыцензию... Шо хочешь, Володя, то и напиши... Мы тебе подвал дадим... Пиши подвал... А если хочешь два подвала — пиши... Причем, абсолютно шо хочешь... Полная тебе свобода, Володя... Только одна к тебе маленькая просьбица...

Вот так и у товарища Чекистова была к нам «одна маленькая просьбица» — ставить его в известность...

И все-таки, все-таки... Мы ожидали японского чуда и «балдели» на чистых палубах советского судна «Хабаровск», идя через пролив Цугару, минуя остров Симокита, встречая рассвет на Тихом океане. О, какой кайф мы ловили на белом пароходе, ослепленные редкостной удачей и волшебной солнечной погодой!..

Плыли мы почти трое суток.

3

Прежде чем продолжить описание японских событий, автор должен честно признаться в том, что память его за истекшие годы изрядно прохудилась и он готов принять любые упреки в неточности от других участников поездки. Конечно, он беспредельно субъективен и безнадежно ограничен, но, видит Бог, он все-таки старался. Чтобы восстановить эпическую картину гастролей, он все же наводил справки, сверяясь со своим бестолковым дневником и разумными разъяснениями памятливых коллег. Телефонный звонок или случайный рассказ при встрече вносили в историю известные коррективы, и все же у каждого из участников путешествия — свой сквозной сюжет, свои детали, и автор был бы рад, если бы его просьбы оказались услышанными, и те, кого он к этому склонял, сами записали свои бесценные байки. Но одни — дай им Бог удачи! — слишком поглощены актерской работой; других он, нерадивый, потерял из виду, а третьи просто уже не смогут этого сделать... Поэтому автору не остается ничего другого, как поспешить со своим отчетом, прежде чем полное беспамятство не поставило и ему непреодолимой преградой...

Сделав это повинное отступление, он позволит себе пойти дальше, а точнее, вернуться назад и, выполняя данное обещание, коснуться темы наших сборов... Не торопитесь, не торопитесь, читатель!..

Чтобы успеть до скорого отъезда наполнить гастрольные чемоданы, перед нами возникла необходимость прибегнуть к возможному «блату» и, проявляя изворотливость и смекалку, попытаться обменять на дефицитные продукты дефицитные билеты, а для того, чтобы получить билеты, следовало идти к заместителям директора, администраторам, заведующей билетным столом с символическим именем Надежда Алексеевна или к нашим дорогим кассиршам Ольге и Людочке...

Так, например, настоящий индийский чай «со слоником» и отечественный растворимый кофе я надеялся спроворить в знаменитом магазине «Чай-Кофе», что на Невском проспекте, рядом с Московским вокзалом, и, как спортсмен, настраивал себя на то, чтобы с разбегу преодолеть прилавочный барьер, нахально пройти в подсобку, подняться на второй этаж и постучать в дверь к директору магазина Любви Михайловне, средних лет красавице-брюнетке, с которой меня познакомил великий чаевник и кофейст Павел Петрович Панков. А поскольку покойный Павел Петрович, редкий книголюб и собиратель русской сатирической литературы начала века, представил меня Любви Михайловне не только актером, но и литератором, то, заходя к обаятельной директрисе, я должен был выдержать короткий, но содержательный разговор на литературные темы и, благодаря ее за чайное сочувствие и кофейную поддержку, пригласить на свой концерт или новый спектакль или с искренней приязнью и лучшими пожеланиями надписать ей стихотворный сборник...

Милейшая Любовь Михайловна давала распоряжение своему заместителю, он отправлялся готовить пакет; а я снова спускался в торговый зал, чтобы оплатить покупку через кассу...

Замаскировав пахучую добычу в портфеле, я, по просьбе Любви Михайловны, черным служебным ходом выходил в соседний двор и как ни в чем не бывало шел по Невскому проспекту, переполненный чувством достигнутого равенства с верхними эшелонами власти...

Назвав по имени Павла Петровича, нельзя не сказать хотя бы несколько о том, кого мы для японского путешествия безвозвратно потеряли и кто украшал собой гастрольные кочевья в прежние годы.

Собственную смерть Панков предрек, ссылаясь на то, что и дед его, и отец умерли пятидесяти шести лет от роду, и он, мол, так...

Странствовали по Союзу или за рубежом, везде он жил, как у себя, несуетно и благородно, раз и навсегда установив регламент гостиничного домоседства и редко балуя местных зрителей демонстрацией своей импозантной фигуры вне сцены. И то сказать, выносить на улицу сто двадцать килограммов живого веса и таскать их по чужому городу — себе дороже. Уж лучше пить чай в номерах.

После спектакля, — играл он сегодня или нет, — вокруг Панкова собирался некий творческий клуб, в который входили радист и теоретик театрального искусства Рюрик Кружных, артист и гоголевед Миша Данилов, а также те из актерского цеха или службы, которые понимали толк в обрядовом русском разговорном времяпрепровождении. Дверь номера была не заперта, но компания составлялась избранная: демократически настроенная интеллигенция, помнящая дворянское прошлое нашей культуры.

Неспешное и острословное обсуждение событий шло у Панкова до четырех-пяти утра в возвышенной ароматической атмосфере хороших чаев, вкусного кофья и дорогих сигарет, на которые Павел Петрович не жалел и валютных затрат. Стоит ли говорить, что Венценосным Председателем, Светящимся Маяком, воплощенным Обломовым, живым Джаксоном и воскресшим Йориком был именно он.

Ни о каком алкоголе здесь и речи быть не могло, так как хозяин решительно бросил молодые привычки, загубившие не один самородный талант, и одним этим служил для нас высочайшим примером.

Расходясь почти на заре, участники посиделок знали, что теперь к Павлу Петровичу до двух, а то и до трех часов пополудни лучше не ломиться, да и позднее дать ему время на медленное просыпанье и плавное приведение огромного, рыхлого и талантливое тела в рабочее состояние.

Пик формы с Божьей помощью наступал у Панкова к началу вечернего спектакля, а в антракте вновь поспевал чифирный чаек или свежесваренный кофий, что было следствием добротного опекуства, которое взяла над Павлом Петровичем костюмер и мажордом его клуба Татьяна Руданова...

Труднее приходилось, когда ему выпадали «утренники» и ранние репетиции, но эту предубежденность Панкова знал и даже отчасти принимал в расчет при составлении расписания завтруппой БДТ Валерьян Иванович Михайлов.

Та же Таня Руданова выполняла и покупные гастрольные поручения Панкова и, помимо носильных вещей для жены и двух сыновей или какого-нибудь баловства для огромного, как хозяин, ньюфаундленда по имени Устин, доставляла к нему в номер до сотни разнокалиберных сувениров, потому что артист П. душой понимал ревнивые скорби оставшихся. Но и для блага семьи или утешения скорбящих Павел Петрович никогда не унижал себя походами по тряпичным делам. В табачную или кофейную лавку заглянуть мог, особенно если она обнаруживалась неподалеку от гостиницы, а в какие-нибудь универмаги-пассажи — Боже сохрани!..

Да и экскурсий по достопримечательным местам Европы или знаменитым музеям наш герой не жаловал; вы, мол, посмотрите и мне вечером расскажете...

Во время «Мещан» за кулисами Павел Петрович, словно готовя Р. к ближнему расставанию, несколько раз предупреждал, что его, Панкова, смерть не за горами, и не давал спорить по этому жестокому поводу.

— Нет, нет, Володя, теперь скоро, — говорил он, — вот увидите...

То ли знал, то ли напроорочил...

И на роль Тетерева, которая была для него и дебютом, и триумфом на сцене БДТ, вынужденно ввелся Слава Стрельчик...

Что же касается артиста Михаила Данилова, то уж он-то Павла Петровича просто боготворил и сделал для себя примером подражания, а после его кончины продолжил в гастрольях панковские традиции: интеллигентные беседы, остроумные пикировки, кофий на спиртовой горелочке, сигаретный дымок, чайная церемония...

С твердокопченной колбасой, лососем и печенью трески дело обстояло сложнее, но и тут имелись налаженные маршруты. В зрительском буфете можно было войти в легкий сговор со старшинами закуской службы и, пообещав на ухо известного лишку, создать для поездки скромные запасы.

Те же, кто имел право считать себя окружением Данилова, могли рассчитывать на продуктовую экскурсию в Елисейский магазин, где сменный администратором трудилась его добрая мама. Готовя творческую высадку на Хонсю и Кюсю, предстал однажды перед ее очи и я, чревоугодный... Хотя и не помню, чтобы Р. хоть в одну поездку покупал для себя икру: именно икре дружно сопротивлялись недодушенный стыд и недостаток финансовой мощности.

Возможно, у депутата Лаврова или семьи Товстоноговых-Лебедевых были лучшие источники, чем те, о которых знал я, но здесь важно понять, что, независимо от чина и звания, никто не мог считать себя свободным от кормовых и курительных забот. И даже те, кто не имел никакого блага и не склонял гордой головы перед прилавком, рискуя желудками, брали с собой все, что доступно, например, вечную утеху потребляющей водку души — пряную килечку...

Впрочем, вру. Было в нашей команде и героическое исключение, подтверждающее общее правило. Лариса Малеванная, для которой японская гастроль оказалась первой загранкой с Большим драматическим, наслушавшись напутственных инструкций, перестраховалась и не взяла в дорогу никакой еды. Встретив ее в коридоре японского отеля, Юра Демич переспросил:

— Ты что, действительно ничего с собой не взяла?

— Ничего, — простодушно призналась Лара.

— Ну и дура, — обиженно сказал Демич, подтверждая мой тезис о том, что «дурак» в российском лексиконе стоит гораздо ближе к уважительному воззвличению, нежели к банальной ругачке. И добавил:

— Пошли, я тебе десять супов дам...

И вручил ей десять забываемых куриных пакетов.

Поддержала Лару и Ирина Ефремова, захватившая с собой здоровенный шмат украинского сала, много сгущенки и контрабандный сыр на первое время. Сыра можно было взять лишь немного не только потому, что он не входил в «список», но и оттого, что не всякий гастролер мог рассчитывать на холодильник...

«Конвертируемым», то есть упакованным в пухлые конверты, гороховым, куриным и прочим супам Миша Данилов присвоил изящное наименование «суп-письмо» и сам смастерил суповой кипятильник...

И тут, отвлекая от пищевой охоты, просят на волю устные рассказы о кипячении и кипятильниках и правило, которое затвердил любой гастролер: без собственного прибора за границей делать нечего...

В отличие от домашнего, гастрольный кипятильник должен был иметь разрешающую способность греть воду от тока напряжением в 120 чужих, а не 220 наших вольт и хитрую кустарную вилку, преодолевающую сопротивление девственно строгих щелевых иностранных розеток, которые вечно прятались в самых недоступных углах номера...

Инженер по электронике Голя Левант, женатый на концертмейстере те-

атра Розе Осининой, умел делать изящные приборчики даже из бритвенных лезвий, и это были настоящие шедевры прикладного искусства...

Сразу после расселения в Токио вышел у нас известный конфуз, когда, оказавшись наконец в своих номерах, все решили подкрепиться с дороги и дружно врубили свои нагреватели. Эффект был мгновенный и ослепительный: в гостинице вылетели все пробки и она погрузилась во тьму...

Как выяснилось позже, эксклюзивным правом на «эффект гастрольного затемнения» мы не обладали: аналогичные эпизоды сохранились в эмоциональной памяти коллективов Большого и Кировского театров, выездных хореографических ансамблей Игоря Моисеева и «Березка», а также прославленных симфонических оркестров Советского Союза и Ленинградской филармонии...

Здесь же, возникнув, как черт из табакерки, требует себе места история ухи, затеянной в одной из гостиниц Григорием Гаем...

Будучи человеком обстоятельным, Гриша не надеялся на типовой результат, который сулила консервная банка тресковой ухи, и не поленился сходить на местный базар, чтобы прикупить молодой картошки, укропа, лаврового листа и других необходимых приправ. Вернувшись в гостиницу и еще раз осознав, что лишен необходимой кастрюли, Гай достал щетку и мыло и тщательно вымыл номерной умывальник. Оставалось аккуратно заткнуть его пробкой на железной цепочке, набрать воды и опустить в новорожденный «котел» свой нагревательный прибор...

Напарником Гая в поездке был Владимир Татосов, который имел на утро другие планы и не знал о кулинарной затее Григория. Вернувшись и приближаясь к своему номеру, Володя стал ощущать беспримерные запахи большой рыбной кухни. Тревожась все больше и больше, он понял, что источником мощного «букета» является именно их с Гришей дортуар, который оказался запертым изнутри.

Володя постучал.

— Да, — глухо донеслось из-за двери.

— Гриша, это — я, — сказал Володя.

Таинственным детективным басом Гриша спросил:

— Ты — один?

— Один... А что?.. Что случилось?..

Гриша приоткрыл дверь и велел:

— Заходи! Быстро!..

И снова тщательно запер замок.

— Ну, Володя, — тоном заговорщика пообещал кулинар, — сейчас мы с тобой будем есть такую уху... Пальчики оближешь!.. Ты такой ухи никогда не ел!.. Чувствуешь, какой запах?..

— Чувствую, — сказал Володя. — Давай откроем окно.

— Ты что?! — сказал Гриша. — Хочешь, чтобы к нам применили санкции?!

К моменту, когда уха показалась Грише готовой, в номер постучал встревоженный сногсшибательным запахом сосед. По одним данным, это был Олег Басиладзиви, по другим — Женя Горюнов, но некоторые с уверенностью называют Виталия Иллита...

Тут показания и о городе, в котором происходила сцена, и о рыбе, из которой готовилась историческая уха, расходятся. У одних в памяти возникает празднующая сорокалетие советского Казахстана Алма-Ата и жирный озерный толстолобик, у других — столица Финляндии Хельсинки и та же консервированная уха, однако не из трески, а из окуня.

И здесь важно отметить множественность путей, по которым движется единичный факт, обрастая вариантами и превращаясь в настоящий апокриф...

Если Татосов вспоминает о рыбных ароматах с оттенком негативным, дру-

гие акыны, наоборот, рассказывают о нежном и аппетитном запахе, дразнящем усталых от гастрольной сухомятки артистов.

Для завершения сюжета я, пожалуй, воспользуюсь второй версией: уха на славу удалась и гостю предоставили право снять пробу.

Предвкушая удовольствие, новобранец взял из рук Гая ложку и, зачерпнув ею из огнедышащего чрева ухи, понес ко рту. Но оказалось, что вместе с рыбным наваром и лавровым листом он поддел железную цепочку, та выдернула со дна умывальника пробку, и с драматическим бульканьем дивная уха унеслась в преисподнюю...

Предоставим читателю право, в качестве домашнего задания, самому образить и описать реакцию участников сцены и жуткие натуралистические подробности избавления от последствий...

В отличие от беспечного Гая, Миша Волков обзывал реквизиторский цех тайно перевозить с собой непременно кастрюлю, электроплитку, крупу и картошку, потому что, не отступая от общих правил, железно соблюдал сепаратную диету...

Я же, никчемный сластолюбец, норовил прихватить с собой конфеты, шоколад-мармелад и фирменный круглый ленинградский пряник на меду в картонной коричневой коробке...

Но довольно, довольно!..

Автор должен ограничить себя в подробностях, иначе рискует безнадежно застрять в гастрономическом отделе...

А нам пора выезжать...

4

Дорога наша была не из легких и могла сравниться только с дорогой в Буэнос-Айрес, куда мы добирались через Москву, Лиссабон, Сантьяго, Гавану и Лиму с пересадками, ночевками, экскурсиями и таборными сидениями просто так...

Почему путешествие так смело берет на себя роль сюжета?..

Может быть, потому, что всякое действие и движение, сменившее неподвижность, естественно и властно притягивает взгляд?.. Любой предмет, смещаясь в пространстве, заставляет следить за собой, а неизвестный предмет — тем более...

То же самое можно сказать и о предмете известном, ибо перемена места способна придать ему новый облик, а непривычное пространство заражает охотой скольжения во времени...

Одно дело — Большой драматический театр дома, на Фонтанке, 65, и совсем другое — на дальних гастролях.

Скажем, я давно знаю артиста Владислава Стржельчика, но вот он едет на японские острова, причем с единственной ролью, да еще и вводом, едет вместо умершего Панкова, да еще без любимой и неразлучной жены, Люды Шуваловой, сперва актрисы, а теперь нашего ассистента режиссера или даже режиссера-ассистента. Таким образом, Слава поставлен в необычные обстоятельства дороги, ночного одиночества и хотя и временного, хотя и случайного, однако же неравенства на гастрольной сцене...

Разве герой не привлечет к себе наше повышенное и сочувственное внимание?

И все мы таковы — те же и немного не те, что обычно, и все узнаем о себе что-то новое, не то чтобы именно «японское», однако и явно не вполне «фонтанное».

Беда лишь в том, что при всей любви к Славе, Грише или Гоге автор не

сможет сказать о них столько, сколько о себе, и лишь на своем нелепом примере в силах оказаться подробней и достоверней, чем на других, если, конечно, у него хватит отваги, а у читателя — терпения...

Как я уже сказал, дорога наша была не из легких: почти восемь часов на ИЛ-62 до Хабаровска; день — в городе, а ночь — в поезде до порта Находка, с вагоном-рестораном и всеобщей бесшабашной тратой ненужных в Японии рублей...

Сева Кузнецов, начинавший актерскую карьеру на Дальнем Востоке, чокнулся со всеми то ресторанной рюмкой, то граненым стаканом от проводника и на разные лады повторял ностальгическую фразу:

— Еду по своей юности, ребята!..

Получалось, что все мы как бы у него в гостях.

Гриша Гай тоже смолоду служил на Дальнем Востоке, но с нами не ехал, а лежал в больнице и сочинял письмо Товстоногову о том, что чувствует себя вполне здоровым, ждет от него новых ролей и готов на любые условия, лишь бы работать... Лишь бы оставаться в театре.

Давным-давно, в первый же день моей новой службы, здоровый и красивый Гай подошел ко мне в фойе, улыбнулся и подал руку:

— Очень рад, что вы теперь с нами, — сказал он. — Хотите, попрошу заведующего труппой, чтобы вам дали место в нашей гримерке?..

Мне показалось, что я давно знаю это широкоскулое мужественное лицо.

— Спасибо, хочу, — сказал я, а позже услышал, что так же открыто и дружелюбно он подошел к Володе Татосову, когда тот появился в «Ленкоме»...

В Грише сочетались редкая начитанность, живой ум и широта интересов. Вечно он писал какой-то телесценарий, ну, скажем, о Владимире Галактионовиче Короленко, или страстно учил польский язык, или читал в закрытой библиотеке том Гудериана; вечно таскал с собой огромный набитый портфель, который вызывал насмешки недоброжелателей: зачем актеру портфель? Но Гриша не обращал на них внимания.

Впрочем, его портфель и для меня был вечной загадкой, потому что, кроме книг и сценариев, в нем могла оказаться и добрая выпивка, и свежая базарная закуска, и штормор, и столовый прибор в салфетке, а иной раз чистая простыня и большое полотенце из прачечной, если Грише предстояло тайное свидание на квартире нашего общего друга артиста Бориса Лёскина...

Думаю, что в известной степени из-за этого самого портфеля и любви Гая к разным непредсказуемым книгам он и получил в «Амадее» роль императорского библиотекаря Ван-Свитена, который Моцарта сперва защищал, а потом предал. В невеликую роль он, по-видимому, вкладывал какие-то свои размышления об искусстве и жизни, и, я думаю, драматическое содержание заботило его больше, чем красота придворного костюма, который сшили на него, а перед отъездом в Японию пытались напялить на меня.

Еще во время репетиций, когда Товстоногов стал сокращать пьесу Шеффера и роль императорского библиотекаря в особенности, Гриша сильно разволновался и страшно расстроился, боясь, что теперь не сумеет выразить современный смысл интеллектуального предательства и борьбу зла и добра, происходящую внутри героя. По этому поводу он даже ходил к Гогге, но успеха не добился...

И хотя при людях Гриша старался ничего не обнаружить, следы его настоящих страданий остались в переписке с давним другом Ольгой Дзюбинской...

А когда, пройдя через все испытания, он все-таки сыграл своего библиотекаря и выразил то, что хотел, а спектакль стал кандидатом на поездку в стра-

ну восходящего солнца, Гай оказался в таком ужасном состоянии тела и духа, что не был включен даже в предварительный список. И это было больно...

Гай попал в больницу и окончательно упал духом...

А ведь он учил нас другому. Именно он дивно сыграл в «Фиесте» писателя Билла Гортонна, который твердил гудящим голосом Гриши:

— *Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях...*

А Миша Волков в роли Джейка ему отвечал:

— *Если выпьешь еще три рюмки, ты упадешь духом...*

Телеспектакль по роману Хемингуэя поставил Сережа Юрский, и он имел у зрителя настоящий успех...

То есть сначала мы репетировали «Фиесту» в театре и даже показали прогон Гоге, но Гога по каким-то важным для него причинам этой работы не принял, и тогда Сереже пришлось искать реванша на телевидении...

Роль Билла Гортонна на редкость совпадала с его главным человеческим свойством: быть честным, стойким и никогда не падать духом, о чем он и просил всех нас, и прежде всего огорченного Сергея.

И до последнего времени это Грише удавалось.

Несмотря ни на что...

Даже в те черные времена, когда многие падали духом, потому что партия громила космополитов. И Центральный театр Советской Армии, в котором работал Гриша, громил безродных космополитов. И сводный хор погромщиков изо всех творческих сил дружно мочил своего собственного космополита.

Тогда, на общем собрание раздался одинокий голос Гая, который сказал:

— Это — несправедливо. И это — неправда. Наш завлит Борщаговский вовсе не портит советские пьесы. А часто даже спасает. Наш завлит бескорыстно спасает плохие пьесы бездарных драматургов!..

И привел примеры...

Тут-то все и случилось.

Тут-то все собрание развернулось против Гриши, и его вместе с Борщаговским как безродных космополитов исключили из партии и прогнали из театра...

К сведению тех, кто уже и еще не знает.

«Космополиты», по тем временам, значило — евреи; их-то тогда и громили.

И некоторых — до смерти.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов прошлого века, когда Гришу Гая изгнали из военного театра, «космополитов» громила вся страна во главе с обкомгоркомрайкомами и Центркомом. Громила громко и открыто.

А в начале восьмидесятых, когда Гай служил в Большом драматическом, а нас со Стрельчиком вызывал товарищ Барабанщиков, партия, в соответствии с духом нового времени, поступила гораздо хитрее и создала как бы общественный Комитет по борьбе якобы с сионизмом, заставив советских евреев самих себя громить. И не громко, а под сурдинку. В этом и заключались партийная хитрость и творческое развитие сталинской национальной политики в новых международных условиях.

Так вот, даже и тогда, когда его выгнали из центрального армейского театра, Гриша не упал духом, а, походив по Москве безработным и убедившись, что другие театры его принимать боятся, собрался ехать на самый Дальний Восток...

И надо же так случиться, что тут на улице Горького ему встретился космополит Борщаговский, а мимо как раз проходил Товстоногов.

И космополит Борщаговский познакомил космополита Гая с режиссером проверенной ориентации Товстоноговым, который спешил на вокзал.

А Гога знал, что случилось с Гришей, знал, что Гриша — в опале. Но он не побоялся поступить как захотелось и, повинувшись порыву души, сказал опальному Грише:

— Я еду в Ленинград принимать молодежный театр. Хотите со мной?

— Хочу, — сказал Гай, и они подружились...

Такова правдивая легенда и легендарная правда.

Возможно, в моем пересказе есть и неточности. Может быть, Гогу с Гришей познакомил не Борщаговский, а кто-то другой. И может быть, молодой Мастер направлялся еще не на вокзал, а в другое место. Более того, у автора есть разноречивая информация о том, что Товстоногов и Гай познакомились то ли в Тифлисе, то ли в Москве, однако, еще до войны. Но он просил бы уважаемого товарища Борщаговского и других знающих товарищей не вносить разрушительных уточнений.

Потому что ему кажется, что так лучше...

Приехав в Ленинград, Гога и Гриша начали с общаги «Ленкома», и радость совместного восхождения заполнила их краткие сутки и круглые сезоны. Это было время веселой бедности, и Гай с улыбкой упоминал случаи, когда обе семьи были поглощены то ли штопкой, то ли латаньем единственных Гогиных штанов. Соль рассказа была, очевидно, в том, что родство душ было тогда для них много дороже любых признаков внешнего благополучия.

В «Ленкоме» Георгий жаловал Григория, и они дружно получили Сталинскую премию не то за спектакль «Из искры», где Лебедев играл Сталина, а Гай — грузинского работягу по имени Элишуки, не то за «Репортаж с петлей на шее» Фучика, где Грише досталась роль тюремного надзирателя Колинского.

Или Георгий получил тогда две премии за оба спектакля, а Женя Лебедев с Гришей по одной?.. Важно, что все трое стали сталинскими лауреатами, и, как мне кажется, все трое надеялись, что это — только начало...

Кроме грузина и чеха Гай сыграл еще украинца, узбека и несколько лиц других национальностей, и это, безусловно, доказывало, что он — никакой не «космополит», а, наоборот, пропагандист и агитатор дружбы братских народов.

Особенно приятно было узнать, что Гриша исполнил роль героя пьесы Абдуллы Каххара «Шелковое сюзанэ» по имени Дехканбай, а Гога за эту, очевидно, выдающуюся постановку, был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР».

Однако, приняв БДТ, Георгий Александрович не тотчас позвал за собой Гая, а когда все-таки позвал или принял в расчет Гришино стремление, то уже на вторые, а не на первые роли, о чем, судя по некоторым свидетельствам, его и предупредил. То есть речь шла об укреплении вторых ролей в БДТ артистом первого положения из «Ленкома», и ему самому предстояло решить, согласен он на новые условия или нет.

Пожалуй, это и был для Гриши первый удар. Попробуй-ка сделать такой выбор: остаться одному в обезглавленном «Ленкоме» или продолжить совместную с Гогой творческую жизнь, но уже на втором плане...

И Григорий снова присягнул на верность Георгию, приняв его условия и стараясь не падать духом...

«Дорогой Георгий Александрович!» — писал из больницы Гай...

По чуткому стечению благосклонных обстоятельств на теплоходе «Хабаровск», отчалившем наконец от советского порта Находка, с нами плыла балетная труппа Большого театра, и вряд ли мне удастся передать через годы, какое блаженное томление заключалось в том, чтобы, опершись на палубные перила, отважно говорить с легконогой Ниной и длинношеей Людмилой о дивных беглецах Рудольфе и Мише, об элевации и подержках, о звездных про-

рывах на авансцену и разумной привычке стоять «у воды», то есть прочно держаться в спасительной тени кордебалета...

Задавая виноватые вопросы, я узнавал от Люды и Нины о судьбе их прекрасных товаров — безвозвратно потерянной мною Ольги и до конца дней дорогой Жени, которые, слава Богу, еще танцуют, но живут другой жизнью и, может быть, помнят, может быть, помнят меня...

Мы говорим, как будто танцуем; на плавной палубе некуда деться от тайной любви к морской свободе и женщинам-птицам. Их, конечно, бдительно охраняют, но мы охранникам не опасны; мы не знаем балетного эсперанто, и что с нас взять, почти безъязыких?

Если в будущем у меня станет отваги, я погублю актерскую карьеру и покаянным отщепенцем сяду за письменный стол, чтобы подробно и безнадежно вспоминать своих ненаглядных, и посылать им поздние поклоны, и благодарить закулисное небо за то, что радость меня не миновала...

А пока... Пока я плыву по Японскому морю, и до меня тихо доходит: вот как живут неведомые миллионеры и заграничные аристократы, проводя свое драгоценное время на палубах белых пароходов и небрежно роняя слова в мировое пространство...

А тут еще крахмальные официанты в кают-компании за обедом, и карты меню, и сверкающие приборы, и луковые супы, и авокадо, и музыка сладкого свойства, и взгляды балетных наяд и обалденных русалок...

Здесь же, на палубе, возникла и обнаружилась еще одна ниточка нашего сюжета, сотканная чистой воды случайностью, ибо чем еще я могу объяснить беспечное знакомство нашего маэстро Семена Ефимовича Розенцвейга с тремя молоденькими японками, возвращавшимися на древнюю родину из дикой Европы.

Палубная жизнь призывала пассажиров не только к пассивному сибаритству, но еще к подвижным играм и знакомым развлечениям.

Молодой швед в малиновой майке усердно работал неким подобием швабры, передвигая по большому шахматному полю огромные шашки. Может быть, он чувствовал себя Гулливером, но ему от души нравилось это дело, и, подпрыгивая от полноты чувства, он беззастенчиво и громко смеялся.

А три юные японки были так простодушны, что соревновались между собой, стараясь повыгоднее набросить резиновые кольца. Квадратный деревянный щит стоял под углом в сорок пять градусов, а на нем торчали железные штыри; попади колечком на штырь, под ним — цифра, кто больше очков наберет.

Это были первые японки, которых мы увидели, направляясь в загадочную страну, но, по правде сказать, лично я испытал легкое разочарование, настолько они показались мне неказисты рядом с райскими птицами из балета.

Но наш маэстро Семен Розенцвейг увидел их совсем по-другому и даже заговорил, благо, у него была такая языковая возможность, и юные японки легко отозвались его смущенным речам.

Я не знаю, о чем они говорили на смешанном англо-немецком сленге, но одна из них оказалась русисткой и внесла в беседу русские слова, и на следующее дивное утро, когда все население парохода еще крепко спало в своих каютах от первого до четвертого класса, наш Семен в спортивном костюме бодро вышел на пустынную и влажную палубу, чтобы встретиться с юной Иосико.

И вот они вдвоем побежали вдоль борта по большому кругу, начиная общую оздоровительную зарядку...

Вдоль борта, вдоль борта, вдоль борта... Поворот по корме и обратно вдоль борта... Поворот у форштевня, и снова к корме...

И вдруг, отвлекаясь от техники дыхания, они услышали музыку морского простора, рвущегося тумана и восходящего солнца.

Кажется, никто не придал значения тому, что каждый восход они встречали вдвоем на пустой палубе парохода и бегали рядом, Семен и Иосико, несмотря на большую разницу в возрасте, а может быть, именно благодаря ей... Их совместные пробеги имели продолжение на островах Хонсю и Сикоку и позднее — в Советском Союзе, а до чего они добежали, я сообщу в свое время....

И вдруг в эту размеренную аристократическую жизнь, как смерч, врывается Зинаида Шарко. Просматривая в каюте закупленные в Находке газеты, она задержала свое чуткое внимание на массовом органе наших профсоюзов. Последний номер газеты «Труд» сообщал: «Первое сентября. Над Японией пронесся чудовищной силы ураган, снесший с земли чуть ли не всю Иокогаму, на две трети Токио и на треть Осаку... Не поддается подсчетам число жертв и разрушений... Уцелевшая часть японского правительства обратилась к мировому сообществу...». И так далее, и тому подобное, можете себе представить...

Переполненная трагическим ужасом, Зина взлетает на палубу, где размелла большая группа пассажиров, и своим дивным тремолирующим голосом зачитывает вслух ужасный текст. Газета переходит из рук в руки. Дама из советского посольства падает в обморок и, приведенная в себя, рыдает о детях, оставленных в Токио на время ее советской отлучки. Вокруг Зины и дамы растет женская паника. У мужчин возникают головокружительные вопросы.

Артист Николай Трофимов резонно вопрошает:

— Зачем же нас посылают на верную гибель?..

Владислав Стржельчик зовет к мужеству и терпению...

А ветеран фронта и тыла Иван Пальму, исполненный стойкого патриотизма, успокаивает тоскующих женщин:

— Наши обязательно что-нибудь сделают!.. Вот увидите, такой театр, как наш, правительство обязано спасти!..

У этого эпизода столько же вариантов, сколько участников. Так, Анта Журавлева свидетельствует, что услышала жуткую весть от Олега Басилашвили, а тот хорошо помнит, что к нему с газетой «Труд» в беспокойных руках явился директор Суханов. Он и сказал Олегу, что дальше плыть, собственно, уже и некуда, ввиду того что Японии как таковой больше не существует. Басилашвили принял известие всерьез, потому что директор Суханов шутить не умел, а разыгрывать не имел права, и посоветовал ему идти в капитанскую рубку, чтобы капитан связался по радио с теми, кто мог бы дать центральные указания по этому ужасному поводу.

Некоторые патриоты громко предлагали немедленно развернуть пароход и двигаться обратно в родную Находку.

Судя по всему, именно Геннадий Иванович Суханов сообщил Анте Антоновне Журавлевой о катастрофе и совете Олега Валериановича Басилашвили и просил ее связаться с центром, потому что именно Анта Антоновна Журавлева пошла разыскивать капитана и нашла его в люксовой каюте Кирилла Юрьевича Лаврова.

Однако на этот момент и Кирилл Юрьевич, и капитан пребывали в состоянии совершенной беспечности, из которого выходить не только не собирались, но даже и при желании не могли. Наоборот, оба они успешно искали новой степени счастливой беспечности, что и подтверждала реплика капитана:

— Могу я хоть раз в жизни расслабиться с любимым артистом?..

Через 15 лет, вспоминая этот случай со счастливой улыбкой, Анта Антоновна Журавлева, которой только что удалили аппендикс, попыталась ограничить меня:

— Но об этом писать не надо!..

И если я ослушался, от души желая ей здоровья и долголетия, то лишь потому, что над нами нависло беспутное время, которое оказалось сильнее отсталых страхов и вянущих пожеланий.

Я только переспросил Кирилла, помнит ли он пароходное возлияние с капитаном, и Лавров сказал:

— Про капитана не помню, а я на «Хабаровске» пил крепко...

Вот благородный поступок: взять вино на себя и отвести ее от товарища.

Поэтому руководительнице поездки пришлось выйти из люкса и обратиться к старшему помощнику капитана, несущему вахту в капитанской рубке...

Далее показания путешественников опять сходятся: суровый мореход появляется на палубе и в окружении балетных и драматических артистов погружается в трудное чтение. Все смотрят на него с ужасом и надеждой...

— Да, трагедия, — задумчиво говорит старший помощник, и лица окружающих его артистов мгновенно становятся похожи на маску трагедии: углы губ опускаются вниз, а брови поднимаются «домиком». — И все-таки будем волноваться в разумных пределах. Вот тут, выше сообщения, читаю название рубрики: «Что было шестьдесят лет назад». Стало быть, ураган случился первого сентября 1923 года. Делаю вывод: у японцев было время принять должные меры... Плывите спокойно, товарищи...

И мы доплыли.

Перед высадкой оба театра собрали в музыкальном салоне, и, поднявшись на борт, двое ребят из советского посольства сообщили о текущем моменте. Они стояли на оркестровом подиуме, в центре, а мы толпились вокруг.

— Обстановка очень сложная, очень, — сказал старший, вяловатый и безликий, держа пиджак в левой руке и вращаясь вокруг собственной оси. — Такая создалась обстановка, товарищи, что сейчас Ованес зачитает вам заявление советского правительства.

— Пожалуйста, громче, — попросил из салона встревоженный Иван Пальму и приставил ладонь к уху.

Чернобровый Ованес читал достаточно громко, но не вращался по часовой стрелке: очевидно, официальный текст не давал ему оснований для круговой мизансцены.

Советское правительство заявляло, что принадлежащий южнокорейской авиакомпании «Боинг-747», с двумястами шестьюдесятью девятью пассажирами на борту, атакованный нашим истребителем-перехватчиком над Охотским морем и улетевший в сторону Японского, коварно, с разведывательной целью нарушил воздушное пространство нашей Родины, и мы не можем считать себя виновными в гибели экипажа и несчастных пассажиров. Мы, советские люди, как всегда, единодушны и, сожалея о погибших, твердо заявляем, что и впредь собьем и утопим любого нарушителя священной границы...

Выходило так, что, тревожа беспечный «Хабаровск» вестью о катастрофе, Зина Шарко как в воду глядела...

5

Первым под вспышки корреспондентских блицев и направленный свет ручных телекамер высаживался в Иокогаме «Большой Балет», и Нина с Людой повели мне на прощанье лебедиными руками...

Я смотрел им вслед и видел, как махнула прощальной рукой высокая Ольга, когда мы расставались с ней в беспечной Праге. Я смотрел немое кино про нашу встречу, про то, как мы влюбились друг в друга и целовались в золотой чешской столице шестьдесят восьмого года, накануне вторжения советских танков...

Почему-то я вспомнил и запел про себя довоенную песню, быть может, ошибаясь в тексте, но, кажется, на точный мотив: «Летчики, пилоты, бомбы, пулеметы (или самолеты) вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь, я

не знаю, скоро ли, только возвращайтесь хоть когда-нибудь...». Впрочем, кажется, эта песня взялась из повести А. Гайдара «Тимур и его команда» и одноименного фильма, произведших в свое время на меня как на пионера и школьника должное действие.

А в шестьдесят восьмом, в Праге, когда я прощался с Ольгой, я был много моложе, беспощаднее к женщинам и глупей, чем сегодня, хотя моим критикам трудно будет в это поверить.

Что мне осталось от пражского прощанья? Единственное письмо из Нормандии?

Знакомое чувство стыда и вины за танковое вторжение?

Или рассказ уходящей с «Хабаровска» Нины о том, что Ольга замужем за русским, а сыновей зовут Матвей и, кажется, Димитрий?..

Когда автобусы «Большого Балета» отвалили от причала, был дан сигнал движения и нам.

Похожие на мальчишек маленькие японские носильщики потрясенно грузили на хрупкие тележки наши консервные, наши свинцовые, наши гранитные чемоданы.

Единственное, о чем я мечтал, стараясь как можно элегантнее ступать по сходням, так это о том, чтобы вопросы японских репортеров меня не коснулись. И мне повезло. «Что вы думаете о расстреле южнокорейского пассажирского «Боинга»?» — слава Всевышнему, спросили других.

Своим черным «Борсалино», роскошной бородой и импозантным галстуком первым привлек к себе внимание рабочий сцены Коля Турбанов. Он приветливо улыбнулся в телекамеру, развел руками и сказал короткий текст, которому его научили.

Рома Белобородов как заместитель директора многозначительно ушел от прямого ответа, сказав, что надеялся на вопросы об артистах.

А Люда Сапожникова, со свойственной ей актерской непосредственностью, сказала прямо:

— Какое ужасное несчастье!..

Но когда через много лет я переспросил Люду, так ли именно она отвечала японским репортерам, она посмеялась надо мною.

— Володя! — сказала она. — Что я, дура, что ли! Нас же предупредили, чтобы мы были осторожны и ничего такого не говорили. Я им сказала, что очень устала с дороги... За нами же все время следили!.. Володичка, разве ты не помнишь, с нами было четыре кагебешника!..

— Разве четыре, Люда?.. Я помню, кажется, двух...

— Володя!.. Их было четыре!.. Двое были как бы рабочими сцены... Худенькие такие... Чтобы следить за рабочими... И еще двое как бы начальство... Чтобы следить за нами!..

— Боже мой! — сказал я. — Какая у меня плохая память!.. А может быть, и ты не все помнишь, Люда? Мне так понравился твой ответ... Знаешь, я все-таки оставляю, как у меня было: «А Люда Сапожникова сказала: «Какое ужасное несчастье!..»».

Все сорок дней, проведенных нами в Японии, прошли под знаком воздушного расстрела, и наши экзотические впечатления чередовались с напоминаниями о случившемся первого сентября.

Пресс-конференция начальника Генерального штаба Огаркова... осадное положение агентств «Аэрофлота»... портрет погибшего американского сенатора и скорбные речи его семьи... фотографии шестидесяти японцев, принявших смерть в числе других пассажиров... ожидающий новых данных премьер-министр Японии Накасоне... рассуждения чужих дипломатов и собственных закулисных политиков о возможном развитии событий... вызов нашего посла

в токийское министерство... объявление санкций японского правительства и закрытие на две недели советско-японских авиалиний... пароходы и катера, бороздящие взволнованное пространство в акватории катастрофы... рыдающие родные и погребальные венки на океанской волне... Все это и многое другое не давало забыть о том, кто мы такие, все вместе и каждый в отдельности...

Монолитное единство советского народа и его железная сплоченность вокруг родной партии и правительства требовали от меня полного отрицания нашей вины в гибели несчастных пассажиров. Но предательский гамлетизм беспутного сознания заставлял считать виноватым именно себя.

У коллектива на этот счет сложились различные мнения. Но плакат «Вы убили нашу семью!» произвел сильное впечатление на всех...

Из Иокогамы на автобусах нас без остановок привезли в Токио и стали расселять в далеком от центра «Сателлит-отеле». Весь этот район вместе со станцией метро назывался «Каракуэн».

«Сателлит» значит «Спутник», и гостиница полностью соответствовала своему малозвездному названию...

Расселение труппы на гастролях — вот мотив для поэмы о театре, и пусть сильные и молодые воспользуются моей наводкой. Я же рискну лишь на беглый намек или робкий набросок, потому что боюсь безнадежно застрять в мелочах драматического ритуала.

До того, как войти в отведенный номер, а главное — окинуть взором номер соседа, никто не может быть до конца спокоен, даже самые первые лица... И вид из окна имеет значение, и холодильник, и то, какой телевизор. Не говоря уже о количестве комнат. Поэтому административный талант Бориса Левита в прежних поездках, а вслед за ним и Ромы Белобородова при каждом расселении должен был быть целиком востребован и до конца проявлен.

Спокоен, конечно, относительно, тот, чью жену в поездку взяли, ну, например, Вадим Медведев по поводу себя и Вали Ковель; или тот, кто будет жить в одиночку, но чья безусловная автономность — еще одно подтверждение его заслуг и таланта.

Почти спокойны также и те, чьи однополые пары сложились давно и прочно и остались вне подлых подозрений...

Но как описать молчаливые драмы непарных или признанных не в полную меру?.. Впрочем, в этом-то вся загвоздка: кто из нашей страждущей братии может сказать, что и признан, и оценен по счастливой и полной мере, если даже Слава Стржельчик, томясь и глядя в заоконную даль, сказал мне глухим голосом:

— Холодильников нет ни у кого, кроме Лаврова...

Был у нас случай, когда труппа заночевала в Синае, во дворце бывшего румынского короля Михая, и Паше Луспекаеву достались невиданной красоты и роскоши апартаменты с голубой ванной, зеркалами в потолке и кроватью под балдахином — всеми признаками королевской опочивальни. В этой декорации, как и в любой другой, Луспекаев смотрелся картинно, и, усевшись в центре ложа со скрещенными, тогда еще не так болевшими ногами, он с общей помощью разыгрывал смешные этюды. Как принято в хороших театрах, «короля» играли «придворные».

— Теперь бы сюда хорошенькую румыночку, — хищно сказал Паша.

Но тут вместо румыночки появилась одна из наших героинь и, оценив обстановку, задала суровый вопрос:

— Почему королевская спальня досталась Луспекаеву, а не мне?

Чтобы не возбуждать ее гнева, администратор ответил правдиво:

— Это вышло совершенно случайно...

Но она была не удовлетворена ответом и пошла разбираться к директору,

однако, перепутав номер — случайность плодит другую случайность, — распахнула дверь, за которой поселили другую из наших героинь. Та была уже в постели и готовилась ко сну.

Думая, что попала в тот номер, который искала, одна из наших героинь сказала другой:

— Ах, так!.. Ты уже спишь в кровати директора!.. Ну, хорошо!.. Ну, погодите!.. Вот я сейчас уеду в... И заберу с собой!..

Зная, что вызову недовольство читателя, я все-таки не скажу, в какой город собралась ехать вспылчивая героиня и кого именно грозила с собой умыкнуть... Уж если я не называю некоторых имен, значит, у меня есть внутренние препятствия и причины, смысла которых я и сам не всегда могу определить.

Может быть, замыслы мои более честолюбивы, нежели простое описание случаев из актерской жизни?

А может быть, эта книга, забирая власть над автором, неудержимо влечет от частного эпизода в сторону свободного парения и обещает героям и героиням такие поступки, которых в жизни не совершали знакомые ему прототипы?..

Кто знает?..

Что касается меня самого, то, «с отвращением читая жизнь мою», признаюсь, что точно так же, как та героиня, был смертельно уязвлен, когда узнал, что в «Сателлит-отеле» мне, любимому, приготовлен номер всего лишь в четвертом этаже, тогда как других артистов моего заслуженно среднего положения расселяют несколько выше...

Страдая и отчаиваясь, я пытался унять горделивую обиду и оправдать kloкочущий в горле гнев прагматическим рассуждением о том, что верхние этажи не просто престижней, но в них есть еще и дополнительное жизненное пространство...

«Где справедливость? — спрашивал я судьбу, совершив постыдную разведку, — номер в четвертом этаже на целую половинку татами меньше, чем в шестом!.. В нем нет этого чудного плоского шкафчика, как в шестом!.. И негде чемодан угнездить, как в шестом... И негде повернуться!.. И вид из окошка позорно ограничен... Другие такие же, как я, — в шестом, а я такой же, как те, — в четвертом... Почему?..»

Тут припомнился мне и другой заграничный случай, когда я отказывался разделить с Изилем Захаровичем Заблудовским номер хотя и с двойным, но нераздвигаемым супружеским ложем и требовал себе отдельного койкоместа. И дело тут не в Изиле, человеке, во всех отношениях безупречном и не вызывающем никаких подозрений, а во мне и моем упрямом намерении и днем, и ночью отстаивать собственный, вероятно, врожденный сепаратизм. Тогда у меня хватало мужества выходить на прямой разговор с начальством. Правда, в те поры наш истребитель не сбивал южнокорейского «Боинга» и не было такой сложной международной обстановки...

— Володя! — сказал мне Борис Самойлович Левит, предыдущий заместитель предыдущего директора, — а ты не находишь, что твое требование недостаточно скромно?..

— Ах вот как? — воинственно переспросил я. — А укладывать меня в одну койку с Изилем, по-твоему, скромнее?

Однако Борис не сдавался:

— Но, Володя, здесь стоят не одна, а две кровати, — сказал он.

— А ты попробуй их раздвинуть, — коварно предложил я.

Борис попробовал и, несмотря на то, что в молодости занимался боксом, сделать этого не смог.

— Вот видишь, — не удержавшись, сказал я.

Но Борис не признал своего поражения. Он сказал:

— Ну и что?.. Кроватей все равно две.

Стараясь быть совершенно спокойным, я сказал:

— Если они не раздвигаются, значит, не две, а одна. — И, проявляя гибкость, добавил: — Пойми, Боря, я вовсе не возражаю против того, чтобы жить в одном номере с Заблудовским, я только против того, чтобы спать с ним в одной койке...

В ответ Борис дружелюбно посоветовал:

— Володя, ты все-таки подумай, по-моему, постель достаточно широка.

— Вот и ложись в нее с кем захочешь, — огрызнулся я, снова проявляя свою агрессивную сущность и толкая Бориса к справедливому негодованию.

Однако номер он нам поменял, и между двумя лежанками возникло целомудренное пространство...

А теперь... О японские боги!.. Неужели я не достоин возвыситься до шестого этажа, где койка помещается не вдоль номера, а поперек и вид из окна способен расширить мои горизонты?

Наконец, отчаявшись и исстрадавшись, я понял, что, согласись я на четвертый, и буду до конца своих дней затоптан и унижен, и сам буду в этом виноват. Решительно оторвав от пола чугунный чемодан, я вернулся в вестибюль и предъявил Роману Белобородову свои попранные права.

Как заместитель директора Рома признал свою неумышленную ошибку, но счел нужным отметить, что из всего большого коллектива, понимающего особую сложность международной обстановки, один Рецептер имел неосторожность выразить свое личное бытовое неудовлетворение...

— Берегите голову, — сказал мне Рома, вручая ключ от номерка в шестом этаже, и мне почему-то запомнилась его предупреждающая реприза.

Но, Боже, какое счастье испытал я, завоевав одну вторую татами и выиграв целых два этажа! Как уютно мне стало в моем законно добытом пространстве под номером 636!

Я смотрел в окошко и видел, как паркуются во дворе нашего отеля автобусы и легковушки, как выше, за нашим забором, выплывает из темной норы тоннеля, проткнувшего холм, неспешная подземка; как беззвучно играют дети на крохотном школьном стадионе, прислонившемся к фабричной стене, и как большие круглые часы над стеной останавливают время.

А зелень деревьев!..

А небо!..

А счастье одинокого мига!..

Завидуйте мне, господа! Я скоро увижу Фудзи!

6

Однако автору следует честно признаться, что, кроме знаменитой Фудзиямы, он ждал и жаждал увидеть вблизи другую вершину, от которой жизнь и судьба его зависели в гораздо большей степени, нежели от спящего вулкана. Этой вершиной и одновременно вулканом, причем вовсе не спящим, а безусловно действующим, был не кто иной, как Георгий Александрович Товстоногов, художественный руководитель Академического Большого драматического театра имени М. Горького, в чьей монаршей воле было приблизить к себе, то есть к настоящей славе, подручного искателя или же, наоборот, задвинуть и отдалить. О, как много вопросов артист Р. хотел обсудить с Мастером, имея в виду не только свое, но и общее с ним прекрасное будущее у костра бессмертного искусства.

И точно так же, как он, ждали и жаждали такого свидания очень многие члены творческого коллектива, не в меньшей степени озабоченные собствен-

ной судьбой и столь же зависимые от хорошего отношения к ним своего Отца и Наставника.

Отец же задержался дома, и в Токио его ждали с неба, т. е. самолетом, лишь к моменту окончания нашего земноводного путешествия.

Хотя это и общее место и само собой разумеется, но вдумчивый читатель должен помнить и понимать, что каждый артист всю жизнь проводит в выяснении отношений со своим режиссером, даже и тогда, когда не беседует с ним, а всего лишь попадаетея ему на глаза. Потому что и случайный взгляд на артиста — событие, т. к. является напоминанием театральному Вседержителю о бедном грешнике, напоминанием, от которого может зародиться здравая мысль о его недооцененных или недоиспользованных *пока* актерских возможностях.

И правда, один вид актера может превратиться в живой упрек Мастеру и разжечь в нем вспышку заботы. Иной раз и нескольких молчаливых встреч или двух-трех «здорований», произнесенных со скромным достоинством, может оказаться довольно, чтобы получить новую роль. А всякая роль — это путь к творческой радости и лучшему положению...

Впрочем, если последняя роль не удалась, актер превращается в наглядный пример неудачи, и встреча с ним рождает негативные эмоции, а Мастер в своем великом труде должен быть всегда прекраснодушен и радостен...

Жизнь артиста — вечная тревога и вечный вопрос: смириться или бунтовать? Не бывает ни одного члена труппы сверху донизу, который был бы постоянно удовлетворен и не нервничал: «слишком много играю, везу воз за других» или «слишком мало играю, могу растерять зрителя». Даже самые благородные и любимые, с довольной улыбкой на челе, внутри себя все обсуждают и обсуживают свое непостоянное положение. И так до конца, пока, как говорится у классика, «положат тебя и лежи» — вот до этого последнего «положения».

Впрочем, и тут непокой у администрации и окружающих — *куда пожить*: в Пантеон, на Литераторские мостки, на Волково, или Богословское, или по соседству с Ахматовой, в Комарово, или, как Пашу Луспекаева, в поселке Парголово, на рядовое и отдаленное Северное...

Ну, конечно, бывают и исключения, не подлежащие общим правилам и не подверженные случайностям: когда ты всенародный гений или член царствующей семьи. Или и то, и другое одновременно...

И это вечное выяснение отношений происходит независимо от воли актера и безо всякого явного участия второй стороны, т. е. самого руководителя. Каждый лицедей частенько пробуждается среди ночи и пытается толковать свои сны, в которых, как любимый герой, постоянно участвует его театральный Вождь и Учитель. Даст ему Гога эту роль или не даст, ту ли роль он прочит ему или вовсе иную, и почему ее, долгожданную, наконец получил совсем другой артист, а не он, единственный и самый достойный.

А тут еще — зарплата и премия...

А тут еще — зарубежные гастроли...

А там, глядишь, и представление к награде или званию — мало ли что?..

И во всем этом — «Гога сказал...» или «Я спросил, а Гога ответил», «Гога уехал», «Гога приехал», «Гога заболел», «Гога выздоровел», и так далее, и тому подобное, но всегда неизменно и постоянно: Гога, Гога и Гога...

Зоркие наблюдатели следили за большими гардеробными соревнованиями ведущих артистов за почетное место вблизи Гогиного плаща. Со стороны это может показаться пустяком, но в стенах театра пустяков не бывает. Чем ближе крючок и вешалка члена коллектива к крючку и вешалке Мастера, тем уверенней сосьетер в своем лучезарном будущем.

Долгое время Гога вешал свое верхнее платье в глубине гардероба, где

находилась дверь, ведущая за кулисы. Сюда и потянулись пальто и плащи «народных», «заслуженных» и «лауреатов». Но однажды Мастер неожиданно сменил ориентир и водрузил свое изящное полупальто у самого входа со двора, там, где обычно отвисались пальтишки «второй категории», никчемные плащички пришлых и «разовиков».

Это произвело шоковое впечатление на многих, и хотя тема занимала умы, но, по негласному договору, считалась «закрытой»...

Именно это обстоятельство, думаю я, имел в виду Константин Сергеевич Станиславский, когда сказал свою знаменитую фразу: «Театр начинается с вешалки!». А наш Гога был верным последователем Станиславского...

Гога еще летел в самолете, а нас распределяли по соответствующим этажам...

Когда в вестибюле отеля возникло броуново движение и зазвучали первые имена попеременно с номерами, из уст в уста пронеслось сообщение о том, что ввиду возможных провокаций выходить за пределы «Сателлита» пока не советуется...

Решение гастрольного генштаба лично до меня довел секретарь партийной организации артист Анатолий Пустохин.

Как обычно, Р. стал задавать лишние вопросы:

— Что значит «пока»?

Толя не без юмора пояснил:

— «Пока» значит «пока». То есть до следующей информации...

— А что значит «не стоит»?

Стараясь не раздражаться, он перевел:

— «Не стоит» значит «не рекомендуется».

Но я не уговорился:

— Толя, — сказал Р., — ты — начальник, объяви в повелительном наклонении: никуда, мол, не ходите. И тебе проще, и нам...

— Нет, Володя, — отвечал Толик с холодной улыбкой, взглянув по сторонам и призывая окружающих в свидетели моей тупости, — повелительным наклонением мы не пользуемся. Мы только рекомендуем или не рекомендуем. В данном случае не рекомендуем. Вот и все...

И отошел к руководящей группе...

Кажется, именно так вел себя ленинградский обком, принуждая Товстоногова самому решить вопрос о судьбе крамольной «Римской комедии» Зорина: после того как спектакль был снят, не дожив до премьеры, одни говорили, что он попросту запрещен, а другие — что всего лишь «не рекомендован»...

Вообще говоря, против Толи Пустохина я ничего не имел. Скажу больше, если бы он жил хотя бы через стенку, я бы ему даже симпатизировал, как симпатизировал его предшественнику на посту парторга артисту Евгению Горюнову.

Единственное, что мне не слишком пришлось по душе, так это то, что Толя поселился в нашей насквозь аполитичной гримерке и занял в ней место Паши Луспекаева. Это произошло совершенно случайно и безо всяких с Толиной стороны претензий. Скорее всего, заведующий труппой Валериан Иванович Михайлов этим хотел выразить ему свое заведомое расположение, потому что размещение новых артистов входило в его компетенцию, но именно эта случайность поставила Толю Пустохина в трудное положение...

С Луспекаевым и Сергеем Сергеевичем Карновичем-Валуа мы были стопроцентно беспартийны, а наш четвертый — Гриша Гай был даже счастливо исключен из партии. В нем одном и сохранились невыполотые ростки партийности, конечно, со знаком «минус». Скажу больше, Гай был отважно и благо-

родно антипартиен и позволял себе такие тексты и анекдоты, которые в других гримерках, кажется, вряд ли можно было услышать...

До прихода Пустохина наша «каюта» имела экзотический вид и накапливала в себе особую ауру жизнелюбия и непринужденности. Создавал и определял ее, конечно, магический Луспекаев. Но, может быть, и остальных случай подбирал не без умысла...

Все наши стены и простенки, щелочки между портьерами и даже сами портьеры поверху были увешаны стендами и отдельными рамками с тысячами фотографий разных времен, на которых запечатленными на века оказались лица артистов, друзей, знакомых, родственников, а главное, женщин — любимых женщин Карновича-Валуа, начиная с той платной красавицы, с которой гимназист Сережа потерял невинность в 1916 году, и кончая далекими и недоступными дивами мирового кино. Сергей Сергеевич не раз водил меня на экскурсии по своему историческому прошлому, а я время от времени дарил ему оставшиеся не занятыми уголки и щели над своим зеркалом и столом.

К Карновичу-Валуа, высокому, породистому, красивому пожилому мужчине с прямой спиной и прекрасной лысиной, которую он для сцены частично укрывал наклейками или париками, захаживали порой, как он их сам называл, «племянницы», которых он продолжал неумолимо фотографировать и учить благородным манерам...

К Паше Луспекаеву шли откровенные поклонницы и скрытные корреспондентки...

К Грише Гаю, которого знали по фильмам, тоже жаловали подруги и подруги...

Признаюсь, что и у меня случались милые гости...

Словом, в нашей гримерке царил дух безупречно мужской и, я бы даже сказал, творческо-гусарский...

А когда на луспекаевском месте оказался Толя Пустохин, атмосфера стала постепенно меняться, потому что здесь уже пошла попутная уплата членских взносов, возникли беседы шепотом с проходящими извне товарищами, и поселилась торжественная недоступность чуждых нам секретов. Нет, не то чтобы Толик взялся нас перевоспитывать, для этого он был достаточно умен, просто, в соответствии с должностью, он не давал себе права быть с нами таким же открытым, как мы привыкли, и вместо одного стиля в гримерке стали вынужденно уживаться два...

За кулисами прямо говорили, что Анатолия Феофановича Пустохина театру рекомендовал Областной комитет, когда парторг-предшественник Женя Горюнов вдруг оставил семью и стал сокрушительно спиваться...

Горюнов был человек достойный и обладающий достоинством; если райком, горком или обком обрушивали на театр свои громы и молнии, Женя, как говорили знающие, все брал на себя, выгораживая театр и, тем самым, Гогу. Конечно, Р., будучи лицом беспартийным, подробностей не знал, но общее впечатление складывалось именно такое. А потом Женя начал спиваться, и обкомгоркомрайком счел нужным заменить парторга, наращивая и укрепляя свое влияние на театр...

Родители Горюнова служили по дипломатической части, и в паспорте у него «местом рождения» значился Париж. По одной версии, Женя окончил школу-студию МХАТ, а по другой — студию Бюльдрамта, но при всех условиях он был хорошо воспитан, успел многое прочесть и подавал большие надежды. А когда началась война, по воле великого случая, Женя с ходу попал в разведку...

Этот эпизод известен старожилам театра, но их становится все меньше и меньше, и поэтому, боясь, что он затеряется в волнах новейшей истории, я берусь пересказать его, как знаю...

Однажды, выполняя задание, Женина разведгруппа в составе трех человек столкнулась с немецкими разведчиками. Их тоже оказалось трое. И вот нос к носу сошлись трое на трое, и им ничего не осталось, как схватиться в рукопашную. Как на грех, щедедушному мальчиговому Жене достался огромный и матерый битюг.

Немец подмял Женю под себя и стал душить.

Дело шло к концу, язык вывалился, но товарищ, справившись со своим, оказался рядом и ударил Жениного битюга ножом в шею. Руки немца все еще продолжали давить Женино горло, и чужая кровь хлынула ему в рот. Чтобы не захлебнуться, Женя только и мог делать, что глотать и глотать горячее липкое пойло.

Он спасся от смерти, но вкус крови во рту был так ужасен, что всю обратную дорогу Женю выворачивало наизнанку...

Когда разведчики добрались до части, старослужащие дали ему выпить стакан спирта — до этого Женя никогда не пил! — и он вырубился на целые сутки.

Назавтра снова тошнило, и снова его лечили спиртом. И снова... И опять... С тех пор пошло...

В театре работала актрисой его жена, Марина, дочь знаменитого александринского артиста Константина Адашевского; вырослел их сын. Только вот выпивка подводила...

А потом Женя Горюнов увлекся нашей новой гримершей и, по-фронтовому рискуя, сошелся с ней.

Таня была много моложе его и вдруг позволила все, о чем дома, в присутствии величественной тещи и строгой жены, Женя и подумать не смел. Она сама подносила ему рюмку, целовала его изящные руки, становилась перед ним на колени.

— Маленький мой, любименький мой, — говорила Таня, лаская теплыми ладонями его смятое интеллигентное лицо, и в ореоле ее нежности subtilный Женя снова начинал чувствовать себя защитником и мужчиной.

Поздняя любовь оказалась для него роковой. Татьяна была девушкой рискованной и беспечной, искала всех радостей жизни, и они принялись веселиться вместе.

Некоторые ревнители нравственности предлагали Женю наказать, исключить из партии, уволить из театра, но, по преданию, Товстоногов им сказал:

— Горюнова не трогайте.

И его послушались.

Даже написали соответствующие бумаги в горисполком и выхлопотали для Жени с Татьяной комнату, хотя и в махровой коммуналке, но на Большом проспекте Петроградской стороны...

Скоро Таня из театра ушла и стала работать уборщицей в продуктовом магазине. А там — сами понимаете — винный отдел, свое окружение.

Горюнов продолжал ходить в театр, но изменился так, что смотреть на него становилось все труднее, и, инстинктивно исключая его из стаи, многие при встрече с Женей стали отводить глаза.

Наступила зима, и оказалось, что и ходить-то ему уже не в чем.

Тогда собрали деньги на зимнее пальто.

Порученцы взяли у костюмеров горюновские размеры, сообразили, что он еще больше усох и уменьшился по сравнению с тем, каким был раньше, сами выбрали фасон и сами пальто купили — вполне приличное, на ватине и с мутоновым воротником, — не деньги же ему отдавать, деньги Женя все равно бы пропил...

Те, кто понес вручать обновку по адресу, вернулись в тоске, — такая там была бедность и тараканья пирушка...

Когда Евгений Горюнов умер, театр взял на себя похоронные расходы, но, по правде сказать, в крематорий пошли совсем немногие...

Лавров с Кузнецовым, отдавая последний долг, пошли.

И Юзеф Мироненко тоже...

7

Почему неизвестный обратился именно к Юзефу?..

Потому что Мироненко такой высокий и светловолосый, а незнакомец такой чернявый и маленький?.. Или оттого, что был поздний час, и именно Юзеф попался ему навстречу в пустынном холле?.. Как бы то ни было, пришелец принял его за начальство и стал в чем-то красноречиво и горячо убеждать.

Как показалось Юзефу, неизвестный говорил исключительно по-японски. Глядя на него сверху вниз, Юзик долго и вежливо слушал и даже несколько раз понятно кивнул. Когда загадочный гость окончил монолог, Юзеф жестом велел ему остаться на месте и от портье стал звонить в номер переводчицы Маргариты...

Второй день мы жили в «Сателлите», осваивая близлежащий район и гостиничные правила.

Сперва, дружно напялив светлые кимоно, многие сошлись в холле, потому что здесь можно было набрать в номерной кувшин или холодную кипяченую воду, или крутой кипяток. В кимоно все очень понравились себе и друг другу, а некоторые, разыгравшись, защебетали якобы по-японски, и заходили мелкими шажками или тяжелой походкой, изображая гейш и самураев... Обслуга смотрела на нас, выкатив глаза, пока переводчица Маргарита не объяснила господам артистам, что наши кимоно — спальные, являют собой не что иное, как «ночные рубашки», и в них не стоит выходить в коридор...

Тогда все разошлись. Кто хотел выпить, выпил, а кто ждал случая с кем-то нежно объясниться, тоже рискнул. Тяжелая международная обстановка не могла на корню истребить железных гастрольных привычек и склонностей.

Только Вале Ковель сразу же не повезло: неловко повернувшись в японской тесноте, Вадим Медведев толкнул кувшин с крутым кипятком и страшно ошпарил ей руку.

Крик, раздавшийся из номера, был, по словам их соседки Маргариты, нечеловеческим, а точнее, звериным, и, когда, кинувшись на помощь, она в ужасе застыла на пороге, Вадим, инстинктивно снимая с себя часть ответственности, сообщил ей:

— Мы пролили кипяток...

Первое, что навзрыд стала шептать Валя, было:

— Как же я буду играть?! Мне надо быть обнаженной!..

Но придется ли нам играть, было еще совсем не ясно, и каждое утро, стараясь не привлекать внимания публики, Маргарита уводила Валю задрами и везла на лечение и перевязку к японскому хирургу, а Вадим, полный раскаяния и супружеской солидарности, ходил их сопровождать.

Рана оказалась глубокой, но, по счастью, хирург был чудодеем и успокоил бедную Валю, обещая применить для перевязки материал телесного цвета, такой, что публика ничего не заметит.

Так и случилось, и большинство коллектива узнало об этой драме позднее, так как ее решили держать в тайне, а тайну честно хранил узкий круг доверенных лиц. И все же руководством было принято решение расширить жизненное пространство супругов, и Валю с Вадимом переселили в соседние, но отдельные номера.

Вообще-то говоря, Маргарита была прикомандирована лично к Гоге, но

прилетевшего только что Товстоногова вместе с сестрой Нателлой и ее мужем Лебедевым поместили в другой гостинице, ближе к токийскому центру, а Маргарите вместе со всеми достался «Сателлит».

При расселении Юзеф Мироненко был несколько обескуражен, так как обычно оказывался в паре с Иваном Матвеевичем Пальму, однако еще по дороге возникло опасение, что их могут разлучить, так как у Пальму на японских островах будут большие заботы по руководству труднейшей «четверкой», в которую входила непредсказуемая Шарко, и Юзеф на всякий случай решил подобрать себе другого напарника.

Исходя из того, что Мироненко был женат на одной из основных мастеров примерного цеха, а впоследствии его заведующей Наташе Кузнецовой, подумали о другом мастере того же цеха — Тадеуше Щениовском. Но Тадеуш являлся лицом, давно и неисправимо курящим, тогда как Юзеф Мироненко окончательно бросил курить. Поэтому по дороге из Иокогамы в «Сателлит», спросив партийного разрешения у своего секретаря, Юзеф стал подбивать на совместное проживание Рецептера, приведя ему перечисленные мотивы.

В этом была некоторая логика, так как мы с Юзефом — однокурсники по Ташкентскому театральному-художественному институту имени А.Н. Островского, вместе начинали актерскую карьеру в Ташкентском русском драматическом театре, и именно я посылно споспешествовал его приходу в Большой драматический. Те, кто видел наш знаменитый спектакль «История лошади», несомненно запомнили Юзефа Мироненко в роли кучера Феофана и великолепное музыкальное трио «На Кузнецком узком на мосту», которое он исполнял вместе с Олегом Басилашвили и Евгением Лебедевым.

Не успел я согласиться с логикой расселенческих рассуждений Мирона (т.е. Мироненко), как возникло внезапное сообщение о чуть ли не всеобщем попадании в «одиночки» — «Сателлит-отель» сбил подготовленную начальством линию «гражданской обороны» за счет обилия одноместных и противостественного (для нас) дефицита двойных номеров, — и я, бесстыдный отщепенец, забыв о корпоративной этике, не смог скрыть своего животного ликования.

Потому что, прежде чем Р. завоевал священное право занимать на гастролях отдельный номер, он прошел большую школу испытаний на совместимость с Григорием Гаем, Михаилом Волковым, Изилем Заблудовским и Юрием Изотовым...

Гай, например, заботливо учил Р., уходя из номера, обязательно гасить свет...

Но вернемся к загадочному разговору Юзефа с японским прищельцем.

Итак, Юзеф позвонил переводчице Маргарите, красивой и приятной блондинке, которая уже спала или готовилась ко сну, что совершенно не меняет дела; для того, чтобы выйти из номера и спуститься в холл, ей понадобилось время, в течение которого неизвестный и Мирон хранили терпеливое молчание, проникаясь друг к другу необъяснимой симпатией.

С появлением в холле красивой Маргариты дело стало принимать соблазнительный оборот. Зажигательно повторенный прищельцем монолог в переводе с японского имел следующее содержание:

— Я — директор фабрики ковров, — сообщил таинственный гость, частично переставая быть таинственным, но продолжая еще больше интриговать. — Дела на моей фабрике идут очень неважно из-за непосильной конкуренции с ковровыми монополистами. Поэтому, а также по причине давней симпатии к русскому искусству я хочу сделать вашему театру выгодное предложение о покупке японских ковров...

Маленький фабрикант обещал, что даст возможность каждому выбрать именно тот ковер, о котором он мечтал всю предыдущую жизнь, даже не дога-

дываясь об этом, и предлагал Мирону возглавить создание ковровых списков. Только вручив нам ковры и полностью завершив напоследок доброе дело, он позволит себе окончательно разориться и пасть под ударами монополистических гигантов. Как только Юзеф составит список, маленький хозяин разместит заказ на своей гибнущей фабрике, а когда мы вернемся в Токио из триумфальной поездки по островам Сикоку и Кюсю, ковры будут полностью упакованы и готовы к отправке на материк.

— А почему ковры-то? — глуховато спросил Юзеф.

Неизвестный отчаянно махнул рукой и, сдерживая слезы, сказал:

— Юзико-сан!.. Ковры среднего роста — три на два метра — я отдам по семьдесят пять, а ковры большого роста — четыре на три метра — по сто долларов... Можно платить иенами тоже...

Переведя эту фантастику на русский язык, Маргарита Коробкова спросила Юзефа:

— Боже мой, почему так дешево?! — но свой вопрос переводить обратно на японский почему-то не стала.

Читателю, не пережившему наших времен, нужно объяснить, что ковры являлись в Советском Союзе еще большим дефицитом, чем продукты питания, а главное, стоили на несколько порядков дороже той смехотворной суммы, которую назвал прогорающий японец. Любители ковров записывались в самодельные списки и годами ожидали при магазинах своей очереди на покупку, а жители среднеазиатских республик, чье жилье просто невысказимо без этих традиционных украшений — чем больше в доме ковров, тем он красивей и богаче, — совершали за ними специальные охотничьи наезды в обе столицы...

Поэтому выросший в Ташкенте и потрясенный баснословной возможностью одеть в ковры свое низкооплачиваемое будущее, Мирон счел своим гражданским долгом довести японское предложение до ушей всего академического коллектива. Для этого он был готов даже рисковать. Вместе с Маргаритой он отправился на поздний прием к директору Суханову.

Разбуженный ковровой вестью Геннадий Иванович имел достаточный опыт зарубежных поездок, так как пришел к нам с поста директора Малого оперного театра и хорошо знал, во что могут у нас обойтись несогласованные решения. Поэтому, выслушав взволнованные речи Юзефа и Маргариты, он, в свою очередь, направился в номер к Анте Антоновне Журавлевой.

Анта Антоновна впустила Геннадия Ивановича, не чинясь, и приняла ковровый вопрос близко к сердцу.

Прогоня сон, она немедленно запросила о встрече еще одного руководителя поездки, Юрия Алексеевича (или Александровича), который к сведению японцев представлял профсоюз работников культуры, а к нашему сведению — Комитет государственной безопасности...

Теперь вообразите ночную гостиницу «Сателлит-отель» на окраине Токио, погрузившуюся в тревожный сон ввиду сложнейшей международной обстановки, и скрытое от враждебных глаз движение коврового вопроса...

Приняв круговое положительное решение, собравшийся в полном составе штаб получил право выхода на художественного руководителя театра с целью последнего и решительного согласования.

Кто взял на себя ночную отвагу звонить прилетевшему Товстоногову, не скажу, потому что не знаю. Но знаю твердо, что обойтись без его одобрения значило бы искривить законы внутренней жизни Театра, и этого не мог не понимать каждый штабник. Так осуществлялся принцип разделения политической и художественной власти в отдельно взятом Большом драматическом театре в нашу, теперь уже историческую эпоху...

Проведя летучее совещание, семейный совет, состоящий из Георгия Александровича, его сестры Нателлы Александровны и ее мужа Евгения Алексеевича, утвердил предложение генерального штаба поездки, и, получив окончательное «добро», Юзеф с Маргаритой пошли вниз на встречу с ковровым фабрикантом...

Я не стану описывать символическую и не требующую перевода сцену ночного рукопожатия между высоким и светловолосым Юзефом и малорослым чернявым пришельцем, вы легко представите ее; не стану входить в подробности продолжающегося штабного совещания, на котором рассматривались анкетные и другие данные Ю.Н. Мироненко, с тем, чтобы большинством голосов решить: ему или кому-нибудь более проверенному поручать составление списков и сбор наличных средств, но позволю себе перенестись во времени через одни с половиною сутки...

Через одни с половиною сутки дворик «Сателлит-отеля» чудно преобразился: обычное автомобильное его население раздалось и отодвинулось к стенам и углам, давая центральное место голубому фургончику знакомого нашего фабриканта. Вокруг фургончика, беспечно радуя глаз, вольно расположилось цыганское ковровое племя. Гости и впрямь были хороши, развернувшись плашмя на сером асфальтовом фоне: насыщенно-красные с черными вензелями; светло-желтые с коричнево-алым разводом; ярко-зеленые с неуловимым японским орнаментом; жаркие шары на белом фоне — все они, большие и средние, как сброшенные кимоно, лежали в удачном порядке, составляя единое поле и опьяняюще-яркий сюжет. Двор, декорированный будто для спектакля, стал похож на роскошную дворцовую залу...

Между праздничными коврами с озабоченным видом шагали мои дорогие коллеги, стараясь не наступить на царскую роскошь и не ошибиться в прицеле: выбирать можно было по вкусу, а заказывать — не более трех...

— Фантастика, — восхищенно шепнул Миша Данилов.

А Слава Стрельчик, чей выбор был затруднен отсутствием в поездке любимой жены, растерянно бормотнул:

— Это — хулиганство...

Особенно хорошо картинка смотрелась с верхних этажей, и, сделав свой случайный выбор — вот этот, светло-желтого поля, обширный и беспечный, — Р. не поленился подняться наверх, чтобы взглянуть на ковровый базар с высоты птичьего полета.

А в номере 636 телевизор «Victor» не уставал показывать цветочные венки на серой волне, живой погребальный ковер в память невинно убиенных...

Каждому ковру хозяин присвоил трехзначный индекс; скажем, ковер номер 475, или 348, или, допустим, 432.

Дождавшись очереди к Юзефу, нужно было по-военному четко и быстро напомнить ему свое анкетное ФИО, назвать избранный ковровый индекс, или два, или три индекса, и по возможности без сдачи отсчитать иены, которые с самурайским лицом принимал вдохновленный задачей Юзеф...

Такое же суровое и беспощадное лицо было у него в спектакле Ташкентского русского драматического театра имени М. Горького, где я играл Гамлета, а он, будучи Лаэртом, врывался во дворец с толпой мятежников и требовал к разделке самого Клавдия, датского короля...

Это был его час, и все пришли на поклон к Юзефу: Макарова и Трофимов, Басилашвили и Аксенов, Малеванная и Волков, Демич и Толубеев; и Ковель с Медведевым пришли, несмотря на больную руку, и Николаева с Лавровым, и Нателла Товстоногова от имени всей семьи, и целиком доморо-

щенное, и все приданное нам руководство — все стали в затылок друг другу, потому что каждый почел за благо оказаться в бессмертном ковровом списке.

А у нашего посольства толпа разъяренных японцев сжигала алый советский флаг...

Если сегодня пройти по нашим квартирам (ковры еще и дарились, и по бедности кое-кем продавались), то почти в каждой из них на стене или на полу можно встретить сентябрьский пестрый лоскут восемьдесят третьего года, тканый японский ковер имени Юзефа Мироненко.

8

Прилетевший в Токио Гога был нездоров: его мучила давнишняя язва.

Каждое утро переводчица Маргарита отправлялась к нему, чтобы на японском языке заказать диетический завтрак и помочь пообщаться с прогорающей фирмой «Сентрал бродкастинг эйдженси».

Глава ее, которого одни источники называют господином Хироси Окава, а другие, оставляя ту же фамилию, именуют Ешитери, что более приятно моему языку и слуху, пытаюсь скрыть свои чувства, на самом деле был близок к истерике: трагедия, произошедшая с южно-корейским «Боингом», возмутила японскую публику настолько, что она объявила нам бойкот, и билеты на спектакли почти не продавались. Никто и ничто не могло освободить бедного Ешитери-Хироси от обязанности платить договорные суммы арендованным театрам и суточные всем нам...

Думая о гастролях, Товстоногов был готов, кажется, ко всему, кроме этого...

Еще в апреле он побывал в Японии с разведкой: осматривал сцены, встречался с театральными людьми, давал интервью, планировал встречи, подписывал договор на издание своего двухтомника. Профессор Икуко Сакураи, специалист по советскому театру, в свою очередь, успела слетать в Ленинград, перевести и издать по-японски «Историю лошади» — инсценировку Марка Розовского по «Холстомеру» — со своей статьей о спектакле и Товстоногове. В другой, роскошно изданной к гастролям книге — с твердым корешком, цветными и черно-белыми фотографиями и справками о ведущих артистах — Мастер обращался к будущей публике с прочувствованными словами:

«Дорогие японские зрители! Мы, ленинградский Большой драматический театр, с огромным волнением ждем встречи с вами. Мы везем на ваш строгий и взыскательный суд четыре пьесы четырех великих русских писателей. Мы верим и надеемся, что глубочайшие мысли, моральные и нравственные проблемы, заложенные в этих произведениях, тронут ваши сердца и чувства, воспитанные на великой литературе Японии...»

И вот накануне отплытия происходит другая, без тени театральности, трагедия, жертвенная кровь растворяется в соленой волне, текут неизбежные слезы, и не только Япония, но и весь мир начинает освистывать и проклинать нас как убийц и злодеев. И если посмеешь спросить: «Мы ли в том виноваты?!», получишь в ответ: «Вы!...».

Именно в эти дни и по этому поводу, с легкой руки артиста Р. — тут имеется в виду не персонаж гастрольного романа, а другой, заокеанский артист Р., по имени Рональд Рейган, — нас стали называть «империей зла».

Вокруг машин толпятся возбужденные люди, с открытых платформ на крышах микроавтобусов через мощные усилители истошно кричат полувоенные активисты: мы должны немедленно убраться домой, толпа взрывается

дружным воплем, митингующих окружают полицейские с длинными дубинками и стальными щитами, а нас, забившихся в красный автобус, кружным путем везут на концерт в христианскую церковь Шебуйя.

Чтобы дать возможность покаяться?..

Или показать свое искусство?..

Чего от нас ждут в христианской церкви Шебуйя? И что в ней ожидает нас?

Даже Гога этого не знает...

Мы ехали мимо канала с крутым откосом, мимо стоящих вдоль него деревьев, густой травы и кустарника по склонам, мимо белых цапель на берегу...

Крест-накрест висели над водой мостки, и рыба была довольна жизнью так же, как рыбаки, которых не волновала ловля...

Дома косили под старину, а парки забывали о том, что они — японцы. Но мы были посторонними здесь.

Мы ехали мимо огромного города, вдоль старого канала, мимо крутого откоса и веселых цапель, а жизнь воды, домов и деревьев была так же безразлична к нам и нашим спектаклям, как и той кровавой истории, которая случилась над морем...

Эй-богу, я не знал, когда решусь подойти и что теперь скажу Гоге...

И он, и мы были рады, и встретились, как родные, и после щедрых объятий и бодрых поцелуев начался концерт. Не в храме, а в зале при нем, где все-таки собрались местные энтузиасты.

Господи, прости нам грехи наши, вольные и невольные!

Товстоногов поговорил о Станиславском и методе физических действий, Лебедев показал бессловесный этюд о рыболове, который мы знали наизусть, потому что он всегда его показывал... А мы стали играть отрывки из всех четырех спектаклей и, сидя за кулисами, ждать общего поклона.

Гога делился новостями, которые не застали нас на родине. Больше всего его поразило последнее интервью Любимова.

— Такого еще не было, — возбужденно говорил он, — Любимов сказал: «Мне 65 лет, я строю театр, а у меня один за другим снимают три спектакля!.. Сколько еще я должен терпеть?! Так больше продолжаться не может, и мириться с этим нельзя!..». Все в таком тоне!.. Как ультиматум!..

Мне казалось, что Товстоногов полон сочувствия к Любимову и целиком на его стороне...

Его слушали почтительно и молчаливо. Лавров, к которому больше других апеллировал Гога, тоже молчал.

И Мастер несколько переменял тон.

— Конечно, Любимов зашел слишком далеко, — рассудительно сказал он. — Он мог жить у жены в Венгрии, там у нее свой дом, и ездить, ставить...

Он опять взглянул на Кирилла, но тот снова промолчал. И тогда Гога не очень уверенно добавил:

— Я уже не говорю о политической стороне...

Читателю, не пережившему наших времен, следует понять, что если кто и молчал в ответ на Гогин рассказ о последнем интервью Любимова, то не обязательно от одного того, что осуждал диссидентские выпады Юрия Петровича или не разделял Гогоного сочувствия опальному режиссеру. Просто вокруг были свидетели — наши, не совсем наши и вовсе не наши, и молчание в таких случаях стоило дороже японской валюты. А ведь у нас была целая группа сопровождения. Не говоря уже о «своих».

Кстати, «своих» знали практически все. И «свои» знали, что их знают.

Но это никого не смущало. Это входило в предлагаемые обстоятельства. Товстоногов, как многие умные люди, думал, что «чужих» и «своих» можно хорошо использовать в качестве канала информации. Или, вернее, дезинформации. Поэтому Гога и сказал такую маскировочную фразу, якобы с точки зрения тех, кому интервью Любимова по всем приметам не должно было понравиться: «Я уже не говорю о политической стороне...».

Однажды за границей он отвел в сторону Эдика Кочергина и назвал ему поименно всех, кого, по его информации, следовало остерегаться.

А Эдик Кочергин как-то по дружбе назвал их мне.

Но я и не подумаю называть имена. И не потому, что не испытываю доверия к читателю, а потому, что это будет уже совсем другой жанр, и никому от этого легче не станет. Тем более теперь...

И все-таки, хорошо зная «своих», Гога иногда забывался, потому что ему были необходимы близкие люди и единомышленники. В отличие от Любимова у него не было жены в Венгрии. Впрочем, в Союзе тоже. Долгие годы жизни настоящей жены у него не было...

Со времен «Генриха IV», когда мое детище, роль беспутного принца Гарри, уже на генеральной репетиции была у меня отнята — эта история частично рассказана в повести «Прощай, БДТ!», — наши отношения складывались, мягко говоря, непросто, но именно теперь дело будто бы начинало двигаться на лад: во-первых, вот уже двадцать лет как я служил в его театре, а во-вторых, он, вроде, начинал смиряться с моими претензиями на режиссуру.

Потепление возникло после премьеры «Розы и Креста», которая подоспела к столетию со дня рождения Александра Блока, то бишь в одна тысяча девятьсот восьмидесятом году.

Неважно, чего это мне стоило.

И неважно, ради чего я это делал...

Или все-таки важно?..

Ради театра?..

Ради Блока, чью «радость-страданье» испытал на собственной шкуре?..

Или, во что легче всего поверить, ради себя самого?..

Остановимся на последнем: роль Бертрана, «рыцаря-несчастье», поманила артиста Р., и он принялся рыть землю, еще не понимая, что ему сулит эта затея...

Ради Блока или ради Бога... Стоп...

Только без рифм!..

По предварительному условию, «Розу и Крест» я должен был ставить безо всяких материальных расходов со стороны театра, то есть действительно «ради Бога», именно так, как похоронили несчастного Евгения в «Медном всаднике»...

Зайдя как-то в «предбанник» перед Гогиным кабинетом, где в прежние времена царственно секретарствовала Елена Даниловна Бубнова, потом — Татьяна Мосеева, в замужестве м-с Т. Чемберс (Лондон, Великобритания), а все последние годы — талантливая и эксцентричная Ирина Шимбаревич, я увидел Мастера, одиноко восседающего на месте собственного секретаря.

Оценив ситуацию, я совершенно серьезно попросил *Гогу* доложить *Товстоногову*, что артист Р. давно ждет, когда наконец Георгий Александрович позовет его поговорить о Блоке; время идет, и юбилей не за горами...

— А вот я вас зову, — хмыкнув, сказал Гога и, встав с секретарского места, растворил передо мной заветную дверь.

— Садитесь, — сказал он, когда мы вошли, и, закурив очередную сигарету, в убедительном монологе развернул передо мной жуткую картину финансово-экономической катастрофы, в которую ввергли театр последние постановки.

Неисправимые бреши в бюджете пробили, оказывается, не только доро-

жавшие по мере пошива шикарные костюмы к «Волкам и овцам» по эскизам Инны Габай, жены Эдика Кочергина, но и разнокалиберные цельнометаллические трубы, которые подвешивали к колосникам по эскизам самого Эдика. Трубы оснащали и повышали образную патетику юбилейного спектакля «Перечитывая заново», в котором, по идее Г.А. Товстоногова и Д.М. Шварц, соединялись ударные фрагменты из произведений разных авторов, в течение всех советских лет рисковавших вывести на сцену или показать на экране образ вождя. Потому что прежде чем отмечать столетие со дня рождения одного из основателей первого советского театра А.А. Блока, нужно было отметить столетие со дня рождения основателя первого советского государства В.И. Ленина. Не было бы Ленина — не было бы государства, не было бы государства — не было бы у него и первого театра. Тут, как говорится, «у матросов нет вопросов...».

Но этого мало. Препятствием к материальному обеспечению «Розы и Креста» было то неоспоримое обстоятельство, что производственный план 1980 года был практически выполнен, а все его «лимиты» исчерпаны. Тем более что включенный в этот план югославский режиссер Мирослав Бёлович (ударение на первом слоге), повторявший на нашей сцене свой белградский спектакль по пьесе Марина Држича «Дундо Марое», написанной монахом-расстригой в 1550 году, тоже размахнулся на дорогущую сценографию и пышные костюмы.

— Таким образом, — заключил Георгий Александрович, — как вы понимаете, Володя, блоковская постановка возможна только, что называется, за зарплату.

Имелось в виду, что режиссерский гонорар мне не грозит. Но это меня не пугало. Хуже было другое.

Я кивнул, давая понять, что общая ситуация ясна, и после скромной цезуры констатировал:

— Итак, ни на художника, ни на композитора денег нет.

— Нет ничего, — довольный моей понятливостью, сказал Гога.

«Из ничего не выйдет ничего», — заметил Шекспир, но я не стал произносить вслух афоризм трехсотлетней давности.

К этому моменту я непредусмотрительно встретился с Валерием Гаврилыным, прочел ему пьесу и поделился постановочной идеей.

— Весна — это такое сумасшествие, — задумчиво сказал мне Валерий. — Может быть, четыре гавайские гитары?.. Электро... Такое сумасшествие, Господи! Конечно, это надо делать...

Но так как денег на Валерия Гаврилина и гавайские гитары у театра не было, Гога о нашей встрече не должен был знать, и кандидатура Гаврилина автоматически отпадала.

— Может быть, предложить бесплатную работу по костюмам Ольге Саваренской? Художница начинает карьеру, и о ней хорошо отзывается Эдик Кочергин, — вопросительно произнес я.

— Да, но только не от имени театра, — ответил Мэтр, — предложите ей внеплановую работу, быть может, ее привлекут обстоятельства престижа.

Я понимал, что лезу в петлю, но только обстоятельства юбилея давали мне тихую надежду на будущее, потому что в наши времена слово «юбилей» имело магическое действие на всяких, в том числе даже и на партийных чиновников. Важно было по наполеоновскому принципу ввязаться в бой, а там видно будет...

— А с актерами вы поговорили? — прервал мои размышления Гога.

Имелось в виду, что и актерское участие в репетициях должно было быть практически добровольным.

— Я не приступал к распределению до встречи с вами, но, очевидно, могу рассчитывать на Заблудовского, Мироненко, Данилова... На себя, — сделал я предварительную заявку.

— Ну, эти не откажутся, — согласился он.

Так я зарезервировал за собой рискованное право и ставить, и играть. С этого дня мы встречались более или менее регулярно.

9

— Черт меня дернул дать интервью «Советской России»! — сказал Р. Юре Аксенову, сидя на низкой скамейке среди тропической зелени детского парка Каракуэн. Они только что вернулись из пешего похода по Акихабаре, большой торговой улице, отнимавшей у бездельного коллектива деньги и силы. Прежде чем браться за консервы, хотелось отдышаться на японской природе.

— Да, — согласился Аксенов, — это было непредусмотрительно с твоей стороны.

Р. продолжал готовить себя к разговору с Гогой...

Сравнительно недавно в «Советской России» появилась на редкость ругательная статья о БДТ молодого критика Ирины Вергасовой, которая привела в ярость нашего Мэтра. Он даже куда-то звонил и на чем-то настаивал, мгновенно назначив газету и критика «врагами № 1».

Молодой театровед Вергасова была хороша собой и еще с институтских времен известна в художественных кругах как девушка андеграундная и эксцентричная. По рассказам очевидцев, она могла появиться на занятиях чуть ли не наголо стриженной, в редкой сетке на голое тело: сквозь отверстия сетки эпатирующей двустволочкой выстреливали оба соска.

Ирина Вергасова откровенно не принимала ничего академически выверенного, житейски-благополучного и признанно-государственного. Этой ее ориентацией и воспользовались недоброжелатели из газеты, чтобы нанести коварный удар якобы не по идеологии, а по эстетике Большого драматического...

— Расскажи Гоге, пока тебя не опередили, — напомнил Юра, — и учти, что после «России» была «Правда»...

И правда. После на редкость ругательной статьи Вергасовой в «Советской России» появилась на редкость хвалебная статья Строевой в «Правде», а в статью Строевой в «Правде» специальным попечением был введен на редкость ругательный абзац про «Советскую Россию» и Вергасову. И поскольку «Правда» являлась центральным органом Центрального Комитета, то Георгий Александрович мог считать честь театра восстановленной, а себя удовлетворенным.

Но Гога этого случая не забыл.

И вот, не учтя всех обстоятельств или из алчного желания славы, Р. поделился с корреспондентом враждебного органа своими незрелыми мыслями, и теперь любой недоброжелатель уже по одному факту данного интервью получал возможность представить артиста Р. изменником и перебежчиком в стан врага...

Вступив на скользкий путь режиссуры, нужно было освоить такой предмет как театральная политика, которая совершенно сродни политике государственной и даже международной, и, если бы не советы Юры Аксенова, на которые он не скупился в Японии, я бы, конечно, чего-нибудь наворотил. Но Юра даже репетировал со мной будущие диалоги с Мэтром, играя его роль и подсказывая мои возможные реплики.

В диалогах с Аксеновым даже мне, дураку, стало ясно, что лучше бы этого интервью было не давать.

Хотя, конечно, еще бы лучше эксцентричной Вергасовой своей статьи вовсе не печатать. Велась же с ней профилактическая работа.

— Зачем тебе брать БДТ? — спрашивала Ирина Шимбаревич, ее однокурсница, целиком посвятившая себя театру и Мастеру. — Это же не твой

театр!.. Твой анализ ничего БДТ не даст, никакого блага... У тебя острое перо, пиши о подвальных студиях, пиши об униженных и обиженных, о тех, кто тебе нравится... Тебя оскорбляет не эстетика, а уровень жизни...

— Я на это смотреть не могу, — отвечала непримиримая Вергасова, имея в виду всех нас. — Адреналин выделяется...

У Товстоногова тоже начал выделяться адреналин, потому что наш импрессиарио, господин Ешитери Окава, по причине зрительского бойкота в Токио, никак не мог принять решения о начале гастролей и, более того, вознамерился прекратить выплату суточных. Возможно, его смущали моральные обязательства перед японской общественностью или кто-то оказывал на него скрытое давление, но, главное, стоило ли открывать занавес в огромном зале «Кокурицу Гокидзё», где дает свои представления знаменитая труппа «Кабуки», если на наши первые спектакли продано всего по тридцать — сорок билетов?..

Когда слух о намерении г. Окава прекратить валютные поступления в карманы гастролеров достиг ушей Товстоногова, он не на шутку рассердился и сказал, что это — «саботаж».

О его реакции доложили бедному Ешитери.

Тогда он приехал к Гоге и, перестав сдерживаться, заплакал крупными слезами. Рыдая, он через переводчицу Маргариту поведал о том, какие страшные убытки терпит фирма и насколько она близка к настоящему разорению.

Вообще это было не очень по-японски, потому что плакать взрослым мужчинам на островах Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю не положено, но дело зашло так далеко, что Ешитери ничего не мог с собой поделаться и на глазах у Гоги, Анты и Маргариты всхлипывал, как маленький ребенок.

Собравшиеся стали утешать Ешитери и обсуждать, чем ему можно помочь.

Наконец решили звонить в посольство и все вместе отправились к чрезвычайному и полномочному послу СССР в Японии В.Я. Павлову. И уже вместе с Павловым принялись названивать в Москву, в Госконцерт и Министерство культуры с просьбой, во-первых, разрешить показ одного из спектаклей по японскому телевидению без дополнительной оплаты Госконцерту, что даст возможность г. Окава хотя бы частично покрыть безнадежные убытки, а во-вторых, в срочном порядке выделить ему дозу советского цирка и порцию Большого Балета, ибо только с их помощью бедный Ешитери мог поправить свое отчаянное положение.

О цирке обещали подумать, и разрешение на одноразовый безвозмездный телепоказ было дано...

Но мы с Аксеновым всего этого еще не знали. Мы сидели на лавочке в детском парке Каракуэн, напротив нашего «Сателлита», и, как заведенные, токовали о тайных пружинах управления театром и умении себя вести.

— В чем ошибка Вадима Голикова, почему его не приняли в Комедии? — спрашивал Юра и рассудительно отвечал: — Потому что руководить театром — это другая профессия, отличная от профессии режиссера... Вообрази сцену... В Комедии идет репетиция, в зал входит директор театра Янковский, смотрит на декорацию и говорит: «Это оформление плохое, оно не пойдет». А Вадим отвечает: «Михаил Сергеевич, выйдите вон из зала!..». А Янковский тут же Вадиму: «Я вас увольняю!..».

— Здорово.

— Да, здорово, — согласился Юра. — А требовать от худсовета звания для жены? У нее же нет театрального образования... Худсовет отказывает, и Вадим вступает в конфликт с худсоветом.

— Жена есть жена, — сказал Р. словами Чехова и спросил: — Может быть, там все не так просто?

— Может быть, — сказал Юра. — Но главный режиссер должен пони-

мать, к чему ведут его поступки. Зачем наживать себе врагов? Они и сами найдутся.

Мы помолчали.

— Я могу руководить театром, — твердо сказал Юра и открыл свои методологические тайны. — Во-первых, нужно выбирать хорошие пьесы, во-вторых, приглашать других режиссеров... Нужно организовать работу театра... Я не обсуждаю постановки Вадима, он — человек талантливый, но он не организовал работу театра, то есть не проявил себя главным режиссером, понимаешь?..

— Понимаю, — сказал я. — Понять несложно. Сложно организовать работу... И хорошо поставить... Поставить, по-моему, самое сложное...

— Это другой вопрос, — сказал Юра, рассматривая большой черный мотоциклетный шлем, который он только что нашел под кустом в детском парке Каракуэн. Японский мотоциклист, носивший эту каску, видимо, пару раз налетал головой на столбы, но она сохранила ему жизнь и сама неплохо сохранилась. По-моему, Юра задумал взять ее в Питер. Если подновить краску на шлеме, он мог вполне пригодиться для нескольких лобовых встреч с нашими столбами...

Здесь же и не откладывая, необходимо внести существенные добавления, так как сведения о В. Голикове и его взаимоотношениях с директором и коллективом, полученные в парке Каракуэн, могли иметь односторонний характер. Известно, что приход нового главного режиссера — крупнейшее событие в жизни всякого театра, и театра Комедии в частности. Поэтому многие его старослужащие теоретически должны были искать и находить Юру Аксенова, с тем чтобы во имя своего светлого будущего засвидетельствовать ему свою изначальную преданность и навешать на уши полновесную домашнюю лапшу.

Поэтому, вернувшись на материк, автор решил перепроверить информацию и задал прямые вопросы о двух вышеупомянутых эпизодах непосредственно Вадиму Голикову.

Действительно, отношения Голикова с им же приглашенным Янковским вскоре после начала совместной работы стали портиться и испортились вконец, но, по словам самого Вадима, они никогда не были настолько вульгарны и анекдотически примитивны. А все диалоги, даже самые острые, велись Вадимом и Михаилом Сергеевичами в абсолютно корректной и цивилизованной форме.

Задать тот же вопрос самому М.С. Янковскому у автора нет никакой возможности по самой жестокой и непоправимой причине.

Что же касается жены Вадима Милочки Оликовой — ее сценический псевдоним — усеченная на одну букву фамилия мужа Голикова, — то в действительности был лишь один эпизод, когда, в числе других претендентов, она была представлена — не к званию, нет! — а всего лишь к увеличению зарплаты на пять или десять рублей, что привело бы ее к счастливому переводу в более высокую актерскую категорию, причем в момент голосования именно ее кандидатуры Голиков демонстративно и принципиально покинул заседание худсовета, что и привело к вполне демократическому завалу Милочки Оликовой и непредоставлению ей искомого повышения ставки.

Конечно, Вадим и здесь поступил как интеллигент, что вызвало нареkania друзей и знакомых, назвавших его поступок идеализмом и глупостью.

Но на этих двух примерах (директор Янковский и жена Милочка) мы снова могли проследить, как незначачие события театральной жизни в устах заинтересованных лиц легко превращаются в анекдот или даже в легенду. Поэтому автор и стремится всякий раз передать объем и воздух события, если и не приводя весь путь от факта к апокрифу, то давая хотя бы его исходную и заключительную стадии.

— Понимаешь, Володя, — наставлял меня Юра Аксенов еще на «Хабаровске», пригнув голову и стаскивая с себя свитер в тесной каюте четвертого

класса, — Гога должен узнавать о тебе только от тебя самого!.. И о Пскове, и о Ташкенте. — Имелось в виду то, что к этому моменту Р. были предложены постановки в двух городах, и он собирался просить разрешения на обе. — Ты же знаешь, как ему могут преподнести самый безобидный факт?..

— Знаю, — вздыхал я, ожидая своей очереди на раздевание в камерном кубрике.

Мы оба пытались заглянуть в наше вероятное будущее, которое, несмотря на Японию, было скорее темно, чем прозрачно. Во всяком случае, у меня.

— Я ни о чем не жалею, — говорил Юра, осторожно укладывая свою крупную плоть на узкий матросский рундучок, — но театр я мог получить десять лет назад. Да, лет десять, не меньше...

— Зато у тебя опыт, — слабо возражал Р., балансируя на одной ноге и борясь с узкими джинсами, — ты столько ездил, столько с ним работал...

Если бы Юра не был назначен на высокую должность и не уходил бы от нас, он ни за что не стал бы откровенничать со мной, а только молчал бы, как сфинкс; и улыбался. Но он уходил, и ему хотелось подвести какие-то итоги.

— Главное, я его ни о чем не просил, — сказал Юра, — он всегда сам вызывал меня. Вызывал и предлагал работу...

А мне предстояло просить. Причем, просить особого положения. Чтобы уехать на две недели или хотя бы на десять дней, нужно было сперва добиться, чтобы расписание спектаклей было составлено в мою пользу, и мои коллеги играли бы за меня.

«Мало того, что артист занимается не своим делом, он и подрабатывает на стороне, а мы должны играть за него. С какой стати?..»

Конечно, таких рассуждений было не избежать, но, с другой стороны, театр всегда шел навстречу артисту, если ему выпадала хорошая роль в кино. И расписание составлялось гибко. Смотри чьи интересы учитывались...

— А рекомендовать тебя главным режиссером Комедии ты Гогу не просил?..

Юра глубоко вздохнул, и мне пришлось задать вопрос по-другому:

— Это он помог тебе с театром Комедии?

— Да, — сказал Юра. — Но мог бы сделать это гораздо раньше...

«Хабаровск» мелко подрагивал и напрягался. В каюте было жарко, и, глубоко вздохнув, Аксенов пояснил:

— Без Гоги в городе театра бы не дали. И Владимирову театр устроил Гога... И Корогодскому... И Агамирзяну... И Голикову. И Падве.

— И тебе, — напомнил я.

— Да, и мне, — теперь уже довольно согласился Юра. — Обком почти никогда без него не решает, какой кому театр отдавать...

— Кроме Александринки? — уточнил я.

— Да, кроме Александринки, — подтвердил Юра. И добавил: — Расскажи ему об интервью. Не давай себя опередить... Спокойной ночи.

В темноте, за тяжелой волной, медленно и навсегда уходил от нас остров Осима.

Теперь Гога был с нами, и жизнь всем скопом, без спектаклей и репетиций, в атмосфере тревог и неясности, в виду сотен тысяч обещанных иен и тьмы японских возможностей казалась невиданным приключением и рождала чувство лунной невесомости.

Тут скорбящая фирма надумала показать нам новооткрытый «Диснейленд». Двумя группами нас повезли на берег моря, где сначала был создан насыпной полуостров, а потом на отвоеванном у воды пространстве раскинулась еще одна сказочная страна.

Вторая группа, не помещаясь в автобус, позавидовала первой, а первая осталась на второй сеанс. Но именно здесь, в выдуманном мире, среди искусственных прерий и рек, гор и водопадов, железнодорожных станций и индей-

ских поселков, салунов и лачуг, дворцов и замков, среди ковбоев и горилл, гоблинов и призраков, волков и кроликов, слоняясь в толпе веселых туристов и беззаботных детей под флагом бессмертного Микки Мауса, Р. безвольно уносился назад, к цепким обстоятельствам предотъездных дней.

У космического павильона, оказавшись рядом с Нателлой Товстоноговой, которая знала о нашей жизни если не все, то очень многое, я обратил к ней сверлящий меня вопрос: кто же из общих доброхотов догадался рекомендовать меня и Стржельчика в список доблестного антиссионистского комитета?

— По-моему, мы никаких поводов не давали, — сказал я.

— Это не в театре придумали, — уверенно сказала Нателла и, конспиративно оглянувшись, добавила: — Но говорить об этом никому не надо.

— Но вы-то знаете, — сказал я.

— Знаю, — сказала Нателла. — И знаю, что вы отказались. Но вам в любом случае лучше молчать.

— Хорошо, — сказал я, — но они-то молчать не будут.

— Будут, — убежденно сказала Нателла. — Вот если бы вы согласились, они стали бы говорить.

Это было логично. Недаром Гога всегда советовался с сестрой.

— Может быть, — сказал я, — но, черт побери, до сих пор противно!..

— Не чертыхайся, — сказала Нателла, — и выбрось это из головы!..

Я, конечно, понимал, что в великом театре Уолта Диснея о таких вещах лучше не думать, что здесь и сейчас надо попробовать отключиться от глупостей, но впасть в детство мне никак не удавалось.

У горных каньонов меня взял под руку Рома Белобородов и стал степенно склоняться к решительному поступку. Оказалось, что и он осведомлен о предложении и отказе и советует мне по возвращении на родину вместо антиссионистского комитета вступить в Коммунистическую партию Советского Союза.

— Сейчас — самое время, — сказал Рома, а веселый Микки Маус, оказавшись тут как тут, поочередно пожал наши руки. Можно было подумать, что он поздравляет меня с новым заманчивым предложением.

— Почему сейчас? — спросил я.

— Потому что пришла новая разрядка, и нас просят принять десять призывников. — Теперь с нами здоровался улыбчивый заяц, и его манеры были безупречны. — Все легко пройдут, а вы — тем более!..

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Всё, — ответил Рома.

Роман был спокойным человеком и никогда не повышал голоса. Молодой, профессионально подготовленный, он был уверен в себе и по-настоящему перспективен. Рано или поздно он мог стать даже директором, если бы кадровики закрыли глаза на его пятую графу.

— Вы ведь не ребенок, — сказал Роман, и я вынужден был с ним согласиться. — Вы должны понять, что это расширит ваши перспективы, особенно — режиссерские!.. Посмотрите на Кирилла Юрьевича. Разве ему как актеру мешает то, что он — член партии; а теперь и член ЦК?.. Нет, не мешает. А помогает это ему?.. Думаю, да. Вот и вам это никак не сможет помешать, а, наоборот, поможет. Вы же знаете, что я это говорю из уважения к вам.

— Спасибо, Рома, — сказал я, — может быть, вы и правы. Знаете, когда был жив Ефим Захарыч Копелян, он соседствовал в гримерке с Лавровым. И вот однажды они сидят друг к другу спиной, а в зеркалах им видны лица друг друга. Копелян смотрел, смотрел и вдруг говорит: «Да, Кира, мне бы твой нос, я бы такую карьеру сделал!..». Мне это Зина Шарко рассказывала... Не уверен, что смогу пригодиться!..

— Сможете, Владимир Эммануилович, — сказал Роман. — Сейчас нужны именно такие люди, как вы. И если вы вступите в партию, то отказ от антиссионистского комитета не будет иметь значения!..

— Рома, — сказал я, — неужели вы говорите серьезно?

— Какая разница, Владимир Эммануилович, серьезно я говорю или нет? Отнеситесь к этому философски, и все будет хорошо...

Тут я заметил переводчицу Рiku и предложил ей прокатиться со мной по «Замку призраков». Русского языка она почти не знала, но была так молода и хороша собой, что мне показались смешны американские страшилки, и мы с Рикой принялись хохотать, скользя на двухместной вагонетке мимо разверзающихся могил, пляшущих скелетов и отрезанных женских голов.

Очевидно, не я один так устроен: чужие ужастики просто смешат нас, а свои призраки до ужаса страшны...

10

Чтобы отвлечь Гогу от черных мыслей и скрасить тоскливое ожидание, Ешитери организовал Мэтру несколько платных лекций о театре в Нагое, Осаке и где-то еще. С одной стороны, все знали, что Мастер откладывает деньги на «мерседес», а с другой — кто лучше него может объяснить японцам, что такое метод Станиславского?..

Гога вернулся в Токио, несколько повеселев, и во время концерта в газете «Асахи» я рискнул провести с ним первый диалог, неукоснительно следуя наставлениям старших товарищей.

— Георгий Александрович, — заинтересованно спросил я, — как прошли ваши выступления?

— Хорошо, Володя, — откликнулся он, — но очень устал: душно, влажно...

— Вы рассказывали им про систему Станиславского? — продолжал интервьюировать я, готовя признание о своем интервью «Советской России».

— По-разному, — сказал он, — я не люблю говорить одно и то же. Где о системе, а где о нашем театре...

— А о «природе чувств» вы рассказываете? Я недавно перечитал вашу статью.

Мне всегда казалось, что литературные «негры» и научные редакторы ужасно сушат Гогину речь и темнят язык, и его статьи и книги не идут в сравнение с любой репетицией, где он всегда выступает живо и выразительно, но этого говорить было нельзя, во всяком случае, теперь, когда моя задача состояла совершенно в другом.

— Вам нравится? — серьезно спросил Гога, и я, не погрешив против совести, серьезно ответил:

— По-моему, «природа чувств» — самая актуальная тема сегодняшнего театра.

— Вы правы, — сказал он.

— Это вы правы, — искренне сказал я и круто сменил галс. — Да, кстати, вы, наверное, не обратили внимания до отъезда... Дело в том, что ко мне приходили за интервью из «Советской России»...

Мгновенно изменившись, Гога страстно и агрессивно перебил:

— Я бы не стал им давать!

— Да, Георгий Александрович, — подхватил я, словно именно это имел в виду, — я тоже удивился, чего это они?.. А потом подумал: может быть, после выступления «Правды» они как бы заходят с фланга, чтобы наладить отношения? Идут на попятный, а непосредственно к вам подойти боятся...

— Ах, так? — переспросил Гога, уже заинтересованно, и я стал развивать свою версию:

— Я сказал корреспонденту, что вряд ли они напечатают, а он ответил, что с начальством все договорено и даже дан «карт-бланш», а поскольку речь шла о режиссуре, было сказано о «Розе и Кресте» и о том, что репетиции

Товстоногова — школа современной режиссуры... По-моему, они идут на пятый, — повторил я.

— Да, исправляются, — довольно подтвердил он. — Это хорошо. — И многозначительно добавил: — И хорошо, что вы сказали...

Посмотрев прогон «Розы и Креста», Эдик Кочергин сказал:

— Может получиться, только... с этими костюмами я спектакль не подпишу... Подбор не годится...

— Ну, вот, — сказал я, — как же тогда может получиться?

— Ты учти, — сказал он, — костюмы из его спектакля. Он к этому относится ревниво.

— Что ты предлагаешь? — спросил я.

— Надо заставить их раскошиться! — решительно сказал Эдик, достав карандаш. — Я за день могу сделать чертеж... Так... Стол, да?..

И он стал набрасывать на белом листке, который догадливо положил перед ним помреж Витя Соколов.

— Теперь... Табуреты, да?.. Вот такие... И спинки к табуретам, вставные, да?.. Вставки вот такие, видишь?.. Теперь, подсвечники, да?.. Как трезубцы... Видишь, уже стильно, да?.. Костюмы возьмем простые... Во-первых, свитера, да?.. Шарфы... Они преобразуются по ходу... Теперь... В табуретах отверстия для мечей... Ручки — крестовые. Мечи, как кресты, да?.. Вставим их в табуреты... Плащи, да?.. Мечи стоят тут же, плащи висят тут же... Вот так... Тысячи за полторы можно это сделать. — И он бросил карандаш на готовый рисунок. — Я пойду к Гоге и попробую его развернуть против директора...

— Здорово! — сказал я, — и, конечно, заманчиво... Но верится с трудом...

— Посмотрим! — решительно сказал Эдик.

Но его первый разговор с администрацией — до Гоги Эдик не дошел — ни к чему не привел. Вернее, привел к тому, с чего все и начиналось: необходимо избежать затрат. Уходя с этого свидания, Кочергин заявил, что если ему не дадут сделать то, что он хочет, то есть денег на воплощение задуманного, он спектакль не подпишет. Ситуация выходила патовая, но, учуяв будущее представление, Эдик взгрустнул.

— Понимаешь, Володя, я бы мог сделать еще один хороший спектакль, — стал размышлять он. — Жалко терять возможность.

— Понимаю, — сказал я, — а мне не жалко?

Тогда он сказал:

— Вообще-то можно заказать мебель рабочим как халтуру... Нет, они сделают нормально, только им надо заплатить, понимаешь?

— Понять нетрудно, — сказал я.

— Работа может обойтись рублей... Ну, в полтора — двести... Если дадут материалы... Стол — тридцать пять, да?.. Это я беру на себя... табуретки, скажем, по червонцу, да?.. Штук двенадцать...

— Двенадцать — мало, — сказал я, — народу-то больше...

— Ну, шестнадцать... да?

— Эдик, — сказал я, лелея в груди возрождающуюся надежду. — О чем разговор? Что Бог пошлет — отдам...

— Ну, вот, — сказал он, — тогда попробуем таким путем... Не мытьем, так катаньем...

— Конечно, — сказал я. — «Розу и Крест» вообще никто не видел. Нет, вру. В Костроме, в двадцатых годах, несколько раз прошла... Мы будем — вторые.

— Да? — спросил Эдик.

— Да, — сказал Р. и добавил: — Юрий Бонди ставил и оформлял, брат

Сергея, пушкиниста... У меня с братьями Бонди опять одни интересы: сначала — «Русалка», теперь — «Роза и Крест»...

— Ладно, — решил Эдик, — к Гоге вместе пойдем.

Когда мы «взошли» в кабинет, у Мастера в гостях был Саша Гельман.

Гога был благодушен, и мы с Эдиком внесли свое предложение.

— А что?.. Скинемся! — весело сказал Мэтр. — Я тоже участвую. — И, показав на нас Саше Гельману, добавил: — Вот какие люди у нас в театре!.. Не перевелись!..

Но тут Эдик сказал:

— В этом случае я подписываю спектакль, и он мне засчитывается в норму, да?

— А-а-а! — громко и обрадованно протянул Гога, — вот оно что!.. А я думал, что вы абсолютно бескорыстны!.. Но зато это — честное признание!.. И все засмеялись...

Занятый в «Розе и Кресте» Женя Соляков как член профкома пообещал разбиться в лепешку, но обеспечить участие в «складчине» профсоюзных средств из графы «на культуру».

— Деньги «на культуру» пустим «на халтуру» и оформим «Розу и Креста». Да, да! — спел он Розенцвейгу на какой-то одесский мотив.

Однако, узнав об этих планах, Суханов заявил Гоге, что не может допустить, чтобы творческие люди во вверенном его руководству БДТ «скидывались» на левую работу. Поэтому он предлагает нанять и оформить на пару сотен рублей какого-нибудь человека со стороны, который передаст деньги тем рабочим из наших мастерских, которые будут делать мебель по чертежам Эдика. Таким образом, Геннадий Иванович рисковал и даже шел на должностное преступление, чтобы сделать благородный вклад в юбилейный блоковский спектакль.

Оставалось решить вопрос о материалах, но далеко не все рифы были уже преодолены.

Однажды, выходя от Гоги, я столкнулся с директором и завпостом Кувариним. У них были решительные лица, и завпост, не успев плотно закрыть за собой дверь, тут же выглянул из кабинета и позвал меня за собой. Его тон мне не понравился.

— Садитесь, Володя, — строго сказал Гога и, повернувшись к Куварину, добавил: — Я слушаю.

— Георгий Александрович, — сказал Куварин официальным тоном, — я поговорил с Кочергиным. Оказывается, у него по «Розе и Кресту» десять позиций. Он хочет строить новые станки, покрывать сцену линолеумом, красить все в черный цвет, чертить и заказывать мебель и так далее... Мы тут подсчитали с Геннадием Ивановичем, во что это обойдется, — Володя повернулся к директору, и тот, поджав губы, кивнул, — получается три тысячи рублей...

Очевидно, цифра представлялась убийственной, взрывная реакция Товстоногова — неизбежной.

Я понял, что атака была подготовлена: по плану ни я, ни Кочергин не должны были участвовать в сцене. Подтекстом наступающей стороны было глубокое возмущение несоблюдением предварительной договоренности обнаглевшим Рецептером. Ему, мол, была разрешена постановка *безо всяких затрат*, а он, стакнувшись с Кочергиным, хочет запустить руку в театральный карман на целых три тысячи!.. Хорошо, что в театре есть люди, которые стоят на страже государственных интересов и не допустят беспочвенных посягательств...

Вообще-то говоря, Володя Куварин, в прошлом фронтовик, потом отлич-

ный макетчик, был человек мастеровой и дельный и неслучайно вырос при Гоге до положения заведующего постановочной частью. Просто он хорошо усвоил негласное правило: то, что ставит в театре Товстоногов, достойно материальных и трудовых затрат, все же остальное — никак нет. Особенно — Малая сцена и всякие там сомнительные эксперименты!..

К тому же Эдик Кочергин, сценограф блистательный и бескомпромиссный, а человек нервный и фанатический, придя в БДТ главным, стал предъявлять Куварину повышенные требования и, при поддержке Товстоногова, добивался своего.

В случае с «Розой и Крестом» появлялся хороший повод взять у Кочергина реванш: их то скрытая, то явная конфронтация с Куваринным длится, по моему, по сей день и не имеет шансов закончиться при жизни.

Но главной причиной атаки на «Розу и Крест», на тот момент частично поддержанной директором, было, мне кажется, исторически сложившееся, корневое и в общем совершенно естественное нежелание русского мастерового делать лишнюю работу.

— Вы же договаривались, что спектакль ничего не будет стоить, — сказал Куварин, не глядя на меня.

И тут произошло чудо. Вопреки ожиданиям атакующих, Гога развернулся на сто восемьдесят градусов и принял нашу сторону.

— То есть как это спектакль ничего не будет стоить? — грозно переспросил он, глядя поочередно то на директора, то на завпоста. — Кто это вам сказал?..

В некотором замешательстве, однако и не без твердости в теноре, Суханов ответил:

— Это мне сказали вы, Георгий Александрович.

Куварин подтвердил:

— И мне...

Но Товстоногов не дал им опомниться.

— Да, — страстно сказал он, — мы договорились, что не покупаем ничего нового!.. Но это вовсе не значит, что ничего не будет сделано!.. Разве вы не понимаете, что придет зритель, и нужно ему показать СПЭК-ТАК-ЛЬ, а не халтуру!.. Если у Кочергина есть десять позиций, это значит, что он отнесся к делу всерьез!.. А если он отнесся всерьез, значит, и мы должны подойти серьезно и эти десять позиций ему дать!..

Гога молотил их железной логикой, и ему не потребовалось дополнительных аргументов. На моих глазах с Куваринным и Сухановым происходило чудо преобразования, и, начиная со второй фразы монолога, они принялись согласно и дружно кивать ему в такт.

— Ну, да, — сказал Куварин, — конечно, работа будет сделана. — И предположил: — Ведь она будет засчитана на спектакль?..

— Разумеется, — удовлетворенно подтвердил Товстоногов и добавил: — Ведь если бы цеха не делали этого, они должны были бы делать что-то другое!..

— Конечно! — сказал Суханов.

— Вот видите, — сказал Гога, и, действительно, все увидели все гораздо яснее и как бы заново...

Оказалось, что у Володи даже есть наготове отличный план.

— Я думаю так, — сказал он, — 25 октября на Малой сцене пройдет последний спектакль, после чего мы разбираем старый станок и делаем новый, для «Розы и Креста». А когда театр вернется из Венгрии, можно будет уже до самого выпуска репетировать на новом станке.

Видя, что сопротивление полностью подавлено, Гога сменил тон и доверительно сказал директору:

— В министерстве как раз хвалят нас за то, что к блоковскому юбилею у театра будет свой спектакль.

— С кем вы говорили? — заинтересованно спросил Суханов.

— Только вот стол, — озабоченно сказал Куварин.

— Ну, что же? — живо переспросил его Товстоногов.

— Свободен стол только из «Цены», — задумчиво продолжал Володя. — Но на нем же нужно лежать, — и впервые за всю сцену посмотрел на меня. Тут, наконец, и я подал голос:

— Меня устроит тот стол, который устроит Кочергина. — Моя скромность просто не имела границ. — Кажется, стол из «Генриха» подошел бы. Его можно покрыть скатертью, а если будет длинен...

— Можно укоротить, — с готовностью подхватил Куварин. «Генрих» у нас уже не шел.

— Да, — развивал мозговую атаку Товстоногов, — сначала стол покрыт скатертью, во время читки по ролям, а потом скатерть снимается, и на сцене — средневековый стол!..

— Это очень хорошо, — сказал Суханов, добавляя масла в костер занимающегося творчества.

— Ты скажи об этом Кочергину, — снова обратился ко мне Куварин, увлеченный художественной идеей.

Теперь мы все были единомышленниками и дружно махали крыльями вслед за Вожаком. Теперь-то было ясно, что все мы — одна стая.

Мы были одна стая, но не могли же мы летать всем скопом, и, пока никакой работы по-прежнему не было, шастали по японской столице в режиме туристических групп, путая искусственные «квартеты» и кто как мог. Начальство — и свое, и приданное — не то чтобы закрывало на это глаза, но было увлечено собственными задачами, о которых стая как бы не полагалось знать. Но, поскольку задачи у всех были пока одни и те же — побольше увидеть и получше отовариться, — получалось, что почти любой знал о каждом, и каждый знал почти о любом. Собственно, в обмене информацией о взаимных успехах и состояли безработные досуги. И хотя одни делились своими открытиями — мол, на станции Хорадзуки дешевая распродажа шуршащих курток, — а другие предпочитали партизанский молчок, все тайное неизменно становилось явным.

Еще Шекспир заметил, что «актеры не умеют хранить тайн и все выбалтывают», однако степени прозрачности актерской жизни за границей не мог предположить даже Шекспир. Наверное, потому, что не участвовал в зарубежных гастролях и, по-видимому, никогда не был в Японии.

Надо отдать должное патриотизму советской колонии, которая не оставляла нас своим заинтересованным вниманием.

Здесь тоже нет-нет и сказывалось «классовое расслоение»; «первачей» разбирали посольские чины самых высоких рангов; артистов поскромней, но достаточно известных по кино- и телеэкранам — дипломаты среднего звена, а остальным приходилось ловить случайную удачу или довольствоваться «одиннадцатым номером», то есть своими ногами...

Впрочем — из песни слова не выкинешь — на японском транспорте старались сэкономить многие, стоило однажды обнаружить, какие капиталистические сувениры равняются в цене билету на метро. Несложный подсчет подсказывал каждому, что за сумма у него сохранится, если он отдаст предпочтение пешим походам тридцать, сорок, а то и пятьдесят раз. Эти подсчеты производились не только в уме, но звучали в убежденных репликах, так что любовь к ходьбе приобрела идейный характер и стала отличительной чертой нашего артиста за границей.

— Как пройти на Гинзу? — с милой улыбкой спрашивала японского

городового актриса А., солидная матрона, пускавшаяся в путь с еще более солидной и возрастной актрисой Б. Вопрос, естественно, задавался с помощью жестов и четкой русской артикуляции, на что японский городской отвечал по-английски, дважды или трижды употребляя опорные слова.

— Это далеко, лучше ехать на метро.

— Сэнкью, сэнкью, — говорила первая матрона, продолжая держать улыбку, и вторая помогала ей, удваивая северное сияние:

— Сэнкью, сэнкью!

Тут первая повторяла вопрос, помогая себе выразительными руками:

— Гинза, Гинза, это так — прямо, а потом — на-пра-во или на-ле-во?

— Плиз, плиз, — говорил вежливый полицейский и показывал прямо: — it is subway, station of subway Karakouhen.

И на глазах удивленного городского наши дамы устремлялись в сторону, противоположную указанной, продолжая мерить японские версты красивыми в прошлом ногами...

На фоне всеобщей бережливости особенно эффектно выглядели те, кто позволял себе нерасчетливые поступки, например, Зинаида Шарко, которая просто потрясала угрюмые сердца некоторых сосетеров и сосетерш.

Представьте себе, она не только пользовалась японским городским транспортом, но и постоянно покупала в экзотических лавках фрукты, овощи и другие противоконсервные излишества.

— Что у тебя на столе? — устрашающе спрашивала ее одна из постоянных наставниц.

— Салат, — с обезоруживающей наивностью отвечала Зина.

— Нет, это не салат, — грозно одергивала ее доброжелательная оппонентка. — Это валюта!.. Учти!..

А вторая, бегло оглядев жизнерадостный стол Зинаиды, рубила с плеча:

— Ты прожрала и пропила три с половиной пары туфель и десять пар кроссовок!..

— Да ты попробуй, попробуй, как вкусно, — пыталась сгладить идеологический конфликт беспечная Зинаида.

— Нет, ни за что! — отвергала соблазн бескомпромиссная прокурорша и перед тем, как хлопнуть гостиничной дверью, выносила окончательный приговор:

— Дура ты, Зинка! Тебя лечить надо! Настоящая дура!..

Вот почему артист Р. испытывал по отношению к Зинаиде чувство восхищения и пытался ей подражать, хотя бы отчасти.

Р. не мог жаловаться на судьбу, так как уже в первое время стал попадать то в «тойоту» Юры Тавровского, корреспондента журнала «Новое время», то в «ниссан» Юрия Орлова, представителя Совэкспортфильма, и успел с помощью легализованных соотечественников кое-что повидать: например, оглушительный токийский рыбный рынок или знаменитый парк Йойоги, разбитый на месте американского аэродрома, где отрывная японская молодежь наладилась осваивать рок и на отдельных пятачках кучковались «Strey kats» или «Dongly boys»...

Юра Тавровский водил в японскую едальню и приглашал домой, в ту самую квартиру, что снимал до него прославленный на весь мир журналист-перебежчик и которую Юра нарочно оставил за собой.

— Что нам скрывать? — задал он риторический вопрос, но перед тем, как мы вступили в его подъезд, предупредил: — Входим в зону активного прослушивания...

Поскольку мы с Жорой Штилем и Деней Неведомским стратегических секретов не знали, а наш «Сателлит» являлся зоной не менее активного про-

слушивания, причем и с той, и с другой стороны, особого впечатления предупреждение Юры на нас не произвело.

И вдруг... Вот оно, счастливое слово, движитель не одного нашего сюжета: вдруг!.. Как бы долго ни шло к началу наших представлений на японских островах, оно застигло нас внезапно... Нет, не врасплох, но все-таки...

Господин Ешитери Окава взял себя в руки и, наперекор судьбе и несчастным обстоятельствам, принял решение гастроли начинать. В жестокой внутренней борьбе взяло верх начало мужественное и подлинно самурайское, которое до времени таилось в глубинах его загадочной японской души. Сделав резкий выдох и обнажив боевой меч, он подал своей фирме полководческий сигнал «В атаку!..».

Между прочим, когда находишься вблизи острова Сикоку, само слово «атака» звучит совершенно по-японски... Доказательство этого — имя молодой японской зрительницы, ставшей впоследствии моей доброй знакомой. Эту трогательную русистку звали Рисако Атака...

Конечно, непосредственному началу предшествовали трудные согласования с министерством иностранных дел Японии и с полицейским управлением города Токио, выслывавшим впоследствии на охрану одного русского спектакля до тридцати полицейских, а также с советскими учреждениями: Госконцертом и Минкультом в лице первого заместителя министра товарища Ю.Я. Барабаша...

Конечно, Ешитери-Хириси, в отличие от нас, держал совет и с древними японскими богами, но, получив их согласие, повел себя безупречно.

Прежде всего фирма объявила: «С завтрашнего дня будем всех кормить завтраками».

Вместе с сообщением о премьере это известие вызвало волну общего энтузиазма. Завтрак за счет фирмы мобилизовал коллектив на короткое, но дружное утреннее собрание, где, под компот из персиков, кофе со сливками и сдобные булочки было единогласно решено, что жизнь движется вперед, искусство по-прежнему вечно, а японские иены надо отоваривать...

11

И вот работа началась.

16 сентября 1983 года на сцене театра «Кокурицу Гокидзэ» давали прославленную «Историю лошади».

Что такое сорок, ну, пусть пятьдесят зрителей, сидящих сиротливой горсткой в огромном, чужом для нас помещении, в сравнении с ленинградским билетным голоданием и горделивой привычкой актеров к переполненному, гудящему, счастливому залу?

Тем заметнее было старание пришедших создать премьерную праздничную атмосферу: и посольские, и японцы — включая группу молодых русисток, знакомых нам по «Хабаровску», — и свободные от спектакля наши были щедры на аплодисменты...

Рукоплесканиями наградили уже первое явление — выход цыганского оркестра.

Попробуем уточнить.

Музыкальное решение спектакля было — «цыганский оркестр». Воплощали же его завмуз Семен Ефимович Розенцвейг в малиновой рубашке, со скрипочкой; выходящий в коричнево-фиолетовой гамме Александр Евсеевич Галкин, с огромным, больше него самого, контрабасом; ударник Коля Рыбаков — в ладной бежевой косовороточке, с бубном и прочими причиндалами; и еще двое: светловолосый гитарист Юра Смирнов — в желтьенком и Володя Горбенко в ярко-розовом и с баяном; все они были перепоясаны цветными

шнурками и выступали в заправленных в сапоги свободных штанах с видом абсолютных любимцев публики.

Ребята работали отлично и держали улыбки, как положено, но в глубине музыкальной души каждого из них оставалась доля некоторого смущения, потому что они чувствовали степень своей театральной условности. Хотя, по большому счету, национальный состав нашего оркестра вполне соответствовал принятым в подавляющем большинстве цыганских эстрадных коллективов Советского Союза нормам: один украинец, два русских и два еврея.

Особенно тяжело «цыганщина» давалась Розенцвейгу и Галкину: оба они были в солидном возрасте, оба честно прошли всю войну, причем Галкин, служа в пехоте, был тяжело ранен и приволакивал левую ногу, оба всерьез задумывались о жизни...

У Саши Галкина было мечтательное лицо примерного шахматиста; казалось, что наш пожизненный кандидат в мастера, даже играя на контрабасе, продолжал решать проблемы миттельшпиля, и оттого, что они не давались, в его глазах светилась вечная и известная всему миру скорбь.

Именно Александр Галкин был главным долгожителем музчасти: он пришел в БДТ в 1951 году, когда театр держал в штате большой оркестр, состоящий из восемнадцати или даже двадцати инструменталистов, а во главе его был завмуз — Николай Яковлевич Любарский.

Но, совершая в БДТ свою революцию 1956 года, Г.А. Товстоногов, как помнится Галкину, закрыл оркестровую яму и упразднил оркестр, оставив на развод нескольких, а может быть, только двух музыкантов. В числе оставшихся Саша запомнил себя (контрабас) и Юру Темирканова (скрипка).

Теперь всемирно знаменитый дирижер Юрий Хатуевич Темирканов может при случае с нежностью рассказать о своих театральных началах рядом с Георгием Александровичем Товстоноговым и Александром Евсеевичем Галкиным, а особенно о спектакле «Поднятая целина», где они с Сашей в сцене партийного собрания исполняли туш, а Павел Луспекаев в роли Макара Нагульного, хватая их за грудки, страстно прерывал музыкальный дуэт скрипки и контрабаса.

И все-таки на первых порах в спектаклях Товстоногова музыки было маловато, и однажды заместитель директора Самуил Аронович Такса, один из авторитетных специалистов театрального дела в Ленинграде, вызвал Галкина к себе и предложил ему решать вопрос собственного трудоустройства.

— Понимаешь, Саша, — сказал Самуил Аронович, — ты у нас совсем ничего не делаешь, а зарплату все время получаешь. Это нехорошо. Так мы с тобой в журнал «Крокодил» попадем.

— Разве я виноват? — спросил Галкин и, не получив ответа, вышел за дверь.

Очевидно, он догадался, что ответ Самуила Ароновича был бы похож на ответ волка ягненку в знаменитой басне дедушки Крылова.

Но, узнав об этом разговоре, Копелян, Стржельчик и Юрский пошли к Товстоногову и попросили вступить за Сашу перед Таксой. И не только потому, что Саша — кавалер ордена «Отечественной войны», медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и многих других. И даже не потому, что он — кандидат в мастера по шахматам. И совсем не потому, что он держит не одну, а несколько сберегательных книжек и ссужает деньги в долг, что называется у его нуждающихся прихожан «попользоваться Сашиной библиотекой». А потому, что, наверное, в планах Георгия Александровича все-таки есть перспектива какого-то музыкального развития.

Оказалось, что музыкальная перспектива есть: скоро композитор Кара-Караев должен дописать музыку к спектаклю «Король Генрих IV», где у Саши Галкина может появиться много ударной работы. То есть работы на ударных инструментах. И Гога предложил Саше временно отложить контрабас, имея в виду вероятность стать исполнителем важной барабанной роли.

Поэтому, когда Кара-Караев завершил создание своей музыки и оказалось, что его партитура содержит сложнейшую партию барабана, Саша уже отчасти переквалифицировался и был к этому относительно готов.

Долгожданный «Генрих IV» должен был начинаться с появления барабанщика и исполнения им увертюры на двух или трех барабанах. Пока работа шла в репетиционном зале, Товстоногов не обращал на Сашу должного внимания, но как только перешли на большую сцену и он прежде всех пошел к своему месту, Гога остановил репетицию, вызвал тогдашнюю заведующую гримерным цехом Лену Полякову и сказал:

— Лена, нужно срочно что-нибудь придумать, чтобы снять с Саши Галкина его еврейство.

И Лена обклеила Сашу бородой и усами, маскируя его не то под могучего шотландца, не то под упрямого ирландца, но некоторых даже такой сложный грим все-таки не убедил.

В этой связи характерны новые сведения о гастролях 1983-го, полученные от самого Галкина. Оказалось, что, высадившись в Йокогаме, он тоже не избежал нападения японских операторов и репортеров и был вынужден отвечать на их вопросы о южнокорейском «Боинге».

Директор Суханов пытался его спасти, убедительно советуя на ухо:

— Уходи, Саша, уходи!..

Но следует иметь в виду, что Саша всегда чувствовал себя не только музыкантом и шахматистом, но и солдатом 45-й, ордена Ленина Гвардейской дивизии и не привык отступать с поля боя. Поэтому гвардеец Галкин, сожалея о случившемся, не преминул сказать японским корреспондентам, что корейский «Боинг» *все-таки залетел на нашу территорию...*

А тем же вечером, в Токио, он увидел по телевизору свое задумчивое лицо, с неизгладимой печатью еврейской мировой скорби, снабженное уличающим титром на английском языке: «рашен мардерс», то есть «русские убийцы»...

Когда «История лошади» закончилась, каждый из пятидесяти зрителей стал аплодировать за десятерых, и у всех участников создалось впечатление полного успеха. Ему способствовало щедрое множество цветов и тот небольшой, но удивительно нежный букет, составленный по самым строгим законам японской икебаны, который юная Иосико вручила сидящему скрипачу в малиновой рубашке:

— Багодарью вас, сенсей!..

После премьерной «Истории лошади» шел «Ревизор», и мне предстоял дебют на японской сцене. Не скажу, что я трепетал от волнения, но и вполне спокоен тоже не был; дебют выходил двойной: впервые в Японии и впервые в «Ревизоре».

Понимаю, как смутятся историки драматического искусства, не заметившие в этой постановке артиста Р. Вижу, как они взволнуются и зашуршат желтевшими программками, выводя сочинителя на чистую воду: «Что такое? Когда это Р. играл в «Ревизоре»? Хлестаковщина!.. Не было этого никогда!..».

Так вот, — было.

И не менее семи раз.

В Токио — четырежды.

А еще — в Осаке, Нагойе и Маэбаси по разу...

Вот так.

Перед отъездом в Японию у нас вышел короткий разговор с Товстоноговым.

— Володя, — решительно сказал он, — вы понимаете, что всю труппу мы вывезти не можем. Каждый человек на счету, поэтому я прошу вас, кроме

«Мещан», выйти в качестве гостя в «Ревизоре»... — И скорбно пояснил: — Вместо Виталия Иллита.

Об этой замене я знал как о деле решенном и, полный неожиданного смирения, сказал:

— Хорошо, Георгий Александрович...

Оказалось, что дело не потребовало больших усилий, и он несколько обмяк.

— Разумеется, это относится только к Японии, в Ленинграде делать этого вам не придется, — сказал он.

Я скромно сказал:

— Спасибо, Георгий Александрович.

После новой цезуры с какой-то неуверенной интонацией он предположил:

— Костюм Иллита должен вам подойти... Мне кажется, вы одного роста...

Очевидно, историю с примеркой костюма Гриши Гая ему рассказали во всех подробностях...

Еще более упрощая разговор, я сказал:

— Да, Георгий Александрович, этот костюм, думаю, подойдет. — И добавил: — С утра начинаю работать над ролью.

Гога недоверчиво вскинул брови:

— Там нет никакого текста...

— Тем более, — сказал я, — работа сложнее.

Тут наконец он хмыкнул и засопел.

Выступить в пользу Иллита так же, как затевать разговор о Гае, было не только бестактно, но и бесполезно.

— Я рад, что «Мещане» все-таки едут, — сказал я.

Он живо подхватил:

— Как вы понимаете, я тоже!..

Читателю, не пережившему наших побед, скажу напрямик: я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов, а «Мещан» — лучшим спектаклем этого художника. Мое заявление, конечно, декларативное и отчасти вынужденное, должно было прозвучать давно и наконец прозвучало во избежание возможных кривотолков, которых невозможно избежать.

Кривотолки были и остаются на театре проверенной принадлежностью, являясь оружием нападения и средством защиты, особенно для тех *патриотов*, которые не стесняются называть себя именно так, в отличие от других, которые почему-то стесняются.

Подобное расслоение происходит и на театре политических представлений, и в самом обществе, очумевшем от неудач, и с каждым годом становится очевиднее, что «патриотами» в подавляющем большинстве величают себя лица недаренные или одаренность утратившие, в себе и собственных силах не уверенные, а оттого и развивающие в себе инстинкт стадности и постоянно самоутверждающиеся с помощью визга или обезьяньего поколачивания кулаками в собственную грудь.

И поскольку время от времени возникает общественная опасность кулачного нападения «патриотов» на всех остальных, автор рекомендует последним, то есть остальным, хотя бы из чувства самосохранения запастись парой простых и желательно искренних деклараций на крайний случай. Например: «Я считал и считаю Большой драматический эпохи Товстоногова лучшим театром всех времен и народов...» и т. д.

Конечно, если крайний случай все-таки наступит, декларации никого не спасут, но при этом сохранится слабая надежда избежать хотя бы кривотолков.

Сделав это признательное отступление, артист Р., как ему кажется, получает право честно сообщить читателю, что его любимых «Мещан» в Японии

оценили меньше, чем в других странах Европы, Азии и Латинской Америки, и на это была своя причина.

Оказалось, что ни на одном из японских островов аборигены не имели понятия о «конфликте поколений», который так занимает нашу и европейскую публику. Представители японской общественности деликатно объяснили нам, что на Хоккайдо и Хонсю нет и никогда не было «конфликта отцов и детей», который из века в век питает воображение русских художников. А на Сикоку и Кюсю воспитание полностью исключало скандальные конфронтации в лоне семьи. Таким образом, наших с Лебедевым, то бишь с папашей Бессеменовым, перебранок японцы не понимали настолько, что один из планируемых спектаклей был даже заменен на «Дядю Ваню», в котором артист Р. действительно никогда замешан не был.

Нет, количества публики замена не прибавила, и сотрудники Ешитери-Хириси шептались, что в Нагойе до сих пор ни один билет не куплен, но факт остается фактом: Антон Чехов со своим «Дядей Ваней» оказался ближе японским зрителям, чем Максим Горький с его «Мещанами», как это ни печально для всего коллектива в целом и для артиста Р. в частности. Поэтому он, видимо, и возомнил, что его участие в «Ревизоре» заслуживает какого-то внимания. Пожалуйста, простите его.

Для того, чтобы ступить за кулисы «Кокурицу Гокидзэ», нужно было прежде всего снять уличную обувь и надеть голубые тапочки. В них все опять себе понравилась и принялась пошучивать в том смысле, что голубые отлички на мужских ногах наводят женщин на грустные размышления о всеобщем падении нравов, и вообще, мол, разница между голубыми и белыми тапочками не слишком велика.

Но были и оптимисты.

— Ну, как в музее, — восхищался театром Юзеф Мироненко, примеряя перед зеркалом свою жандармскую каску. Кажется, он играл Свистунова, а может быть, и самого Держиморду. Ах, да, вспомнил, Свистунова и Держиморду Товстоногов сложил вместе и разделил на троих, стало быть, Юзеф был и тем, и другим, и еще кем-то третьим...

Помещения для актеров были разгорожены ширмами, и, переодеваясь в костюм Виталия Иллита, я чувствовал себя не просто инопланетянином, а как бы инопланетянином *не в своей тарелке*.

И правда, все здесь было чужим для Р. — островная империя, здание нового театра, таинственные сигналы, оставшиеся от самого «Кабуки», общие помещения с легкими ширмами, таблички с иероглифами на дверях, эти голубые тапочки, а главное, чужой спектакль, костюм с чужого плеча и бессловесная роль, пока еще невидимка...

Но костюм и впрямь был как раз, и Р. стал прогуливать его по японскому коридору, принаравливаясь к длинным фалдам партикулярного сюртука и воображая, что же такое — его молчаливый аноним в гостях у городничего.

Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что оставшийся в Ленинграде Виталий Иллич, подмигивая, указывает на моего соседа.

Рядом приседал, шамкал и жестикулировал Иван Матвеевич Пальму, входя в роль лекаря Гибнера. Я вспомнил, почему Иллич кивал на него.

В числе сыгранных ролей был у Матвеевича некий калмык в спектакле о нашей современности. Однажды Пальму, приглаживая калмыцкие усы, скромно сообщил Илличу:

— Знаешь, Виталий, меня послали на «заслуженного»!..

— Слышал, — невозмутимо сказал Иллич, — вот ты и получишь «заслуженного артиста Калмыцкой автономии».

Вспомнив этот внутриведомственный анекдот и получив воображаемый привет от Виталия Иллита, Р. вдруг стал принимать чувствительные сигналы

и от того молчальника, которого обязался вывести на японскую сцену вместо него.

Так же, как Виталий, он начинал нравиться мне, потому что вел себя честно, наученный горьким опытом, не лез на рожон и, не в пример мне, никогда и никому не объявлял своего дурацкого мнения.

Р. понял, что бессловесный гость обрел внутреннюю свободу с тех самых пор, как услышал о себе пронизательное высказывание нашего классика:

Молчит, а в голове все обсуживает.

Тут же, со всей внезапностью открытия, прояснилось, что он, разумеется, *пьет*, этого не скрывает и с сегодняшнего утра с великим нетерпением ждет момента, когда сможет от всей души отдаться стихии губернского праздника. Именно сегодня он, наконец, как ровня *дорвется* пожимать кисти городскому начальству и целовать ручки великосветских дам...

Прикинув, что делать на сцене во время визита, — гость выходил исключительно ради поздравления с удачей, — Р. пошел посмотреть прогон спектакля и, конечно, напоролся на Гогу...

Прогон уже начался, и, сидя недалеко от Мастера, я смотрел его с естественным любопытством входящего новичка, но в то же время несколько отстраненно...

Ни я, ни Гога не видели его чуть ли не со дня премьеры, я — оттого, что не был занят, а он — потому что после выпуска вообще не мог смотреть свои спектакли.

Очевидно, в этом была своя закономерность: репетировал он по многу часов подряд, забывая сходить в туалет и все время возвращаясь к началу. Процесс создания спектакля всякий раз требовал от него органической постепенности. То есть каждая последующая сцена должна была вырасти непосредственно из предыдущей, и, начиная от печки, Гога постоянно проверял на прочность появляющуюся ткань, штопая вчерашние прорехи и закрепляя важные узлы.

Сочинение сценического романа обычно так увлекало его, что репетиционный период можно было сравнить с настоящим мужским загулом, только вместо женщин у него под рукой послушно поворачивались актеры и цеха, а вместо выпивки служила нескончаемая сигарета.

Курил он на репетициях буквально одну за другой, выпуская дымы, сопя, покрывая и подавая возбужденные реплики, в полном душевном и телесном единении со всем, что происходило на сцене. Естественно, к концу работы он полностью выкладывался и, независимо от результата, жутко утомлялся. Когда же спектакль выходил и наконец встречался со зрителем, Мастер от него инстинктивно отодвигался, как бы из чувства самосохранения. А за премьерой и рядовыми представлениями следили уже «дежурные режиссеры»: Роза Сирота, Юра Аксенов или кто-нибудь еще.

А сам Гога показывался только к финалу акта, или в конце спектакля, или на какую-нибудь ударную сцену, заканчивающуюся аплодисментами, или чтобы подсмотреть реакцию приглашенных в его, т.е. левую, ложу уважаемых гостей...

«Ревизор» был уже другой: Тенякова и Юрский жили в Москве, а остальные не то чтобы потускнели, но были, пожалуй, излишне уверены в себе и по привычке к предлагаемому обстоятельству. Впрочем, это был черновой прогон, на спектакле все могло измениться. Тем не менее, действие шло, и чем дальше, тем понятнее становилось, что хорошо бы мне оценить и внятно одобрить какую-нибудь сценку или режиссерскую находку Георгия Александровича и довести свое одобрение до его ушей.

Я смотрел прогон и ждал момента, который мог бы отметить если не с искренним восхищением, то с честной похвалой. Но глядя на сцену и отметив в себе бестрепетность «дежурного режиссера», я подзадержался с одобрением, и тогда Гога, сидящий через кресло от меня, доверительно подсказал:

— Я хорошо это придумал, этот монтаж...

Мне оставалось просто подтвердить его трогательный комплимент самому себе, но, по своему дурацкому обыкновению, я предпочел тупо признаться:

— Я не помню, Георгий Александрович, я ведь давно не видел спектакля...

Гога терпеливо пояснил:

— Здесь, где говорят о приезде Хлестакова, я вставил часть второго акта...

— А-а-а, — протянул я, еще не вполне понимая, и спросил: — Как продолжение рассказа?

— Да, — довольно и выжидающе подтвердил он.

Но и тут вместо прямой похвалы я глубокомысленно выдавил из себя голый глагол:

— Понимаю.

Мы хорошо знали, что одного понимания все-таки недостаточно. Чтобы жить с Мастером душа в душу, нужно было его не просто понимать, а принимать, одобрять и восхищенно поддерживать во всех проявлениях композиционного гения. Это не удавалось только законченным идиотам.

Наконец, заставив себя поверить, что вставка из второго, действительно, улучшает первый акт «Ревизора», я родил слабоватое, но искреннее и даже сопровождаемое кивком головы:

— Хорошо...

И было хорошо, пока не наступил гоголевский финал первого акта: городничий наконец собрался и поехал в гостиницу к Хлестакову.

Тут-то мне, дураку и филологу ташкентского разлива, ударила в лоб грубая догадка о том, что композиционный гений Гоголя все-таки не слабее Гогиного, и автор нарочно весь первый акт нагнетает тревогу и загадывает загадку: кто же это такой поселился там, в гостинице? И только когда городничий уезжает это выяснять, мы попадаем в номер Хлестакова и Осипа. Пока те сюда едут, в гостинице происходит вот что, и, становясь сообщниками Гоголя, мы только теперь понимаем, что Хлестаков — вовсе не ревизор. Так, по-моему, достигается непрерывность и растет напряжение драматического действия...

Тут я стал молча придирается к исполнителям, отмечая разные прогонные недостатки, и, тем самым, повел себя вовсе некорректно. Оправдывало меня — и то в малейшей степени — лишь то, что не только Гоге, но и никому другому, кроме своего дневника (двойника), я своих замечаний не открыл.

К антракту господин Бессловесный, хотя и носил костюм сдержанного Иллича, повел себя беспардонно и так расшалился, что еще за кулисами начал приставать к мимоследующим дамам с сельскими комплиментами. Делать этого никак не полагалось, но, очевидно, его, так же, как и артиста Р., привело в полное восхищение то, что хозяева театра «Кокурицу Гокидзэ» предложили ленинградским артистам зеленый чай из маленьких пиал. А это было уже совершенно по-узбекски!..

Товстоногов на второй акт не пошел, а уселся за кулисами на низком диванчике и опять покуривал, озираясь по сторонам.

Прогуливаясь поодаль, Р. заметил, что Мастер одну за другой делает попытки подняться с дивана, дергаясь с места, но его подводят ноги, и встать никак не удается.

Трудно быть свидетелем слабости великого человека, и Р. сделал вид, что ничего не замечает. Тогда Гога обратился к нему:

— Володя, — спросил он, — вы не знаете, где тут этот зеленый чай?

— Вот здесь, рядом, Георгий Александрович, — показал я за угол и налево.

Он снова дернулся с места и снова не смог встать. Очевидно, ноги уже тогда начинали его подводить, но масштабов грозящей опасности никто еще не представлял.

И тут Гога обратился ко мне:

— Володя, — робко сказал он, — вам не трудно принести мне чаю?
— Конечно, нет, Георгий Александрович! — воскликнул недогадливый Р. —
Минуту!

— Не в службу, а в дружбу, — послал он вдогонку, и я, оглядываясь на
ходу, радостно ответил:

— Ну, разумеется, Георгий Александрович, именно так!..

Хотя слово «дружба» было произнесено Мастером в составе поговорки и
не могло иметь буквального смысла, оно согрело преданное сердце артиста Р.

Вернувшись с чаем, он, по узбекскому обычаю, приложил левую руку к
груди и, с поклоном передавая маленькую фарфоровую пиалу, сказал:

— Ана, чой!..

— Большое спасибо, — сказал Гога, принимая ее, и спросил: — Это вы по-
узбекски?..

— Да... И зеленый чай — тоже... Все, как в узбекской чайхане... Не
хватает только тюбетеек... «Ана чой!» значит «Вот чай!..».

Он стал осторожно прихлебывать, неумело держа пиалу не одной рукой
снизу, а обеими — за края.

— Кстати, Георгий Александрович, — сказал я, — не удивляйтесь, пожа-
луйста, если узбекское начальство попросит вас одолжить Рецептера на по-
становку. В театре Хамзы нет главного и неважные дела. Они знают, что я с
одной стороны — от Гинзбурга, а с другой — от вас, а вы, как известно, «Заслу-
женный деятель искусств Узбекистана», и вот недавно мне сделали такое пред-
ложение...

— Да?.. А что они хотят? — полюбопытствовал Гога.

— Речь идет о классике. У них шел «Отелло» с Абрамом Хидоятовым...
Может быть, Шекспир... Я думал о Гамлете в восточном дворце, восточных
костюмах, с восточными страстями, коварством, резней... Они говорят «хоп»,
то есть «хорошо», но предлагают подумать еще о Чехове...

— Ну, Чехов у них не получится, — решительно сказал Гога.

— Я тоже так думаю, и у меня про запас Достоевский... Может быть,
«Идиот» с оглядкой на Курсову... Русские имена по-узбекски звучат стран-
новато... Например, «Гаврила Ардалонович». И потом все эти наклейки, па-
рики, армяки... Они должны играть себя и про себя... А настоящие страсти,
любовь, ревность, все, что связано с деньгами, — это свое...

— Вы правы, — согласился Гога.

— Еще чаю? — спросил я.

— Нет, благодарю вас, довольно.

— Вы знаете, есть такое узбекское слово — «дивона»... Не «идиот», а
скорее «блаженный», или «обезумевший от любви», или «влюбленный до свя-
тости»... Все эти смыслы... Не «дервиш», а «дивона». Это, по-моему, еще точ-
ней о Мышкине, чем «идиот»... Ну, разумеется, нужно увидеть актеров, по-
смотреть, есть ли там Гамлет или Мышкин, но пока важно решить в принци-
пе... Вы отпустили бы меня в Ташкент на постановку?..

— А вам хочется? — спросил он, глядя на меня снизу вверх.

— Честно говоря, да.

— Так ставьте, — решил он.

Я взял из его рук пустую пиалу, сказал: «Большое спасибо», — и пошел
прочь, как будто боялся, что он отнимет подаренную игрушку...

12

Возможно, я ошибаюсь, как, впрочем, и во всех остальных моих предполо-
жениях и выводах, но мне показалось, что одной из ведущих утренних тем
стали всеобщие и взаимовыгодные консультации насчет японской аудио- и

видеотехники, еще сравнительно редкой и дорогой на необъятных просторах нашей родины.

Инициативная группа лидеров — Рома Белобородов (замдир), Юра Изотов (завцех) и Гена Богачев (арт.) с двумя или тремя ассистентами, сведущими как в вопросах использования аппаратуры, так и выгодной ее «ликвидации», — совершив ряд пеших разведок, донесла, что в магазинчике господина Отадзима на Акихабаре, известном каждому прибывающему из СССР, есть достаточный выбор, а главное, ожидается коллективная скидка.

Это ключевое слово приобрело популярность не только за столиками, но и в номерах и стало производить на всех наркотическое действие, как музыка, звучащая из стереофонических колонок.

Так мы оказались «скованными одной цепью», ибо шаг вправо или влево от господина Отадзима и его налаженного бизнеса грозил потерей вожаемой скидкой. Поэтому многие смельчаки, похорохорившись для порядка, возвращались в лоно «семьи», к «Ежику»: японец Отадзима носил почему-то польское имя — «Ежи». Как это с ним случилось, сказать не берусь, но в наших разговорах то и дело звучало «Ежик», «у Ежика», «с Ежилом», «Ежик обещал», «Ежик сбросит» и т. д.

— А балетные говорят, — засомневался Женя Соляков, — что технику надо брать не у него, а у его конкурента, в магазине «Аэрофлот»...

— Это у Ежика «Аэрофлот», — сказал Жора Штиль.

— Нет, у конкурента, — сказал Леня Неведомский.

— Нет, у Ежика, — сказал Володя Козлов.

— Почему надо брать у конкурента? — строго спросил Юра Изотов.

— Потому что у Ежика может оказаться *некомплект*, — сказал Женя и пояснил: — Так балетные говорят...

— На Гинзе надо брать, а не на Акихабаре, — сказал Вадим Медведев, но Слава Стрельчик оспорил:

— На Гинзе цены хулиганские...

— Зато там товар первого класса, — сказал Миша Волков.

— Ну, это без нас, — решительно сказал Володя Козлов, — мы пойдем другим путем...

Очевидно, он имел в виду поиски вещей дешевых, на которые у нас были свои мастера, интуитивно определявшие отдаленные сейлы и бросовые распродажи. Этим умением особенно отличались музыканты, выходившие в «Истории лошади» в качестве цыганского оркестра, а также некоторые участники «хора», то бишь «табуна». Специалистов по приобретению уцененных товаров остроумный Женя Чудаков уже давно назвал «санитарами Европы», имея в виду то, что они благородно подчищали магазинные развалы и ярмарочные свалки. Впрочем, на гигантской осенней распродаже, которая раскинулась по всей территории стадиона «Каракуэн» вблизи «Сателлит-отеля», бродили буквально все, включая самых «благородных». Поэтому каждый, кто хотя бы однажды был замечен в позе сосредоточенного разгребателя неупакованных предметов капиталистического ширпотреба, имел право носить титул «санитара» или, по другой версии, «ассенизатора Европы».

Вскоре выяснилось, что конкурент Ежика, у которого отоваривался «Большой Балет», дал *неправильное* интервью по поводу сбитого нами «Боинга», и оказалось, что от Отадзима-сан нам не отвертеться и «с политической точки зрения»...

При всей разнице вкусов главный технический «водораздел» проходил между теми, кто хотел приобрести аппаратуру в личное пользование, и теми, кто за ее счет решил улучшить свое материальное положение. В соответствии с целью менялись критерии и приоритеты...

Так, Гена Богачев «делал» себе квартиру и твердо знал, что купит и «сдаст»

большую стационарную систему «Pioneer» за 144 тысячи иен, а Семен Розенцвейг был озадачен будущими домашними прослушиваниями любимой классики и остановился на двухкассетной мини-системе «Хитачи» по цене 88 тысяч.

Миша Волков, как обычно, сосредоточенно покупал, а на следующий день сдавал то одну, то другую японскую игрушку. Это отбирало у него много времени и душевных сил, потому что, приняв решение, он, как настоящий мужчина, немедленно его исполнял, дружелюбно прощался с продавцами и хозяевами, за ночь успевал передумать, а утром ошарашивал вчерашних друзей требованием вернуть деньги. Юра Аксенов сказал, что точно так же он вел себя во время летних гастролей по нашим войсковым частям, расквартированным в Восточной Германии.

Для таких гастролей бригады артистов формировало командование Ленинградского военного округа. Согласно обычаю, на местах приезжих кормили с офицерского стола, а суточные оставались на приобретение вещевого дефицита. От БДТ особенно часто в такие гастроли устремлялся Иван Матвеевич Пальму с Севою Кузнецовым и другими партнерами, но как раз накануне Японии в группу «войсковиков» вошли Юра Демич, Лена Попова (в то время — жена Юры Аксенова) и Миша Волков. Так вот, еще в Германии Миша с утра отправлялся на военной машине с сопровождающим из гарнизонного городка километров за тридцать в близлежащий немецкий населенный пункт, приобретал там товары повышенного спроса, а из следующей части, куда успевала переместиться гастрольная бригада, уже на другой машине и с другим сопровождающим, километров за сорок возвращался купленные вещи сдавать.

Р. по заграничным частям никогда не ездил, но был о таких гастролях частично информирован, так как о поведении Миши Волкова в Западной группе войск ему рассказывал Юра Аксенов, а о поведении Юры Аксенова — Миша Волков...

В отличие от Волкова, Р. наоборот, «оледенев над пропастью поступка» (малоизвестный перевод шекспировского монолога «To be or not to be» Алексея Матвеевича Шадрина), почти всегда тянул с приобретением товаров до последнего момента, покупал неуверенно и часто неудачно, а однажды, во время аргентинских гастролей, так и остался при половине суточных, которые в Союзе пришлось менять на «березовые» чеки. Это было крайне глупо и непрактично, но утешением служила мысль о том, что Ирина сама может пойти в «Березку» и выбрать то, на что этих чеков хватит.

В Японии на мою тяжелую рефлексию обратил внимание Миша Волков и поделился наблюдением с Валей Ковель. Поэтому, расстреляв свои патроны, она предложила мне купить у нее «чудную японскую кофточку», которая на первый же взгляд была для моей Иры безусловно велика.

В ответ на предложение я попробовал дипломатично уклониться:

— Спасибо, Валечка!.. Вот приедем в Питер, примерим...

Она сказала:

— Ну-у, в Питер!.. Ты здесь купи!.. Мне сейчас иены нужны.

Я осторожно возразил:

— Но, Валюша, у вас с Ирой даже издалека... бюсты разные.

Валя уверенно сказала:

— Вырастет!.. Вырастет у нее бюст! Можешь быть уверен!.. Покупай на вырост!..

— Я подумаю, — сказал я.

— И думать нечего! — отрезала Валентина и пошла предлагать кофточку кому-то еще.

Юзеф Мироненко с Женей Соляковым обдумывали крутой гешефт с видеомагнитофоном. Юзеф убеждал:

— Ты пойми, у меня в Ташкенте есть друг, он сдаст его за 12 тысяч как минимум! Ты что?!. В Ташкенте «видак» с руками оторвут!

— Он что, торгаш, комиссионщик? — спросил Женя.

— Кто? — не понял Юзеф.

— Ну, твой друг...

— Нет, — сказал Юзеф, — он тренер.

— В каком виде? — спросил Женя.

— Да неважно, — сказал Юзеф, — ты пойми главное: «видак» в Ташкенте — с руками!.. Да там их вообще нет!..

Дело в том, что Юзеф так же, как и я, был ташкентцем и не терял связи с родным городом, а Женя сравнительно недавно создал новую семью совместно с девушкой из солнечного Узбекистана и таким образом тоже вошел в ташкентское землячество. В итоге японских переговоров Женя с Юзефом приняли решение «сложиться» и «взять на грудь» солидный японский видеоманитофон, предназначив его к продаже в столице Средней Азии. (Образное выражение «взять на грудь», автором которого, по-моему, являлся артист Борис Лёскин, расширило свое значение и, кроме «упражнения со штангой», приобрело добавочные смыслы, например, «крепко выпить» или «купить дорогую вещь»...)

Итак, Юзеф Мироненко и Женя Соляков осуществили задуманное и, возвращаясь из Японии в Ленинград, пролетели почти над самым Ташкентом, посылая мысленный привет другу-тренеру, которому предстояло проведение коммерческой операции с «видаком». А сама «аппаратура» в общем контейнере приехала в Ленинград малой скоростью, гораздо позднее.

Отправлять видеоманитофон в Ташкент посылкой было не просто рискованно, но и безнадежно глупо, и Женя с Юзефом стали ждать надежной оказии.

Наконец, в гости к дочке приехал Женин тесть, представлявший сразу два братских народа, т.к. был наполовину узбек, наполовину казах, и он клятвенно заверил полувладельцев магнитофона, что доставит «видак» до места целым и нераспечатанным. Однако Юзеф и Женя решили его провожать, обдумывая, как получить от «Аэрофлота» охранные гарантии.

Была глубокая осень, и Мироненко надел плащ с подстежкой, а Соляков — короткое кожаное полупальто, конечно, тоже заграничное, чтобы выглядеть как можно респектабельней.

Доведя тестя до стойки регистрации и показывая на него уверенной рукой, Женя солидным голосом сказал:

— *Это — референт товарища Рашидова*, он везет дорогостоящую японскую аппаратуру. Пожалуйста, позаботьтесь о ее сохранности!

Тогда все знали, что Шараф Рашидов — не только Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Узбекистана, но и кандидат в члены Политбюро, возглавляемого самим Леонидом Ильичом Брежневым. Поэтому люди на регистрации, не требуя дополнительных доказательств и подтверждая убедительность Жениной игры, сказали:

— Не беспокойтесь, товарищ. Мы проследим, — и, поставив на билете «референта» особую отметку, разрешили проводить его прямо в самолет.

Юзеф был нахмурен и нес магнитофон со всей осторожностью, прижимая его к взволнованной груди. На этот раз ему досталась роль сурового молчаливника из личной охраны.

Когда референт товарища Рашидова проходил в отстойник и двигался к самолету, Женя, слегка отстав, обратил внимание на его не вполне цеховский вид, а особенно на дырчатую авоську, которую дорогой тесть не выпускал из цепкой руки. Из авоськи торчали невзрачная рыбка, ничем не прикрытые макароны и прочие демаскирующие тестя недефицитные продукты. Поэтому, доведя его до трапа, Женя на всякий случай подкорректировал легенду, произнеся для бортпроводников другой вариант текста:

— Это — шофер референта товарища Рашидова, он везет... и т.д.

Но и тут оценили близость к руководству, и тут было обещано должное внимание, и «видак» благополучно улетел в Ташкент.

Долго ли, коротко, но «шофер референта» отыскал, наконец, «товарища-тренера», и они в порядке общей очереди «поставили» сказочную японскую аппаратуру в обыкновенный комиссионный магазин.

Никто не знает почему, но в ташкентском «комисе» к видеоманитофону отнеслись скептически и резко снизили стартовую цену по отношению к идеализированной сумме в 12 тысяч рублей, которая померещилась Юзефу в Японии.

Но и это не помогло. «Видак» стоял на полке месяц за месяцем, и месяц за месяцем по согласованию с ленинградскими полувладельцами ташкентские полупродавцы снижали стоимость дивной игрушки.

И все же ни один представитель местной интеллигенции не позарился на японское чудо, не говоря уже об узбекских рабочих и колхозниках-хлопко-робах. В чем было дело?

Здесь со всей неизбежностью возникает вопрос о действительной причине его упорной «неликвидности». Но кто в силах ответить на него? Кто разгадает загадку товарного спроса на рубеже времен и пространств? Кто осмыслит вечную тайну народного потребления?

«Хлеба и зрелищ» жаждал могучий имперский народ, что же за осечка вышла в азийской земле? Зачем стоял и не хотел «уходить» в хорошие руки этот диковинный зверь?

Доныне струятся в душе большие вопросы, на которые не смогли ответить не только шекспировский принц и чеховские интеллигенты, но и пророческий гений Пушкина. «Зачем от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и страшен, На чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего Младая любит Дездемона, Как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру, и орлу, И сердцу девы нет закона...»

Мы должны признать, что, видимо, нет закона и дорогому образцу японской видеотехники, который не берет в расчет наши пожелания и сам ищет себе дом и хозяина...

Любезный читатель, одерни наконец говорливого автора, разрушь его актерский пафос и напхни ему, бестолковому, что речь идет о сезоне 1983—84 годов, когда советская империя равна самой себе, граница — «на замке», а кассеты с чужими фильмами — «идеологическая контрабанда».

Нечего, нечего было еще смотреть по чудесному «видаку»!

И вот, проведя большое селекторное совещание по междугородному телефону, «корпорация» решила возратить технику в Ленинград и целиком оплатила как представленные счета, так и новый авиабилет для «шофера референта товарища Рашидова», которого убедительно попросили в обратную дорогу авосек с собой не брать.

В конце концов, в одном из многочисленных ленинградских «комисов» вещь ушла менее чем за половину идеальной цены, а Женя и Юзеф сказали себе и друг другу, что и то хорошо, и это тоже приличные деньги...

Прежде чем привести другие существенные факты и цифровые подробности, автор обязывает себя сделать важное отступление.

Несколько лет назад он рискнул напечатать в журнале «Знамя» короткую повесть «Прощай, БДТ!», носящую подзаголовок «Из жизни театрального отщепенца» и имевшую некоторый спрос у читателя. При написании ряда эпизодов автор полагался на свою необъективную и склонную к абберациям память (как помнил, так и излагал), а также на некоторых авторитетных для него свидетелей.

Однако года через два после журнальной премьеры жена автора, Ирина Владимировна, по неосторожности носящая ту же фамилию, что и он, обнару-

жила в глубине антресолей несколько общих тетрадей в коленкорových обложках (96 листов, ГОСТ 13309, арт. 6344, цена 44 коп.) — две черные, красную, синюю, зеленую и две коричневые, причем одна из черных и одна из коричневых увеличенного формата (96 листов, арт. 6701-р, цена 95 коп.). Оказалось, что на клетчатых страницах многие события, цифры, факты, речи и реплики из прошлой жизни артиста Р. были им закреплены по горячим следам и почти подневно. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что здесь содержится более высокая по степени достоверности информация, впрочем, при той же субъективности взглядов и оценок.

Появление на свет клетчатых тетрадей обозначило некий Рубикон в позднем становлении автора, открыв ему новые возможности и обязывая вернуться к некоторым уже известным сценам. Болезненная жажда истины и попутного самоусовершенствования потребовала придать им новую окраску и дополнить упущенными прежде деталями. Особенно это относится к сценам с Товстоноговым и воспоминаниям самого Мастера, из почтения зафиксированным автором дневника почти дословно.

Читатель может подумать, что ему предлагаются мотивы, как бы спорящие с повестью «Прощай, БДТ!». На самом же деле никакого спора нет и быть не может. Сопоставление дат, уточнение обстоятельств и стилистических нюансов, введение новых реплик и ремарок, то есть сравнение вариантов, должно, по нашему мнению, всего лишь усиленно развивать внутренний сюжет и поставлять натуральную пищу читательскому воображению.

А жанр, в котором до сей поры автор не в силах дать отчет ни себе, ни читателю, продолжает самоосуществляться в неизвестном направлении.

Так, например, в рассказ «Вельветовая пара» не вошли некоторые реплики из малой коричневой тетради, и мы восполним этот пробел.

Я. Георгий Александрович, представьте себе, как можно укрупнить блокские ремарки, например, «Поварята безобразничают»... Какой тут простор для импровизации!.. Или: «Вдали раздается переключка ночных сторожей...» Почти как у Пушкина: «И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..».

Он (переходя на шепот). Володя, а вы читали книгу Романа Якобсона? Я. Нет, к сожалению.

Он. А я прочел!.. Книга очень сильная...

Я. Так дайте хотя бы на ночь.

Он. Я бы вам дал, но у меня ее нет! Я прочел ее ТАМ... (Показывает большим пальцем за свое правое плечо, что заменяет выражение «за бугром».) Мне нельзя ничего привозить!.. Могут проверить... Речь идет (еще больше понижает голос) о люмпене, которого Блок вывел в поэме «Двенадцать». Люмпен — вот кто главное действующее лицо!.. И этот «люмпен-пролетариат» порождает «люмпен-генералиссимуса», «люмпен-буржуазию», «люмпен-бюрократию» и так далее... Понимаете?.. Очень сильно!..

Имея в виду отмеченную Александром Блоком, а вслед за ним Романом Якобсоном, а вслед за ними и Георгием Товстоноговым историческую «люмпенизацию», мы и должны рассматривать частную жизнь наших героев, не исключая самых выдающихся в этой истории лиц и, безусловно, самого автора, который, как становится очевидно, несмотря на некоторое вольнодумство и врожденный сепаратизм, плоть от плоти общего театрального тела.

Что же удивляться тому, что в красной тетради сохранились не только подробные описания впечатляющих музейных экспонатов, но и стоимость разных вещей, которые он собирался приобрести на полученные 294430 японских иен. Правда, 430 иен предлагалось тут же отделить и сдать в общий котел на подарки таможенникам и юбиляру, далее возникла подписка «на администраторов», оставшихся в Ленинграде, и другие аналогичные предло-

жения, но все это были совершенные пустяки в сравнении с невиданной и, я бы даже сказал, титанической суммой...

По этому поводу Алла Федеряева сказала Ирине Ефремовой:

— Ира, пойми, ты держишь в руках сто тысяч, ты никогда не держала в руках таких денег, ты можешь сейчас пойти и купить все, что только захочешь!..

И полученные иены действительно оказали влияние на всю оставшуюся жизнь многих действующих лиц нашей истории. Так, актриса Ира Ефремова, вдова Ивана Ефремова, одного из худруков БДТ дотовстоноговского периода, продав мини-систему и ковер, сумела наконец купить себе скромную мебель: диван, светильники, люстры, кресла; вторично женить сына, устроив ему достойную свадьбу, и сохранить немало носких вещей и чудных безделушек, доньше украшающих ее суровый пенсионный быт. Сын ее, Никита, знает Японию по материнским рассказам так, как будто сам в ней побывал, а к Ирине по сей день, а вернее, по сию ночь, приходят упоительные японские сны...

Женя Чудаков подбил завсегом Евсея Кутикова за компанию с Зиной Шарко купить по вязальной машинке и, продав свою, приобрел дачку под Ленинградом, на которой благоденствует в окружении близких каждым летом. Зина подарила волшебный инструмент своему сыну, Ване Шарко, который с его помощью удачно стартовал на пути к театрально-производственному предпринимательству. И хотя судьбы вязального устройства, ставшего собственностью Кутиковых, установить пока не удалось, я решительно убежден, что и оно пошло во благо семейству.

А Семен Ефимович Розенцвейг, помимо полной музыки системы «Хитачи», купил еще стиральную машину, которая в древнем Киото стоила дешевле, чем в других городах... И, как мне кажется, эта полезная покупка была сделана не без участия милой русистки Иосико, потому что ее появление в соседстве с Розенцвейгом отмечалось не только в Токио, но также в Киото...

Ну да, конечно, конечно, Иосико занимала языковая практика, а Семен Розенцвейг был вынужден думать о доме и стиральной машине, но что копились в них при каждой встрече, нельзя понять трезвым умом.

Вот она стоит перед ним, глядя из-под челки и снизу вверх, хотя он и сам небольшого роста, и ему трудно глядеть ей в глаза: он смотрит на губы, и слушает ломкие русские слова, и что-то бормочет в ответ.

Она в белой блузочке, застегнутой под самой шейкой, никакого декольте, короткие рукава открывают изящные ручки, а на левой — квадратные часики с черным простым ремешком.

И вот правая ладошка ложится сверху на левую кисть и сжимает ее; теперь нежные ручки сложены перед собой, словно защищая что-то внизу живота. Потому что в ней растет странное волнение, и льется из глаз, и обжигает его совершенно без всяких мотивов и причин, вопреки скромнейшим мизансценам...

Хорошо бы вернуться на теплоход «Хабаровск» и побегать по палубе вместе...

Ах, да!.. «Хитачи», «Хитачи»...

«Хитачи» и стиральная машина...

Но вот кому действительно не повезло, так это Аллочке Федеряевой, которая, продав японскую роскошь, положила денежки в банк, а банк к чертям собачьим рухнул, и Аллочке остались одни островные воспоминания...

К тому же после смерти Гоги Федеряева погорячилась и, обиженная тем, что ее не взяли в Индию, подала заявление об уходе накануне своего пенсионного полнолетия.

— Знаешь, Володя, — сказала мне Алла, прописанная прежде бойкой «лошадкой» в объездившем мир «табуне», — первое время я была даже рада, как

будто груз с души сняла, а потом... Ничего у меня не вышло... Мама лежит вот уже четвертый год... Дом ремонтируют, и даже холодной воды у нас нет... Хорошо, если накапает, а то — нести со двора... Все мои маршруты — аптека, почта и магазин... Вчера давление подскочило так, что, думаю, конец мне пришел, а как же без меня мама?.. И вообще теперь ясно: как кончаешь работать -- кончается жизнь...

— Точно, — сказал Р. — Или наоборот: кончается жизнь, и — никакой работы...

Какая же работа после того, как тебя сбили?.. Лежи на небесных полатях и думай о вечном... Или плыви на спине через все океаны...

Кому служила рубашка, коричневая с зеленым, клетчатая ковбойка из теплой фланели?.. Чем занимался с утра ее бодрый хозяин, пока мы его не сбили?..

Камера укрупняет рубашку, выуженную из океанской волны, и вот надпись на фирменной марке: «Canada shuingo»... Канада... Ковбойка совсем цела, хоть сейчас на работу...

Камера укрупняет неровные ломти обшивки, рваные щели в крашеном металле и номерную отметку 132—058...

А вот и кукла с открытыми глазами, кукла, смотрите!..

И фото трехлетней японочки, которая держит игрушку...

— Не надо показывать куклу, такую же как у моей Маши!..

А камера — снова куклу!

— Сволочи, гады, подонки, сволочи, гады! — рыдает Зина Шарко, вспоминая трехлетнюю внучку. — Будьте вы прокляты, гады, сволочи, гады, подонки!..

И Зина долго плачет, выключив «Pioneer», и не может уснуть.

Кого она прокликает, операторов, что ли?..

Убийца еще безмянен, заказчик тоже...

Саму безумную смерть?..

Какая же тут работа, какие спектакли, когда нас сбили во сне, сбили над океаном?..

(Окончание следует)

Ольга Сульчинская

Солакичан

* * *

Лимоны, перцы, белое вино.
Ты говорил: на свете счастья мало,

А я тебя совсем не понимала
И говорила: вот оно.

Чегет

Похожи горы на коровьи шкуры,
в проплешинах, подпалинах, снегах,
идут они, покорны и понуры,
идут -- и небо держат на рогах,

а мы с тобой, беспечные, на лыжах
слетаем вниз по взмыленным бокам,
и пьём тузлук, и снег шершавый лижем
целуемся и машем облакам...

* * *

От корицы до лимонной корки
всё кладу в горячее вино
беспризорный месяц дальнорыбкий
смотрит прямо на моё окно

вот кино какое, одиноко,
мне-то, правда, хоть тепло —
наклоняюсь к тонкому стакану,
грею руки о стекло

* * *

Мёртвые так прекрасны и так щедры.
Мёртвые нам приносят свои дары.
И на Новый год к столу плывут осетры,
Полные крупнозернистой чёрной икры.
Мандаринами пахнет,
и тает во рту хурма.
Золотое вино способно свести с ума,
Мёртвые наполняют нам закрома,
Мы украшаем ими свои дома.
Все мы их дети. Их мы пьём и едим.

Мы их носим в себе и на них
сквозь себя глядим.
И долг, который мы со временем
отдадим,
Незаметен настолько же,
насколько необходим.
Итак, от яств подламываются столы,
Елей стволы источают запах смолы,
Хвоя повсюду, хвойная тьма венков,
Вот мы и дожили до рубежа веков!..

* * *

Полежаевская, Беговая...
Ох, какая же я деловая!
Я как взрослая еду в метро.
Я на Пушкинской сяду в бистро
И себе я спрошу коньяку,
На закуску имея тоску.

И за руку меня не поймают,
И за глупость меня не осудят,
Потому что меня принимают
За свою эти взрослые люди...
Эти взрослые грустные люди.

* * *

Я впервые узнала, что значит — сладкий
Поцелуй, и что губы теплее мёда,
Что с изнанки язык совершенно гладкий,
Ибо там молчанье и в нём — свобода:

Если страх ушёл, то и слов не надо
И дрожащие пальцы нежнее рифмы,
Что сирены поют, как в Крыму цикады,
Смерти нет — и корабль наш идёт
на рифы.

* * *

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| И утром, и в полдень, а главное — | И он возлагает усталые руки |
| на ночь | На клавиши — вдох — |
| Сыграй нам тихонько, | и согласные звуки |
| Иван Севастьяныч, | Выходят как выдох и высятся к Богу, |
| Чтоб было не страшно | И странники выйти готовы в дорогу, |
| на страшном просторе | Не страшно им будет |
| Под божеским взглядом | на страшном просторе. |
| при ангельском хоре, | Смолкают последние счастье и горе, |
| Чтоб к этому нам привыкать | И руки снимает Иван Севастьяныч. |
| понемножку, | И вечность, как дверь, |
| Иван Севастьяныч, сыграй на дорожку. | закрывается на ночь. |

Насекомые

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| пока мы с тобою крылами махали | и строили заново что разорили |
| пока мы играли над солнечным лугом | закат догорает становится поздно |
| а люди родились плодились пахали | они умирают их дети стареют |
| роились потом воевали друг с другом | жилища и храмы становятся пылью |
| пока мы в беспечном просторе парили | и в небе полночном сияют и реют |
| те жизнь проклинали и калялись слёзно | твои и мои золотоцветные крылья |

«Набоков»

Тенистый виноград оплёл беседку тесно.
 Скамья из камня вся в наростах мха.
 — Давай играть в невесту
 И жениха!
 — Но я не знаю как. — И я не знаю тоже. —
 Стоим, отводим взгляд на дикий виноград.
 Мне ручейки руки твоей под нежной кожей
 Дороже всех наград.
 И, испугавшись вдруг, мы друг от друга прянем.
 Бежать! Скорей!
 И брызнет целый сад нам в лица утром ранним,
 Сиянием в листве прохладных янтарей.
 Ещё не надо знать, как коротка отрада,
 Как жжёт печаль...
 Плеск листьев, треск ветвей и вот — ограда сада.
 А дальше? Мир и даль...

Глубокая тишина

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| по рыбьей чешуе речной | и целый мир летит к звезде |
| проходит ветер босиком | и тишина в ушах свистит |
| в глубокой заводи ночной | она не знает мира где |
| проходит рыба косяком | она проходит под водой |
| она не знает мира где | а ветер ходит по воде |
| сады летят звезда блестит | как неопознанный святой |

Песня о воде

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Вода, по камешкам шурша, | Вода построила меня |
| Бежит, вода живёт везде, | (Вглядишься, и ты увидишь сам, |
| Обоеполая душа | Там время, каплями звеня, |
| Переливается в воде. | По водяным идёт часам), |
| В узлах корней земную тьму | И тела розовым корням |
| Узнав, листвой на свет бежит, | Читает сумрачные дни, |
| Ко всем нежна и никому | И торопясь бежит по дням, |
| На свете не принадлежит. | Пока не кончатся они. |

не кивай, говорит, не туда смотри —
на фитиль-горит у тебя внутри.
вот такой, товарищи, разворот.

не бубу что вот не допив компот.
...мне, конечно, страшно идти вперёд,
как любому, кто помнит, что он умрёт.

* * *

Я живу без оправдания,
Без надежды на спасенье.
Несуразное создание,
Неудачное творенье.
Но на завтрак есть варенье,

Это славное питание,
И у нас на воскресенье
Намечается гулянье.
Этот взгляд на мирозданье
Улучшает настроенье.

Марш

Каждый из нас получает то, чего хочет.
Каждый из нас забывает тех, кого любит.
Тёплый моторчик сердца внутри стрекочет.
Ветер и дождь со снегом снаружи лупит.
Вот она жизнь; выбивайся из сил: обещан
Рай-нам-там-на ускользящем горизонте.
Вещий мой, что ты трепещешь?.. Эк оно хлещет!
Эка из рук вырывает непрочный зонтик!..
Да, так о чём? О любви мы, дружок сердечный.
Вечный сверчок запечный, кузнечик летний.
Длится и длится путь наш, и ветер встречный.
И каждый день наш — нет, ещё не последний.

* * *

— Не всё ли равно, как я вижу тебя —
Под видом ли мужа иль в облике деды,
Не всё ли равно, как я слышу тебя —

Трубы ли призыв или флейты напевы, —
Я вижу, я слышу! И, сердце склоня,
Одно знаю верно — ты любишь меня!

(Телемак — Афине)

* * *

Здравствуй, одногрудая подруга!
Ты пришла не утешать.
А учить свободно и упруго
Воздухом разреженным дышать.

Не искать ни дома, ни супруга,
А сухого места для костра.
Здравствуй, одногрудая подруга,
Старшая моя сестра.

* * *

Наше дело писать и описывать, даже
Если это не нужно совсем никому

Мы забытая Богом небесная стража
Мы обучены только любви и письму

Плавание Одиссея

Что такое десять — пятнадцать лет
Для единственной жизни?
Почти пустяк.
На пустырях растёт бересклет.
В доме цветёт Телемак.
Где-то идёт война и время.

Пенелопа ждёт.
На любой звук бросается открывать.
Потом, возвратившись на место,
опять ткёт.
И пускает корни пустая её кровать.

* * *

мне бы хотелось знак
мне бы хотелось весть
мне бы хотелось так
будто бы всё как есть

чтобы и есть и пить
падать вот так в траву
мне бы хотелось жить
будто бы я живу

* * *

Научись, научись уходить,
Пропадать, как последняя спичка.
Потому что, мой мальчик, грустить
Это только дурная привычка.
Время вышло, пора, брат, пора!
Убегай от подруги недавней,

Ведь любить это тоже игра,
Разве только страшной и забавней.
Близок выход и низок порог
И плохого с тобой не случится.
Весел тот, кто совсем одинок
И печали своей не боится.

* * *

Я прошу тебя жить. Оставляю тебе на потом
Светло-серое небо, которому нету конца,
И красивую девушку с ярко покрашенным ртом,
И чужого мальчишку с повадкой большого птенца,
И ведёрко, и формочки, и расписного коня,
И трамвайчик речной, и цветные флажки на ветру...
Я так много тебе оставляю на после меня,
Что того и гляди пожалею, назад заберу.

* * *

Покойник надевает то,
Чего при жизни не носил.
Великоватое пальто
(Мешком? Совсем? На нём?) висит.
Он отправляется гулять.
Он снизу смотрит на балкон,
С которого в далёкий путь
Отправился недавно он.
Он совершенно не такой,
Хотя по-прежнему красив.

Помахивает он рукой,
Усаживается в такси,
И я хочу его догнать.
И я хочу его спросить...
Я так хочу тебя обнять!..
(Опять? Отнять? Просил? Простить?)
«Обнять»... И это всё не то.
И ты при жизни не носил
Такого... Из последних сил
Укатывается авто.

* * *

Когда-нибудь когда
сияющие горы
опять увижу я
вершины и просторы
разомкнутых небес
и брызги изо льда
и лыжи подо мной
вздохнут и встрепенутся
и покачнётся склон
как обливное блюдо
и нежно запоёт
замёрзшая вода
и я спрошу: — Ты здесь? —
и ты ответишь: — Да.

Белла Улановская
Сила топонимики

рассказ

Я хочу говорить о том, из каких трещин растут березы, но из каких развалин они никогда не вырастут. Влетит зерно, зароется в снег, покемарит до положенного срока, разбухнет, лопнет, предпримет штыковые атаки в направлении подходящей моховой подушки, а там и листвой укрылось, теперь не достанешь, не выдерешь, высоко сижу, далеко гляжу, мои камни, мои стены.

Ферма. Стоит на краю тверского села Котлован. Под крышей выведено двухметровыми буквами из красного кирпича: Грозный. Строили в конце шестидесятых (а, скажут вам местные жители, были тут шабашники из Чечни, у них семьи, говорят, большие, работы всем не хватает, живут бедно, вот соберутся родственники в бригаду и отправляются к нам). В начале каждой зимы между селом и райцентром начинался трезвон: Ферма Грозный не готова к зиме! Хватит ли сена? Не хватало всегда. И вдруг, на исходе зимы — всё! Забирайте коров по домам. Вышли все. Даже дед, не встававший всю зиму, тянул за собой чуть живую коровенку. Она упиралась. — Ишь, обратно в колхоз хочет! — Предстояло избавиться от колхозных привычек, были слушай, находили хозяева свою собственность на пустой ферме.

Старинное мужское имя Ваха означает — живи, Леча — сокол, Алхазур — птица, Мансур означает — победитель.

Село Алоль Псковской области. Позднее утро.

Перед конторой много техники. На крыльце народ. Ждут директора.

— А вы знаете, что парторг Пузыня сегодня в мастерских выдал! Я, говорит, наконец понял, почему городские у нас не задерживаются. Они привыкли на работу проходить по турникету. Надо и у нас такую штуку устроить.

— Еще бы! — подхватили с серьезным видом шофера и трактористы. — Перед стогом, например. А еще лучше на скотном. В Алешнюгах есть бык. Сильно не любит плохо одетых. Вот его вахтером и поставить.

Строители чеченцы из хозрасчетной бригады ждали окончательного расчета за построенный дом. Их бригадир Мохьмад уже не раз ходил в контору.

— Две тысячи уже в банке, — говорил ему директор, — скоро получите.

— У нас ни копейки нету, — отвечал Мохьмад.

— Все равно вы хлыничаєте. Делали бы второй дом.

— Кушать надо, Анатолий Иванович!

— Тогда ходи в малину, Магомед, — сказал директор.

Тут была одна бабенка, маленькая, дохленькая, а тягучая. Она однажды подсчитала: двадцать первый председатель на моем веку. Вы сегодня побыли и уедете, а я тут с четырнадцати лет карабкаюсь.

— Иваныч, дай хоть уголка покосить...

А между тем шла накачка бригадирам.

— Позволку не давай такую, у тебя все самовольничают, себе накопили, как кроты, — говорит он одному.

— Когда убирать приступишь хлеб? — спрашивает он другого.

Все смеются.

— Когда агроном скажет!

— Убирать ты не готов, а хлеб у тебя молотят. Девять поросят с маткой да два кабана. Пожуют, пожуют и выплюнут твой ячмень. Ведь у тебя там заподвник, стрелять их нельзя, нужно или караулить ячмень, или убирать его.

Осторожно притворив за собой дверь, на пороге стоит молодая женщина с кожаной модной сумкой. Пышные рыжие волосы подобраны в строгую прическу.

— Что, Маргарита?

— Не могу с ним жить.

— Что случилось?

— Кто-то ему подал бутылку коньяка и спирта.

— Зачем, Маргарита, сразу уезжать? Поживи отдельно от мужа. Мы тебе отдельную квартиру дадим. Иди, бери ключи. Поработаешь в столовой.

Маргарита ушла. Она была похожа на трудолюбивую, добропорядочную аспирантку; вялая ее жалоба больше походила на то, как если бы эта не очень удачливая девица пришла в деканат и стала бы ныть, что ей не выдали какую-то книгу и что ее научный руководитель не дает ей заниматься какой-то темой. Все, мол, бросаю я эту бодягу, и не нужна мне ваша наука, отдайте мои документы. Покорно отправилась Маргарита за ключами от отдельной от мужа квартиры.

Неплохо. Расскажешь кому — не поверят. Ночью ссора, утром квартира.

Утренняя жизнь в кабинете директора шла своим чередом.

— Конюха забрали, в Пустошке, пьяного, — сообщает бригадир, — кони без присмотра.

— А ты выгородку сделай.

— Они сдохнут там за это время. Всю конюшню с голоду изгрызли.

Говорили, что надо вычистить все пожни, все естественные сенокосы: вон в Ключках некошено, все печины обкосить, сгрabить косогоры, где прессы не берут.

— Нужно искать еще пятьсот тонн сена. А рабочим с больницы выписывайте наряд каждый вечер! Вы что же, считаете, что если на принудительном лечении от алкоголизма, то они рабы? А в сараях чтоб были навешаны двери, закрывайте, а то растащат сено, отдыхать туда молодежь пойдет, хорошие двери Магомед сделал...

Снова появляется рыжая Маргарита.

— Не дает вещи, — сообщает она. — Что я буду мучиться? Он ходит разъяренный.

— Мы и не таких усмиряли.

— Не тянутся туда ноги, в столовую. И так и сяк прикину. Увольняйте.

— А ты кто по специальности?

— Агроном.

— Иди в гостиницу, отдыхай. Раз агроном, мы тебе работу найдем.

В совхозной гостинице, а на самом деле обыкновенной общаге, обитали степенные алкоголики. Там жил Леша по прозвищу Камикадзе, юный друг, умудрился два трактора разбить за полгода.

Любил вечером врубить «Таганку» лишенный водительских прав Гена, вздыхая о прошлых днях.

— Когда я в лесопункте работал, — рассказывал он, — заезжаешь в лес, так на каждом пеньке зайчик бутылочку ставил. Когда у меня колеса крутились, я без бутылки не сидел. Приходит дед, просит привезти дрова, сынок, говорит, озолочу. Давай сюда твою накладную, говорю. А у меня пять-шесть накладных в кармане, как карты. Всем дрова нужны. Отходы с пилорамы, хорошие отходы. «Откинь отходов, Галя! У бати дров нету. Батя без дров». Двадцать годов я отъездил на машине, а теперь все, не надо было закладывать.

Жил в общежитии и неприкаянный ненец Поликарп Хатанзейский, какие бури занесли его в наш ковчег, к которому вдруг прибьется и рыжая Маргарита. Три дня пропадала она у Поликарпа, скрываясь от мужа. Он узнал, где она, целый день сидел на лавочке возле нашего алольского отеля, среди жасмина и желтой акации (деревянное двухэтажное здание тридцатых годов, бывшая школа), потом примирение произошло, и они вместе уехали, покинули совхоз. Покинул общежитие и бывший шофер, что-то стал он редко появляться, я, говорит, подженился.

Сорок четыре деревни входят в откормочный совхоз Алольский, который растянулся на сорок километров. Земли много — людей мало.

Почему бы не поговорить о диалектах.

Об ачхой-мартановском говоре, о речи надтеречных чеченцев...

А приходилось ли вам когда-нибудь прислушаться к русскому языку чеченцев?

Тогда вы, наверное, заметили, что говорят они почти как на родном, чем сильно отличаются от своих кавказских соседей.

Поколение сосланных, потом поколение плотников Нечерноземья, затем поколение беженцев — неисчерпаемые возможности совершенствования русского языка. Толковый словарь живого великорусского языка составлен в фильтрационном лагере доктором Д.

— Учи язык, — говорил мне дед Каменков из Алольского, бывший узник Маутхаузена и Эбензее.

— Raus, gaus, рус, выходи.

— Живо! На выход! Ботинки тебе? Босиком, падла, пойдешь.

До этого беснующегося командирского рева еще несколько часов. Пусть солдаты немного поспят. Декабрь 1994-го, купейный вагон скорого поезда Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Едут танкисты.

Нас, обыкновенных пассажиров, в вагоне всего несколько человек. (На вокзале в Нижнем билетов не было, кассирша не могла понять, в чем дело, обычно в это время года поезда отправляются почти пустые.)

Военные — все в одинаковых, особого покроя форменных брюках и в нижних байковых рубашках, вполне домашних, но не белых, а какого-то дикого светло-защитного цвета, беспрестанно сновали по вагону, собирались то в одном, то в другом купе.

В коридоре, спиной к окну, почти перегородив проход, маячил какой-то зёма.

— П...к! — вдруг завопил он; я как раз проходила мимо него, кажется, даже сказала «извините»; восхищенный возглас был обращен к кому-то из приятелей, появившихся в дверях. Парнюга контролировал появление спиртного из вагона-ресторана.

После двух часов ночи коридор опустел, все реже хлопали двери. Последними прошла группа офицеров. Один из них сказал, в продолжение разговора обращаясь к товарищу:

— Не понимаю! Мы зачем туда едем! Дудаева ловить?

Красивый парень. Светло-карие глаза, мягкий взгляд, чистое лицо, открытая сильная шея.

Все смолкло. Стояла глухая ночь.

Я вышла в коридор.

За окном тянулись сплошные леса. Иногда редкий фонарь освещал какой-то глухой переезд. Вдоль полотна бежала пулеметной лентой нескончаемая тень нашего вагона. Проносились какие-то незнакомые станции. Все было глухо и безжизненно. Из темных ельников иногда проступала занесенная снегом крыша какой-то сторожки или забытый стожок сена, облепленный снегом с одного бока, с покосившейся жердью в центре. Мне иногда казалось, что я различаю цепочку лисьего, а то и волчьего следа.

В пристанционных бараках кое-где стали появляться огоньки в окнах. Из труб потянулись вверх дымки, Скотные дворы обозначались мутными квадратными окошечками под самой крышей, доярки в скрипучих валенках прокладывали первые тропинки, хозяева задавали корм скотине, топились печи, станционные рабочие рассаживались в жарко натопленных углем вагонах местного рабочего поезда, отправлялись в узловую на работу.

Равнодушной Родине не было дела до своих сыновей.

Сколько им еще спать. Где у них пересадка.

Вскоре захлопали двери купе, стали вытаскивать в коридор казенное имущество, ящики, тюки, мешки. Поезд приближался к какой-то станции.

Выгрузились быстро.

На перроне началось построение. Начальники со списками бегали вдоль состава.

Проводница то показывалась на площадке, то скрывалась в вагоне.

— Кто-то спит на верхней полке, — сказала она мне. — Забыли своего.

— Да не может быть! Может, просто пассажир?

— Я посмотрела. Точно, ихний. Не знаю, что делать. Пойду еще попробую разбудить.

Да не может быть, чтобы никто из товарищей не разбудил его! Так и оставили мирно спать на верхней полке!

В это время с ревом «ГДЕ ОН?» на площадку ворвался какой-то начальник с помятой мордой, отпихнув проводницу, он бросился в вагон.

— Задержать отправление! — распорядился он.

Проводница покорно развернула красный флаг.

Мы услышали грохот, что-то упало, началась возня; по-видимому, сбросив жертву на пол, он принялся за избивание. При этом он не переставая орал. Избави Бог еще когда-нибудь услышать такой крик.

В непрерывном потоке брани отдельные слова можно было различить: Raus! Schnell!!

Что это вдруг такое послышалось? Не может быть. Наваждение какое-то.

— На выход! Живо!

— Только ботинки надену, — услышали мы слабое возражение.

— Босиком по снегу, падла, пойдешь.

Не прошло и минуты, как солдатик был вытолкан из вагона, конвоир гнал его перед собой, награждая ударами в спину; на бегу парень как-то умудрился влезть в один ботинок, второй оставался у него в руке.

Мы с проводницей стояли на площадке. Она все еще держала красный флаг.

— Эй, парень, не робей! — крикнула я.

Он повернул к нам свое лицо. Оно было недоуменное, как у человека, только что снявшего очки. Он улыбнулся нам растерянной чудесной улыбкой.

Был дан сигнал к отправлению. Поезд тронулся.

Под Новый год часть нижегородского танкового полка, наспех укомплектованная, была брошена на штурм Грозного. Вскоре все мы узнали о трагическом финале этой операции. Танки оказались в ловушке в густо застроенных городских кварталах.

А что ферма, над воротами которой красовалось название родного города ее строителей? Стоит? Разорили? Разобрали крышу, растащили на кирпичи стены, разобрали пол, жирную землю вычерпали ведрами для огородов. Но всякий раз, куда бы вы ни шли, вам, объясняя дорогу, укажут ориентир: вот пройдешь Вторые Мортусы, там будет болотичко, но ты туда не сворачивай, иди прямо, увидишь на горе моложу (как быстро вырос этот молодой лесок) — это и будет Ферма Грозный.

По великим законам топонимики это место всегда будет называться Грозный.

Алексей Алёхин

Конец света в Люксембургском саду

французы пугливы

судя по вывескам
они заняты сдачей анализов и страхованием жизни
а остальное время проводят в кафе
где чувствуют себя в безопасности в окружении официантов

прочитав интервью с Нострадамусом в «Пари Матч»

благоразумные
загодя покинули город

возникли даже лёгкие пробки на дорогах

я видел своими глазами мадам в чёрных кожаных латах
надменно выкатывающую из улицы на своём «харлей-дэвидсоне»
как отъезжающий из замка рыцарь в броне
нынче утром

только лёгкий дымок выхлопной

но не все
не говоря уж о массе приезжих

те кто остался
запаслись зачернёнными очками в разноцветных бумажных оправках
(ими два месяца с барышом торговали все лавки
и то не достать)
и с утра устремились в Сад
воспетый буклетами туристических фирм

праздные толпы
в ожидании конца света поудобнее расположились
на зелёных железных стульчиках
и прямо на траве —
с газетами девушками бисквитами и минеральной водой
даже клошар разложил на земле свои тряпки

в воздухе остро пахнет свежевыкошенной травой:
накануне служители подстригли газоны
чтоб вернуть Господу мир его прибранным

розовыми языками свисают герани из каменных ваз на ограде

и нарядные загорелые ажаны в голубых рубашках
и чёрных картузах
отозванные из отпусков следят
чтобы светопреставление проходило благопристойно

11 ровно

толпы вглядываются в сверкающее небо
пожилые дамы в громадных зелёных очках на буклях седых
клерк замедливший шаг на дорожке
негр высокомерный с подружкой-мулаткой
американцы в расшнурованных белых кроссовках и очках от «Reebok»
детская экскурсия с Мальты

старый Адам тоже тут
привёл свою поседевшую Еву в Сад где когда-то...
он давно всё простил

св. Павел много лет как оставивший службу в банке
отказался сегодня от бриджа
и ожидает с коммерческим вестником в руках

пенсионеры студенты отцы многодетных семейств

11.20

«Курс евро упал...»

«Пишут, подняли в небо Боинг-люкс. Семь запасных аэродромов».
«Неужто отвернутся?».
«Шесть тысяч баксов билет».

«Эти очки. Два месяца бесперебойной торговли. Куча денег. Мой зять...»
«И спасают... от ярости гнева?...»
«Есть дешёвка. А бывают в два слоя: американский патент».

он и она
держит её за крошечную руку в кольцах
взгляд на небо потом друг на друга
«Давай, напоследок?...»
«А где?...»

глянув на толстые золотые часы:
«Запаздывают. Вот у немцев начали 6 минута в минуту».

бабочки сами похожие на цветные очки
делают круг нагоня друг дружку
и сцепляются в воздухе не ведая о предстоящем

началось!

*И когда Он снял седьмую печать,
сделалось безмолвие на небе,
как бы на полчаса...*
— как сказано в Первоисточнике

и ангелы приготовились трубить...

меркнет небо
остекленела наклонная струя фонтана
и птицы взлетели
над зелёной крышей здания Страшного суда в барочных завитушках

на улицах
зажглись автоматически фонари
замерли склонив рога широкобёдрые мотоциклы у тротуаров

а на балконы высыпали из офисов чиновники
не переставая наговаривать цифры в мобильные телефоны

в Саду
толстая негритянка в яркой юбке готовой лопнуть на бёдрах и животе
возносит молитву
пав на колени

любопытные японцы приготовились фотографироваться
на фоне рушащихся статуй и колонн

пожелтевший от времени мраморный голубь у ног Анны Австрийской
повернул головку и глянул на небо

из-за облака высунулась радужная труба...

но в этот миг:
бом-бом-бом-бом-бом-бом...
двенадцать раз бьют часы на соборе!

а в полдень
во Франции прекращаются войны игра в шары воскресные базары
светопреставления революции и затмения солнца:
вся страна вкушает «миди»

рука с трубой прячется обратно за облако

светило вываливается из чёрной пятерни Армстронга
медленно возвращается свет
и толпы бросаются к накрытым столикам на террасах кафе
где официанты уже спуют с подносами
сдвинув на лоб бумажные очки

...поздно вечером
я огибал уже запертый Сад
вычищенный и прибранный после дневного столпотворенья

за чугунной оградой
из травы возвышалась исполинская платановая нога в светло-зелёных листвах
мерцала цветами и пахла клумба
а дальше
позади неплодоносного Древа познания
почти уж совсем в темноте
не то танцевала не то целовалась мраморная парочка

вокруг
светились целые галереи мансард
и хотелось верить
что там не смотрят телевизоры в эту ночь...

11 августа 1999 г.
Люксембургский сад

Алексей Кондратович Нас волокно время...

Нет, нельзя через год приезжать в одно и то же место. Особенно в моем возрасте, когда раскручивается седьмой десяток лет.

Детство я провел возле железнодорожной станции Крюково. Это под Москвой, теперь там Зеленоград, но под твердым асфальтовым полотном я до сих пор без труда вижу: здесь был пенышек, даже помню, какой пенышек, с одной стороны уже обглоданный коричневато-зеленой плесенью, и возле него еще была крохотная полянка — бабым платком можно накрыть, и всегда здесь попадалась самая крупная земляника. А вот там, где торчит миллион раз виденная с самых разных мест девятиэтажная коробка, был густой орешник, в августе орехи начинали поспевать, и мы соревновались друг перед другом, кто больше отыщет трехорешников (так мы называли тесную семейку еще белых, не пожелтевших орехов в одной, опушенной шершавыми зелеными листиками грозди), гораздо реже встречались четырехорешники, а однажды, только один раз в жизни, мне попался чудо-пятиорешник, и это было немислимое счастье. <...>

Была у нас, железнодорожных мальчишек, игра, она никак не называлась, просто кому-нибудь приходило в голову: «Айда кататься с откоса», — и мы бежали к ближайшему высокому откосу возле железнодорожного полотна. Надо было лечь на край откоса вдоль него и... вот на это надо решиться. Пошел!.. Вытянувшись вдоль откоса туловищем, вертя боками, покатился вниз и все быстрее, страшнее, и уже руками хватаешься за траву, чтобы хоть как-то притормозить, но слабая трава разве удержит... миг, когда ты чувствуешь, что ничто тебя не остановит, пугающий миг... Тебя крутит уже страшно, неостановимо, стремительно, пока грубым толчком не торкнешься в затравяневшую, иногда и мокрую канаву. Все!.. Взбираться на откос и начинать, что ли, сначала?..

Там, в детстве, на откосе это можно было: взобраться вверх — и сначала. Сейчас я уже хватаюсь за траву. Я не боюсь смерти, по крайней мере, так мне это сейчас кажется. Как это у Твардовского? «Пожили; водочки попили, будет уже за глаза...» Вроде бы хватит, обижаться не на что, да и не на кого. Всего было: не только плохого, хорошего, может, больше. Кто знает, не закрутило ли еще до настоящего страха? Но пока я смерти не боюсь. Говорю это без какого-либо кокетства. И если она уже летит на меня, на всех нас. <...>

... Так вот, если она уже летит, то мне себя нисколько не жалко. Но пока не летит, все больше и больше начинаю ценить время. В общем-то немного его остается. Не

Алексей Иванович Кондратович (1920–1984) — литературный критик, автор многочисленных статей, очерков, рецензий и шести книг, в том числе «Александр Твардовский. Поэзия и личность». М., 1978; изд. 2-е, доп. 1985; «Призвание. Портреты. Воспоминания. Полемика», М., 1987. Дважды: в 1950–1952 гг. — в качестве ответственного секретаря и заведующего отделом прозы и в 1961–1970 гг. — в должности заместителя главного редактора работал в журнале «Новый мир», куда был приглашен А.Т. Твардовским. С мая 1967 по 1970 гг. А. Кондратович вел подневные записи, повомирскую хронику, насчитывающую 1500 машинописных страниц, из которой опубликовано чуть более половины («Новомирский дневник» под редакцией И. Дедкова, М., 1991). Мемуарная книга, которую мы печатаем с небольшими сокращениями — попытка жизнеописания и размышлений о судьбе драматического поколения, прошедшего войну и годы тоталитарного режима, — к сожалению, осталась незавершенной вследствие болезни и смерти автора.

знаю, сколько, но знаю, что немного. А память у меня такая, что, до безобразия плохо запоминаю все, что связано с цифрами. Стихи не запоминаю, имена и отчества да и многое другое. Но место, где был; пейзаж, помню долго и так, словно вчера видел, ходил. Я же перед отъездом сюда, в Пицунду, где сейчас настукиваю на машинке, подумал еще: помню каждый поворот всех дорожек и тропинок к морю и в горы, кустики, деревья, четырехугольные плашки бетонных камней, которыми выложен двор Дома творчества, — и их помню со многими щербинами и трещинами, и вид с балкона, просторный, далекий, с прозрачной синькой долины, схваченной с востока зеленой подковой бурых, красноватых гор, и этот вид стоит передо мной таким, будто я только что был на этом балконе с белыми пластмассовыми стульями и таким же белым, но железным столом.

Но ведь год прошел. Год! 365 дней!

А много ли их осталось — не лет, что там лет — дней?

Все мы смертны, и у каждого на роду написано...

Не верю в Бога, но на роду, пожалуй, у всех у нас написано. И не знаем, что, как и когда будет. Впрочем, что — знаем. Как и когда — не давалось еще ни одному разуму.

Совсем недавно приснилось мне перед утром, что я в Москве, на своей улице Левитана, так не похожей на московскую — широкой, в тенистых тихих деревьях, без базарного многолюдства, какое теперь всюду в столице. И пепельный мрак опустился. Серо-глистый, пугающий, все в каком-то настороженном ожидании затихло, и птицы внезапно куда-то попрятались, со страха замерли. Такое я видел только раз в тридцать шестом году, когда в Москве было полное солнечное затмение. Мальчишкой еще был, но тревожно почувствовал, как может пропасть жизнь. Именно так, в гробовой тишине, опустившейся на землю оттуда, из далекой дали Вселенной. Вместе с невидимым пеплом, рассеянным во всем воздухе, как будто это уже наш пепел, уже сторевших, недвижимо взвешенный. Высокое серое небо, неподвижное и беспредельное, для нашего ума непостижимо далекое. И на нем совсем маленький темный диск солнца с пламенеющим, но уже бесцветным ободочком. Солнце, такое огромное днем, занимающее полнебосвода, — не больше пяточка на мертвенном, бездыханном пространстве. Внезапно я увидел — и странно, что без удивления, как в этом пространстве возник, всплыл из высоты тускло мерцающий и сразу же остановившийся крест. Он стоял в небе без сиянья, белесоватый, слегка подрагивающий, отчего казался живым, и я почувствовал, как кто-то рядом, остановившись, тоже смотрит на него. И была только одна мысль: вот он, конец. Конец света. Опять я не могу сказать, что был во мне от того какой-то страх. Просто пониманье: конец. Летит? Да, уже летит. Неотвратимо. А к о г д а? Через секунду? А может, еще и минуты остались? И я еще — хитер человек — без паники, ровным, спокойным умом, но с печалью подумал: надо бы пораньше поверить в Бога, вдруг попал бы не с черненькими, а с беленькими, теперь поздно, придется жариться... Обижаться не на кого: что заслужил, то и получай. Но, ах, как надо было бы пораньше схватиться! А теперь поздно... И проснулся. А крест этот и сейчас стоит передо мной, бессиянный и спокойный, лишь по краям живое мерцанье.

В Бога я, конечно, уже все равно не поверю. Тоже поздно. Надо было жить другим. Вера, как талант: или она есть, или ее нет, не приобретешь. Но время ценить можно: это от тебя зависит. Я давно знаю, что попусту трачу время. А оно стремительнее катит меня под откос, в канаву, только из той канавы путь у меня к черненьким, хотя так хочется к беленьким... Все стремительнее, трава из рук вырывается... Клочками недель, месяцев. Вот год как корова языком слизнула. Единственное, что изменилось: пошел проверить, а знал, что их не будет, прошлогодних кошек, которых подкармливал. Жили они возле дома тремя выводками. Два дружили, наверно, какой-то родней приходились друг другу, третий — диковатый, прятался на противоположной стороне аллеики, ведущей к морю, этому надо было оставлять пищу и уходить, при человеке не подойдет. А те два — мамы, папы и пушистые комочки сорванцов — были доверчивее, ждали, когда принесут. Я им приносил, и всякий раз думал: долго ли они просуществовуют здесь? Знал, что недолго. До будущего года и не надеялся. Сразу же по приезду пошел к проволочной загородке, за которой они жили. Издали увидел — чисто: камушек к травке, травка к камушку, ни бумажки, ни кусочка хлеба...

— Куда кошки-то делись? — задал я глупый вопрос — знал куда — этажной дежурной, толстозадой Гесе.

— Да чего ж, пристрелили. Кому она нужна, эта пакость... — блесть-блесть по

углам, столу, дивану. «А где лампа, иль не было?» — «Да нет, я не люблю настольные лампы, поставил ее вон там». — «Так если кому-нибудь понадобится, я возьму, не против будете?» — «Да, пожалуйста». И по мне блесть-блесть, не подойду ли я, и не пойду ли сам на эти блесть-блесть. Да нет, не подойду и не пойду. Вот кошек жалко. Пристрелили. Или отравили. Заботимся об охране природы. Об экологии и прочем пишем. Только зачем в кошек стрелять?

И я пишу много такого, чего стоило бы стыдиться. Зачем пишу? Ради денег. По привычке. Другое не напечатают, а это пройдет.

До чего же все это надоело, обрыдло, осто...нило! Лицемерить, фальшивить, двуличничать, ханжить, фарисействовать, двоедушничать, притворяться, угождать, извращать, перетолковывать, подтасовывать, переиначивать, толковать вкривь и вкось, называть черное белым, опускать, исключать, делать купюры, выбрасывать, пропускать и опускать и, разумеется, это чаще всего — умалчивать, один из самых злейших оборотней — умалчивание: ну, подумаешь, вроде бы ничего особенного, всего лишь не сказал, но не сказал-то — главного. Главного!

Надоело до синих чертиков хвастаться, продавать свою пустозвонную работу по дорожке, начальство это любит, потому что само пустозвонит, начальству это в масть, в кон, в тон, — и фанфаронь, бахвалься, выхваляйся, превозноси, а если прижмут хвост — ловчи, прикидывайся, лукавь, ври, лавируй (какое скользящее точное слово подслушал Овечкин¹ — лаулируй).

Обрыдло писать статьи, рецензии, мемуары, в которых, конечно, есть и правда, иногда удивляешься: вдруг разрешат и недозволенное, но чаще идет вымученно-скупное, так называемое обязательное. Повести, романы, рассказы, стихи, поэмы. Жанры. От века. Но наша литература давно идет не от реальности и даже не вдоль нее, отражая хоть какое-то движение, ее маршрут, направление, а существует как бы отдельно, как особая романно-литературная, поэмно-стихотворно-сочиненная «жизнь».

Литература, применительная к тому, что требуют от нее. Литература, которую давно бы надо обозначить такими жанрами, как вымысел, домисел, легенда, выдумка, басня, побасенка, небылица, небывальщина. Небывальщина — почти все наши трилогии и тетралогии, обожаем полотна и панорамы. Твардовский однажды точно сказал: «Кому есть что сказать, тот пишет повесть или рассказ на два-три печатных листа, ну а у кого за душой ничего нет, тот пишет на тридцать или сорок листов».

... На моем этаже, через несколько комнат, живет сейчас критик Эмиль Кардин². Кажется, в шестьдесят третьем году мы напечатали в «Новом мире» его статью «Легенды и факты». В ней шла речь о том, что пора бы привести историю в соответствие с фактами. Не было залпа «Авроры», залп, да еще по Зимнему дворцу, в сущности, поклеп на большевиков, выдумка врагов советской власти, кричавших, что они варвары и разрушители. Был один сигнальный, предупредительный выстрел, да еще холостой. И еще он написал, что такая же легенда, как залп, — подвиг двадцати восьми панфиловцев. Не было такого подвига. И Эмиль позволил себе малость: сказал, что из двадцати восьми, павших под Дубосековым, остались семь живы, так что уж двадцать один, да и те, по тому, чем Кардин располагал, были вроде бы из разных рот. Легенда, а если попроще и вернее — вранье. Эмиль не знал более важного и смертельного для этого так называемого подвига, что те двадцать один вроде бы погибших погибли в разное время, с 14 по 21 октября, и в разных подразделениях, что двое из них попали в плен, а один стал полицаем, был схвачен нашими во время наступления, судим. <...>

Обо всем этом мы узнали из доподлинных документов, изученных нашим сотрудником Исаем Брайниним³ в Подольском военном архиве. Панфиловский архив был после этого немедленно закрыт и, должно быть, надолго... Когда меня вызывали в ЦК и тыкали в нос: «Вот смотрите, что вы напечатали», я каждый раз отвечал: «А вы знаете, что обнаружено в Подольском архиве? Хотите, принесу вам письмо генерал-майора юстиции?» Каждый раз не хотели знать, что обнаружено, и к письму не проявляли интереса. В те дни, когда в печати стоял вой по поводу очернителей, посягнувших на героические святыни, я случайно включил радио и услышал постановку пьесы... как раз о подвиге двадцати восьми. Там шла переключка бессмертных. Выкликали: «Политрук Клочков!» — «Я!» — «Иван Натаров!» — «Я!»

¹ Овечкин В. В. (1904–1968) — публицист, автор и член редколлегии «Нового мира».

² Кардин Э. В. (1920 г. р.) — литературный критик, публицист. Псевдоним В. Кардин.

³ Брайнин И. Б. (1919 г. р.) — публицист, сотрудник «Нового мира».

...Литература и искусство продолжали как ни в чем не бывало свою наезженную, благополучно надуманную жизнь. Зло, с презрением к жизни, высосанную из пальца жизнь: так надо, и так будет. И есть по сию пору...

Так вот мне это, понимаете, обрыдло. Обрыдло. Стойкая железобетонная ложь. Времяустойчивая ложь: сколько ей еще отравлять мозги, кто на это ответит? Надоело знать, что положено и что не положено, говорить то, что не хочется, и ни в коем случае то, что хочется. Надоело бояться, страшиться, пугаться, трепетать, трястись, обливаться холодным потом, не сметь дохнуть и пикнуть, надоело придуриваться и многое, многое другое. Я выписываю эти один за другим глаголы и думаю вдруг, сколько их можно применять к нам, живущим и пишущим, говорящим и что-то там такое толкующим. Глаголов, прилагательных, существительных. Слов с негативным смыслом. Ну вот, пожалуйста, первое, что приходит на ум. Высыпаю без разбора: обманывать себя, других, утаивать, опускать, дрейфить, притворяться, наводить тень на плетень, толковать вкривь и вкось, смягчать, заглушать, ослаблять и вовсе не произносить и, наоборот, превозносить, воспевать (любимейшее слово!), говорить высокую правду (всегда ложь!), отражать величавую действительность наших дней, героику трудовых будней, великий подвиг народа, руководящую роль партии, направляющую жизнь, проникнутую светом ленинских идей, сияющие дали и необозримые горизонты, титаническую деятельность и скромный вклад... Боже мой, весь словарь, кажется, испакошен, и прекрасные сами по себе слова измызганы и истасканы, истрепаны, проституированы. И можно уже начать их тихо и надолго ненавидеть, как будто слова в чем-то могут быть виноваты. Несчастный русский язык. Но, пожалуй, все это соединяется, концентрируется в одном понятии. В одном свойстве, увы, нашем, увы, отечественном. Мы все живем двойной жизнью. Наверное, это огромное благо — при всем мельтешении знать правду, понимать, что происходит окрест нас и в нас самих. Но ужасно, что, зная, мы продолжаем мельтешить <...> «Я раньше верил» — такая характерная для последних десятилетий фраза-признание, кто ее не слышал десятки раз и кто ее не произносил о себе, не думал так о себе. Мы жили в мире множества иллюзий. Но самое страшное, что мы продолжаем жить в них. Мы читаем ежедневно слова, в которые давно не верим, но они, как ссохшаяся паутина, облепили нас, и ничем их не отодрать от нашей жизни... «Трудящиеся с огромным воодушевлением встретили решения съезда». В ЦК, среди аппаратчиков, еще до съезда говорили не стесняясь, но, разумеется, в своем кругу: «После съезда еще недели две надо будет отработать всенародный энтузиазм». И отработывали... Сыпалась в уши шелуха давно потерявших остатки содержания слов. И сколько их! Иногда кажется, что они физически роятся в нашем воздухе: «Все ближе и ближе они, сияющие вершины коммунизма» — несчетное число раз я писал это, когда работал в сороковые годы в газетах, да и позже писал. Верил ли я, что ближе и что вообще коммунизм — наше будущее? Отчасти верил, ну хотя бы в том простом смысле, что жить станет лучше, жить станет веселее и что-то все-таки будет иным, опять же в лучшую сторону. Вы теперь встретите эту сотни миллионов раз произнесенную и напечатанную фразу-заклинание хоть где-нибудь? Попробуйте найти, исчезла. А коммунизм остался. Так когда же царствие его придет? Кто еще остался, кто думает и верит, что придет? Ау, дурачок, выйди, дай я посмотрю на тебя.

Впрочем, остались, и в немалом числе. Произносящие коммунистические «молитвы», вопящие высококоммунистические песнопения. Но религия умерла. Марксизм-ленинизм безусловно был религией, это давно замечено. Культурная обрядность сохраняется и посейчас. Обрядность, особенно явственная, тускло-скучная, в неприкосновенности сохраняется на наших бессильных партийных и прочих собраниях, в печати, на съездах. Одно, но существенное отличие: чтобы из обрядности ненароком что-нибудь не выскочило и кто-то не ляпнул невпопад (живые же люди!), теперь все готовится, и на подготовку даже писательского съезда было истрачено ого какое количество денег и дней. Мальчишкой, чуть ли не с третьего класса, я выступал на всех празднествах в своем родном Крюкове. Я был записной оратор. «Слово от школьников Крюковской железнодорожной школы предоставляется ученику пятого класса Леше Кондратовичу». Я сам писал эти выступления, с пафосом, красивыми словами, именно поэтому и стал оратором, хотя всегда мучился, страдал и с детства испытывал страх перед этими выступлениями, потому что мне еще приходилось написанное заучивать наизусть. Выступлений по бумажке не было, и я свою пятиминутную речь дня два зубрил, чтобы ничего не пропустить, и почему-то больше всего я боялся именно этого — не сбиться, не забыть, если забуду, тогда пропаду, не вспомню, что дальше, замолкну, стыд и позор. Боязнь устных выступлений во мне до сих пор сидит, да так и

останется со мною. Я всегда, как все ораторы, говорил звонко, речисто, и директор школы Василий Георгиевич Семенов называл меня за это Кагановичем. В пятом классе я мог вставить в свою речь и такое словечко, как «апогей». «Апогей славы нашего народа». На первомайском митинге, а тогда, в начале тридцатых годов, митинги и демонстрации проходили непременно и в самых небольших поселках, вряд ли многие понимали, что такое этот «апогей». Тем выше моя слава. Голос звенел вчистую, так, словно мне это в голову только что пришло. Когда пошло все по бумажкам? Конечно, после цунами тридцать седьмого, смывшего всех записных ораторов, кроме таких, как я, еще не доросших до энкаведистской продразверстки. Нет, и в институте не помню, чтобы кто-то выступал по бумажке. Это было невозможно, вопреки всем правилам, было стыдно. Теперь вручают вторую золотую Звезду Героя Труда главному идеологу страны Суслову, и он вынимает из кармана сложенный листок бумаги и начинает бубнить написанную кем-то благодарность за награду. На «спасибо» своих слов не хватает? Да есть и на «спасибо», и на «выгнать из партии!», есть на многое, только не своя мысль — блоки штампов, формулировок, обязательных, как «Отче наш», оборотов есть, но зачем, когда напишут и останется только прочесть, чтобы на завтра напечатали в газетах. А у других и этих затверженных, высоких блоков нет, и спасительная бумажка тут очень ко времени.

.. Твардовский возвращается как-то из Кунцевской больницы и говорит с удивлением: «Нигде не услышишь такой антисоветчины, как в этой больнице». А в больнице этой самая верхушка; «Кремлевка», так еще называют эту больницу. Иронизируют: «Полы паркетные, врачи анкетные», но, однако, когда Исаковский дал нам поэму-сказку о Правде, которую за горами и морями ищет добрый молодец и наконец находит, а правда оказывается старухой вроде Бабы-Яги, молодец в растерянности, ожидал увидеть писаную красавицу, а тут... Что же он скажет по возвращении мужикам?.. А «Правда сказала: «Солги про меня». Когда он дал нам эту поэму, написанную еще где-то в сороковых годах, мы собрались печатать ее, и даже Овечкин из Ташкента писал: «Я — за. Хорошая поэма», но Михаил Васильевич вдруг забрал поэму: «Пусть еще полежит». Твардовский объяснил это ясно и доходчиво: «Бойтся потерять Кремлевку, больной ведь...»

Сию я вместе с Александром Трифоновичем в этой Кремлевке, парк вокруг зданий, больше похожий на лес, сойди с асфальтированной дорожки — и ни тропки, и в лесу такой девственности давно не увидишь, а здесь начальство гуляет по ежедневно поливаемому асфальту, в лес редко кто заходит, отвыкли от земли. Александр Трифонович мне рассказывает историю вознесения Бодюля. Бодюль — первый секретарь ЦК Молдавии и на только что прошедшем двадцать третьем съезде партии громил «Новый мир». На этом съезде, кажется, не было большего зверя, чем наш журнал, в котором всего-то семь членов партии. Семь на пятнадцать миллионов. Однако хороши шуточки, когда секретарь МК Конотоп, секретарь МГК Егорычев, молдавский господарь Бодюль и еще несколько высокопоставленных ораторов гневно написанные их чиновниками абзацы посвятили именно нам, семи из пятнадцати миллионов. И сижу я на аккуратной лавочке, за которой лес с зелеными крыльями папоротников, и слушаю:

— Бодюль был секретарем какого-то сельского райкома партии, сам личность невзрачнейшая, но зато красивая жена <...> — Вот как это делается и в наше время, и вот кто такой Бодюль, — усмехается Твардовский, — а хотите, чтобы он против «Нового мира» не выступал. Он выступит против мамы родной, если скажут, что надо...

— Кто вам рассказал эту историю-то? — спрашиваю я.

— Конечно, Расул Гамзатов, он тут все знает, и от него я узнаю все кремлевские тайны, — смеется Твардовский.

В это время по дорожке идет сгорбившись изжелта-синий старик. С трудом по горбому носу догадываюсь: да не Куприков ли это? Был такой ответственный работник в отделе пропаганды, кажется, какой-то зам или пом, важный, маскообразный, всегда на совещаниях редакторов центральных газет, журналов и издательских начальников сидевший в президиуме или с деловитым видом, молча, с неперменной папкой в руках проходивший тяжелой размеренной поступью к этому же президиуму...

У меня был только один разговор с ним по телефону, не помню уже, по какому вопросу, но я сказал ему, что мы не согласны с мнением отдела. Он удивленно протянул: «Как не согласны?» — он был поражен, что с мнением отдела ЦК можно вообще не согласиться, я у него, по-видимому, был первый, сказавший такие странные, непостижимые слова. Он не нашелся что ответить от удивления, и сказал, что он об этом

доложит. Я сказал: «Докладывайте», он совсем поразился и промямлил с послушной интонацией, словно я ему приказывал: «Да, да, я должду». Без угрозы.

И вот этот чиновник шел теперь по дорожке. На лице его и раньше не было следов жизни, теперь все приметыв близкой смерти, отчего появилось в нем человеческое. «Крепко прихватило...» — сказал я.

— А вы знаете, что он тут говорит? — усмехнулся Твардовский, — все поносит, да еще как!.. Вечерком в гостиной раза два такие вещи выкладывал, что я вам скажу... — И Твардовский покачал головой.

Перед смертью они обретают дар речи и начинают выговариваться. Спасти душу, что ли, хотят? Или от физической слабости теряют контроль. Или не все ли равно теперь!..

Двоумислие, двоедумие, расколотовь живого на две части, прекрасно уживающиеся и сосуществующие одна с другой, пожалуй, самая отличительная черта советского человека. Любых рангов и положений. Послушайте, что говорят в кулуарах собрания и на самом собрании — разные люди? Да нет, те же самые, только на трибуне он один, а сойда с нее — другой.

Не знаю, был ли в русской истории период, когда это многоликое и однотонное, равно, похоже, во все души проникшее двойничество было так распространено, стало образом не мышления, нет, а самим образом жизни. В будничном обиходе этого как-то не замечаешь. Живешь и живешь. Но стоит притронуться к бумаге, как сразу чувствуешь: а этого нельзя, то надо обойти, об этом промолчать, о том сказать потоньше, авось не заметят, и проскочит. Не мысль ведет тебя, а ты ее все время пригибаешь, прилаживаешь к тому, что можно и нельзя. Смешно подумать, чтобы Чехов или Толстой знали какого-то внутреннего редактора. Да и не такие великие, в общем-то слабые писатели, так называемые шестидесятники и семидесятники, разве они хоть в минуты душевной слабости задумывались: пропустят или не пропустят? Сама эта мысль им могла показаться кошунственной, невозможной для пишущего. Хотя бедняги знали все — до жутких запоев от нищеты и безденежья. Во время одного из таких запоев Николай Успенский горло себе перерезал на Кузнецком мосту, совсем недалеко от нынешней Книжной лавки писателей, где идет торг книгами, написанными по одному принципу: что надо. Книжками, еще до выхода обреченными, мертворожденными. У писателя бессовестного, а таких подавляющее большинство, таких навалом, чуть ли не главный интерес: побольше листов. «Седовласая Магдалина», Лев Никулин, тот просто говорил писателям: «Ну зачем вы этот эпизод на страничке изложили, его легко можно было бы и на печатный лист разогнать». Сам он именно так разгонял свои сочинения — будь они о Шалапине или Савинкове. Разгонял враньем, выдумкой, чем же еще? Те же, у кого сохраняется представление о честности писательской, живут с постоянной раздвоенностью. За бумажным листом, когда включен постоянный и твой собственный надсмотрщик, который то и дело поправляет тебя: не туда, обойди, эх чего захотел, ну куда тебя понесло, вычеркивай, когда ты все время сдерживаешь перо, невольно приходит в голову самое простое и убийственное: ведь ты себя обкрадываешь, свой, может, малюсенький талант превращаешь в микроскопический, так что впору спросить себя: да есть ли он у тебя вообще?

И это мучительно: не знать даже самого себя.

«Всего хуже сознавать себя дополнением собственной мебели», — говорил Ключевский. Чаще всего чувствуешь себя именно так: дополнением, потому что виражируешь, слаломись, смелости, что ли, в нас нет, чтобы идти прямо на истину? Да, нет. Но это слишком простой ответ. Ответ успокаивающий, убаюкивающий: что с меня взять, чего нет, того нет — и живи спокойно. Смелых людей, может, больше, чем трусов. Отвыкли от смелости, привыкли к мебели. Чтобы она была и чтобы окружала меня. И уже не замечаешь, что ты для нее, ты дополнение к ней. Уже вещи, благополучие, покой, достаток, положение, пост, президиум, ожидание звания или награды, дадут тираж или нет... «А в Дубултах все-таки лучше отдыхать, чем в Пицунде». — «Слышали, главным редактором будет Михаил Алексеев». — «Да нет, отказался, там было двадцать претендентов на этот пост». — «Нет, тридцать», — и вроде бы какое тебе дело — двадцать или тридцать, и вообще, кто там будет, но включаешься в пустейший разговор... А зачем все это? Зачем?

Конец-то недалеко. Трава пучками — из рук!

И тихий, всплывающий из вечности крест надо мной.

Кто знает, когда я шмякнусь о дно канавы, нигде ведь не прочитаешь на роду написанное.

Вот почему я стал задумываться о работе, напрочь раскованной от всего, и прежде всего от требований и указаний. Прочь внутреннего редактора! Пусть пишется все, что пишется. В конце концов интересно и самому: ну а без этого главлитчика внутри самого себя стою ли я что-нибудь? Знаю одно: без главлитчика смогу написать интереснее, чем с ним. Что стою — дело темное... Но уж становится все труднее и труднее жить с ощущением, что губишь себя, так и не выскажешься и хоть перед смертью подумаешь: я кое-что сделал.

Сейчас этого я не могу сказать.

Значит, надо попробовать.

«Я за ж и з н ь», — писала Марина Цветаева, — за то, что было. Что было — жизнь, как было — автор. Я за этот союз».

В идеале хотелось бы написать такое, тем более что Цветаева пишет как раз о литературе, как бы мы теперь сказали, документальной, возможно, имеет в виду саму мемуаристику. <...>

Время такое... Вымирание литературы? В какой-то мере — да. Классический роман — в прошлом. Чем больше современная проза пропитана документальностью, то есть чем ближе к реальному факту, к истории с ее реалиями, тем притягательнее. Когда-то безраздельно царствовавший вымысел теперь не в цене. Если не было вымысла, не было и литературы. Так было еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие читают журналы с конца, с петитных разделов. Там факты. Как осмыслены — неважно, я и сам могу их осмыслить, но дайте мне интересные, неизвестные факты, дайте мне сырую, не испорченную художествами действительность, и я в ней сам разберусь. А роман, да еще неизвестного автора, пролистываешь за минуту: скорее всего в нем нет ни искусства, ни действительности, то есть, попросту говоря, ничего нового я из него не узнаю, а эстетического удовольствия тоже не получу, потому что такое удовольствие теперь уж совершеннейшая редкость.

Время такое, мемуары, когда-то стариковская забава, стали одним из ведущих жанров, если они вообще жанр... Должно быть, начинает сбываться пророчество Голдстога.

Но я не собираюсь писать чисто мемуарную книгу, хотя вспомиательного в ней будет много. Если свобода, полное изгнание всего, что связывает, так свобода и полное изгнание. Мне хочется рассказать и о том, что было, но больше о том, что и сейчас есть. И сейчас есть то, что отживает свой век, то, что было, а живет активно, порой агрессивно. Отжившее, мертвое так хватает живое, что живому в пору ноги унести. Сахаров уже третий год в Горьком (нашли же местечко для ссылки!), кто его загнал туда? Мертвецы? Как бы не так. Все перепуталось, и двоёмыслие, о котором я пишу, — это сосуществование мертвого и живого в одном дышащем организме. В тебе и во мне. Вот что надо понять. Тогда мемуары могут стать остросовременнейшими, как чтение стенограмм съездов двадцатых, и тридцатых, и даже десятых годов: оттуда все еще продолжают лететь снаряды, поражающие площадь современности. Я уж чуть ли не сорок пять лет состою членом партии, а был мне год (всего год), когда на десятом съезде партии было провозглашено: больше двух не собираться — это уже фракция. Теперь этого и слова нет — фракция, но если собираются больше двух, то только не на собрании: там все как один, там монолит.

Что — пожалуй, всем ясно. Кто? Кто — это я.

Я живу на седьмом этаже. Это выше деревьев, и, кажется, только одно из ближних на уровне этажа. А так с балкона курчавая кипень зеленых крош, уходящая половиной до Пицундского мыса, слева — матовое стекло озера с медленно передвигающимися точками уток, долина, за маревом сама Пицунда — прямоугольники белых зданий, какие повсюду, один поставлен на попу — четырнадцатизэтажный, среди них желтая головка древнего храма, единственная достопримечательность, кроме, конечно, реликтовых сосен, они огорожены проволочной сеткой, как в вольере, деревья в зоопарке, их немного, и боюсь, что они скоро кончатся. На днях тут был шторм, к берегу вынесло в полметра толщины и метра три в длину обрубок сосны реликтовой. Кто-то ее спилил и распилил. Море не приняло обрубок, в свою стихию и вернуло обратно. Долго ли оно, вечное, все свитое в коричневые узлы и наросты, будет лежать здесь на пляжном песке? Сомневаюсь: дальше распилят.

По утрам, когда я просыпаюсь, над далью, долиной, озером и над подбалконными кущами — туман. Сизый и густой, недвижимый и в нем как бы тонут и кущи, высывающаяся лишь вершинками, отдельными купами, и далекие высокие здания, старого храма обычно не видно.

Я не смог, даже если бы захотел, восстановить свое прошлое. Оно, как отдельные вершинки и купы, поднимается в памяти. Да и кому нужно связное повествование. Не писать же, в самом деле, традиционные мемуары. Важно — кто. А это кто, и по вершинкам, по частностям, читатель установит. Кто нужно для того, чтобы выпуклее было что. А вовсе не для того, чтобы о себе написать. Увы, мы давно перестали быть частными лицами, и сквозь каждого из нас проросло время. Иногда слышишь: «Через него особенно видно наше время». А через кого его не видно?

Как долго я подбираюсь к началу. Пора и начинать, а не подкрадываться.

Я родился 28 февраля 1920 года. Год был високосный.

По коридору «Нового мира» шел навстречу мне Федя Абрамов. Поравнявшись со мной, посмотрел на меня и угрюмым своим хрипловатым голосом протянул с удивлением, но без зависти:

— Молодой ты...

А я на него посмотрел: ни одного седого волоса, блеклые, усталые глаза, но еще не подернутые равнодушием — первый признак старости. Я подумал и сказал:

— А, пожалуй, я старше тебя...

— А ты какого года рождения?

— Двадцатого.

— А в каком месяце?

— В феврале. Двадцать девятого...

— Мальчишка! — вскричал я. Я двадцать восьмого!

— Да-а, ну знаешь, надо по этому поводу выпить...

Выпить мы не выпили: в тот день закрыли дела, а потом... чего пить, мало ли бывает невероятных совпадений.

В сороковые и отчасти пятидесятые годы, когда появлялось нечто правдивое в литературе, критика часто жила по принципу: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А в жизни все может быть, и невероятное тоже просвечивает какими-то гранями действительности, истории. С Федей Абрамовым и в самом деле занятый случай. А с бабушкой по матери?

Я не люблю и считаю грубым, не имеющим никакого отношения к науке и вообще к здравому смыслу деление на классы. Деление, удобное для политиков, демагогов, но всей пестроты людских положений и состояний ни в какой мере не отражающее, напротив, все только путающее. Один дед мой, по матери, Никифор Егорович Ильин, был крестьянином из подмосковной деревни Каменки, там я и родился. Был дед середняком: одна корова, одна лошадь, пять овец, десятины три небогатой земли, зимой занимался извозом. Собственник. Мелкая буржуазия? Так, что ли, по классовой схеме мы обозначаем крестьянство?

Другой дед, по отцу, был ткацким мастером Прохоровской мануфактуры в Вышнем Волочке — Иван Иванович, моего отца тоже называли Иваном, тоже был Иван Иванович. Рабочий класс. Но было у деда два крепких, стоявших один возле другого дома, с пианино, конторкой, мне больше всего запомнился настоящий небольшой крокодильчик на той конторке и музыкальная игрушка: на вращающемся медном валике — острые иголки, и когда валик заведен, медленно вращаются иголки, зацепляют соответствующие пластинки, и они издают просто тенькающую мелодию. Мелодию эту я уже не помню, но наслаждение от чудной и, по-видимому, дорогой игрушки осталось во мне навсегда. У Никифора Егоровича ничего не было, кроме затрепанного Евангелия. Другой дед — из рабочего класса, кстати, не скопидом, не жмот, бывало, запивал напропалую, как истинный русский мастеровой, пил по нескольку дней, но управляющий мануфактуры все ему прощал: дед был большим мастером по налаживанию станков. Иван Иванович был в несколько раз больше буржуазией, чем каменский. В 1905 году во время забастовки его даже на тачке вывезли рабочие за ворота фабрики. Как хозяйского прихвостня, хотя никаким прихвостнем он не был. По всей видимости, это был человек незаурядный. Несмотря на запои, сумел не только отгрохать два высоких с дубовыми заборами дома, начиненных всем, чем владел в то время средний чиновник или учитель, но и дать детям образование, один из моих дядьев — дядя Коля — во время мировой войны был офицером с тремя ромбами. После революции перешел на сторону Красной Армии, умер в тридцать пятом году сорока с небольшим. Был заместителем по инженерной части у командующего Западным военным округом Уборевича. Говорят, был талантливый военный, инженер. Умер вовремя, через год его бы загребли вместе с Уборевичем и расстреляли как «врага народа», можно и не сомневаться.

Знаю, знаю, любители классовых дефиниций тотчас же определяют Ивана Ивановича в «подкупленную буржуазией часть рабочего класса». Так все-таки остаются они после этого рабочим классом или нет? А Никифор Егорович так и останется мелкой буржуазией, хотя эта мелкая буржуазия вкальвала с утра до ночи и знала, как вкальвать. Но куда тогда поместится бабушка Мария Степановна?

Как быть с бабкой по матери?

Она была воспитанницей художника-передвижника Прянишникова. Бездетные Прянишниковы взяли ее из какой-то бедной московской семьи. Детство свое да и юность вплоть до замужества бабушка вспоминала с умилением и печалью: это были, конечно, лучшие годы в ее жизни. Она помнила Льва Толстого, он играл с ней. «Я у него и на коленях сидела», — говорила она с тихим восторгом. Когда она научилась читать, Толстой подарил ей две свои книжки и написал что-то на них. Что — бабушка не помнила, осталось в памяти лишь «Маше...». Я бы всю свою библиотеку отдал за эти две книжки, но я их уже не застал: дед, ненавидевший все, что было до него, и значит, с Прянишниковыми, сжег однажды эти книжки, и я этого не могу ему простить. Маша росла как своя в доме художника, но когда ей пошел восемнадцатый год, «барыня», как она называла жену Прянишникова, возревновала его к воспитаннице. Бабушка говорила, что беспричинно, «просто я была молоденькая». А на воспитанницу эту заглядывался молоденький извозчик, будущий дед мой. Бабушка говорила, что ему было лестно: он может взять в жены из барской семьи, он не скрывал этого и потом, когда взял и тотчас же убедился, что к крестьянской работе она вовсе не пригодна, и он разозлился на нее на всю жизнь, хотя злиться надо было бы на самого себя. Всю жизнь он попрекал бабушку, звал сладкожкой (она любила конфетку, печенье, что-нибудь не по-деревенски вкусенькое), неделухой, а иногда в гневе и барыней; последнее произносилось с издевкой: мол, все-таки ты не барыня.

А настоящая барыня, та, что поскорее постаралась избавиться от воспитанницы (через год после замужества Маши Прянишников умер, был он с молодости тяжело болен, умер 54 лет), внезапно объявилась уже в тридцатых годах, во время голода, вызванного «революцией сверху» в сельском хозяйстве. (Заметили ли вы, как революция сверху ли, снизу ли — так голод, теперь уж и раз социализм — тоже подтягивай штаны.) Старуха, потеряв мужа в 1894 году, дожила до тех лет и каким-то образом оказалась в Архангельске; помнила она, что Маша живет в деревне Каменка Московского уезда Московской губернии, и по этому устаревшему адресу письмо ее дошло, удивительно, но дошло. Бабушке было тогда, должно быть, лет шестьдесят или около того, но что с ней было! Скрывая от Никифора письмо, она читала его моей матери, и та ей выговаривала: «Ты, мать, не в своем уме, она тебе всю жизнь перекалечила, а ты теперь ей пошлешь сухари и сало». (Старуха Прянишникова просила прислать ей что-нибудь из еды, доходила с голоду.) Но у бабушки это письмо было как возвращение в далекую и сладкую юность, и я, мальчишка, видел: никого не послушавшись — пошлет. Потом она несколько раз тайком от деда (как она умудрялась это делать в то время, когда каждый кусок хлеба был на строгом счету — трудно сказать) посылала в Архангельск посылки, пока старуха где-то в тридцать третьем или тридцать четвертом году не умерла. Всякий раз моя мать упрекала («самим есть нечего, а ты...»), но бабушка, поджав губы, слушала ее и ничего не отвечала.

Я ее помню, когда в ней уж давно ничего не осталось от московской воспитанницы знаменитого художника, она была молочницей, так тогда называли женщин, разноросивших или развозивших молоко. Она возила молоко от своей единственной коровы в Москву по знакомым адресам. «Опять себе конфет покупала?» — спрашивал ее скупой дед, к тому времени он, упав с воза, да неудачно, повредил себе позвоночник и с трудом ковлялся с палкой, а чаще всего сидел за чтением Евангелия. Мне казалось, что он читал всегда одну и ту же страницу, книга постоянно была раскрыта на середине. Меня он любил, и оборони меня Бог сказать о нем что-нибудь плохое. Зачем только сжег книжки Льва Николаевича и зачем поломал жизнь бабушке? Хотя, кто знает, может, она прожила бы с другим и вовсе не сладкую жизнь. Но деда никогда не любила («Он силком меня взял, против моей воли, никогда я не плакала так, как перед свадьбой»). Так же, как моя мать моего отца. Она как раз вышла за первого мужа по любви, но через два месяца он ушел на империалистическую, вскоре пропал без вести, мать ждала его возвращения до девятнадцатого года; целых пять лет. Не дождалась. Какая после этого любовь?

Так к какому классу припишете вы мою бабушку? К крестьянству? Она его ненавидела.

Моя первая жена Таня по матери правнучка автора «Конька-Горбунка» Ершова, ее отец Александр Александрович Атабек родился в Женеве в семье видного армянского анархиста, друга Кропоткина. Женился он на моей будущей теще в Париже и еще до Октября вернулся в Россию. Вторая жена Вера по матери прямиком из рода Ржевских, в их роду был декабрист П.Н. Свистунов. Постепенно род стал мелеть и беднеть. По семейному преданию, в роду еще оставались немалые ценности, и в семнадцатом их спрятали — где вы думаете? Неподалеку от Вышнего Волочка, в лесу, где я в раннем детстве собирал чернику в высоких, как взбитые подушки, мхах.

Один из читателей «Доктора Живаго» говорил мне, как о слабости этого романа, что герои в нем постоянно встречаются, хотя время и события то и дело разводят их далеко друг от друга по огромным российским пространствам. Что бы он сказал, если бы узнал, что где-то в сосновом бору, кажется, теперь уже почти сведенном, сомкнулись на одном существующем или несуществующем клade — какая разницы, не в этом же дело -- родовые линии Ржевских и тобольского поэта Ершова, анархиста Атабека, ткацкого мастера из бурлацкого рода, воспитанницы художника Прянишникова, крестьянина и рабочего-выдвиженца, бывшего в тридцатые годы председателем Кисловодского горисполкома Страхова, он был отцом Веры — моей нынешней жены.

И у всех у нас в паспорте одно — служашие. А это что за класс?

В двадцатом веке все так перемешалось в России. Еще в девятнадцатом стало путаться, ну а в двадцатом-то ветер наперехлест другому ветру, все заметилось, чего только не случалось.

Я родился в жуткий голод. Под Москвой было не так, как в Поволжье, и все-таки, как говорила мать, главной пищей была картошка. У матери главным образом картошка, у меня еще было молоко. Но должно быть, с тех пор я не люблю картошку, я ее слишком много ел, с лет, которых еще не помню.

В сорок втором году, перед отправкой на фронт, я приехал к отцу. В Крюкове в сорок первом шли ожесточенные бои, с Крюкова началось немецкое отступление, но дней около десяти они владели станцией и поселком, из братской могилы под Крюковым взят прах Неизвестного солдата, покоящийся теперь у Кремлевской стены. Отец, мать и две мои сестры эвакуировались в Чувашию, но сразу же после освобождения поселка отец вернулся, боялся за дом, больше года он жил один на жалкую пенсию, на всю ее можно было купить только одну буханку хлеба, а по карточкам выдавали ему всего триста граммов хлеба на день. В километре от Крюкова за оврагом была деревня Кутузовка, как раз напротив моей Каменки, той, где я родился. В Каменке-то были немцы, в Кутузовке не были, не перешли овраг. Каменка и Крюково были оккупированной территорией, Кутузовка — нет, и в Кутузовке выдавали уже четыреста граммов хлеба. Таков был сталинский приказ: все, кто оставался или даже не оставался, а вернулся на оккупированную, пусть всего на десять, пять дней, землю, в сущности на рубеж, где не затихали бои и откуда фашистов погнажи — все равно получали хлеба на сто граммов меньше. Отец говорил об этом с завистью к кутузовским. Он ел одну картошку, варил ее целым ведром, и я ужаснулся, когда он сказал, что за день и съедает все это ведро. «Приехал бы ты пораньше, — сказал отец, — я бы тебя угостил мясцом». — «Каким мясцом?» — удивился я. «Да я теленка откопал». — «Какого? Того самого?» — с еще большим изумлением спросил я. В прошлом году, как раз началась война, у нас от какой-то болезни подох телянок, и его закопали на нашем участке, и не очень глубоко, так, чтобы запаха не было. Оказывается, отец, когда ему стало уж невмочь жить на одной картошке, рискнул откопать того теленка, пролежавшего два лета под метровым, не больше, слоем земли. «Да он же, наверно, разложился?» — «Да не особенно, так, запах, конечно, был, но сварить, не очень заметно». — «Да как же ты рискнул, ведь помереть мог бы! От заразы!» — поражался я все больше и больше с каждым его ответом: отец был ко всему прочему мнительный и при малейшей болезни хватался за лекарства, любил жаловаться на боли. «Уж очень есть хотелось, Лешка», — объяснил он. Пока я жил у него несколько дней, он вспоминал об этом теленке как о лакомстве, и все жалел, что съел его дочиста до меня. «Да ведь я не знал, что ты приедешь, а то додержал бы до тебя кусочек». Было это в начале октября. Погребя у нас не было, о холодильниках тогда никто и не слышал. Картошку мы ели с ним хорошо хоть с солью и больше ни с чем. Я был тоже голоден, но картошка плохо лезла в рот, с пустой горячей водичкой шло лучше.

Самое первое мое воспоминание, пожалуй, — самое счастливое за всю жизнь. Было мне тогда, должно быть, года полтора, может, больше. Я шел с отцом и матерью, потом кто-то из них нес меня в руках, потом я снова шел. И мы оказались в лесу.

Деревья я видел, высокие, раскидистые липы и прямоствольные тополя стояли при станции, и им я не удивился. Но под деревьями еще стоял маленький и сказочный лес: узорчато-красивые листья поднимались прямо из земли и были огромны и даже выше меня, одни листья. Я задохнулся от счастья и помню, долго-долго смеялся. Мне было хорошо как никогда, и я запомнил еще косой свет, падавший на невиданной красоты маленький лес под сводом высокого настоящего леса, значит, было к вечеру. Много позже я узнал, что стоял рядом с папоротниками, и с тех пор я испытываю к ним особую нежность. Стоит мне увидеть где-нибудь папоротники, и я стою, стою возле них, достигающих мне до колена, и с трудом, с нежеланием ухожу от них. Есть большая, малая родина, но я испытываю к ним сложные и неоднозначные чувства, потому что они доставили мне не одно счастье, и вообще о так называемых патриотических чувствах мне еще придется всерьез говорить — это тема. Но есть еще, по-видимому, микрородина, родина памяти, родина сознания, когда ты впервые почувствовал, что ты есть на свете. Почувствовал так, что навсегда запомнил. Не знаю, как у других, но для меня дороже этой родины ничего нет и не будет.

Как мы возвращались обратно из того леса, от папоротников, я уже не помню. Наверно, я спал у кого-то на плече, переполненный небывалым счастьем, таким огромным, что стоит о нем вспомнить, оно и сейчас поднимается во мне: до сих пор его хватает.

Та поляна с папоротниками была еще и после войны. Вернувшись с фронта, я в один из первых дней пошел туда и пробыл там час или больше, лежал под все такими же красивыми бледно-зелеными папоротниками... Теперь там асфальт, и я уже лет тридцать туда не хожу.

На роду мне было написано: жить.

Недалеко от казармы, так назывались длинные дома с двумя входами с разных концов, крашенные суриком, в которых жили железнодорожные рабочие и служащие, в которой жили мы, была баня, а возле нее колодец, куда стекала из трубы грязная мыльная вода. Сруб колодца был невысоким, и почему его не закрывали — не понимаю. В сине-белой воде колодца плавала щепочка, и мне захотелось ее достать. Я потянулся за ней и перевалился через край сруба. Как я успел ухватиться обеими ручонками за трубу, из нее ничего не текло, был не банный день, — какое-то чудо. Как оказался поблизости парнишка Ванька Крючков, услышавший мое верещанье, — чудо еще более невероятное, потому что колодец этот был на задах пристанционных построек, и там редко кто проходил. Но он услышал мой крик, успел подбежать и вытащил меня. Утонул бы, и еще не сразу бы нашли. Пока не всплыл.

Кажется, тем же летом — было мне три года — я в подражание большим мальчишкам, им-то по пяти-шести лет, начал учиться ходить задом наперед. Мне это очень нравилось, потому что еще и получалось, и я, босоногий, ступал, смеясь, в мягкую, теплую, плюшевую дорожную пыль и шел задом прямо на сонную старую задумавшуюся лошадь, везущую телегу с мужиком из деревни Михайловка. Мужик этот, как он потом оправдывался перед моим отцом, сворачивал козью ножку и не заметил меня. И лошадь не заметила. Я попал под нее. Лошадь подковой пробила мне голову. Мужик валялся в ногах у отца и просил у него прощения. Думали, что я умру, череп был сильно поврежден, на голове так и остался шрам большим белым, не заросшим волосами червяком. Но я выжил. И ничего не помню о больнице. Удивительно: никаких воспоминаний.

Пристанционные мальчишки, мы рано научились шастать под вагонами, под платформами из толстых досок, лазили в поисках денежек, между прочим, каждый раз что-нибудь находили: иногда попадались серебряные гривенники, пятиалтынные...

Когда попадалась серебряная денежка — мы всласть ели мороженое. У меня, совсем еще маленького, взрослые мальчишки раза два отняли деньги, я сразу похвастал, что нашел их. Потом, находя, я уже молчал и покупал мороженое отдельно от мальчишек. Потом я стал сам взрослым, значит, мне было уже лет пять-шесть. И вот однажды, когда у самого перехода с одной стороны линии на другую (надо было обследовать и вторую платформу) стояли два поезда, один пассажирский, другой товарный, раздалась гудки, и они тронулись. Я растерялся, мне надо было бы остаться посреди линии между поездами, но я этого испугался и решил проскользнуть под медленно двигавшимися вагонами товарняка, под такими вагонами мы ловко проскальзывали, но я со страху или еще отчего поскользнулся и упал прямо на вторую рельсу. Отчетливо помню: боковым перепуганным зрением увидел надвигающееся на меня колесо — почему я не двигался, не пытался перевалить через рельсу? Но я продол-

жал лежать, — мгновение, рывок, и меня с матом выдернул перепуганный стрелочник. Хорошо, что это случилось на станционном переходе, Губарев, по прозвищу Кажу, каждую фразу он начинал со слова «Кажу»: «Кажу, что день сегодня будет с дождем», «Кажу, что начальство наше дурит...» Хорошо, что все это видел Кажу, быть бы мне через секунду раздавленным колесом.

Губарев после войны умер, и я жалел, что узнал о его смерти после его похорон. Я ему обязан жизнью. Ванька Крючков старше на пять лет, еще до войны уехал из Крюкова, говорили, что он стал артистом и играл где-то в Свердловске. Ему я тоже обязан жизнью. Михайловского мужика я встречал, уже став юношей, и мы с ним всегда весело здоровались, он смотрел на меня, улыбаясь, что я остался жив и вот уж какой парень...

Те, кто родился вскоре после революции, пережили три голода, кого миновали лагеря и ссылки, страсти раскулачивания двадцатых и не менее жестокий голод тридцатых годов, кто прошел через войну, вернулся с нее и живет по сей день, им, в сущности, принадлежит весь двадцатый век: они застали его начало и могут кое-что реставрировать и из дореволюционной жизни, им еще вместе с другими, более молодыми поколениями предстоит пройти через последнее двадцатилетие века, сулящее — теперь это так ясно — немислимые перемены. И за это одно надо быть благодарными судьбе. Потому что человек должен все испытать и все жизненные полосы пересечь. Тогда ему спокойнее чувствовать себя человеком и быть готовым к любым переменам и к самой гибели.

Мы жили в железнодорожной казарме вместе с большой семьей билетного кассира Степана Павловича Белова. Он организовывал на станции партийную ячейку и был ее первым секретарем. Его сын Мишка пятого года рождения в восемнадцатом стал первым крюковским комсомольцем. Он проходил обычно по нашему общему коридору, лихо отбивая четку, у него это здорово получалось.

В девятнадцатом году зимой к Степану Павловичу прибежал перепуганный Кажу: «Кажу, Ленин тебя спрашивает!..» Оказывается, Ленин возвращался из Подсолнечной, где охотился. Видно, автомашина отказала, и он ехал в Москву в теплушке товарного поезда. В Крюкове у паровоза не хватило дров, и он остановился. Ленин поинтересовался, есть ли на станции партячейка, и кто ее секретарь, и если он поблизости, не мог бы он зайти к нему в теплушку для беседы. Степан Павлович, было ему тогда лет под пятьдесят, лыс был, невелик ростом, но степенен, поспешил в теплушку и там разговаривал с Лениным, пока на тендер паровоза загрузили дрова. В теплушку набились еще и другие рабочие и служащие станции. Жаловались Ленину на то, что трудно и голодно жить. И тот говорил им, что надо потерпеть, будет лучше, но скорого улучшения он не обещает.

В двадцать седьмом году у Беловых случилось несчастье: самый младший — Женька (он пошел по стопам отца и брата Мишки и организовал в Крюкове первый пионерский отряд, я его беззаветно любил, как и всех Беловых) внезапно заболел тяжелой болезнью сердца, говорили, что мальчиком много гонял в футбол, и умер. Семнадцати лет. Хоронили его на нашем Андреевском кладбище, в трех километрах от станции, гроб до самого кладбища несли на руках, впереди гроба шел пионерский отряд и надрывно трубил в горны. Это была первая смерть, которую я пережил, я плакал и, забегая перед горнистами, завидовал им, что они так красиво провожают Женьку. После смерти последыша Степан Павлович стал интересоваться Толстым, вышел из партии — тогда это можно было сделать безопасно. Мой отец в двадцать четвертом году вступил в партию, «записался», говорил он, по ленинскому призыву, и через год, рассорившись с кем-то, вышел из нее, то есть просто перестал платить партийные взносы. Называлось это — «выбыл механически». Попробуй теперь выйдти из нее механически. Потом Степан Павлович поверил в существование Бога. Именно в существование, а не в саму церковь. В его сознании, вовсе не сумасшедшем, как-то соединились веры марксистская и православная. Это был замечательный старик, он заходил ко мне играть в шахматы, я безжалостно выигрывал у него, он огорченно тер красную лысину и просил: «Ну давай еще одну...», и когда отыгрывался, радовался: «Ну вот, и старики еще кое-что могут...» От счастья он в следующей партии быстро зевал какую-нибудь фигуру, и я его снова прищучивал, и он, вздыхая, подолгу задумывался, а я его торопил: «Степан Палыч, быстрее думайте...», на что он отвечал вздохом. Умер он в тридцать шестом году, долго болел, перед смертью вызвал старшего сына Мишку, к тому времени уже Михаила Степановича, последними словами его

было: «Вот Миша, ухожу я к Марксу, Энгельсу, Ленину». Сталина он не назвал. Наверно, не из-за одного Женьки он вышел из партии.

Совсем недавно одна девушка, поступившая на работу в Министерство культуры, рассказывала, как шла она по министерскому коридору, и вдруг поднялась непонятная ей паника, ее затолкнули куда-то на лестницу. Оказывается, она шла по коридору как раз в тот момент, когда на этаже появился приехавший в свое министерство министр Демичев. Затолкала ее на лестницу охрана Демичева.

От Ленина в теплушке к Демичеву, боящемуся собственных сотрудников, хотя кому он вообще нужен? — это, я вам скажу, эволюция! И на крутом повороте и взмыве этой эволюции я вижу милого и умного, сердцем почувствовавшего запах дурных перемен Степана Павловича. Каким я был идиотом: сейчас бы я проиграл ему все партии.

Одно из самых первых воспоминаний: я лежу на теплой русской печке, отец зашел в комнату, весь опухший инеем, сказал матери: «Сейчас будут гудки», вдруг завывли сразу несколько паровозных гудков. Я привык, что паровозы дадут гудок и кончат гудеть, значит, поезд пошел. А тут ныли, ныли, было непонятно, отец сказал, что хоронят Ленина. Но я не очень знал, кто такой Ленин, и совсем не понимал, что такое «хоронят». Мне было тепло, уютно и забавно: когда же они кончат гудеть? Когда кончили, я засмеялся, и отец, услышав мой смех, сказал матери: «А Лешка-то смеется... Ничего еще не понимает».

Я уже учился в школе, в первом или втором классе. В «зале», так называлась большая комната в три высоких окна, куда выходили двери нескольких классов нашей одноэтажной школы, висел большой портрет Ленина. Ленин в кепке, в темном костюме с жилетом, стоит на булыжнике Кремля, засунув одну руку за жилет, одна нога кажется вытянутой, она была ближе к фотографу. Известный портрет. Кто-то из мальчишек дернул за портрет, он с грохотом упал, и неожиданно на обратной стороне мы увидели изображение другого мужчины, тоже стоявшего во весь рост, тоже невысокого, тоже с усами и бородкой. На груди его были какие-то кресты. «Это же царь!» — радостно завопил кто-то из мальчишек постарше. На царя я глядел с удивлением: так вот кого свергнул Ленин и о ком отец мой иначе и не говорил как «Николашка». У царя было спокойное, немного грустное лицо, на какого-то смешного «Николашку» он ничем не был похож, наоборот, кресты придавали ему серьезный, военный вид, но в это время прибежал кто-то из учителей, переполошенный, схватил портрет — и на плечо, бегом в учительскую. Я был достаточно понятливым, чтобы сообразить, что это действительно не очень прилично: на одной стороне Ленин, на другой — царь.

Но ничего в школе больше не произошло. И только в тридцать шестом году, когда пошли аресты, загремели директор школы и учитель рисования, он же архитектор: говорили, что до революции он строил дома в Москве, я его застал шуплым старичком, по-моему, плохо рисовавшим, и вообще рисование, как пение, физкультура, не считались за предметы учебные, на его уроках всегда стоял шум и гам. В поселке говорили, что арестовали их как монархистов. Но это была сущая чепуха, потому что в доказательство приводилось то, что у директора школы он завел однажды граммофонную пластинку: Шаляпин пел на ней «Боже, царя храни». Директор Василий Георгиевич много раз хвастался тем, что у него «полный граммофонный Шаляпин». Припомнили ли ему, что десять с лишним лет в школе висел, уткнувшись в стену, как бы спрятанный до времени царь? Да это я так сейчас думаю, а тогда, когда водружали портрет Ленина, наверно, на царя и внимания не обратили. Может, еще посмеялись: виси теперь под Лениным.

Хороши смешки. Парабола истории развернулась так, что я теперь не испытываю ни ненависти, ни восторга ни к Ленину, ни к Николашке. Один дурак довел нас до революции, другой ее совершил. Вот я, как и десятки миллионов людей, и живу внутри этого исторического эксперимента, уже давно затянувшегося, надоевшего, выхода из которого что-то не видно.

Тогда «эксперимент» обещал еще многое, хотя любители социализма могли бы призадуматься над феноменом нэпа.

Нэп для меня — пристанционная лавка Королева — тоже одно из первых моих воспоминаний. В этой темной лавке пахло остро и разнообразно: в небольшом помещенье продавалось все — и чай, и крупа, и ваниль, и мука, и сахар, и подсолнечное масло. Но, по-моему, больше всего было воблы. Нанизанная на бечевки, она свисала с утыканых крюками стен темно-золотистыми гроздьями, и, по-моему, ее никто особенно не покупал как нечто несерьезное, соленую забаву под пиво, а пива Королев не

проданал. Вино, в основном водка, ее называли «рыковка», по имени заступившего на пост председателя Совнаркома Рыкова, после смерти Ленина отменившего действовавший после революции сухой закон.

К зависти нынешних питухов, вобла у Королева свисала пуками, сотнями воблин, испытываясь, но продолжала источать раздражающий ноздри запах, так что кто-нибудь из взрослых не выдерживал и в получку говорил: «Дай-ка, Николай Егорыч, пяток мне, побалуясь». Продавали воблу, как и сейчас, штуками, и стоила она какие-то копейки, а Николай Егорыч Королев приговаривал при этом: «Даю, даю, где пятак, там и шестая хорошо ляжет...» Все он продавал только «с походом», свешает фунт печенья — добавит пару печеньиц, к пятаку воблин воблинку за свой счет, веса пошли вниз, а он подбросит две-три конфетки в еще раскрытый кулек.

Нэп был первым сбоем в «эксперименте», который, однако, не был услышан и понят, как следовало бы его понять. Уроков из него не извлекли никаких, напротив, он ожесточил экспериментаторов, подвигнув их прямо к еще более страшному эксперименту — коллективизации.

Нэп был «вынужденным», «отступлением», так называл эту политику Ленин, то есть, если бы не нужда, мы бы, большевики, на это дело не пошли и не отступили перед капитализмом. Но каждое наше «наступление» оборачивалось экономической бедой, разрухой, голодом, в тридцатые годы атака на крестьянство обрушилась такими последствиями, таким развалом сельского хозяйства, какого не было, пожалуй, и во время гражданской войны. Нэп — единственное «отступление» — удивительным образом принес народу немедленное облегчение.

Заметьте, и сейчас: стоит какой-либо стране вступить на путь социализма, как в ней скоренько все пропадает и истощается. Сколько лет Куба живет с карточной системой, да еще мы ее практически сохраним. В два или три миллиона долларов ежедневно она нам обходится, не так ли? А как бедно живет Вьетнам, в каком развале Афганистан, и вовсе не после вторжения наших войск туда, развал начался сразу после появления Тараки¹ в этой стране. А как бедно в сравнении с другими странами живем мы! Несколько лет назад мы были на двадцать шестом месте по уровню жизни. Не откатились ли мы куда-нибудь теперь на сороковое? И обратите внимание: мы ведь сейчас потихонечку, стыдливо отступаем. Нет-нет, до нэпа далеко, да и вряд ли он возможен в прошлом виде, если будет, то совершенно новой модификации. Как мы заигрываем сейчас с частным хозяйством, задушенным когда-то нами же, но, как выяснилось, не загубленным до конца: вдруг оказывается, что один или два процента посевной площади под приусадебными участками дают четверть всего молока и еще больше картошки, овощей. Мясо, которого уже годами не хватает, это мясо на треть от индивидуальных хозяйств. Заводите коров, уговаривают теперь, уничтожив их в свое время. <...>

.. У нас всегда была корова, в поселке, где жили в основном железнодорожники, кое-кто работал в Москве, было стадо. Каждое лето занимали пастуха, кормили его по очереди, за лето он у нас кормился раза два-три, мать в этот день очень старалась на кухне. Лета два пас коров пастух Иван Васильевич Грозный, мужик из рязанских мест, заигрывавший с бабами, чернявый, но мелкий ростом и слишком бойковатый для своей фамилии. Многие не верили, что у него такая законченная от начала до конца историческая фамилия, я тоже не очень верил, мне было уже лет пятнадцать, и когда я усомнился, он показал, совсем не обижаясь, паспорт. Наверно, сомневались многие до меня, и паспорт он показывал множество раз. Там действительно стояло: Иван Васильевич Грозный. После этого мы подружились, и он рассказывал мне много баек. Между прочим, фамилией он хоть и гордился, но не хвастался. «Черт те знает, батяня у меня был Васька Грозный, сам смикитил или надоумили, назвал меня для полноты Ванькой. А какой я царь? — и смеялся: — Над одними коровами».

Сейчас в поселке, на который, перейдя через железную дорогу, наступает Зеленоград, нет ни одной коровы и не появится. Где теперь пастбище? Все застроено, совхозные и колхозные поля под Москвой и те сжались перед железобетонным нашествием.

А мы бы без коровы не прожили. И в двадцатом, когда я родился, она спасала нас, и в тридцатые годы. Свое молоко да еще продавали — это уже деньги, у отца зарплата была негустая, деньги от коровы перевешивали ее. Для семьи из пяти человек корова была и в буквальном, и в переносном смысле кормилицей.

¹ Тараки Нур Мухаммед — генеральный секретарь ЦК народно-демократической партии Афганистана. Писатель.

В конце сорок второго года мать вернулась вместе с моими двумя сестрами из эвакуации. Там, в Чувашии, она, прирожденная крестьянка, заработала вместе с дочерьми-подростками в колхозе и хлеба, и гороха, и картошки. На своих плечах они привезли, к радости отца, умучившегося с одной картошкой, пудов пять хлеба. Надолго хватило бы этих пудов? И мать, всю жизнь державшая корову, сообразила, всполыхнулась, чего ж она не продала оставшийся в Чувашии заработок, можно было бы на эти деньги корову купить. Пропуск обратно в Чувашию не давали. Она написала письмо самому Сталину: мол, так-то и так, у меня наработано, а съездить в Чувашию не пропускают, что же мне, с голода помирать. Неожиданно мать вызвали в областное управление НКВД, и тут мать перепугалась: подумала, что ей влепят за то, что осмелилась обратиться прямо к Сталину. Но ей на блюде выдали пропуск в Чувашию, и с этого началась ее эпопея. Она продала все, что было наработано, за сорок тысяч рублей. Это было в то время как раз на корову, и глубокой осенью мать отправилась в рязанские края в поисках дойной коровы: толк в них она понимала. Сорок тысяч, огромное количество бумажек, были зашиты под подкладку пальто. Путь туда был страшен. Могли отнять деньги при покупке, мать выбирала корову и купила ее не сразу. Но все обошлось. Обратный путь — свыше трехсот километров пешком, да с коровой, и в ноябре, когда мороз прихватывал землю и на ночь надо было выпрашивать постой, а днем брести одной с Зорькой (все коровы были у нас Зорьки), мать эту корову сразу же после покупки «для счастья» перекрестила в Зорьку — этот путь для сорокапятилетней женщины, по-моему, был равен подвигу. Больше всего мать боялась, что корову у нее просто отнимут в пути. Это было бы катастрофой. Но она дошла, привела, и когда поставила Зорьку в сарай, в первый раз заплакала от счастья.

Поллитровая кружка молока стоила тогда 30 рублей. Зорька давала больше тридцати кружек (счет на литры у нас никогда не велся). Мать, умевшая в отличие от безалаберного отца вести хозяйство твердо и умно, кружок семь-восемь оставляла семье, остальное продавала. Когда я в конце сорок четвертого года приехал с фронта домой, у матери было все — и хлеб, и мясо, конечно, не каждый день, сестры ходили в новых пальто. Если бы не корова, я не представляю, как бы они прожили на четырехста рублей отцовой пенсии: вся пенсия — тринадцать кружек молока.

В пятьдесят восьмом году Хрущев стал сводить коров, ему казалось, что частная собственность, даже в таком виде, мешает на прямом и чистом пути в коммунистическое будущее. Сколько отчаянных писем получал Твардовский от своих избирателей из Ярославля, и что он мог сделать, как защитить коров, обреченных на заклание во имя наступающей зари коммунизма. Хрущев собирался догнать Америку по мясу и молоку за два-три года, а в программе партии, принятой двадцать вторым съездом, провозглашалось, что коммунистическое общество будет построено к 1980 году. Дайте мне в таком случае жить по потребностям, ведь сейчас восемьдесят первый год. Ах, вы собираетесь менять программу партии, у-гу... А ту потом тоже сменят?

Зачем только под ту, устаревшую, уничтожили коров? Владение ими в рабочих поселках было директивно запрещено, и мать была в отчаянии. Напрасно один из зятьев, экономист, доказывал, что корова уже не приносит ей никакого дохода, доказывал абсолютно верно, корова к тому времени была, пожалуй, убыточна, мать, с детства проживая возле нее, не представляла жизни без своего молока, которое сама, между прочим, не очень и любила. Зорьку свели со двора, матери выплатили заранее какую-то компенсацию, несколько месяцев она жила в напряжении: как-то пойдет жизнь без коровы. Жизнь пошла нормально.

Мяса и молока хронически нет. Говорят, что в Архангельске молоко выдают по рецептам.

Недавно читали по райкомам письмо о продовольственном положении. Опять засуха, снова недород. Сколько будем покупать хлеба за границей? Сорок миллионов пудов? А если не дадут? Если мы в Польшу вломимся? А не дадут — и еще тридцать пять миллионов кормить надо будет. Что тогда? Лет двадцать назад зам. зав. Отдела пропаганды ЦК Василий Иванович Снастин (царство ему небесное, умер, бедняга, снятый с больших постов) говорил мне: «А ты знаешь, почему мы покупаем хлеб за границей? — это на мою нахальную реплику, что, мол, дожили, впервые в истории государства российского не вывозим этот изначально русский продукт, а ввозим. — Почему? — Потому что у нас золота много», — гордо ответил бывший главпуrowsкий¹

¹ Главное Политическое Управление Советской Армии. На правах Отдела ЦК КПСС.

полковник, красавец мужчина, гроза официанток. Тогда он так отвечал. Так что, по-прежнему золота много? В письме, зачитанном месяц назад, и намек на серьезный ответ нету. Оказывается, надо повышать соцсоревнование, тем и спасемся.

...В год моего рождения — двадцатый — Ленин послал Луначарского в Полтаву. Там жил Короленко. Ленину хотелось приручить к себе знаменитого писателя, не симпатизировавшего большевикам. Луначарский приехал в Полтаву, у Короленко только что ни за что ни про что расстреляли зятя, разговор с ним был труден. Красногорчиче Луначарского не спасало, ни в чем убедить Короленко он не смог. И тогда ему, человеку по натуре легкому (было в нем что-то от Хлестакова, брался судить почти обо всем на свете, а в культуре просто обо всем, отчего прослыл энциклопедически образованным, а эрудиция вся была по верхушкам, все его сочинения — густая марксистская социология, выраженная чистым адвокатским языком присяжного поверенного, отруби с кремем) не пришло в голову ничего лучше, как пригласить Короленко выступить в печати. Вы напишите, а я вам отвечу, вынесем спор на люди. Если Луначарский надеялся переспорить Короленко, предварительно поспорив с ним наедине, то есть зная его аргументацию, то можно только развести руками. Или уж наркомовская самоуверенность так в голову ударила. Короленко не замедлил с первым письмом. В печати, газетах, как было договорено, оно не появилось. Короленко написал второе, потом третье. Ни ответа ни привета. И даже на письмо Короленко, получены ли его письма, — глухое молчание. Короленко умер, а через год в Италии все три письма появились отдельной книжечкой и известны теперь как «Письма Луначарскому».

Эти письма, безусловно, — выдающийся документ русской публицистической мысли. Поразительно: в кровавой сумятице тех лет старик, стоявший в нескольких шагах от могилы, сумел сохранить хладнокровную ясность мысли и понимание обстановки, в которую революция ввалила Россию, письма и сейчас на читателя действуют ошеломляюще. Все видел и понимал! Эти письма я прочитал несколько лет назад как открытие, они объяснили мне многое не только в нашей истории, но и в нашей нынешней действительности. Удивляюсь, как можно было тогда все так увидеть и понять. В этих письмах Короленко — гений.

Среди многих упреков большевикам, выраженных, однако, с усталой мудростью человека, не сомневавшегося, что все равно не дойдет, а потому и не горячившегося, — обвинения в терроре, в использовании любых средств для удержания власти, в идейной и прочей нечистоплотности, есть один, наиболее тяжкий и неотразимый. Вместе с политической машиной, пишет Короленко, вы необдуманно разрушили и хорошо отлаженную, созданную годами и десятилетиями умами талантливых людей экономическую машину. Вы подорвали хозяйство и сделали все, чтобы оно пришло в невообразимый упадок. Вам надо было изменить власть, изменяли бы. Но зачем при этом вы привели в хаос народное хозяйство, разве оно мешало вам заниматься социалистическим переустройством так, как вы хотели того? Вам же все равно придется кормить народ и одевать его. Вы будете создавать то, что по неразумию сами поломали до основания. Сейчас вы спасаетесь продрозверсткой, но разве это спасение и разве эта жуткая мера экспроприации уберегла вас от голода и всеобщего мора? Не кто-нибудь, а именно вы довели страну до страшного состояния. И он предлагал, не требовал, а именно предлагал: отмените продрозверстку, она — никакое не спасение, подумайте о том, как восстановить то, что вы сами разнесли в прах своими руками. Не провозглашенный вами военный коммунизм, а новые экономические пути — единственный путь спасения России.

Я излагаю это своими словами, читал сравнительно давно, книжки у меня под руками нет, и попала-то она ко мне случайно, но, разговоривая тут с одним писателем, тоже читавшим письма, я сказал ему: «А ведь Ленин взял у него все главные положения эпохи», и он мгновенно, не задумываясь: «Ну как же, конечно, спер».

Не знаю, спер или нет, но нет сомнений в том, что Луначарский показал Ленину короленковские письма, не мог не показать, ездил по комзаданию, должно быть, получил от Ленина нагоняй, зачем согласился на публичный обмен письмами в печати, потому и не ответил писателю, что было просто неприлично. Как бы Луначарский ни оправдывался, он говорил потом, что не получил второго и третьего письма, трудно в это поверить, а если это так, то что же, письма к Луначарскому перлюстрировали тоже?

Так или иначе, новая экономическая политика удивительно повторяет во всех своих решающих пунктах то, что писал Короленко. Если Ленин призадумался, читая Короленко, делать-то надо было что-то, мировая революция погасла, и слабых зарниц

ее не мелькало на историческом горизонте, а Россия еле дышала, опухшая, еле передвигавшаяся от голода, и почти издыхала.

Не от стыдливости, о нет! — Ленин назвал эту новую политику отступлением, да еще вынужденным, в то время как это было не отступление, а шаг вперед на выпрямление жизни, самой истории из того чудовищного зигзага, который был совершен в семнадцатом году. Социальный эксперимент слепил глаза и не позволял увидеть трезво, как и куда идет жизнь. Нэп Ленин провозгласил, но не понял, что это не временное, вынужденное спасение (опять передышка, как при заключении Брестского мира), а единственно реалистический путь дальнейшего движения нашей жизни. Он не мог этого понять, потому что такая точка зрения решительно противоречила всем его марксистским взглядам, по которым новое общество должно жить не на принципах частной инициативы, вообще инициативы, преимущества личности над обществом, массой, а только на сугубо головном предположении, что общественное владение средствами производства в отличие от частнокапиталистического и есть социализм, наступление новой эры. От такого представления Ленин отказаться не мог, все иное было оппортунизм, отступление от марксизма <...> К беде человечества, в России и у народов, населяющих нашу страну, это учение стало единственным из множества, вторгшимся в жизнь, попытавшимся стать из утопии реальностью. Стать таковой оно никак не могло, как не может стать мираж реальным ландшафтом, и потому марксизм с первых своих шагов начал приспосабливаться. В таких случаях прежде всего приспосабливают слова к действительности, то есть, попросту говоря, слова начинают совершенно не соответствующим им содержанием.

Корни тоталитаризма не в Сталине или Ленине, а в марксизме, который отважно берется не только объяснить все на свете, но и прогнозировать, как люди будут жить в будущем. Приметы тоталитаризма без труда можно найти и у Оуэна, и у Бабефа, и у Фурье — у любых утопистов: все они без исключения регламентировали будущее, у всех у них оно выглядит как счастливое, но казарменное существование. Достоевский, увлекшийся в молодости фурьеризмом, почувствовал это остро и возненавидел его именно за эту регламентацию.

А регламентация невозможна без регламентирующих, то есть без власти.

Нэп был опасен, потому что он умалял власть, а, захватив ее, большевики больше всего на свете боялись ее потерять. Малое умаление приводит их в испуг. В середине шестидесятых годов поломали даже сверххуцую экономическую косыгинскую реформу. Чехословакия с шестьдесят восьмого пугала своим примером: там тоже умалялась власть. Теперь мы это наблюдаем в Польше, где коммунисты уж просто теряют рычаги управления, а они должны быть в их руках все, все без исключения. В этом суть тоталитаризма. Иначе он уж не тоталитаризм.

Россия начала двадцатого века, несмотря на все препятствия, которые чинило хозяйственному и политическому прогрессу законсневшее выморочное самодержавие, стремительно набирала свой ход. Исторические потенции ее были исключительно велики. Подумать только: после таких ураганных потрясений, как революция и гражданская война, Россия, после объявления нэпа, за год, всего лишь за один год встала на ноги. Кривая роста так круто поползла вверх, что это, по-видимому, начало пугать руководство страны. Обычно послеленинские годы сводят к борьбе за власть между Сталиным и Троцким, де лежу ее Каменевым, Бухариным и т.д. Борьба, конечно, была, да еще какая, но, между прочим, Сталин всего только осуществил план Троцкого, предварительно, разумеется, похерив все, что с ним было связано, и изгнав его за пределы страны. Троцкий к крестьянству относился несколько не добрее Сталина, если не жесточе его. Случись власть у Троцкого, еще неизвестно, на каком взыве жили бы мы все. А Троцкий...

Один из работников ИМЭЛа¹ рассказывал мне, что перед болезнью, предчувствуя ее, Ленин уже подумывал вполне реально о своем преемнике. Что такое Сталин, он уже понял. И в ИМЭЛе хранится письмо Ленина и ответ Троцкого. Ленин предлагает Троцкому на случай его заболевания занять его пост. Троцкий отказывается. Предлог: во главе партии и страны надо бы все-таки поставить русского. Было ли это тактический маневр Троцкого? Трудно сказать. Но если бы Троцкий согласился и не было бы Сталина, а был бы он, Троцкий, то вполне возможно, что он начал бы

¹ Институт Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКП(б) с 1931 г. С 1956 г. — Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС.

осуществлять все, что потом делал Сталин, еще раньше его и способами, несколько не менее жестокими. Военный коммунизм, ЧК, продразверстки и прочее, и прочее не Сталин придумал, к этому приложили руку Ленин и, может быть, в еще большей мере Троцкий (к ЧК, правда, он не имел отношения, но мог бы иметь).

...Я пишу все это и чувствую необходимость отдернуть руку от написанного: вдруг подумают, что я что-то подобное думал в то время. Ну, не я, куда мне, а отец мой, или мать, или тот же Степан Павлович, первый крюковский партиец, разговаривавший с самим Лениным.

Нет, никто так не думал. То есть кто-то наверняка думал, но было таких микро-скопическое число на всю Россию. Это только теперь мы скопом, массой, лавиной, все еще молчащей, живущей в двух измерениях — искреннем делая себя, близких и неискреннем на виду, на собраниях, где мы делаем все так, как делалось и говорилось и при Сталине и делалось и говорилось бы и при Троцком, и при... да мало ли кто мог быть вместо Сталина, разве в нем суть? Суть в эксперименте социалистическом, в который вверглась Россия и который мы еще продолжаем тянуть, хотя итог, ответ эксперимента более чем ясен. Мы не знаем только, как, и когда, и какой кровью он кончится...

Может, и слава Богу, что не знаем? А то уже сегодня бы задохнулись.

Тогда было голубое утро моей жизни, все дни казались светлыми и просторными, я еще не очень представлял, что такое год, существовали зима и лето и что-то между ними, называвшееся осень и весна. Лето я больше любил, но и зимой были свои удовольствия — кататься на ледянках. Лепилось из навоза что-то похожее на круглую корзину, обливалось водой, замораживалось, ах как славно было на этой ледянке скачывать с горюшки. Невысокой, конечно, метра три-четыре, все равно дух захватывало.

Летом моя мать и отец работали в коммуне. Насколько я понимаю, коммуна была абсолютно простой и, значит, столь же абсолютно справедливой организацией. Два поля осталось после заводчика Рахманова; у него было три кирпичных завода, поблизости от железной дороги, глины у нас везде хватало, заводы сразу же были облюбованы ГПУ, и в них были устроены исправительно-трудовые колонии...

...Не для этого ли приезжал на дрезине в Крюково Дзержинский? Это тоже одно из самых моих ранних воспоминаний. Открытая дрезина, я уже знал, что это такое, на ней приезжало железнодорожное начальство, мы облепляли ее, приезжала она не так уж часто, появление ее — событие. Откуда-то появился возле нее высокий человек в шинели, мальчишки загомонили: «Дяденька, покатай!», человек этот спросил сидевшего в кожаной кепке водителя: «Давай их... — подумал, — вон до того моста». «До моста, до моста!» — восторженно вскричали мы, тотчас взобрались на деревянные скамейки дрезины. Нас довезли до моста и обратно. «Еще!» — попросил кто-то. «Нет, — строго сказал человек в шинели, — надо ехать». Вечером я услышал, как отец говорит матери, в голосе его звучала почтительность и испуг: «Приезжал Дзержинский...» Кто это такой, я не знал. На дрезине мы прокатились хорошо, и этого мне было довольно.

...Чего ж я забыл о коммуне, это поважнее встречи с Дзержинским, о которой я почти ничего не помню: худой усатый дядька, унылый, кажется, ни разу не улыбнувшийся, и ничего больше... А коммуной называлось товарищество железнодорожников, совместно обрабатывавших два поля, десятин на двадцать, сеяли там картошку и свеклу, вместе в мае выходили сеять, в сентябре убирали урожай, свекла иногда стояла до октября. Месяцы я хорошо запомнил, потому что коммуна просуществовала вплоть до коллективизации, когда поля отобрали и передали какому-то колхозу. Я в это время учился в четвертом или третьем классе.

Вместе работали и вместе делили урожай по числу работающих. Весь урожай. Никакому государству ничего не сдавали. Ни килограмма. Вот это я хорошо запомнил, и долгое время слово «коммуна» у меня вызывало именно это представление: вместе и всем — кто что заработал. Не потому ли работали так дружно, и когда мать или отец говорили: «Пойдем, Лешка, завтра в коммуну», я вскакивал и плясал: «Пойдем! Пойдем! Пойдем!». Эта работа до сих пор у меня ассоциируется с праздником. По всему полю мешки с картошкой. «Иван Иваныч, вот твои три борозды», отец начинает копать, мать в веселом платочке, через борозды крик, шутки, кто-то завидует: «А у Емельяныча-то еще те картохи». «А-а-а, — протягивает кто-то, — досталось по жребию...» (борозды вытягивались по жребию). Мы носимся по всему полю, особенно нас тянет на участок, где растет турнепс, и хоть запрещено его дергать, но мы тайком стянем — и за березы, окольцовывающие поле, и там едим: турнепс вкусный.

Я понимаю, что более чем наивно представлять коммуну и коммунизм вот в таком виде. Но, по правде говоря, в той коммуне больше от подлинного коммунизма...

В пятьдесят втором году меня выживали (или вышибали) из армии.

Как я хотел демобилизоваться после войны, еще в сорок шестом году, когда реальной стала опасность навсегда остаться на Дальнем Востоке, в захолустном Ворошилов-Уссурийске, где располагался штаб военного округа и наша газета «Сталинский воин», ставшая из фронтовой окружной. Фронты кончаются, округа — это уже надолго. В сорок шестом я сделал мощную попытку уйти из армии, три месяца находился в Москве, между прочим, бюллетень мне помог на целых два месяца устроить мой же редактор, сам хлопотавший о переезде в столицу на повышение, давал кому-то в качестве взятки шикарные кимоно, мухлевал в медкомиссии, были неплохие связи даже в ЦК, предлагали мне там работу в тогда еще организовывавшейся газете «Культура и жизнь», ТАСС хотел сделать меня своим корреспондентом в Швейцарии, хлопотали за меня довольно влиятельные люди — ничего не получилось. Был приказ Сталина: никого из офицерского состава не выпускать с Дальнего Востока, почему так — до сих пор только смутно и неуверенно догадываюсь. Неужели уже тогда у Сталина роились какие-то мысли о войне в Корее или ином другом военном противостоянии с США на Дальнем Востоке?

Демобилизоваться я тогда не смог. О том, чтобы задержаться в Москве военным, я и не думал: кем, кому я нужен там? Успел я лишь жениться, что только усугубило отвращение к военной лямке и к Дальнему Востоку: жена училась на втором курсе МГУ. Бросать учебу и ехать ко мне? Глупо, это значило бы сдать. В двадцать пять лет, считал я, сдаваться рано.

То, чего не смог добиться влиятельные люди из ЦК и ТАСС, с необычайной легкостью сделала моя скромнейшая и тихая сестра Надя. Она работала секретаршей в ГлавПУ у генерал-лейтенанта Шатилова, и как-то, ни на что не надеясь, она сказала генералу, что брат служит там-то и там, женат, жена в Москве, и ему очень хотелось бы демобилизоваться. Генерал мгновенно отреагировал: демобилизовать он не может, а перевести в Москву, почему же?.. «Где служит ваш брат? Военный журналист? Нука, адьютант, узнай, в какой военной газете в Москве нужны журналисты? В «Сталинском соколе»? Там кто редактор? Полковник Павлов... А ваш брат всю войну служил у этого полковника? (К тому времени мой редактор добился-таки своего, его перевели с повышением, он стал редактором центральной газеты Военно-Воздушных Сил.) Так мы его туда и переведем, вашего брата, будет он к Новому году в Москве...»

Поскольку просто отозвать меня с Дальнего Востока даже генерал не мог, меня обменяли на двух офицеров: в телеграмме ГлавПУ так было сказано: «Отозвать старшего лейтенанта Кондратовича в наше распоряжение, в обмен на майора... и старшего лейтенанта...» Фамилий их я от радости не запомнил, хотя представляю, как они могли проклинать меня; Бог знает, кто они теперь и есть ли на свете. Многие из оставшихся моих друзей на Дальнем Востоке спились и умерли, были выгнаны из партии и армии. Исполнилась и их мечта: демобилизовались.

В Москве я работал все тем же журналистом, появились дети, поначалу все еще мечтал поступить в аспирантуру, мне ее прочили перед самой войной, но для этого опять же надо было демобилизоваться, а тут неплохие деньги, с гонораром тысяч пять, а то и больше в месяц, штатские журналисты из той же «Комсомолки» завидовали. И я стал привыкать к армии и ее порядкам, а и порядки-то все — козыряй на улице.

Зато когда запыхала борьба с космополитами и тон в ней задавал орган ЦК — газета «Культура и жизнь» (ее прозвали «Александровским централом» по имени начальника Управления агитации и пропаганды ЦК Александрова, снятого потом с треском Сталиным за блядство — шумное было дело, в котором обнаружился имена и известных актрисул, и идейно закаленных, как старик Еголин. После постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» он стал главным редактором «Звезды»¹), я благодарил судьбу, что не влип в эту чернотенную газету. Не все, далеко не все, но кое-что я и в то время понимал, во всяком случае, эта газета была бы не для меня.

Теперь-то я отлично понимаю, от чего меня, наверно, спас полковник из отдела кадров ГлавПУ Дедюхин, отвечавший за кадры журналистов — в его мертвой хватки

¹ Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» отменено как ошибочное 21 октября 1988 г.

руке были все пишущие. Вряд ли он жив, но и покойничку готов положить цветочки на могилу. Окажись я в сорок шестом в «Александровском централье», не миновать бы мне написать несколько статей о космополитах. Как бы я жил теперь? С какой совестью? Кем бы я был вообще, каким подонком? Страшно подумать. Ну а если бы стал рыпаться в «Централье», то тоже меня ожидала бы еще та перспектива. Куда ни кинь... А что бы со мной стало, окажись я в Швейцарии? Стал бы журналистом-международником, самой последней сволочью, разоблачающей, бесстыдно лгушей, обличающей капитализм и одновременно не мнящей и года прожить без заграникомандировки, откуда и барахло, и голубые унитаза, и «мерседесы», и тайно, со страхом провозимая через границу порнография. На людях: «Вы знаете, в Америке страшно ходить по улицам после девяти часов», в печати для нас, дураков: «Капитализм ничего не может дать трудящимся», а сам этот «трудящийся», предложи ему вместо Нью-Йорка поехать спецкором в Читу, — как он переполонится.

Кем бы я мог стать там?.. Но не приведи Господь...

И за это спасибо полковнику Дедюхину, уберег меня от Швейцарии и всего дальнейшего, что могло за ней воспоследовать. Опять же страшно подумать.

В общем-то мы не очень выбираем свою судьбу, она выбирает нас. Тыркнулся я в разные места в сорок шестом, не получилось, и как хорошо: выясняется, что и славно, что не получилось, что судьба распорядилась мною иначе.

Но это, конечно, начинаешь понимать, когда минуешь два-три жизненных поворота, тогда и высветится со всей очевидностью, куда ты мог попасть по собственному желанию и в свое время еще как переживал, что не попал.

Так или иначе, я жил в Москве, все еще подумывал о литературе, написал даже несколько рецензий на книги. Рецензии были ужасные, но не проработочные. Мои друзья и знакомые из демобилизовавшихся жили кто как. Я не хуже, а то и лучше некоторых.

И опять я не знаю, что было бы со мной, останься я в армии еще лет на десять — пятнадцать, дослужился бы до военной пенсии, а дальше что? В козла забивал бы сейчас? Или на старости лет вспомнил бы литературу? Но о чем бы я мог писать?

В таком случае огромное спасибо еще одному полковнику. Симакову. Фамилию эту пишу как отдельную фразу. Готов вынести ее и в отдельный абзац. Он в моей жизни сыграл, как принято говорить, решающую роль.

— Вы ездили с Павловым к Вышинскому? — спросил он меня, полистав до этого блокнотик, как я потом догадался, с компрометирующими меня и других, кого надо, данными.

— Да, ездил.

Случилось это года два или три до разговора. Я проверял на очень многих, и почти никто не помнит, что в конце сороковых годов Сталину вдруг пришла мысль отменить смертную казнь. Загубив в тюрьмах и лагерях миллионы и миллионы, он отколол неожиданное коленце, а может, хотел произвести впечатление, внушить всем, что смертные приговоры у нас были редким явлением. Так или иначе, в один прекрасный день в седьмом часу вечера в редакцию поступила восковка ТАСС с указанием по телефону, что Указ об отмене смертной казни должен сопровождаться передовой. Эту передовую Павлов поручил написать мне. Срочно! Ему еще было приказано привезти эту передовую на показ Вышинскому, тогда заместителю Председателя Совета Министров СССР. Редактор до этого уровня в жизни не поднимался. Каждые полчаса он заходил в комнату, где я писал, и спрашивал чуть ли не шепотом; все в это время зависело от меня, я отвечал, не поворачивая головы: «Пишу», и редактор тихо закрывал дверь. Интересно, что я там тогда написал, не могу вспомнить, но уж, наверно, что-то о гуманности нашего общества, партии и правительства и гениального учителя и вождя, обо всем этом, конечно, было и в начале, и в конце. Но что я умудрился настроичить в середине? Как-никак пять-шесть страниц на машинке надо было намахать. К девяти намахал. Редактор, весь подтянутый, строгий, обрел голос и уже не шепотом: «Поедешь к Вышинскому со мной». Я понял, что поеду на случай поправок, чтобы был под рукой сей момент. Китель на мне был грязноват, в каких-то пятнах. Я увидел проходившего по коридору зам. ответственного секретаря майора Столлнера в чистеньком аккуратненьком кителе, как раз моего роста, и сказал ему: «Давай на время переоденемся, а то неудобно, к Вышинскому». Я свой капитанский ему, он мне — майорский: всего и делов-то...

— Так вы ездили к Вышинскому в майорском кителе? — угрожающе спросил узколицый, бледно-серый, как картофельная ботва в подвале, Симаков.

— Да-а... — протянул я, все еще не понимая, какой криминал совершил я несколько лет назад.

В приемной Вышинского на Кузнецком мосту (Вышинский был еще и министром иностранных дел) суетились перепуганные редакторы. Выбежал из кабинета кто-то покрасневший. «Это Ильичев», — сказал мне весь, как заведенная до отказа пружина, Павлов. Ильичев, редактор «Известий», недовольно потащил за собой, повидимому, такого же, как и я, автора передовой, они скрылись в соседней комнате. Ясно, что дописывать, переделывать. Редактор мой побледнел и просипел от волнения: «Пошел Поспелов». Это уже сама «Правда». Поспелов сидел у Вышинского минут десять, выскочил оттуда еще более ошпаренный. Но я уже заметил, что главные входят в одиночку, без таких, как я. И я, спокойный, стал уже веселиться: интересно, как следующий будет выброшен катапультной из кабинета с высокой дубовой дверью. Вылетали кто как. Чем ближе доходила очередь до Павлова, стали вылетать быстрее, думаю, что Вышинский уже не придавал такого значения другим газетам после «Правды» и «Известий». Наступил черед моего редактора. Павлов, степенно шествовавший по коридорам нашей редакции, мышью юркнул в чуть приоткрытую дверь. Пробыл он там минут пять, не больше, и по его явившемуся из-за двери лицу я понял: Виктория! «Полторы тыщи!» — сказал Павлов, увлекая меня вниз по лестнице. Плюхнулся в «эмку». «Полторы тыщи тебе за передовую, — и залился счастливым смехом. — Ни одного замечания. Ну ты молодец, ух, молоде-е-ц!» Только не похлопал меня по крупу, как лошадь, выигравшую скачку. Но приз был мне выдан: за передовую полагался гонорар пятьсот рублей, а эта была оценена невероятно, вопреки всем ставкам и нормам, в полторы тысячи. Я не поверил обещанию и через две недели удивился, увидев в гонорарной ведомости кругленькую сумму. Павлов сдержал свое слово. «Молодец», — засмеялся я, получая деньги. «Ты это о ком?» — спросил меня кто-то из стоявших в очереди в кассу. Усмехнувшись, я махнул рукой: «А-а!..»

— Так вы, что же, так и не понимаете, что вы сделали? — голосом, набирающим силу непрерываемого закона, продолжал Симаков. Есть такая интонация, когда разговаривающий с тобой от имени Закона сразу дает понять, что ты мелюзга, что есть высочайший поднебесный закон, а ты, нарушивший его, — ничтожество. Истинно — мелюзга, а то и мразь. Но какой я закон нарушал? Ну, поехал к Вышинскому в майорском кителе, мой-то был не совсем чист, ну и что тут такого?

— Так вы даже не понимаете, — округляя от ужаса свои маленькие, глубоко вбитые в темные глазницы глаза и повторяя: — Вы даже не понимаете, что к Вышинскому, заместителю Сталина, — «Сталина» он произнес с благоговейным почтительным страхом и невыразимой любовью одновременно, — вы поехали в не принадлежащей вашему званию форме! — выкрикнул он.

Между прочим, в это время я сидел перед ним в майорском кителе: я уже стал майором...

Тем, кто не жил тогда, наверно, трудно представить то особое чувство (чувство вообще нельзя ни представить, ни вообразить, его надо пережить хоть один раз), когда по нервам вдруг пробежит тянущий, вибрирующий страх, словно тебя уже втягивает в черную воронку, а что с тобой будет, когда ты окажешься в воронке? Противное, унижительное чувство. Парализующее чувство, если ты к нему еще не привык. А я не привык. Сухое серое лицо — профиль следователя, палача — смотрело на меня, испепеляя мелюзгу холодным презрением человека, все понимающего, к человеку, ни черта не понимающему. Не соображающему даже, что ему грозит.

Но я кое-что понял. И я завилал:

— Да, наверно...

— Не наверно! — загрохотало в начальственно-пыточном гневе. — Не наверно, а в действительности вы совершили не проступок, а, если переводить на язык военных уставов, преступление!

О-ох куда повернул! Мне в голову не пришло, что ни в каких уставах не написано ничего на этот счет. Ну понятно, что не положено. Этак я еще генеральский мундир на себя напялю. А тут Вышинский. Тут сам Сталин! И я залепетал что-то жалкое: да, не понимал, совершил ошибку, правда, это было давно...

— Что значит давно, когда выясняется, что до сих пор не понимаете значения своего проступка! — заревел Симаков. Эх, идиот, опять я не то сказал!

Я понимал, что копают не под меня, а под Павлова, именно его Симаков и кто-то выше Симакова хотели снять с поста редактора. Это я чувствовал. Я отлично пони-

мал, что Павлова можно снять, коли на него будет «материал». И всего лишь не дотепывал, что, собирая «материал» на Павлова, неизбежно заводят «материал» и на меня.

Какой, я узнал потом, спустя несколько лет. Нет, не в майорском кителе было дело, кителем меня, дурачка, пугали, дело заводилось посерьезнее, настоящее «дело». Но и ничего не зная и не очень-то понимая, куда все клонится, я ощущал грозные, пугающие толчки почвы под собой. В сталинские годы, а может, еще и раньше их, в людях вырабатывалось что-то похожее на звериный и птичий инстинкт, когда еще до землетрясения или наводнения живое, неразумное вдруг покидает свои гнезда и обиталища и устремляется от надвигающейся беды. Вступает в силу неизвестное и не имеющее названия предчувствие. Озираясь умом, я понимал, что мне что-то грозит и, надо что-то делать.

Я принял самое простое решение, какое принимает грызун, заяц, лиса, медведь: надо бежать, вот-вот на меня хлынет вода, и я захлебнусь в ней.

И опять самое простое — демобилизоваться.

Но я уже прослужил в армии чуть не десять лет. Заводить снова разговор об аспирантуре? Глупо. Переходить в гражданскую газету? Поди найди предлог для этого. Надо смываться по болезни. Так, как я уже пробовал в сорок шестом, только тогда не прошло, а может, теперь выскочу. Сразу же были включены два сердечных спазма, после одного из них я лежал в Лефортове в госпитале. Мало, но все же кое-что. Теща-психиатр открыла мне другую тропинку, и вот я сначала в больнице Кащенко, знаменитой Канатчиковой даче. Ехали туда долго на трамвае, над голыми сучьями больничного сада разносился весенний вороний грай. Что-то там у Кащенко у меня обнаружили, вернули в Лефортовский госпиталь, там за мной щелкнул ключ двери пятнадцатого психиатрического отделения, я перепугался, а вдруг найдут кое-что в самом деле и не выпустят; кричи, что не сумасшедший. Но меня внимательно осмотрели и обнаружили психастению. Я сообразил, что выпустят: не шизофрения, а психастения, как-никак звучит. Не очень, конечно, но не лишний добавок. А тут еще давняя щитовидка, от которой учащенное сердцебиение и другие неприятности.

Набралось негусто... Но опять же инстинктом я чувствовал, что выпустят, если я буду ускользать в этом направлении, медицинском. Не нужен был я им. Мешал. Откроют дверь — и беги. Беги, заяц, и не оглядывайся!

Году в пятьдесят шестом, летом, повесился после очередного запоя поэт Вася Сидоров, единственный из писателей, оставшийся после войны в нашей редакции «Сталинского сокола», тогда спешно переименованного в газету «Советская авиация». Поэтик слабенький, из ударников в литературу, было такое движение «ударники — в литературу» в начале тридцатых годов. Дослужился одним из первых членов ССП до подполковничьего звания, уже и внуки появились, от вечного пьянства Сидоров был худ и темен лицом, но все его так и называли — Васей. Не обижался, мужик был славный. Повесился в уборной на подтяжках и записки не оставил, и никто не спрашивал, что оставил, что написал, все и так знали: дошел до точки от алкоголя и вечных скандалов дома. И вот на Ваганьковском ко мне подошел во время похорон подполковник Вишенков и говорит: «А ты знаешь, что тебе шили в пятьдесят втором?». Я не знал. И вдруг: «Тебя хотели арестовать за связь с белогвардейцами в Харбине». Бог ты мой. Никаким умом я не додумался бы до этого. Но ведь дельце-то можно было состряпать, и покатилося бы как по маслу. В Харбине был в августе сорок пятого. Не только был, но и «взял» этот город с миллионом населения. Спустились мы на «дугласе» с парой отделений стрелков во главе с генерал-майором Шелеховым, на харбинском аэродроме нас уже ждали почтительные японские генералы, тотчас же отрапортовали о капитуляции гарнизона. Точно так же через несколько дней я «овладел» в Северной Корее Пхеньяном. Войны на Востоке фактически не было. За день до нее американцы сбросили на Японию две атомные бомбы, что там ни говори теперь об этих бомбах, они решили исход второй мировой войны, окончательный. Тогда же я спросил одного японского генерала, как долго они смогли бы сражаться с нами, и он ответил: «Год бы мы вас подержали, но мы знали, что все равно игра проиграна, и император Хирохито не хотел бессмысленно жертвовать человеческими жизнями. Опять же эти страшные бомбы...» Сколько бы мы и японцы потеряли за год, а за полгода, за три месяца? А я, разъезжавший и летающий над всей Маньчжурией, слышал выстрелы только в первый день нашего наступления. Ни одного трупа — ни нашего, ни японского — в глаза не видел. Так вот, в этом «взятом» и мною Харбине (смешно у Симонова: «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом первыми врываются в города») я видел много русских. Одна улица — Китайская — сплошь

состояла из русских магазинов и лавочек, рестораничек и пивнушек, была даже вывеска: «Хиромантка А.Б. Добросклонова принимает с трех до пяти ежедневно, кроме воскресенья». Я разговаривал и с уборщицей в гостинице «Ямато», женой забайкальского казака, помятой эмигрантской судьбой женщиной, все еще недоумевавшей, зачем им с офицерами надо было удирать через Амур, и с молодыми ребятами лет по двадцати и меньше, не видевшими в глаза России и заочно влюбленными в нее, мечтавшими посмотреть на родину. Все они, большинство-то во всяком случае, создали «Союзы за возвращение» и были счастливы, когда получили советские паспорта. Потом всех их переправили в наши лагеря. Ни одного из русских, возвратившихся из Маньчжурии в сорок пятом, я потом никогда не встречал. Исключение — писательница Наталья И.тина, приятельница Вертинского, жившая и в Харбине. Ее воспоминания опубликованы у нас в «Новом мире».

Так вот, если добавить к этим случайным разговорам, сплошь от первого до последнего слова патриотическим, да еще хождения по русским магазинам, где мы поглядывали на красивых русских девушек-продавиц, да еще кутежи в ресторанах, но ни ни, только в своей компании, офицерско-корреспондентской — так вот и все мои связи с белогвардейцами. Все. Больше ничего. Но сколько «дел» шилось из воздуха! Николай Заболоцкий, приехав из ссылки, с немалым удивлением узнал, что сидел по «делу Тихонова Николая», в то время первого секретаря Союза писателей СССР. Клеили дело на Тихонова, но потом кто-то приостановил, а Заболоцкий — подготовительная улика на Тихонова — шесть или семь лет отгрозил в ссылке. Чего же мне-то поражаться. Я только покачал головой, узнав новость от Вишенкова. «Ну и ну...» — и подумал, как я тогда вовремя ускользнул...

Меня не преследовали, хотя еще месяца три после того, как я получил выходные, офицерские (что-то около девяти тысяч, вместо девяти лет выслуги у меня получалось четырнадцать: военный год считался за три) я все еще ждал, что вдогон пальнут по мне. Телефонный звонок прозвонит из одного отдела кадров в другой, может одна берущая сторона спросить, а что из себя представляет Кондратович, не поленится и другая, выпускающая из своих когтей, учтите, что этот Кондратович... вот чего этот Кондратович натворил и кто он при просвечивании — я, наивный человек, не мог сообразить. Знал, с какой стороны выстрелят, могут выстрелить, но за что?

А вот за то, «за связь с белогвардейцами в Харбине». Влепили бы и в одном месте, и в другом, и в третьем... И походил бы я еще по редакциям, поунижался в поисках работы.

Кем я был тогда, в пятьдесят втором, после демобилизации? Со стороны анкетной чист как стеклышко. Ни один из самых дальних и вообще известных мне родственников не числился «врагом народа». За границей — никого и никогда. В оккупации — тоже. Я участник войны. Два ордена. Член партии, вступил еще на фронте. Идеальная биография. Была у меня даже одна лукавая деталька в биографии, и я, всегда ощущая подземную вибрацию, с удовольствием вставлял ее во все анкеты. В конце сорок первого года я оказался в Ашхабаде, в армию меня не брали, был белый билет по состоянию здоровья, в сороковом году я пережил болезнь, вызывавшую во всех медкомиссиях немедленное: «Негоден», — церебральный арахноидит, если говорить проще — воспаление так называемой арахноидальной, или паутинистой, оболочки мозга. В Ашхабад я эвакуировался вместе со своим Институтом истории, философии и литературы (ИФЛИ), надеялся там поступить в аспирантуру, очень меня прочили в нее, но в эвакуации аспирантуру поломали, я с месяц учительствовал, потом мне кто-то предложил должность начальника республиканского клуба НКВД. Мне обещали паек и обед в какой-то столовой, мы, ифлийцы, в то время уже голодали. Я с радостью клюнул на эту житуху и до сих пор удивляюсь, как меня не поддели тогда на крючок. В Наркомате внутренних дел Туркмении был надо мной начальник капитан Михеев, мужчина лет тридцати, лицо властное, злое, один раз, когда он меня вызвал к себе, я еще до его кабинета услышал, как он кричал на кого-то: «Я покажу тебе, контрреволюционной сволочи!..», и я попятился от двери и долго слонялся по коридорам, боясь зайти к нему, а когда зашел, он сидел один, погруженный в какие-то важные бумаги. Почему он не завербовал меня в осведомители или еще на какую другую тайную должность по их части, не могу понять. Ключувший, я бы вряд ли куда-нибудь делся. Вот еще один поворот судьбы — мог бы стать подонком. А потом я уже так понимаю — всякие анкетчики, читая у меня «Начальник республиканского клуба НКВД. Ашхабад», наверняка думали, что я давно из их системы, и я писал эту должность в анкетах не без охранительного удовольствия. Между прочим, после двадцатого съез-

да я ее стал опускать, в конце концов я всего-то был этим начальником с февраля до июля, в июле ИФЛИИ переехали в Свердловск, и я был отпущен из клуба без сопротивления, начальника из меня не получилось, это видели все. Несмотря на свои двадцать два года, я выглядел неоперившимся мальчишкой, еще не брился, а главное, не было у меня административной жилки, я не мог приказать, повысить тон, выговорить и т.п. Я не рожден быть начальником, и очень хорошо, что так.

Анкеты мы заполняем сами, но кто-то незримый ведет неизвестное досье на нас. Блокнотик Симакова, в котором была занесена история с кителем, крохотная частица такого досье, и сейчас оно, в этом я абсолютно уверен, вполне увесисто. Во время откровенного разговора Твардовский иногда смотрел на телефон и говорил усмехаясь: «А-а, да черт с ним, все равно на нас уже там столько написано...» Если бы наступил такой Судный день, когда всем нам раздали бы для чтения наши досье, хранящиеся и пополняющиеся вплоть до нашей смерти в каких-то шкафах вполне определенных учреждений, что бы стало, если каждый из нас узнал о себе и о своих близких, знакомых, поскольку досье это заполняется в основном с помощью близких, знакомых и порой закадычных друзей — а как же иначе? Вот чтеньице-то было бы! Прелестный разрезик общества получился бы, вообразить даже невозможно, какой разрезик. И какой страшный сюжет для страшного романа. Мы не думаем, и напрасно, что наше двойничество существует не только в нас самих, так сказать, в наших душах, но оно постоянно фиксируется и на бумаге. Одно мы пишем, говорим, и другое пишут о нас, регистрируют подслушивающие холодные аппараты и доносят улыбающиеся нам друзья-товарищи.

Кем я был тогда, когда меня вышибали из армии; и уж какое-то досье на меня несомненно существовало. Дураки, могли и не вышибать, и я бы продолжал работать ничуть не хуже, чем работал до вышибанья: писал бы правильные статьи и очерки, голосовал бы на собраниях вместе со всеми и вообще ничем особенным не выделялся. Ну вот, правда, с некоторыми евреями дружил, но, простите, один из этих друзей как раз — это я потом узнал — и был главным стукачом на меня, он-то и заполнял больше других «мое дело». Интересно, кто же все-таки подсказал «связь с белогвардейцами», ах, как мне до сих пор хочется это узнать: не без выдумки был этот некто. Ну в разговоре, особенно в подпитии, я мог сказать и нечто вольное и неположенное, нет-нет, не о Сталине и правительстве и вообще не о советской власти, а, скажем, такое: «Все-таки не понимаю эту борьбу с космополитизмом, одни евреи — космополиты, а вот Ромен Роллан в свое время писал с гордостью, что он космополит, то есть гражданин мира, и это я читал в наших книгах до войны». Или такое: «За что Сурову дали Сталинскую премию? Говорят, что он работал в «Комсомолке» и стащил эту пьесу у Шифрина, теперь Шифрин обречается где-то в Сталинграде, а Суров премию получает». Чего вы, нынешние, улыбаетесь? Думаете, чепуха? В «Красной звезде» я тоже думал — что такого сказал, тоже думал, что чепуха, пока не посадили моего приятеля Сашку Петрова, и в числе криминалов — это он сам мне рассказывал после реабилитации — было: «Неодобрительно отзывался о пьесе Софронова». Ну что за мной еще было, кроме дружбы с евреями и не такого уж длинного язычка? Все-таки я был осторожен и далеко не все всем говорил вслух, за исключением нескольких друзей, в которых и сейчас верю. Не знаю, что было, не настал еще Судный день, и вряд ли мне посчастливится, впрочем, такое ли это счастье — держать в руках папку, заведенную на тебя.

Я могу считать себя счастливым человеком, потому что из всех жизненных вариантов судьба выбрала мне все-таки лучший. И другого я не хочу. В юности я мечтал стать поэтом, писал стихи, кончил заниматься стихотворством на третьем курсе института, сразу же после того, как на закрытом институтском конкурсе получил премию за стихотворение «Дождь». Не помню его, но что-то, должно быть, в нем было, если отметили премией, а в институте у нас каждый второй писал стихи, иные мнили себя гениями. Я не мнил, мне просто расхотелось подбирать рифмы, искать образы, в один прекрасный день все это показалось скучным, хотя если бы продолжал графоманить, то у меня сейчас не меньше двадцати сборников было бы. Это же нехитрое дело — писать стихи. «Хороните — хитрое, прекрасное, вовсе не доступное» А те, что в изобилии появлялись и появляются за подписью даже Героя Социалистического Труда, поверьте мне, — вовсе простое дело. Навык. Ремесло. Еще и самомнение, конечно. Вместе с нахальством.

Попад в ноябре сорок второго года на Карельский фронт, я приехал туда в качестве вольнонаемного сотрудника фронтовой газеты, у меня все еще был белый билет, и

считайте, что я поехал на фронт добровольцем, там я все порывался писать прозу, выпустил в Карелгосиздате книжечку об одном герое пулеметчике, послал однажды два рассказа в журнал «Красноармеец», и через год один из этих рассказов почему-то был напечатан в другом, я удивился, более серьезном журнале — «Октябрь» под рубрикой «Творчество фронтовиков». Может, из «Октября» попросили что-то из этого творчества у «Красноармейца»? Не помню, о чем был рассказ. Второй, не напечатанный, который мне больше нравился, как раз остался в памяти, а тот, опубликованный, начисто забыт. Но его хвалили на каком-то обсуждении в Союзе писателей, об этом писали в «Литературной газете». И опять чего-то во мне не хватало до графомана: характера, усидчивости, настойчивости — а так сейчас тоже было бы несколько романов и повестей. Снова то же самое: графоманскую прозу (а это не менее девяноста процентов нашего книжного вала), еще раз поверьте, писать — дело, в сущности, плевое, твердый зад для этого надо иметь и несокрушимое, без единой трещинки самонадеянность.

У меня не было ни того, ни другого. Я всегда заставлял себя писать. Понуждал. И меня надо было заставлять. И все, что я писал, мне не нравилось. Чуть-чуть, конечно, нравилось, но не дольше, чем несколько дней. Поэтому я не один раз начинал писать и романы, один раз даже пьесу, но дальше десятой — пятнадцатой страницы никогда не шел. А вот когда чувствовал обязательства перед кем-либо, то втягивался. Так, написал еще в конце сороковых годов, когда об участии наших летчиков в боях за Республиканскую Испанию ничего нельзя было писать и тем более печатать, целую книгу, листов на пятнадцать, за одного из таких летчиков — Героя Советского Союза Бориса Смирнова. Книга эта лежала несколько лет, а потом, в 1957 году, была напечатана Константином Симоновым в «Новом мире» без моей подписи. Смирнову хотелось быть автором, и он действительно написал страниц двести, мною переписанных и дополненных еще двумястами страницами. В 1961 году она вышла в «Советском писателе». Книжка вообще средненькая. Но что-то там было. Что-то было и в романах, которые я бросал в самом начале, но не больше, чем это «что-то».

Я и сейчас не люблю то, что пишу. Одна из мучительных обязанностей, именно обязанностей, поскольку никто за меня ее не выполнит, это вычитывать и править написанное. Опубликованное читаю чаще с досадой, хотя кое-что может и понравиться: вроде ничего. Не знаю, каким образом, но я приучил себя к мысли или смирился с ней, что «вроде ничего», я могу, но ведь и у многих других «вроде ничего», а то и просто ничего.

Значит, надо. И другая, пожалуй, самая понудительная мысль: я знаю то, что никто, кроме меня, не скажет, и если я не скажу, то со мной и уйдет. А этого нельзя допустить. Пиши тогда, нечего рассусоливать, гений тоже мне нашелся.

Так я не стал ни поэтом, ни прозаиком, ни даже более или менее серьезным журналистом, и в газетах, где я работал чуть ли не десять лет, я не написал ничего такого, что стоило бы внимания. В тех газетах, где я работал, это было и невозможно, да и в каких возможно — не будьте наивными.

На долгое время я стал редактором, изредка что-то пописывающим.

И мне посчастливилось пережить звездный час такого журнала, как «Новый мир». Суть не в достоинствах этого издания, которое теперь обозначают как «Старый «Новый мир»». Ограниченность его я теперь отчетливо вижу, а рамки возможностей мне слишком хорошо были известны и раньше, когда я еще работал в нем. Увы, я об этом еще буду много говорить. Но этот «Старый «Новый мир»» выходил в такое время, когда обнажилось многое в жизни общества, и какое-то время именно этот журнал выражал все, что происходило в этом обществе. В этом журнале нельзя было не думать и не изменяться. Его волокло время, оно управляло им. Нет большей ошибки, чем мысль о неизменяемости советского общества. История ни где, в самом замороженном царстве, никогда не стоит на месте. В самое глухое время происходит подвижка льдов, и незаметно течение сносит нас на новые отметки. Неизменное общественное бытие — нонсенс, хотя официальная пропаганда, в сущности, именно его и утверждает — неизменность, верность, неколебимость, монолит, единство, неизбежность и прочая. Чепуха.

Так вот, я попал в журнал, когда эта чепуха стал близка к тому, чтобы явиться на свет чепухой, саморазоблачиться. Шел пятьдесят второй год. Меньше года оставалось до смерти Сталина, четыре года до двадцатого съезда партии, когда льды заскрежетали и, казалось, историю понесло...

Но не буду забегать вперед. Я же не мог знать ничего из того, что произошло, как

никому из нас не дано знать, что будет, например, в 2000 году. Через девятнадцать лет, всего-то. Хотя уверен, что за эти неведомые нам девятнадцать треснут такие своды, которые сейчас кажутся нам вечно недвижимыми. Но как и когда треснут, и обвалятся ли на всех нас, не оставив от нас ничего, кроме атомной пыли. Или все произойдет без немислимых сотрясений, от которых, не исключается, и сама земля треснет, как грецкий орех? Ясно одно: мы уже ходим по самому краю, в метре от пропасти... Но, может быть, не обязательно лететь во вселенские тартарары. Можно и отступить. Человечество привыкло экспериментировать над человеком, только и делало, что этим занималось, даже из лучших побуждений, чтобы человеку легче дышалось. Но он уже задыхается, слышите, задыхается от всех ваших социалистических, демократических и прочих социальных опытов. Человек хочет жить. Но как сделать, чтобы он жил, как хотел? Все модели будущего, которые предлагаются сейчас нам, от ленинско-брежневской до солженицынской, примитивны и опять же утопичны, как модели будущего, от которых в испуге бежал в свое время Достоевский. Человечество живет по инерции, оно бредет вслепую, с завязанными глазами, и все, кто пытается открыть нам свет ясный, только накладывают на наши глаза еще одну свою повязку.

Вот как я сейчас уже рассуждаю. Тоже достаточно мутно, но снова я чувствую под собой подземные толчки, как тогда, в пятьдесят втором, когда спешил ускользнуть от неизвестной мне до конца опасности...

Вы говорите мне: все стоит на месте, наше советское общество — болото, и ничего не изменяется у нас. Но милые, подумайте: мог ли я все это тогда записать? Приходило ли мне что-либо близкое и похожее в голову?

Я шел тогда в легком пиджаке по исходящему нефтяными запахами мягкому асфальту, по Пушкинской, на встречу с Сергеем Сергеевичем Смирновым в «Новый мир». Наниматься на работу. И все еще был отягчен тревожными предчувствиями, мнительной подозрительностью. Возьмут ли? Не было ли какого-нибудь звонка тому же Смирнову от симаковых? За сталинские годы, да еще и до них, до того, как я появился на свет, с чекистских времен, а еще раньше и с дореволюционных — тоже были несладкие годы, не вздыхайте, что, мол, тогда-то и могла образоваться настоящая свобода в России, Республика, Дума, права человека... Еще и с тех пор наша нервная система отравлена ядами подозрительности и мнительности: а вдруг, пока я думаю что-то сделать, кто-то повыше и, главное, тайный, решил уже, что будет так, и совсем иначе, чем я хочу. Я шел именно с этой тревогой, потому что у меня была уже семья, две малолетние девочки, учившаяся в аспирантуре жена да еще нянька. В то время няньки не были проблемой, они рекрутировались из бежавших всеми правдами и неправдами девочек из колхозов, в деревне царили перманентный голод и такое крепостное право, какого не знал и царизм, там хоть были барщина и оброк, тут, в колхозах, все отнимали, и беспаспортные, прикрепленные на веки вечные ребята исхитрялись не возвращаться в деревню после армии. Несовершеннолетние девочки с помощью городских дальних и недалгих родственников, оседали в качестве нянек в городах. Одна из таких — Маруся из смоленских мест — была у нас. За всех них я отвечал, девяти тысяч выходных из армии ненадолго могло хватить, я был озабочен, жил в тревоге, и если в сорок шестом мечтал о демобилизации, то теперь, если бы меня позвали обратно в армию, пошел бы. Но никто бы меня не позвал. Еще демобилизуясь и проходя медкомиссии, я пробовал зацепиться в Москве за жалкие военные издательства вроде журнальчика «Крылья Родины» (до сих пор издается ДОСААФом, никто не читает). Всюду меня принимали с распростертыми объятиями, у меня было какое-то имя военного журналиста, но всюду шло вдогон или встреч, кто с кем перезванивался в отделах кадров, не имело значения, решало, что перезванивались, и на второй раз меня встречали не так радушно, виляли по сторонам глазами, говорили, что у них, к сожалению, сейчас нет вакантных мест. Так что я и это пережил, известное многим и многим меченным невидимым и тайным крестом неугодного нестоитбратьчеловека.

Пыльный, тоскливый, с темными вмятинами от каблучков асфальт плавился, я шел и не шел, если бы меня кто-нибудь тогда остановил и предложил другую работу, я бы повернул назад, но никто меня, конечно, не останавливал, это я сам, прежде чем зайти за угол старинного особнячка, стоящего впритык к зданию «Известий», к конструкторскому зданию, остановился у газетной витрины и под палящим солнцем прочитал в газете: «А. Твардовский. Песнь о Москве». Стихотворение среднее, риторичное, не из тех, что у Твардовского выпелись из души, оно мне не понравилось, и я завернул за угол, уже прямо к Сергею Сергеевичу.

Все мы ищем закономерности, обожаем концепции, хлебом нас не корми — дай

пофилософствовать, конечно же, на такие уж общие темы, что и Гегель посторонись. А себя, всего только себя объяснить бессильны. Ну какая закономерность в том, что я по необходимости поступить на работу тащился в «Новый мир», а попал в главную струю своей судьбы, да и выясняется теперь — всей своей жизни? Связи, что ли, у меня были, знакомства? Да почти ничего. Если проследить то, как я попал в «Новый мир», то вся цепь причин будет состоять из чистых случайностей, каждой из которых могло не быть, а значит, и не стало бы всей цепи.

В Воениздате в конце сороковых годов работал энергичный, не лишенный обаяния капитан Сергей Сергеевич Смирнов. Там он познакомился с тогда уже всем известным и знаменитым Твардовским: тот переиздавал «Василия Теркина», и Смирнов отвечал за сверку, считку вполне канонического текста, редактировать там нечего было. И где-то в то же время Смирнов вел более хлопотное издание, предзнаменовавшее, как многое в то время, для того, чтоб еще раз проявить мудрый гений товарища Сталина, — на этот раз толстенный том о боях за Берлин. В тех боях я никакого участия не принимал, но кто-то порекомендовал меня в качестве автора очерков о героях боев. И два таких очерка я написал — о ком, не помню, встречался с этими героями раз-другой, разговаривал о том, что надо было для стандартного очерка на десять страниц на машинке, не могли запомниться люди после таких утилитарных бесед. Очерки эти понравились Сергею Сергеевичу, наверно, были поживее, побойчее и грамотнее написаны в сравнении с иными, других достоинств у них не могло быть: к тому времени я точно знал, что и как надо. А надо было не так и много. Как — вот это побойчее и поживее. Одним словом, Смирнов запомнил меня, а надо сказать, что память на людей, и особенно на имена и отчества, у него была изумительная, всегда ему завидовал, второй раз видит автора, да еще и никому не известного, а уж к нему: «Михаил Николаевич!», и тот расцветает, его уже помнят, и видите, как обращаются к нему! С такой памятью, с неумеренной энергией и неизменным обаянием — высокий, всегда улыбающийся русоволосый капитан, он, наверно, запомнился Твардовскому. В начале 1950 года Твардовский взял журнал «Новый мир», как он потом не раз говорил, без энтузиазма, но уже в то время известному и даже очень талантливому требовалось еще иметь и должность для полной официальной крепости и известности, между прочим. Учтите, и известности. Какие писатели Марков, или Сартаков, или... знаете, какой список получится, закачаесться, графоманы, а не писатели, а у них и Ленинские премии, и собрания сочинений, и всяческие геройские звания, и чего только нет. <...>

По собственной ли охоте (думаю, что отчасти) или уж по сложившейся в сталинские годы аппаратной традиции Твардовский влекся в этом русле. Был секретарем Союза писателей СССР (ого, какая должность!), сколько карьеристов спят и видят себя на этом административно-писательском Эвересте, открывающем путь к бесчисленным изданиям, переизданиям, тиражам — всех благ не перечислишь, работал членом редколлегии «Литературной газеты» (поскромнее, но тоже ничего). А когда Сиимонова перевели в эту «Литературу» главным, то Твардовскому несколько неожиданно для него предложили освободившийся пост главного в «Новом мире». К его чести, он не сразу согласился пойти на журнал, не так, как сейчас, когда без промедления вонзаются всеми когтями в редакторское кресло, чтобы потом ни черта не делать, а только ждать, когда само собой подплывут полагающиеся такому посту преимущества, к юбилею — орден, а то и Звезда, без юбилеев — вполне вероятное депутатство, а то и, но далеко не всегда, членство в Ревизионной комиссии, а то и кандидатство в самом ЦК. Твардовский был из старой школы писателей, хотя в то время ему еще не было и сорока: работу он считал работой. И полагал, не без основания, что раз так, то работа может потеснить личные творческие затеи. После раздумий согласился. И вспомнил, что есть такой рядовой редактор-капитан в Воениздате, который так хорошо подойдет на роль заместителя по разным оргделам: рабочий напор Сергея Сергеевича обещал порядок в журнале по части прохождения всяких версток и прочего, и прочего. Да и с авторами — обаяние его могло хоть кого подкупить. Во всех смыслах Смирнов был идеальным замом. Твардовский в нем не ошибся.

Я знал Твардовского еще по ИФЛИ, где он учился до 1939 года, но знакомы мы не были. В ИФЛИ у него вообще было мало знакомых, не было друзей. И старше всех лет на восемь — десять, много для молодости, и нелюдим по виду (чистая обманность), и ранняя слава, в 1939 году в первом писательском награждении он был отмечен самым высоким орденом — Ленина, по нынешним временам это побольше Звезды Героя Соцтруда. Я видел Твардовского только в коридорах, раза два слушал его выступления. В лицо бы он меня ни за что не признал: мало ли было ифлийцев, суетив-

шихся, захлебывающихся трепом на переменах между лекциями. Шелепина не признал, когда тот стал членом Политбюро, шишкой недосыгаемой, человеком-портретом, висевшим в унылом ряду в трепетанье красных стягов на всех праздниках. «Кто это такой мрачный тип сидит один за столиком?» — спросил он в Барвихе официантку, и та с испугом: «Это товарищ Шелепин». «А вы знаете, что Шелепин учился в ИФЛИИ?» — спросил я Твардовского, когда он это рассказал. «Нет», — ответил он...

Сергей Сергеевич, прочитавший два моих очеркишка, был единственной ниточкой, тянувшей меня к «Новому миру». Ищите тут закономерность и неизбежность. Ну, может, она еще в том, что, поработав года два в журнале, Сергей Сергеевич, сам военный журналист, стал подумывать о членстве в Союзе писателей (ох, какую карьеру он сделал потом в этом Союзе!). Ему хотелось иметь книгу. А чтобы написать ее, надобно было время. И прибывкнув к Твардовскому, не отличавшемуся административными талантами, он сообразил, что можно найти помощника себе, а тогда и свободное время появится, так что можно будет приходить на службу в журнал и не каждый день, и не обязательно к двенадцати. Смирнов хотел не большего, чем уже имевший эти привилегии Твардовский и его первый зам Анатолий Кузьмич Тарасенков¹. Еще раз кланяюсь в пояс Симакову и неизвестному мне типу, вытолкнувшему меня в безработные как раз в тот момент, когда Сергею Сергеевичу понадобился работник.

Я завернул за угол и, миновав крошечную пристройку кафе, открыл первую же дверь на улице Чехова, дверь, распахивающую вид на роскошную лестницу. Именно вид, потому что лестница была широка — от одной высокой стены до другой, с перепадом для короткого отдыха или для того, чтобы поправить прическу, оглядеться еще раз наверху, на площадке: там во всю ширину и высоту огромное зеркало. Возле него-то, конечно, останавливались дамы и их чада, и зоркие молодые люди, и лениво взглядывали на себя сановники, прежде чем войти в бальную залу. Говорят, что в этом особняке графини Бобринской танцевал Пушкин. Пушкинисты отрицают это. Пусть легенда, но красивая. И зато вовсе не легенда, что в это зеркало наверняка могли взглянуть на себя, прежде чем войти, Чехов и Васнецов, Репин и Даргомыжский. В конце прошлого века здесь располагалось общество любителей художеств, потом редакция «Будильника».

Все это и много из дальнейшего, что я мог бы описать, я уже описал и отчасти напечатал². Написал одним махом в хостинском санатории в семьдесят втором году. Публикация затянулась почти на десять лет. Ничего такого я себе не позволил. Малость, разумеется, вышел за рамки, но знал, что вышел, и когда году в семьдесят четвертом в журнале «Наш современник», куда я отдал написанное, имевшее ясный заголовок «Узнаю Твардовского», сказали мне, что конец, где я рассказывал о первом «градобитии» (термин самого Твардовского), обрушившемся на «Новый мир» в конце пятьдесят второго, ни-ни, ни в какую, и надо снять его, я не спорил: понимал, что надо снять, мне ли не знать нашу цензуру. И в другом месте снял, и в третьем, в четвертом, пятом. И еще удивлялся, что вообще взяли эти мои воспоминания, ведь они же о Твардовском-редакторе, а эта тема почти запрещенная. Что значит — почти? А то, что какие-то слова конкретный автор, да еще именитый, конечно, может сказать о том, как Твардовский умно заметил что-то не то в произведении или интересно размышлял в стенах редакции о чем-либо, но уж сказать, что Твардовский был замечательным редактором журнала, и именитым, лауреатом из лауреатов, и тем не позволено. Потому что тема «Твардовский-редактор» — до сих пор тема закрытая. Я и удивлялся Викулову, как это он осмелился вообще взять мои воспоминания, и пусть их там корежат, я и на это был согласен, лишь бы что-нибудь прошло. Набрали, заверстали в номер, а никакой уверенности у меня не было. И когда мне сказали, что цензура сняла все целиком, я, понятное, огорчился, не без этого, но ждал этого и удивился этому меньше, чем тому, что Викулов пошел на все это сомнительное дело. А дальше я решил поиграть, у нас иногда надо поиграть: заставить отвечающих за идейную чистоту литературы поработать, хотя результаты такой работы тебе заранее известны и сводятся к простому — ничего не получится. Я знал, что все равно ничего не получится, но пусть поломают голову, как мне ответить. И я запустил верстку прямо в ЦК: мол, вот верстка, набрали, ничего такого не вижу, что бы было противопоказано публи-

¹ Тарасенков А. К. (1909–1956) — литературовед, библиограф. Собрал уникальную библиотеку поэзии первой половины XX века.

² «Подъем». Воронеж, № 9, 1981.

кации (и в самом деле там не было ничего), а вот, однако ж, сняли, ну и я надеюсь, что в Центральном Комитете разберутся и восстановят справедливость. Типичнейшая жалоба. По существу приложенной к челобитной верстки мне ничего нельзя было ответить, я это точно знал. Не скажут же мне, снятому заму Твардовского-редактора: нельзя писать о снятом редакторе, да еще в идеальном изображении. Ни за что прямо не скажут. Но что-то найдут сказать. Вот меня и интересовало, что. Интерес был почти спортивный. И поначалу все развивалось точно по моему плану. К верстке был проявлен благожелательный интерес, сначала ее читали в одном отделе — культуры, потом (какая честь и внимание) подключился второй отдел — пропаганды, и все в лице начальства — заведующие секторами ЦК Долгов и Биккенин. Нашли работу вполне заслуживающей внимания, и ничего такого особого, что мешало бы ее публикации, так, какие-то мелочи, заусенцы, которые можно было за полчаса снять. Я-то знал, что идет игра, когда в ходу карты с благожелательством и общим одобрением, чтобы потом кто-то иной, тайный или полутайный, всю эту игру прикончил. Но поскольку игра началась, я сообщил Викулову, что в ЦК — за публикацию и он может позвонить товарищам Биккенину или Долгову, и они дадут «добро». Одно время у меня мелькнула мысль: а вдруг и проскочит? Ведь второй раз набрали, еще раз заверстали в очередной номер... И вот поди угадай, как смахнут карты со стола, помешал ни больше ни меньше — двадцать пятый съезд партии. Воспоминания стояли в номере, а в это время на съезде выбрали новым секретарем ЦК по идеологии М.В. Зиянина. Ловкий ход наши, хотя что тут ловкого: одна неуклюжесть, но попробуй докажи, и кому выше ЦК жаловаться? В.Ф. Шауро, зав. Отделом культуры ЦК, видите ли, плохо знает нового секретаря ЦК (а почему плохо? — оба из Белоруссии), и потому сейчас не может обратиться по столь деликатному вопросу, как судьба моей верстки. «Надо подождать». — «Надо подождать» на языке партчиновников и партфункционеров всего лишь мягкая форма твердого отказа. Не обнадеживайте себя, тем более всегда неизвестно, сколько времени надо подождать — месяц, год, десять лет или столетие. Когда это было? В начале семьдесят шестого? Я получил свои шестьдесят процентов гонорара за не пошедшее не по вине автора и положил рукопись в стол: пусть лежит, есть не просит. А в этом, восемьдесят первом, взял, отряхнул с нее пыль и с запиской, что вот у рукописи была такая незадачливая история, а теперь я кое-что сделал, и, может, возмут и напечатают, послал в Воронеж Гавриилу Троепольскому, а он там член редколлегии журнала «Подъем». Журнал местный, тираж всего десять тысяч, цензура своя, о московских делах не знает, авось да небось... Напечатали. Только что, в сентябрьском номере, еще не видел этого номера, но дали парадно, на открытие: не исключаю, что им еще за это влетит, не за то, что напечатали, а за то, что парадно.

Но поскольку первые мои впечатления о «Новом мире», и о Твардовском в первую очередь, в какой-то «проходимой» своей части уже увидели свет, да еще, может, появятся, дай Бог, в большущей книге, которую я сдал в издательство «Современник»¹, то я не буду повторяться и расскажу больше о том, что не мог сказать или сказал, но мне решительно еще на первой стадии вычеркнули. Я еще нарочно приведу то, что изъяли, чтобы читателю стало ясно, что нельзя. До сих пор нельзя. И неизвестно, когда станет можно.

Скажу с самого начала, что я после «Сталинского сокола» и бериевской симаковщины попал в совершенно другой мир, где жили и работали совершенно другие, умные, смелые и даже непривычно свободомыслящие люди. Первые дни и недели работы в «Новом мире» были для меня сплошным обалдением, причем обалдением счастливым. Одно томило, сосало под ложечкой, пустят вдогон, и рухнет мое счастье. Знать бы мне, что я у них списан даже по белогвардейско-харбинскому варианту, не нужен же, — было бы мне тогда совсем хорошо. Неслыханно хорошо. Ответственный секретарь журнала с отдельным кабинетиком, в котором — теперь нет уже таких — кресла с полотняно-белыми чехлами. Как при Чехове. Сергей Сергеевич на первой же неделе моего пребывания в «кабинетике»: «Алексей Иванович, вы будете завтра в редакции?» Это ли не обалденье! Меня еще спрашивают, появлюсь ли я на работе! Твардовский: «Алексей Иванович, почитайте этот роман (Павла Нилина), боюсь, что автор в нем исправляется, после того как его обругали в постановлении ЦК» (было такое постановление о фильме «Большая жизнь» по сценарию Нилина)². С усмешечкой говорит и о постановлении, и о том, что Нилин исправляется: услышал бы это Симаков!

¹ «Ровесник любому поколению». Документальная повесть. М., 1984.

² Фильм «Большая жизнь», ч. II (режиссер Л.Д. Луков) пролежал на полке 17 лет.

Я воспитан был, точнее, перевоспитан был в военной печати, самой осторожной и самой охранительной (ничего против уставов, а уж против официальной линии и думать не смей. «Правда» — газета, на каждое слово которой — равняйся! Звонок начальства — приказ, звонок из ЦК — ужас, если замечание, с постов полетят все причастные к замечанию, если похвала — фанфары, редактор, как именинник, ордена получает — меньше радости испытывал).

Я пришел в военную печать с ифлийским воспитанием. Как я теперь понимаю, в ИФЛИ не было такого разудалого вольномыслия, да и годы, когда я учился, вовсе не способствовали свободе собственных мнений, хотя юные индивидуальности стремились быть каждый на особицу. И я еще скажу, в чем оно выражалось, это «на особицу», и во что выродилось — любопытная и чисто русская эволюция.

Одной из первых моих статей во фронтовой газете Карельского фронта «В бой за родину», куда я попал, была статья, в которой я припомнил, что когда-то финны, встретив Горького, выпрягли лошадей и сами повезли писателя, сидевшего в санях. До чего ж вы дошли, упрекал я финнов, где ваша гуманность и любовь к культуре, когда теперь, озверев, вы воюете с нами. Наивная публицистическая чушь под Эренбурга, тот тоже писал: «Страна, давшая миру Гете и Гейне, Канта и Гегеля...» Редактор Павлов, он с некоторыми перерывами был моим редактором в армии, неплохой, в общем, мужик, темнота сплошная, но не стукач, не любивший по своим причинам выносить сор из избы и потому всегда готовый защитить тебя, если ты влип в неприятную историю, и, между прочим, защищавший не без успеха, до сих пор он раз в году мне звонит, поздравляет с чем-нибудь, и я слышу в его голосе искренность, и разговор с ним — что-то вроде душевной ностальгии по далекой молодости, так или иначе связанной и с этим, вовсе не далеким мне человеком. Так вот, он вызвал меня и, прохаживаясь по бревенчатому беломорскому кабинету, сказал: «Ты что тут мне финнов показываешь, что они Горького любили?» — «Ну а как же было это с санями и прочим...» — проямлил я. «Если и было, то забыть надо, а ты расписываешь... Фашисты наши книги сжигали». — «Да это еще было до всякого фашизма». — «Тем более нечего вспоминать». Прощелся взад-вперед, и вдруг: «А вообще-то у тебя это хорошо написано, но никогда больше об этом не пиши».

В другой раз, когда я уже был допущен к писанию передовых статей, он вызвал меня и, тыча пальцем в абзац, спросил: «Это откуда?» — «Как откуда? — удивился я, воспитанный интеллигентным ИФЛИ. — Это я сам написал». — «Ах сам! — протянул редактор. — Ну тогда это мы к ... матери!» Через некоторое время я наловчился списывать, но воспитание все еще держалось, и списывал я, видоизменяя текст, и он вдруг спрашивал: «А это откуда?», и я бодро отвечал: «Из блокнота агитатора». — «Ну-ка принеси, покажи». Я приносил, показывал, и он укоризненно учил меня: «Ну вот видишь, как тут хорошо сказано, а ты своими словами. Ну зачем своими, хуже получается, а главное, к тебе и ко мне придерутся, а ты дуй прямо по тексту, никто никогда не подкопается к тебе».

До конца списывать я, конечно, не научился, но понимать, что надо и что нельзя, — это схватил довольно быстро, и хоть что-то восставало внутри — необязательно уж так надо и почему так уж нельзя (нельзя, например, писать о том, что кто-то погиб — и это на фронте! Словно прочитав, что на войне убивают, войска придут в смятение и боевой дух их падет). Я писал бесчисленное количество материалов и за своей подписью, и за подписями тех людей, с которыми разговаривал, предварительно предупредив их: «В газете появится статья за вашей подписью, вы не возражаете?». Никто никогда не возражал. Овладеть таким нехитрым журнализмом было делом несложным, но и опасным, если не будешь все время держать в уме то, что ты пишешь. Овладеть, может, и надо было, но только это не умение. Помню, как меня обидело, когда мне передали, что Федор Маркович Левин, работавший до войны редактором московского критического журнала «Литературное обозрение», где я напечатал одну из самых первых своих статей (и в них что-то явно было, по крайней мере я старался сказать что-то свое), оказавшийся тоже в газете «В бой за родину», обронил обо мне: «Из него ничего не получится». Я обиделся, но по тому, что я делал тогда и как быстро приспособился к тому, что надо и что нельзя, он судил обо мне верно.

Конечно, и литература наша многие годы жила, да еще и сейчас существует в рамках дозволенности, на поводке, порой на коротком, бывает, с шипами на ошейнике, чуть что — сразу дадут тебе понять: не вилай в сторону, не убежишь, иди куда положено. Тогда, еще при Сталине, после искусственно взвихренных бурь космополитических проработок и твердо очерченных нормативов соцреализма, по которым иде-

альным произведением считался «Кавалер Золотой Звезды», произведение чудовищной фальши, сплошь из одного вранья, нормативы эти были жесткими. И все же что-то проскальзывало. Литература не может до конца самоумертвиться, даже если ее к этому понуждают: так или иначе она идет от жизни и в жизнь прорывается. Таланты можно укоротить, перепугать, приручить, направить в русло, перекалечить, расплющить, наконец, убить, одного невозможно сделать — предотвратить их появление. Они все равно будут рождаться и появляться, как, прорывая асфальт, вдруг вылезает на свет Божий гриб. Как он, мягкий, с нежной кожей, мог проломить кору тверди, которую ломом можно только разбить, а он вспучил ее и какой-то таинственной силой прошел из грибницы! — загадка и закон. Жизнь, пока она есть, не поддается полному уничтожению. Жизнь ловчее и победоноснее всего, что ее умерщвляет. И тут уж ничего не поделаешь никаким палачам.

И они это если не разумом, то инстинктом понимают, чувствуют. Почему Сталин около двадцати раз ходил смотреть «Дни Турбиных» во МХАТе? Что его так влекло на эту постановку, которую он специально для себя разрешил: в других театрах страны она не шла. Что его так тянуло на этот спектакль? Об этом стоило бы поразмыслить. Некоторые объясняют особенностью Сталина-кошки поиграть с мышкой. Жить Булгакову не давал, не печатал, запрещал, но ведь и не сажал, не сгноил в лагерях, как других, и не расстрелял. Особая игра кошки? Но только ради игры Сталин не стал бы ходить раз за разом на один и тот же спектакль. Он ему нравился, а если ходил часто и много раз, то он им наслаждался: другого ответа вы и не ищите, его не может быть. Даже в черное сердце Сталина проникало настоящее искусство, а настоящее искусство — всегда жизнь: это триумф, и прекрасно, что вечный триумф. Вечная сила искусства за ним. Сила всепроникающая. Варлам Шаламов, написавший целый трактат об уголовном мире и ненавидящий этот мир, как только может его ненавидеть политический заключенный, рассказывал: «Уголовники были подручными лагерных палачей, между ними, конечно же, было духовное (если это слово вообще применимо к такой категории людей) средство. Одно поля ягода: эти убивали на воле вопреки закону, те, в лагерях, по несправедливому закону, — еще неизвестно, кому отдавать предписание». Шаламов не выносил Есенина. Но в чем Есенин виноват, если заматерелые урки плакали, слушая его — единственного любимого ими поэта. Но любимого! И плакали! Феномен? Да как сказать, если этому только удивляться, то не маловато ли будет для понимания самого искусства, поэзии, ее неисповедимой власти.

И потому, как бы на отдельных исторических отрезках истории искусству и литературе ни приходилось туго, и, казалось, на шее у них смертельная удавка, дышать нечем, искусство и литература непобедимы. Нежный гриб прорывает асфальт! И ему — власть имущие это понимают — больше позволено, чем, скажем, всем остальным сферам идеологии. Журналистов Хрущев, не стесняясь, называл подручными партии, и подручные с радостью повторяли, подхватывая более чем сомнительный комплимент: да, мы подручные, подручные, подручные! Веселенький хор. Писателей Сталин называл инженерами человеческих душ. Тоже, конечно, коли вдуматься, не больно-то лестно: строители душ по чьим чертежам, кем завизированным и достойно ли писателю строить душу. Если вам неуютно слово «строить», берите другое: «создавать», — мягче, приятнее звучит. Приятнее, но вот только если вашу душу кто-то вознамерится строить и перестраивать, создавать и пересоздавать, словно вы не хозяин и не обладатель ее — вам это понравится? Очень сталинская, я бы даже сказал, типично марксистско-ленинская формула, когда сам человек в стороне, мелочь, опять же объект для эксперимента.

Это больше позволено (хотя литератору тогда было, если вдуматься, так мало позволено) я почувствовал в «Новом мире», словно попал из казармы в благоухающий свежестью сад. Да так и было в действительности. Десять лет я прожил в казарме самого что ни на есть низкопробного, приученного к «чего изволите?» журнализма. В «Новом мире» дышалось вольно и на первых порах непривычно. Я к Сергею Сергеевичу: «Знаете, мне кажется, что в этом рассказе уж очень мрачно описана деревня». — «Да ну что вы, Алексей Иванович! Не бойтесь, ничего особенно мрачного...». Сергей Сергеевич за два года работы с Твардовским и в журнале успел отвыкнуть от воензидатовских правил и привычек и говорил со мной, весело сметая мои опасения. По правде говоря, инкубационный период боязни и опасений продолжался у меня недолго, одно из доказательств того, что к свободе адаптируются легко, без усилий, идут навстречу без испуга, а если этот испуг и живет еще в тебе, то с помощью других ты изгоняешь его из себя с облегченьем. Еще стояло лето, а я лето люблю, любое, даже

жаркое, душное, все лучше зимы, когда ты чувствуешь себя в зависимости, жжет мороз, бежишь как цуцик от теплого помещения к другому теплему. Я вошел в солнечную полосу своей жизни, и казалась она мне бесконечной, лишь иногда продолжало тревожить, а не задушили ли что-нибудь вдгон, и я не без затравленности смотрел иногда на того же Сергея Сергеевича: может, уже позвонили ему. Отвратительное, я вам скажу, чувство. Но никто не звонил, меня действительно оставили, гон кончился, собаки убежали в другую сторону или я ушел от них, в ушах слышался постепенно отдаляющийся гложущий их лай, он и пугал меня: а вдруг вернуться? Не возвращались, и где-то через два-три месяца я успокоился: теперь я уже в другой жизни.

Она не была такой простой. Но тут уже все зависело от меня. Меня угнетало, но чаще радовало, что я начисто лишен качеств администратора, начальника. Знаете, в каких-то ситуациях их нелишне иметь. Но я так и не научился командовать, приказывать, говорить вообще начальственным тоном. Я по натуре своей подчиненный, и мне душевно удобнее быть подчиненным, чем подчинять себе людей. Подчиненный, я смогу остаться внутренне независимым. Подчиняя, я унижаю себя, становлюсь меньше себя. Мне стыдно подчинять. Я убежден, что это вообще стыдно. Человек не создан ни рабом, ни господином. Он человек, и ничего, кроме этого. Поэтому, должно быть, я никогда не повышал голоса, если на меня не повышали. Мне проще накричать на хама, начальника, вышестоящего, невозможно на человека, от меня зависимого. Я не хвастаюсь. Я страдал оттого, что пока не познакомился и не подружился с сотрудниками журнала, не мог с ними естественно разговаривать. Они видели во мне неизвестного им начальника, и уверен, что быстро раскусили, что я начальник с характером нена начальническим, не те интонации в разговоре, и мне казалось, наверно, не без оснований, что они меня малость и презирали. Я был моложе тех же заведующих отделами, а был над ними. Хорошо, что отделом прозы руководил Евгений Николаевич Герасимов, было ему под пятьдесят лет, на семнадцать старше меня, но шептливый, непосредственный, никакой тоже не начальник, превосходный редактор и даже организатор отличный, работник высокого класса, но тоже, как и я, никакой не администратор. Мы быстро с ним подружались, дружим до сих пор, почти тридцать лет, с той поры, когда я, робкий газетчик, озирающийся в душе по сторонам, внутренне сомневающийся, по Сеньке ли шапка ответственного секретаря такого журнала, как «Новый мир», и вообще любого журнала. В «Сталинском соколе» на этой должности сидел полковник Колыбельников, в папахе! Мы с Е. Н. так, наверно, и не перейдем на «ты», хотя сколько водки перепили и сколько под водку переходили на «ты», а протрезвев, снова на «вы». Да и годы... а с такими я перехожу на «ты» редко. С возрастом реже и реже: наверно, оттого, что не хочется сближаться.

С Герасимовым на «вы», а с Женечкой Кацевой давно на «ты». А тогда она пугала меня своей категоричностью, неженской властностью, вот она была прирожденной начальницей и организатором. Крупная, решительная, безапелляционная. Она презирала меня, и все, что ей говорил, пропускала мимо ушей, я это чувствовал, но не злился, сам виноват. Ее бы на мое секретарское место. Удивительно, как я не ошибся. Лет двадцать она — ответственный секретарь «Вопросов литературы», и на ней во многом держится это довольно сложное издание. Я бы завалил его немедленно, если бы не спас кто-нибудь другой.

В «Новом мире» я при всем своем положении и отдельном кабинете какой-либо решающей роли не играл. Вначале вообще никакой роли. Все чувствовали, что я нужен Сергею Сергеевичу, и надо сказать, что он относился ко мне превосходно. Потом мы даже на какое-то время подружались. Было в нем что-то от своего парня, с ним легко, он любил спрашивать: «А как вы думаете?». Это подкупало. Войдешь к нему, он сразу же легко выйдет из-за стола, перед которым два кресла, одно против другого, сядет напротив тебя, улыбка широкая, смотрит прямо в глаза, и уже не присутствие, а дружеская беседа. Сергей Сергеевич мог расположить к себе любого. Это был дар. Для телевидения он был потом редкой находкой, он понравился и миллионам телезрителей. Забыли сейчас? Ничего удивительного: он был звездой, срок их скоротечен...

Да, я так еще и не сказал о главном: о встрече с самим Твардовским. Во время войны и после нее я много раз вспоминал его и не прочь был иногда похвастаться: я с ним, мол, учился в одном институте. Вспоминал именно потому, что учился и мог похвастать. «Помесь добра молодца с красной девицей», — сказал о нем кто-то во время войны. Точно: он был строен, высок, синеглаз, с чистым молодым лицом, но румяной «алярюсости» в нем никогда не было. Спокойствие, строгость, отрешенность, недоступность, если угодно, даже аристократизм — вот это было в его облике. Народ-

ными были только стихи. Большинству ифлийских поэтов (а в этом институте, как усмешливо выразился один из студентов, процент гениев на один квадратный метр был как нигде высок) поэзия Твардовского представлялась простонародной. Лебедевокумачевщина. Примитив. Так мы ни за что не будем писать. Мы вообще идем на смену. Мальчики были самовлюбленными, мнили себя не меньше, как гениями, думали, что с них начнется новая эпоха в поэзии, и мальчики фрондировали, с гордостью говорили, например, что они не печатаются. Печатаются и популярны сейчас-де не те, а вот когда мы выйдем и произнесем свое громовое слово, тогда и начнется поэзия. С нас начнется. Твардовский, как и все печатающиеся, привеченные журналами, — прошлое. И опять же — лебедевокумачевщина, примитив, бедность одна. Это может показаться странным и невероятным, но в тридцать седьмом, восьмом, девятом, то есть в годы разгула сталинского террора, не пощадившего и ИФЛИ (и там сажали — и студентов, и преподавателей, а на комсомольских собраниях, проходивших каждую неделю по два-три раза, на трибуну выходили чередом дети «врагов народа» и каялись, что проглядели, не увидели, как у них под боком мама или папа... — говорилось с оттенком отчужденной брезгливости: «отец», «мать» или чаще — «он», «она»), в это время поэты еще громогласно провозглашали что-то свое. Ишь еще... Но фрондерство мальчиков было слишком легковесным, и только им представлялось чем-то мощным. «Как Парис, ухожу за своею Еленой», — заявлял главный ифлийский поэт — самоуверенный, нетерпимый, резкий, безапелляционный в суждениях Павел Коган, и, как я понимаю теперь, взрослые стукачи лишь посмеивались: уходи красиво, как Парис, от таких стихов нам никакого убытка и угрозы. «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» — эти строки были как бы эмблематичными для всей фрондирующей поэтической молодежи. Программа. Мы угловаты и необтекаемы, мы врежемся в современную поэзию. В действительности же эти мальчики были ортодоксальны. И если допустить фантастическую мысль, что, скажем, Сталин прочитал бы у того же Павла Когана строки: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, Чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя», он был бы доволен: хорошие мальчики растут, эти за мной пойдут куда угодно. Ах, какая смена растет: до Ганга...

История фрондерства в России еще никем не создана. Но интереснее ее мало что могло бы быть.

.....
[На этом рукопись обрывается.]

[1981]

Публикация В.А. Кондратович

Николай Работнов
**Когда закончится
 Вторая мировая война?**

Начну с воспоминания об одном советском документальном фильме, выпущенном в 1980 году к серебряному юбилею австрийского Государственного договора. Его авторы, в частности, задавали многим жителям Вены вопрос перед кинокамерой: кто и когда освободил Австрию от оккупации? Единодушные ответы венцев — американцы в 1955 году — простоватые (или лукавые) авторы фильма сокрушенно комментировали: какая, мол, короткая память у этих австрийцев, они уже забыли своих освободителей, воинов Советской армии, и даже дату окончания войны путают. Так ли это?

Величайшая трагедия в истории человечества, называемая Второй мировой войной, многим на Западе представляется однородным кровавым кошмаром, продолжавшимся ровно шесть лет от нападения Германии на Польшу первого сентября 1939 года до подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии второго сентября 1945 года. У нас по-другому. В воспоминаниях о Литературном институте поэт Михаил Львов писал: «Это было в марте сорок первого года, за три месяца до Второй мировой войны». Но Вторая мировая война к тому времени продолжалась уже полтора года на трех континентах и трех океанах. Мы знаем о ее начальном и заключительном периодах мало. Помните американский документальный сериал, который вел Берт Ланкастер? Нас так покорило название оригинала — «Неизвестная война на Востоке», — что советское телевидение настояло на его замене. Сдается, что наше общество про «довоенные» и «послевоенные» в нашем определении боевые действия Второй мировой знает не больше, чем американцы о Великой Отечественной. Там тоже были огромные жертвы, там тоже были свои герои — про них наши школьники знают не больше, чем американцы про Александра Матросова. Это белое пятно надо постепенно ликвидировать, как, к счастью, ликвидируются белые пятна отечественной истории.

На самом же деле Вторая мировая была сложнейшим переплетением **сотен** двусторонних войн, в которые были вовлечены 72 государства и которые начинались и заканчивались в самые разные сроки, причем по поводу времени их окончания у разных людей существуют очень разные мнения. Так что австрийцы ничего не путают. Для них война действительно закончилась в 1955 году с прекращением советской оккупации. Австрия оказалась единственной страной, которая сорвалась-таки с крючка и для которой в результате вступления наших войск пятилетняя фашистская оккупация не сменилась сорокалетней коммунистической. Не исключено, например, что в будущих учебниках истории прибалтийских стран Вторая мировая война закончится в 1991 году. И существует один немаловажный вопрос — когда она закончится в японских учебниках?

Если приближенно разбить Вторую мировую войну на две главные «подвойны» — европейско-африканскую и азиатско-тихоокеанскую, — то поведение в них тех сил, которые в конце концов оформились в антигитлеровскую (и антияпонскую) коалицию, можно назвать зеркальным. Сперва с Гитлером и японцами воевали западные страны — почти два года, — а Сталин выжидал. Затем на нас напал Гитлер, а союзники начали тянуть с открытием второго фронта и тоже тянули аж до 6 июня 1944 года. Мы, в свою очередь, уже и перейдя в решительное победоносное наступление на Западе, ничем не помогали союзникам на тихоокеанском театре, а им там долго приходилось очень солоно. Все это, конечно, не случайно, а вполне естественно. У США и Великобритании, с одной стороны, и Советского Союза — с другой — как у социально-политических систем не было абсолютно ничего общего, кроме врага. Это прочный цемент, но его действие с разгромом противника заканчивается, а в процессе разгрома ограничивается четким сознанием полярной разницы интересов. В глубине души Рузвельт и

Черчилль, несомненно, считали войну на Восточном фронте столкновением двух жестоких диктатур и желали им максимального взаимного обескровливания и ослабления. Причина холодной войны именно в этом, поэтому она была неизбежна.

Вторая мировая война уже стала событием первой половины прошлого века. Но, думается, просто элементом «проклятого прошлого» она еще долго не станет. Есть два очень часто повторяемых, но ложных высказывания об истории. Первое, что она никого и ничему не учит. Второе, что в ней нет сослагательного наклонения. Ничему не учит она только кровавых выродков вроде Сталина и Гитлера. Разве можем мы сказать, что история Второй мировой войны ничему не научила Аденауэра, Эрхарда и Коля? Или их японских коллег, имена которых у нас гораздо менее известны (а начать второй список следовало бы, может быть, с императора Хирохито)? И сослагательного наклонения нет только у истории как реального процесса жизни человечества. История как наука, можно сказать, и существует главным образом ради сослагательного наклонения. Каждый, кто интересуется, а тем более профессионально занимается историей, должен непрерывно задавать себе вопрос — что было бы, если бы в решающий момент приняли альтернативное решение? Если бы были учтены факторы, о которых тогда знали, но этим знанием пренебрегли? Мы не можем изменить прошлое, но будущее в наших руках, так что давайте учиться у истории. Ниже речь пойдет о событиях последних месяцев Второй мировой войны, когда возникли ее самые долгоживущие последствия — глобальная проблема атомного оружия и локальная, двусторонняя проблема российско-японских отношений — вопрос о «северных территориях».

К написанию настоящих заметок автора подтолкнула не так давно прочитанная книга Ричарда Родса «Создание атомной бомбы». Она вышла еще в 1986 году, но до сих пор не переведена на русский язык, хотя у себя на родине получила все мыслимые для произведения этого жанра премии — Пулитцеровскую, Национальную книжную и премию Ассоциации литературных критиков. Пожалуй, это лучшая документально-публицистическая книга, которую я когда-либо читал. Самое интересное в ней не только и не столько сведения по истории атомной науки и техники, изложенные Родсом захватывающе интересно и на очень высоком уровне — о них я имею представление, — а история процесса принятия и исполнения решения об атомных бомбардировках японских городов. Решение принималось, разумеется, не учеными и даже не генералами, а политическим руководством — президентом, госсекретарем и военным министром. Эти посты тогда занимали Гарри Трумэн, Джеймс Бернс и Генри Стимсон.

Сегодня легко осуждать их решение как варварское и бесчеловечное, каким оно, несомненно, и является. Но таковым неизбежно является **любое** стратегическое решение в военное время, приводящее к огромным потерям — армейским и гражданским — с обеих сторон. Прилагательные «варварский» и «бесчеловечный» во время войны приобретают, увы, сравнительную степень и — дважды увы — степень превосходную. Это утверждение может показаться циничным, но, не признав его справедливости, мы рискуем многое не понять не только в войнах прошлого, но и в природе военных угроз в сегодняшнем мире и в методах борьбы с ними. А это просто опасно.

Каждый полководец, если он честный солдат, а не одержимый манией величия завоеватель, стремится, даже воюя на территории противника, не только уменьшить потери своих войск, но и сократить жертвы среди мирного населения. Ясно, что эти требования слишком часто вступают в противоречие, и, как известно, среди погибших во Второй мировой войне большинство составили отнюдь не солдаты, убитые в бою. На войне каждый настоящий полководец и народоводец высшей своей целью ставит, в конце концов, **спасение, а не убийство людей**. Но трагично ситуации обостряют три парадокса. Первый: **потери** неизбежны, очевидны, достаточно хорошо прогнозируемы и в большинстве случаев точно учитываемы постфактум, а **количество спасенных жизней** можно оценить только приближенно, вероятностно. Второй: жизнь **одних** людей — пусть их и больше — покупается ценой жизни **других**, которых убивают или приказом посылают на смерть. Третий: жертвы конкретны, известны **поименно**, а спасенные **анонимны**, их множество размыто, и чем их больше, тем труднее конкретному человеку понять и поверить, что именно он обязан жизнью погибшим. Трагедия Хиросимы и Нагасаки иллюстрирует все это очень выукло.

Чем ближе был конец войны в Тихоокеанском регионе, тем яснее понимало американское командование, что вторжение на центральные Японские острова будет самой кровавой операцией за все шесть лет. Об этом прежде всего говорил опыт двух «репетиций» — Иводзимы и Окинавы. Японцы продемонстрировали там и высокое качество оборонительных сооружений, и негибаемый боевой дух. Они сражались буквально

но до последнего. Из более чем двадцатитысячного гарнизона Иводзимы в плен было взято... 1083 человека, в большинстве своем раненых. С американской стороны это была война огнеметов — авиация, артиллерия и стрелковое оружие оказались малоэффективны против каменных нор, которыми был изрыт весь остров. Иводзима — по-японски «Серный остров» — стал настоящим адом. На клочке земли меньше двадцати квадратных километров американские потери составили 6821 человек убитыми и 21685 ранеными — это при трехкратном превосходстве в живой силе, многократном — в огневой мощи и абсолютном господстве в воздухе.

На Окинаве все повторилось в большем масштабе, хотя эффективность американского огня была выше. Американцы потеряли убитыми двенадцать с половиной тысяч человек, а японцы — **сто тысяч!** Командованию и политическому руководству США стало ясно, что десант на центральные острова будет стоить жизни как минимум полумиллиона, а то и миллиона американцев (см. ниже высказывание генерала Ле Мэя). И боевые действия такого ожесточения в столь густонаселенной стране, как Япония, означали бы **миллионные** жертвы среди мирного населения.

Мрачная необходимость «выбомбить» Японию перед вторжением — или, как надеялись, **вместо** вторжения — стала ясна и военным, и политикам задолго до успеха Манхэттенского проекта. Речь, конечно, шла об обычных бомбардировках, об атомной бомбе не знали даже Макартур и Эйзенхауэр.

Японская территория была очень труднодоступна. До появления стратосферных бомбардировщиков Б-29 с огромным по тем временам радиусом действия 3 тысячи километров единственной возможностью достичь японских целей были аэродромы на западе Китая, остававшиеся у Чан Кайши. Американцы вынуждены были снабжать их горючим авиационным путем через Индию(!), расходуя двадцать тонн бензина, чтобы доставить одну тонну. Эти действия имели очень низкую эффективность. Б-29 в корне изменили ситуацию и внушили надежду на победу без высадки на Японский архипелаг. Эти машины могли доносить пятитонную бомбовую нагрузку от базовых аэродромов на Гуаме и Сайпане до Японии.

К чести американцев следует сказать, что сначала они планировали использовать Б-29 только на прицельном бомбометании по военным объектам, прежде всего по авиационным и другим заводам, потеряли на этом три месяца и множество самолетов, но успеха не добились. Ни одна из девяти первоочередных целей не была разрушена. Струйные воздушные течения со скоростями до двухсот километров в час на больших высотах — честь открытия этого атмосферного феномена принадлежит экипажам Б-29 — делали прицеливание совершенно невозможным. Командующий воздушной армией Хэнселл был отстранен от должности, и сменившему его генералу Ле Мэю дали понять, что от него ждут результатов. Позже он написал в своей автобиографии: «Как ни крути, стало ясно, что придется убивать мирных жителей. Тысячами и тысячами. Если не разрушить японской промышленности, придется высаживаться в Японии. А сколько американцев будет убито при вторжении? Пятьсот тысяч представляется минимальной оценкой. Некоторые говорят — миллион... Мы воюем с Японией. Она на нас напала. Что вы предпочитаете — убивать японцев или чтобы они убивали американцев?».

Стало ясно, что стихия Б-29, увы, «ковровые» бомбежки с десятикилометровой высоты. Они вызывали в крупнейших японских городах огненные бури, уничтожавшие строения и все живое на территориях в десятки квадратных километров.

Такие бомбежки были уже **ничем не лучше атомных**, важно понять это. Рейд 344 бомбардировщиков Б-29 на Токио 9 марта 1945 года выжег **сорок квадратных километров** городской территории и **убил на месте сто тысяч человек, около миллиона было ранено**. Все эти цифры превышают последствия хиросимского, и нагасакского атомных взрывов. 11 марта примерно та же судьба постигла Нагою, 13 марта — Осаку, 16 марта — Кобе, 18 марта — опять Нагою.

Говорят, судьбу Хиросимы решило то, что это был единственный крупный японский город без лагеря американских военнопленных. Но на европейском театре 26 тысяч пленный из союзных войск, сконцентрированных в Дрездене, не спасли этот город от полного уничтожения двумя подряд авиарейдами, в каждом из которых принимало участие по 1400(!) тяжелых бомбардировщиков. Среди американских пленный был Курт Воннегут, написавший потом «Бойню номер пять». Жертвы и разрушения были вполне хиросимские, — а это было еще в феврале, в Европе, и в Дрездене практически не существовало военной промышленности.

Вообще к концу Тихоокеанской кампании и ожесточение боевых действий, и взаимная ожесточенность вовлеченных в них людей достигли предела. Всем нам знакомы

фотографии времен взятия Берлина — снаряды «Катюш», исписанные мелом: «По рейхстагу!», «Подарок фюреру!» и т.д. Исписан мелом был и двадцатикилотонный «Малыш», подготовленный для первой атомной бомбардировки. Но фотографий этих не публиковали — авторы надписей в выражениях не стеснялись (как, думаю, и авторы некоторых надписей на боеприпасах, выпущенных по Берлину). Но одну история сохранила: «Императору от экипажа «Индианаполиса». Писавшие не знали, куда будет сброшена бомба, но императорский дворец действительно должен был стать эпицентром токийской бомбардировки, для которой в наиболее вероятном варианте предназначалась третья бомба.

Крейсер «Индианаполис» 26 июля доставил на Гуам детали уранового заряда «Малыша» и с экипажем 1196 человек немедленно взял курс на Филиппины, где должны были состояться двухнедельные учения — подготовка к высадке на Кюсю, которая была-таки запланирована на первое ноября. 29 июля судно было торпедировано японской подлодкой и затонуло, унося на дно более трехсот членов экипажа. Оставшиеся 850 человек более трех суток плавали в открытом океане в спасательных жилетах, **более пятисот из них погибли, причем большинство были растерзаны акулами**. Спаслось всего 318 человек. Эта трагедия, всколыхнувшая всю Америку, стала, видимо, последней каплей. На другой день приказ о бомбардировке был отдан Вашингтоном, и в качестве мишени первого приоритета была названа Хиросима...

В 1947 году Стимпсон писал в журнале «Харперс»: «Моей главной целью было закончить войну победой, потеряв как можно меньше солдат той армии, которую я помогал создавать. Я уверен, что, честно взвешивая доступные нам альтернативы, ни один человек в нашем положении и облеченный нашей ответственностью, получив в свои руки оружие, дававшее такие возможности для достижения этой цели и спасения этих жизней, не мог отказаться от его использования, а потом смотреть в глаза своим соотечественникам».

Не раз приходилось читать и слышать, что японцы и без Хиросимы согласились бы сложить оружие, **если бы не требование союзников о безоговорочной капитуляции**. Не исключено, что это действительно так. Но почему союзники настаивали — и настояли! — именно на этом жестком требовании и в отношении Германии, и в отношении Японии? По очень веской причине: они помнили конец Первой мировой войны. Ни безоговорочной капитуляции Германии, ни ее оккупации тогда не потребовали. Сегодня одинаково трудно сомневаться как в том, что оккупация после Первой мировой войны предотвратила бы зарождение фашизма в Германии и приход Гитлера к власти, так и в том, что после Второй мировой войны оккупация Японии и западных зон Германии заложила исторические основы их политической и экономической стабилизации и обеспечила их мирное, демократическое развитие, приведшее к нынешнему процветанию.

Дилеммы, стоявшие перед политиками, понятны. А как относились к атомным бомбардировкам рядовые исполнители?

Все, кто принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении атомной бомбардировки, остро чувствовали — их работа приближает конец войны, промедление или неудача лишь умножит жертвы. Родс описывает характерный, достаточно драматический эпизод. В ночь перед запланированной бомбардировкой Кокуры (Нагасаки был запасной мишенью, все решила погода) уставший до предела основной научно-технический персонал разошелся из сборочного помещения, последние простые подключения и проверки предстояло сделать некоему Бернарду О'Кифу, технику из морской пехоты, с армейским помощником. Решающий момент лучше описать его собственными словами.

«Я проверил все в последний раз и потянулся за кабельным разъемом, чтобы вставить его в гнездо боезаряда. Разъем не входил!

«Ты что-то делаешь не так, — подумал я, — помедленнее, ты устал и плохо соображаешь». Я посмотрел снова. К моему ужасу, и на заряде, и на кабеле были «фишки-мамы». Я обошел вокруг бомбы и посмотрел на другой конец кабеля, выходящий к радарам. Две «фишки-папы»... Я проверил и перепроверил. Я заставил помощника посмотреть, он подтвердил. Я похолодел, а после покрылся потом в зале с кондиционированным воздухом».

О'Киф, разумеется, должен был вызвать начальство. Но по строжайшей инструкции любые операции с нагревательными приборами вблизи бомбы были запрещены, в помещении не было ни одной электрической розетки. По правилам пришлось бы освободить и переворачивать кабель, а для этого частично разбирать сложное импlosion-

ное устройство. На это уйдет весь день. Окно в погоде синоптики обещали на один день, а там ненастье на неделю. Еще неделя войны! — именно это стучало в мозгу техника.

О'Киф с напарником распахнули и оставили открытой дверь в соседнее помещение (еще одно нарушение правил безопасности!), нашли подходящий удлинитель, паяльник и, орудуя им рядом с детонаторами, перепаяли разъемы. На следующее утро бомбардировщик майора Чарльза Суини принял на борт «Толстяка» (имплозионную плутониевую бомбу в отличие от «стволовой» урановой, сброшенной на Хиросиму) и стартовал.

А экипаж «Энолы Гэй»? Вот что ответил штурман Ван Кирк, когда его спросили, что он увидел и что подумал сразу после взрыва: «Если хотите сравнения с чем-то знакомым — горшок с кипящей черной нефтью... А подумал я — слава Богу, война закончилась и в меня не будут больше стрелять. Я смогу вернуться домой».

Описание ужаса атомных бомбардировок у Родса усугубляется тем, что он использует почти исключительно свидетельства многих десятков пострадавших, которые в то время были детьми — четырнадцать, девяти, пяти лет. Одной из трагичнейших, деморализующих черт ситуации была полнота уничтожения, от инфраструктуры городов не осталось ничего — ни пожарных команд, ни транспорта, ни водопровода, почти не осталось жилищ и медицинских учреждений. Раненые и умирающие были предоставлены самим себе или на попечение полуживых родственников.

Японские политики осознали, что атомные бомбардировки дают возможность капитулировать без позора. По указанию министра иностранных дел Того посол в Москве Сато бросился искать посредничества Москвы, но у Москвы были уже другие планы. В день бомбардировки Нагасаки — через два дня после Хиросимы — Советский Союз вступил в войну с Японией.

А японские генералы не хотели сдаваться — заместитель начальника штаба японских ВМС, создатель подразделений летчиков-камикадзе, заявил на решающем заседании, что в случае десанта союзников он выставит двадцать миллионов смертников. Решающей — и, к счастью, здоровой — оказалась позиция императора, хотя ему пришлось справиться с сильным противодействием, вплоть до мини-мятежей. Предложение о капитуляции и принятии условий Потсдамской декларации было направлено через Женеву и получено в Вашингтоне 10 августа. Президент Трумэн отдал приказ прекратить атомные бомбардировки — это спасло Токио. Отменена была и доставка плутониевого заряда очередной бомбы из Нью-Мехико на острова, запланированная на 10–12 августа. С 11 августа прекращения были и обычные «красные» бомбардировки японских городов.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что расчет американцев оправдался — Вторая мировая война была обрублена атомными бомбардировками, а полное число ее жертв сокращено на многие сотни тысяч, если не на миллионы.

Всем известны слова, выбитые на памятнике жертвам Хиросимы: «Спите спокойно, это не повторится». Трудно сказать, что это — выражение надежды? Обещание? Если обещание, то оно не нарушено. После окончания войны атомное оружие не было применено нигде ни разу. Главным же монументом погибшим в Хиросиме и Нагасаки стала — пора назвать вещи своими именами — великая держава Япония, возродившая на новом уровне национальное самосознание и гордость, показавшая, что этого можно добиться и без кровавых претензий на мировое господство, а просто сделав всеобщим уважение таланта, труда и закона.

Война с Японией, которую Советский Союз объявил восьмого и начал девятого августа 1945 года, была крупнейшим успехом сталинских принципов внешней политики, редким по полноте торжеством его макиавеллизма. Во-первых, хотя решение о вступлении СССР в войну с Японией было принято еще весной на Ялтинской конференции, Сталин дотянул-таки до момента, когда действительно, в отличие от войны с Германией, смог выиграть «малой кровью, могучим ударом». Во-вторых, Советскому Союзу, а точнее России, не только возвращался Южный Сахалин с прежней частью Курильской гряды, но были присоединены и Южные Курилы, никогда под юрисдикцией России не находившиеся. В-третьих, в Китае и Северной Корее утверждалась коммунистическая власть, чем вчетверо увеличилось население сталинско-сталинистской империи, а победа союзников на Тихом океане превращалась в значительной степени в пиррову.

Все советские источники той поры, например, первое издание БСЭ, называют нашу блицкампанию на востоке «войной против японских агрессоров». Сам Сталин в обращении к народу второго сентября 1945 года сказал: «Свою агрессию против нашей

страны Япония начала еще в 1904 году во время Русско-японской войны». Заявление именно в этой форме было совершенно необходимо, поскольку **во Второй мировой войне** Япония хоть и, несомненно, была агрессором — **но никак не по отношению к СССР!** Наоборот, японцы до конца соблюдали пакт о нейтралитете, заключенный после серии неудачных предвоенных конфликтов, в которых были нападавшей стороной — КВЖД, Хасан, Халхин-Гол. У нас справедливо высоко оценивается роль разведчика Рихарда Зорге, сообщившего в Москву в критические дни ее обороны, что японцы не собираются вторгаться на Дальний Восток. Это позволило перебросить сибирские дивизии, отстоять столицу и перейти в наступление. Но информация информацией, а факт фактом — **японцы не воспользовались возможностью нанести нам удар в спину.** А он вполне мог стать смертельным, лозунги внешних и внутренних сил, давивших на японское правительство, были симметричными: «Германия до Урала» и «Япония до Урала». Это серьезно ослабляет не только шаткие правовые, но и моральные основания нашего суверенитета над Южными Курилами. Японской крови за них пролито много больше, чем нашей, плюс свыше полумиллиона пленных, очень и очень многие из которых не вернулись. И это было, повторю, битье лежачего, которого уложили не мы и который нас не трогал. Кстати, те, кто внес максимальный вклад в победу над Японией — англичане и американцы, — ни одного квадратного метра территории на этом не приобрели. Единственный надолго занятый американцами японский остров Окинава окончательно возвращен Японии — и мы все сорок лет гневно протестовали против этой «незаконной оккупации».

Неприятие населением Южных Курил и большей частью российской общественности потенциального возвращения островов Японии понятно. Слишком во многом уязвлены национальные чувства русских после распада Советского Союза. Менее понятны накал страстей и гневные протесты при любых попытках обсудить этот вопрос. Да, объяви сегодня Путин о признании прав Японии на эти четыре острова, для нескольких тысяч русских замаячит перспектива оказаться за границей. Но в результате распада СССР за границей — за настоящей границей, давайте поймем это! — оказались **тридцать миллионов русских**, и, честно говоря, судьба большинства из них — да не большинства, всех! — внушает мне лично гораздо более сильные и оправданные опасения, чем судьба курильчан в случае возврата островов. То есть, собственно говоря, за курильчан-то я совершенно спокоен и абсолютно уверен, что все вопросы с устройством их судьбы японцы помогли бы нам решить безукоризненно и в политическом, и в правовом, и в материальном отношении. Этого я, увы, никак не могу сказать о десятках миллионов своих братьев по крови, которым вдруг стало неуютно в родных местах, от Эстонии до Памира. Кое-где очень, мягко говоря, неуютно. И, в отличие от Японии, никто им ничего не обещает.

Скажу больше: окончательная нормализация отношений с великой соседней державой, превращение их в дружественные и союзнические сулит настоящий расцвет всей Сахалинской области и Приморью, геополитическая роль которых резко возрастет и изменится. Из военного форпоста на окраине они станут подлинным окном в бурно развивающуюся Азию, а Владивостоку вполне может быть уготована роль «тихоокеанского Петербурга». Тогда именно этот богатый природными ресурсами, но отнюдь не перенаселенный наш регион может стать центром притяжения и надежным прибежищем на Родине для тех русских из «ближнего зарубежья», которые вынуждены сейчас такое прибежище искать. Это поможет России решить одну из ее самых сложных и жгучих сегодняшних проблем.

Добавить остается только вот что. Россия сейчас бедна и ослаблена. Перспектива передачи островов поэтому поневоле воспринимается как «распродажа Родины», как попытка заткнуть какие-то прорехи компенсационными деньгами в ущерб национальному престижу. Но бедность наша скоро кончится, я в это верю, и тогда такое решение — а оно в любом случае вряд ли будет принято и реализовано скоро — будет жестом доброй воли великой державы, уверенной в своем могуществе и опирающейся в отношениях с соседями не на силу и амбиции, а на разум, справедливость и международное право.

Говорят лауреаты «Знамени»

Вручение ежегодных премий фонда «Знамя», состоявшееся 18 января в Государственном музее А.С. Пушкина, было приурочено к 70-летию юбилею журнала «Знамя».

Лауреатами 2000 года были названы

– *Инна Лиснянская за цикл стихотворений «Скворечник» (премия за приоритет художественности в литературе, назначенная Миртой и Аугусто Лопес-Кларос);*

– *Владимир Маканин за повесть «Удавшийся рассказ о любви» (премия за глубокий анализ современной действительности, назначенная издательством «Вагриус»);*

– *Николай Работнов за очерк «Сороковка» (премия за произведение, утверждающее идеалы патриотизма, назначенная Советом по внешней и оборонной политике);*

– *Дмитрий Рагозин за повесть «Поле боя» (премия по номинации «Дебют в «Знамени», назначенная фирмой «РосИнтер»);*

– *Джон Робертс за «Сцены театральной жизни» (премия «Глобус» за произведение, способствующее сближению народов и культур, назначенная Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. Рудомино);*

– *Валентина Твардовская, Ольга Твардовская, Юрий Буртин (посмертно) за публикацию «Рабочих тетрадей» А.Т. Твардовского (премия за произведение, вызвавшее повышенный читательский интерес, назначенная фирмой «РосИнтер»);*

– *Александр Чудаков за роман «Ложится мгла на старые ступени» (премия за произведение, утверждающее либеральные ценности, назначенная Советом по предпринимательству при Правительстве Москвы).*

Публикуем выступления новых лауреатов, подготовленные для торжественной церемонии.

Инна Лиснянская

Сердечно благодарю редколлегию «Знамени» за то, что мое имя названо среди лауреатов журнала последнего года уже ушедшего века, ушедшего тысячелетия.

Пожалуй, ни один из «толстых» журналов не публикует так обильно весь спектр текущей поэзии, как это делает журнал «Знамя». Это прекрасное обстоятельство поневоле заставляет задуматься над тем, а что, собственно, происходит в современной поэзии. Тем более что русская изящная словесность развивается в русле нынешнего трудного перепутья, в бурной скорости новых технологий.

И мне, в первую очередь как читательнице, кажется, что современная поэзия тщится с помощью усложнения формы передать всю усложненность и дробность как окружающего, так и внутреннего мира. Это привело к тому, что в поэзии, как в медицине, появились «узкие специализации». Стали делить стихотворцев (не говоря уж о литературных направлениях) на интеллектуалов и «задушевников», на самоиронистов и сентименталистов, на натуралистов и центонистов и т.п. Я, понятно, все это утрирую.

Прежде всего упрек в недужном искушении усложнить стих я отношу к себе. Сколько раз я пыталась простую мысль упрятать в сложную метафору, отуманить ее

разными ассоциациями, чтобы вырваться из ряда «задушевников» в более высокий ряд — в ряд интеллектуалов.

Однако как читательница поэзии восклицаю: что за вздор! Разве может стихотворец быть только чувствующим или только мыслящим? Что за узкая специализация? Но о медицине я вспомнила не зря. Писатель, а в особенности поэт, мне всегда представлялся не инженером душ, как того желал соцреализм, а врачом. В минуту жизни трудную перво-наперво читаю Библию и вслед — русскую классическую поэзию, в которой даже сумеречно мыслящий Баратынский ясен, как в сумеречный дождь ясны очертания лиц и деревьев и высветлены этим дождем. И я не одна такая читательница. О целительном свойстве поэзии, пусть даже самого трагического содержания, мне говорили как совершенно неискушенные читатели, так и такие знатоки, как Лидия Корнеевна Чуковская.

Но я имею в виду не эстраду, где происходит гипнотическое действо, хотя и оно может не просто развлечь, но и несколько увеличить число читателей. Я имею в виду неразрывный союз меж книгой и читателем, когда никто не одинок — ни автор, ни читатель. Оба — соотрапезники, собеседники, соодиночники, сомысленники, содушевные. Короче, я за ясность, исключающую темноты, за простоту, исключающую примитив.

И вовсе не хочу посеговать на нынешнее состояние изящной словесности строкой Лермонтова: «Печально я гляжу на наше поколение», ибо вижу, что молодая поросль стихотворцев в большей своей части возвращается в волшебное лоно традиции.

Вот произнесла слово «печально» и подумала (нет, неправда, я давно об этом думаю), что в поисках сложных путей в сложной жизни мы почти выронили из житейского и литературного обихода слово «Печаль» в его полном значении. Слово, если оно понятие, чаще диктует нам умонастроение, чем наоборот. Или, как выражаемся с легкого языка высокопоставленного чиновника, — «ровно наоборот».

Все есть — и отчаянье, и тоска, и, увы, уныние. Да, уныние, порождающее ерничество. А вот Печаль почти совсем исчезла. А если и существует, то главным образом — в значении ироническом или сугубо отрицательном. Например: «печально, но факт». То есть — плохо, но факт. Или как вводное предложение: как ни печально, но я должна вам сказать, что это объемное русское слово приобрело узкую специализацию.

Когда твержу себе в утешенье стих Пушкина: «Печаль моя светла», то мне уже никакая метафора не нужна. «Светла» — всего один простой эпитет, — и я вижу портрет Печали. Это — высокая женщина со светлыми глазами. У другого читателя, естественно, возникнет совсем иная картина, — м.б. утраченное детство. Что же до меня, то портрет Печали у меня превращается то в портрет блоковской «Незнакомки», то даже в трагический портрет Ахматовой, написанный Мандельштамом не без под- сказки Микельанджело:

В пол-оборота, — о печаль, —
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.

Лев Толстой восхищался стихотворением Пушкина «Воспоминание», где есть строфа:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Но, восхищаясь, Толстой заметил, что лучше бы Пушкин вместо «строк печальных» написал «строк постыдных». А Пушкин именно это и написал, но не впрямую, не в лоб. Знал наш национальный гений, что слово «Печаль» так объемно, что содержит в себе и молитву «...Утоли мои печали», и тот отрицательный заряд, какой ныне мы узко специализировали.

Видимо, до конца моего выступления я не отвяжусь от слова-понятия Печаль.

Кстати сказать, никакие литературоведческие изыскания не убеждают меня в религиозности Пушкина так безоговорочно, как его стих «Печаль моя светла». Ибо, как мне кажется, светлая печаль присуща глубоко верующему человеку. В стихотворных русских шедеврах незримо присутствует наш Создатель, даже если сам поэт об этом не ведает.

Еще раз сердечно благодарю и желаю редакции «Знамени» и ее авторам долгой жизни и процветания. И прошу прощения за сбивчивую, возможно, неуместную и несколько высокопарную речь. Говорить не к месту, да и не то, увы, — моя неизбывная печаль. Но если спросите меня строкой Пастернака: «Откуда же эта печаль, Диотима?», то я вам отвечу: отсюда, отсюда — из русской земли.

* * *

Я воспою тебя, осенняя печаль,
В краю, где ёрничество служит одичанью,
Я на плеча твои поношенную шаль,
Как царское наброшу одеянье.

Я воспою тебя за то, что ты одна —
Без почитателей, поскольку ты не в моде,
Я воспою тебя за то, что ты пьяна
От бражки дождика и не внимаешь оде.

Позволь, я в очи загляну твои, печаль,
Увижу сдержанную дымчатость опала
И догадаюсь, что и мне себя не жаль,
И догадаюсь, что не всё ещё пропало.

Владимир Маканин

У меня нет речи, но есть благодарность. Вот и посмотрим, сумеет ли кто-то сказать меня короче.

Николай Работнов

Выступая по такому поводу и в такой аудитории, я не могу не вспомнить с грустью и благодарностью моего дорогого друга Владимира Яковлевича Лакшина. Именно он, в ту пору заместитель главного редактора «Знамени», помог моему давнему благоговению перед языком и литературой принять, хоть и в скромных масштабах, активную форму.

В советские времена интеллигенция была, казалось бы, прочно разделена на творческую и научно-техническую. В знак признания человека творцом у нас выдавали удостоверения с печатями и фото, а науку пронизывала допуская система. Но взаимный интерес и общие чаяния помогали эти перегородки преодолевать. А сейчас растущая некоммуникабельность между двумя столь важными доменами отечественной культуры стала одним из самых тревожных фактов последнего десятилетия. Я к тому же работаю в науке не академической и не вузовской, а в отрасли, по отношению к которой это отчуждение драматически обострено. Поэтому все, что я пытался делать в журналистике, мотивировано прежде всего стремлением укрепить наше взаимопонимание, найти общий язык. Скажут — чего искать, все говорим и пишем по-русски?! Все — да по-разному. Полемика «технарей» с профессионалами СМИ почти всегда — игра в одни ворота, поскольку журналисты владеют языком лучше.

В анкетах для поступающих на любую службу всегда был пункт «Знание иностранных языков». К сожалению, пункта «Знание родного языка» в них нет, а во многих случаях честным ответом было бы: «Понимаю, могу объясняться, свободно читаю газеты и пишу с орфографическим словарем». На мой взгляд, кафедры русского языка и литературы необходимы во всех естественнонаучных и технических вузах и их следует там ввести, поначалу, наверное, на факультативной основе, а для аспирантов любых специальностей — на обязательной. И профессорами на этих кафедрах должны стать, наряду с филологами, и ведущие наши литераторы. Американских студентов

учили русскому языку Набоков и Бродский, не забудем об этом. Не грех подзудить родной язык и тем, кто идет в политику. На это ясно указывает страничка «Междометия» Вовы Белозерцева в журнале «Итоги». Она очень информативна.

Но есть и встречная, симметричная сложность. У журналистов, работающих и в печатных, и в электронных средствах массовой информации, очень распространен, мягко говоря, поверхностный и предвзятый подход к научно-технической и технико-экономической проблематике. Кроме того, СМИ, прежде всего телевидение, немало потрудились над превращением науки и техники в пугало и заметно в этом преуспели. Это отнюдь не всегда делается намеренно или даже сознательно. Но технические и техногенные экологические катастрофы, опасности, исходящие от оружия массового уничтожения и просто от современного, все более точного и страшного оружия, — естественный материал для сенсаций. А в фантастических фильмах лабораторные интерьеры становятся местом, где на глазах зрителя рождается и откуда разползается вселенское зло, планеты и целые галактики гибнут в чудовищных взрывах. Человек буквально с трех лет, с космических телекомиксов, проникается ужасом перед роботизированным, компьютеризованным будущим, где царит насилие, опирающееся на научные античудеса.

А с другой стороны, люди в современном мире настолько привыкли к удобствам, созданным наукой двадцатого века, что склонны воспринимать их как нечто само собой разумеющееся, не требующее с их стороны внимания, постоянной поддержки, серьезных забот и усилий. Что касается конкретно энергетики, то сформированное таким подходом отношение общественности к положению в этой жизненно важной отрасли и в национальном, да и в глобальном масштабе лучше всего описывается анекдотом про мужика, который выпрыгнул с тридцатого этажа и, пролетая мимо двадцатого, сказал: «Пока все идет нормально...»

Перед самым Новым годом в телевизионной викторине «О, счастливчик!» участвовал один из самых известных наших политиков. Ему был задан вопрос: «Какие электростанции дают максимальный вклад в российскую энергетику — тепловые, гидро-, атомные или ветровые?». Показательны два обстоятельство. Во-первых, этот, казалось бы, сторублевый вопрос был оценен, если не ошибаюсь, в шестьдесят четыре тысячи — Дибров знает аудиторию. Во-вторых, председатель думской фракции, авторитетно решающий со своими коллегами проблемы реструктуризации РАО ЕЭС, тарифной политики, обращения с облученным ядерным топливом и т.д., именно на этом вопросе и погорел.

С политической демагогией, старой, как мир, цивилизованное человечество разбиралось долго, но, в основном, разобралось. Существенный прогресс наблюдается здесь и в нашей стране. А вот молодая экологическая демагогия застала всех врасплох, и большинство людей оказались против нее совершенно беспомощны, от чего в первую очередь пострадала энергетика. Чего стоит, например, успех призывов решать сугубо научно-технические вопросы путем референдумов. У Киплинга есть рассказ, который называется «Деревня, где голосованием решили, что Земля плоская». Множество феерических политических и журналистских карьер всех уровней было сделано на далеко зашедших попытках превратить нашу — и не только нашу — страну в такую деревню. Хотелось бы верить, что это положение начнет меняться.

Заканчивая, скажу: я не знаю антонима к причастию «выстраданный», а если бы знал, то именно его употребил бы применительно к своим статьям для «Знамени». Я работал над ними с большим удовольствием. Тем дороже для меня сегодняшнее столь лестное поощрение.

Дмитрий Рагозин

Уже после того, как «Поле боя» было написано, я напал на фразу, которая могла бы стать эпиграфом: *On parle beaucoup de batailles dans le monde sans savoir ce que c'est. J. de Meistre.* — «В свете много говорят о битвах, не зная, что это такое». Между «говорить» и «писать» есть разница, но и светское словопрение, и единенное словотворчество в равной степени имеют своим предметом незнание. Писать можно только о том, чего не знаешь. Это всегда риск свалить дурака, потерпеть поражение и в конечном итоге, как худшее наказание, выйти из игры. В моем, частном, понимании литература — это поле боя, где «поле» — край, по которому рассеянная рука сосредото-

ченного воображения выводит порой зловещие виньетки, порой шуточные гримасы. Литература стоит на стреме в неприличной близости на приличном расстоянии. Реальность, которая не бог весть что. Я благодарен журналу за неожиданное понимание и поддержку.

Джон Робертс

Свой «русский путь» я начал ровно 50 лет тому назад, то есть еще при Усатом. Те грозные годы заставили меня, как и многих молодых людей, призванных на военную службу, освоить русский язык. Тогда я не понимал, что это великолепный подарок на будущее.

Если кто-нибудь из вас, на что я очень надеюсь, прочтет мою книжку, он узнает, что, начиная с 70-х годов, я посвящал много сил и энергии развитию доверия и чувства локтя между деятелями культуры обеих наших стран (речь идет вышедшем в издательстве РОССПЭН русском переводе книги Дж. Робертса «Говорите прямо в канделябр», главу из которой напечатало «Знамя». — *Прим. ред.*). Я убежден, что соединение наших культурных сил — это сейчас самое важное. Кстати, последние слова принадлежат не мне — так писал мне однажды Олег Николаевич Ефремов, и его слова, по-моему, справедливы для всех времен и народов. Русское издание книги я посвящаю моим многочисленным друзьям, «живым и покойным» — в вашей чудесной стране. Если рассказанное мной интересно, а порой и забавно — то лишь благодаря им.

Конечно, я глубоко обязан моему московскому издательству РОССПЭН. А сегодня хочется в первую очередь поблагодарить журнал «Знамя» в лице его главного редактора Сергея Ивановича Чупринина. Поверьте, я всегда буду помнить это «чудесное мгновение». И за это вам всем огромное искреннее спасибо.

Валентина Твардовская

Ольга Твардовская

Мы искренне благодарны редакции журнала «Знамя» за присужденную нам премию. В наших глазах она — свидетельство признания редакцией значимости дневников Александра Трифоновича Твардовского начала 60-х годов, стремления выделить их из общего потока интересных и важных материалов журнала.

Мы благодарны редакции за бережное отношение к текстам поэта, за возможность достаточно обстоятельно их прокомментировать. Ведь дневники Твардовского не только добротная русская проза, но и важный источник для постижения идейной и духовной жизни советского общества.

Почему эти дневники, где главным является рассказ о работе в журнале «Новый мир», на посту редактора которого Твардовский пробыл 16 лет, печатаются в «Знамени»? Этот вопрос знакомых и незнакомых нам читателей сопровождал уже подготовку к печати рабочих тетрадей нашего отца и не отпал до сих пор.

Ответ на него достаточно прост. Редакция нынешнего «Нового мира» никогда не проявляла интереса к наследию Твардовского. Журнал, выходящий под той же обложкой, что и при Твардовском, открыто заявил о разрыве с традициями старого «Нового мира». «Знамя» одним из первых предложило страницы своего журнала для публикации дневников Твардовского. Мы сочли, что «Знамя» — журнал серьезный, интересный, наиболее в наши дни читаемый, — вполне достойное место для этого. Именно здесь в конце 80-х годов наша мама опубликовала, хотя и не полностью, рабочую тетрадь Твардовского с 1950 по 1960 год.

Премия журнала «Знамя» для нас добрый знак возможности продолжить здесь начатую публикацию. Речь идет уже о дневниках Твардовского второй половины 60-х годов, когда идейное и нравственное противостояние его журнала существующей системе достигает особой напряженности, а борьба власти с «Новым миром» и его редактором — особого накала. В тетрадях последних лет — кульминация дневниковой прозы Твардовского. Здесь, в этой «исповеди сына века», с предельной ясностью ощущается стремление поэта «так со своей управиться судьбой, // Чтоб в ней себя нашла судьба любая. // И чью-то душу отпустила боль».

Александр Чудаков

Советское время обладало удивительной способностью искажать значения слов, характеризующих человеческие ценности; делалось это при помощи выразительных эпитетов: гуманизм — абстрактный, либерализм — гнилой, космополитизм — безродный, консерватизм — реакционный. (Кое-кто эту манеру, упростив, унаследовал, заляпав коричневатой грязью одно из замечательнейших слов — «патриот».) Ценностей европейской цивилизации это, разумеется, не поколебало, в частности, одно из фундаментальных положений классического либерализма — идею реформ, постепенства и неприятия революционной ломки. Что революции — крайне негодные локомотивы истории, Россия в ходе и после трагического опыта осознала вполне.

Опыт этот, однако, не коснулся в сознании общества предметно-бытовой сферы. Радикальная, и антиприродная, и направленная против памятников культуры, и агрессивная вещноуничтожительная деятельность с годами даже усилилась, дойдя до чудовищной идеи поворота северных рек. Запад в области экологии, например, давно спохватился. Может, главной ошибкой В.В. Путина в масштабе большого времени окажется упразднение комитета по экологии.

Основная проблема — быстрота сменяемости вешного окружения человека, у которого все смелее отбирают вещи привычные и любимые, заменяя их новыми, которые надо осваивать. Раньше вилкой или тарелкой пользовались четыре поколения, а одноразовый пластиковый прибор находится в руках двадцать минут, после чего отправляется на свалку. Уже придуманы трансформирующаяся мебель, дома-башни с ячеями, где квартиры-кубики свободно вынимаются: неделю назад был квартал нормальных домов, а сегодня вы видите мачты-скелеты: хозяева уехали, забрав свои «блоки личной архитектуры». Предполагается устроить предметный мир меняющимся во всех его элементах — как если б человек всю жизнь куда-то ехал, глядя в окно вагона.

Мир стал ярким. Уже и у нас появились пламенно-оранжевые куртки не только на дорожных рабочих, но и на лыжниках, и бьют в глаза среди белого безмолвия. В Лос-Анджелесе я видел в витрине алюю ванну; когда ее наполнили водой, я про себя обозвал ее «Мечта Шарлотты Корде».

Человек в конце концов ориентируется в постоянно перемещающихся секциях универмага, научится что-то улавливать в с бешеной скоростью меняющихся картинках клипов и угадывать время на часах, где стрелки движутся по циферблату, на котором всего две черточки или вообще ни одной. Человек может вынести все — даже двадцать лет одиночки или ГУЛАГа, или северную тюрьму-яму без крыши, как протопоп Аввакум. Но не лучше ли затратить эти огромные психические ресурсы на дела духовного порядка, чем на гибельное для психики приспособление к самим же человеком изменяемому миру?

Какова была жизнь в нашей стране 50–60 лет назад, объяснять не надо. Предметный мир тоже был совершенно другим — я попробовал среди прочего показать это в своем сочинении, поняв постепенно, что на самом пишу деле исторический роман. Но этот скудный вещный мир не был враждебен человеку, не бил по его сетчатке, слуху, не насиловал память, оказываясь его союзником в борьбе с Системой, освобождая душевные силы для этой борьбы.

Запретить оранжевые куртки? Это уже — не у нас — было: все носили одинаковые, синие, с одним и тем же значком. Общество должно осознать тревожность ситуации само — и все в целом, и каждый человек в отдельности.

Карен Степанян

Отношение бытия к небытию

«Беда в том, что там, в той стороне, все очень связано. Это только нам кажется, что если мы выломались оттуда сами, то так же можем выломать хотя бы ветку на память из того сада. Вдыхать и вспоминать. Да нет. Нет».

Александр Терехов. «Сон в летнюю ночь».
«Континент», 1994, № 80.

«Короче, от того, что ты напишешь, все и будет зависеть». (Весовицк с зеленым лицом в переднике у входа в загробный мир.)

Из романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила».

Результатом бурного последнего десятилетия XX века в нашей прозе стало весьма отрадное явление. В советское и близкое постсоветское время и в официальной, и в оппозиционной, и в самиздатской (тамиздатской) прозе господствовала — естественно, в совершенно различных трактовках — социально-психологическая проблематика. Иначе и быть не могло, ибо писались книги (и рукописи, книгами не ставшие) теми и для тех, для кого главным было самоопределиться и найти свою линию поведения в античеловеческих социально-политических обстоятельствах. Потом обстоятельства стали обычными (плохими или хорошими, как для кого, но обычными), и наступил период растерянности. Многие решили, что наша литература, сильно подзадержавшись, теперь должна догонять мировую: отбросив устаревшие категории постижения жизни, «учительства», стать иронично-ернической или изощренно-эстетской игрой. Десятилетие это было действительно связано с быстрым постижением и освоением зарубежного (отнюдь не сводимого, конечно, лишь к игровому началу, как то почему-то представляется порой даже внимательным нашим наблюдателям) и отечественного современного опыта. Конечно, основы тысячелетней русской культуры (и ее основы — литературы) не могли быть в результате столь кратких (хотя для многих и весьма значительных) потрясений поколеблены. Волна (или буря) прошла, обогатив серьезных авторов и читателей новым знанием. А те, кто воспринял временное как нечто установившееся навсегда (как в свое время многие советскую власть), оказались обречены на горестное недоумение, искреннее или притворное, порой на истерику (консервативная контрреволюция!) либо на активные попытки убедить себя и окружающих, что по-прежнему находятся в мейнстриме, а пустота вокруг — от того, что остальные слишком подзадержались.

Между тем серьезная русская литература на рубеже веков выходит к главной теме современности: о самоидентификации человеческого бытия, проще говоря — о том, что делает бытие человека на земле реальным и что такое вообще *реальность* — в жизни, в мироздании, в литературе. Все лучшие произведения последних лет — от «Андеграунда» В. Маканина до «Закрытой книги» А. Дмитриева, от «Свободы» М. Бутова до «Свидетеля» В. Березина, от «Самоучек» А. Уткина до «Человека-языка» А. Королева — были посвящены в основном этой проблеме. Опасность превращения собственного существования в иллюзию встала перед человеком отнюдь не в связи с торжеством новых технологий. Уровень ее осознания обществом демонстрирует хотя бы то, что недавно в *газете* (не совсем, правда, обычной — в «НГ-религии», но все же) вопрос «Быть или не быть?» был назван претендующим на главный вопрос *тысячелетия*. Действительно, на протяжении многих последних веков человек в порыве самообобщения последовательно разрушал свои связи с горним миром, вроде бы пытаясь стать хозяином своей жизни и мироздания в целом, но на деле лишь ставя себя в

зависимость от *сегодняшнего* состояния науки и социально-экономических обстоятельств, делая себя рабом психологии, экономики, медицины, разрушая главные опоры своего *человеческого* бытия. Все это не могло пройти бесследно. Лишаясь онтологической основы, человек делал свое существование и окружающую действительность все более иллюзорными, пока, наконец, нынешняя *экранный* (на экранах телевизоров и особенно компьютерных мониторов возникающая) реальность, иначе называемая виртуальной, не стала претендовать на равноправие с (а то и превосходство над) человеческой. И не случайно внимание литературы, продолжающей оставаться барометром (хотя сейчас, в период своей болезни, не столь чутким) человеческого состояния, сконцентрировалось именно здесь. Движение только начато; не так-то просто восстановить разрушавшееся веками, да и многие думают, что не стоит возвращаться вспять.

Из всего спектра произведений последнего времени, чьи авторы, сознательно или неосознанно, обращены к этой проблематике, выберем лишь одно направление — определить которое, правда, затруднительно: это повествование о прошлом, где речь идет вроде бы о реальных событиях, происшедших с автором и окружавшими его людьми, но поскольку авторы — профессиональные литераторы, писатели, то в большинстве случаев трудно сказать, в каких соотношениях находятся тут действительность и вымысел (могут быть в самых разных). Три года назад в беседе на страницах журнала «Вопросы литературы» Наталья Иванова указывала на перспективность «авторской» литературы (или литературы «новой искренности») — с автором-героем в центре*. Предсказание сбывается, хотя степень исповедальности в произведениях, о которых пойдет речь, повторяю, различна.

По самому определению (воспоминания о прошлом) и вследствие очевидного стремления уяснить отношения человека с одной из важнейших категорий бытия — *время* становится здесь едва ли не главным объектом взглядывания, осмысления, рефлексии.

Время — действительно одно из самых таинственных явлений действительности, теснейшим образом связанное с бытием. Эту связь остро чувствовал Достоевский, оставивший в одной из записных тетрадей загадочную (и до сих пор не истолкованную исследователями) фразу: «Время — это отношение бытия к небытию».

Время начало существовать сразу же по сотворении мира. Это творчество и движение времени не прекращаются доныне, ибо не прекращается жизнь. Но движется время по-разному, в зависимости от внутреннего состояния человека. Об этом знают (или догадываются) многие, а ярче всех выразили такие писатели и художники, как Гете, Гольбейн, Врубель, Гоголь, Достоевский, Оскар Уайльд. Но человек в минувшем тысячелетии часто стремился переиначить эту зависимость: подчинить время своему контролю, своим замыслам. Авторы интересующих нас произведений пытаются как-то остановить время, пустить вспять или вовсе отказаться от него.

* * *

«...звали моего собеседника Михаил Шишкин.

— Ты делаешь то, чего я старательно хочу избежать, — говорил <он>. — Ты хочешь рассказать время. Говоря об изображении истории в литературе, я могу привести две причины наших литературных трудностей, одна из которых уже отпала — это цензурные соображения. Вторая причина, которая, как мне кажется, актуальна будет всегда, — это сам текст. Ты должен придумать какую-то вселенную, и вот вспоминаешь о другой, уже готовой, и помещаешь героев туда. То же самое и я хочу сделать сейчас, но кому-то нужно придумать гипотетическую Россию, чтобы с ее помощью лучше посмотреть на Россию сегодняшнюю.

А мне история нужна не для того, чтобы войти в Россию, а для того, чтобы избавиться от нее. Я хочу написать роман, в котором от начала до конца, от жизни до смерти герои будут переживать человеческие проблемы, а не те, которые ставит перед ними политика.

* «Литература последнего десятилетия — тенденции и перспективы» («Вопросы литературы», март — апрель 1998 г., с. 12).

Вот я написал роман, в котором герой всю жизнь свою борется с Россией, с теми переплетами, в которые он попадает потому, что живет здесь. И вот хочется написать о людях, которые мучаются по другим причинам, не по тем, что мучают людей сейчас в этой стране. Для этого мне нужно поместить их не в России, но одновременно и в России, ведь герои русские, говорят на русском языке, поэтому я придумываю ту страну, в которой все, что есть нечеловеческого, исчезло».

Владимир Березин. «Хроника нулевого года». Октябрь, 1997, № 12.

Не столь уж важно, говорил ли Михаил Шишкин в той беседе с Владимиром Березинным именно о будущем романе «Взятие Измаила» или нет, и сколь точно передал автор «Хроники...» его слова. Основное — в сути — сходится. В романе действительно перемешаны все временные пласты («Михайло-Архангельский монастырь, бывший лагерь», сойдя по Владимирскому спуску, выходишь к Нилу, «отмечалось тысячелетие победы»), но главное — действительно вычленены из времени судьбы персонажей. Однако это, на мой взгляд, несколько не запутывает повествование.

Вообще меня удивило, что легкую, завораживающую, замечательную романную прозу Михаила Шишкина — по силе художественной выразительности, глубине и тонкости психологического анализа, вызываемому душевному и психологическому сопереживанию мне не с чем ее сравнить в постсоветской литературе последнего десятилетия (рамки можно и расширить) — по признанию некоторых моих коллег, литераторов и критиков, якобы трудно, а порой и невозможно читать?! Даже в восторженной статье Б. Кенжеева под *странным* названием «Взятие Измаила sub specia aeternitas» («Кулиса НГ», № 15, 17 ноября 2000 г.) — к этой статье я еще буду возвращаться в дальнейшем — есть неточность в изложении содержания романа. Уж не притупило ли поглощение каменско-фандоринских походов вкуса и навыков к чтению настоящей литературы? (А обозреватель газеты «Коммерсантъ» Вадим Руднев договорился до совсем поразившего меня утверждения: «мы живем в двух совершенно непересекающихся культурах. В одной, которую я склонен считать нормальной и продуктивной, находятся издательства Ad Marginem, Владимир Сорокин, Александр Пятигорский, Лев Рубинштейн, и в ней происходит, может быть, не всегда удачно и всегда трудно, какая-то достаточно интенсивная, напряженная и осмысленная интеллектуальная и эмоциональная работа. В другой располагаются журналы «Новый мир», «Знамя» и Алла Латынина <...> и «Большой Букер». Роман, выигравший эту премию, представляется мне сочетанием безвкусных, мало связанных между собой предложений, которые написало существо, напрочь лишенное каких бы то ни было признаков литературного дарования. И это существо — Михаил Шишкин, автор романа «Взятие Измаила»...». Читая эти строки, я все думал — неужели это тот самый Вадим Руднев, ученый гартгуской школы, автор умных книжек «Морфология реальности», «Словарь культуры XX века»? Нет, наверно, все-таки не он.)

(Пожалуй, чтение романа лишь несколько осложняют используемые вначале латинские фразы и выражения (даже о прилипшем к сапогу листе говорится с помощью известного латинского изречения), даваемые без перевода. Мне не кажется это правильным (удивительно, но ни в одном из прочитанных мною откликов об этом ни слова; остается предположить, что латынь стала вторым иностранным языком наших литераторов). Ведь, полагаю, та строка из романа «Взятие Измаила», что вынесена мною в эпиграф, означает, что «все будет зависеть» не только для знающих латинский язык? Или мы согласимся с *адвокатом*, что *рифма* и *хлеб* — разные вещи?)

Итак, автор «Взятия Измаила» стремится вывести своих героев из-под власти времени — «времени, идущего посолонь и схватившего каждого за руку, мол, попался, теперь не убежишь, будешь у меня на ремешке». То, что принято называть «историческими вехами», перепутано: будущие события могут оказаться в настоящем или прошлом, прошлые — в будущем, одни и те же персонажи (порой меняя лишь имена, а порой и с теми же именами) свободно переходят из одной эпохи в другую, или же сами эпохи наплывают одна на другую.

Но и сами люди отнюдь не прочны, не константны. Они тоже могут перетекать из одной телесной оболочки в другую (порой, опять-таки, меняя имена, а порой и нет), из одной судьбы в другую. «Человек летуч и непредсказуем, потому особое внимание

нужно уделить сохранению следов»; «Весь так называемый тварный мир текуч и бесплотен <...> Другое дело слова». «Так ребенок, отломав голову одной игрушке, приставляет ее к туловищу другой — и прирастает, разговаривает как ни в чем не бывало, кушает кашу. Вот мы они и есть». Вроде бы прочной константой тут действительно становится язык, слово. «Мы — лишь форма существования слов. Язык является одновременно творцом и телом всего сущего. <...> Мы ведь для слов не больше, чем податливый материал. Господи, да мы сами слова!»

Какой же мир воссоздается в результате, какими людьми он населен?

Тут оговорюсь сразу, что поскольку в данном случае речь идет о полноценном художественном произведении, а я пишу критическую статью, а не очерк жизни и творчества имярек, то не буду пытаться описывать, на основании анализа романа, мировоззрение автора; пусть даже один из его персонажей называется Михаил Шишкин. Профессионально корректно будет говорить только о персонажах и повествователе романа, и лишь в итоге подобного рассмотрения, предположительно, в границах наших возможностей — об интенциях самого автора.

Персонажей, в общем, немного (если учесть перетекание одного в другого). Они объединены в «семейные ячейки»: муж — жена — сын (дочь) — старший (младший) брат сына — мужчина (женщина) рядом. Но связи эти непрочны (за исключением последней пары: Михаил — Франческа и отношений отец — сын (дочь)), не существуют по-настоящему или легко рушатся. Плоть вообще зыбка и бесформенна — и лишь слово способно обрести плоть; но слово не способствует созданию связи между людьми, не несет понимания («единицей непонимания является слово»; с помощью слов невозможно понять ни ближнего, ни себя самого ни в прошлом, ни в будущем; «чем больше слов, тем больше путаница!»). Да, слово в понимании многих персонажей — первоисточник реальности («Произнесите любое слово, самое затрапезное, хотя бы то же «окно». И вот оно, легко на помине — двойные зимние рамы, высохший шмель, пыль, забрызганные краской стекла»). Но это по преимуществу лживое слово человека, отрешенное от своего Первоначала, варвара, существующего в духовной пустыне: «И слово, как кто-то весьма удачно выразился, плоть бысть», — говорит один из центральных персонажей, адвокат Александр Васильевич. Что происходит тогда с реальностью и как мыслят себя существующие в ней люди?

Хотя предполагается как бы предельная независимость от обстоятельств места и времени, но все же довольно существенное место в высказываниях и внутренних монологах персонажей занимают рассуждения об их Родине — России. Для большинства из них это страна властителей-самодуров, воров-чиновников и «рабов в тридцатом поколении», где личностей не существует, а если появляются — их уничтожают; лагеря и тюрьмы для своих, казачьи набеги и саперные лопатки — для соседей; «здесь вся жизнь еще идет по законам первобытного леса <...> любая человечность здесь воспринимается как слабость, отступление, глупость, тупость, признание своего поражения <...> здесь идет испокон веков пещерная, свирепая схватка за власть <...> и все это благо отечества и вся эта любовь к человечеству — все это только дубинки, чтобы перебить друг другу позвоночник <...> и куда пойти? — в церковь? — так у них и церковь такая же, не Богу, но кесарю, сам не напишешь донос, так на тебя донесут, поют осанну тирану, освящают грех, и чуть только кто попытается напомнить им о Христе <...> так его сразу топором по голове, как отца Меня <...> на этой стране лежит проклятие <...> жить здесь — это чувствовать себя униженным с утра до ночи»; здесь беспробудно пьют, а потом дерутся до крови, разбивают рояли и бьют фонари, а если закроешь фонарь решеткой — найдут способ разбить и за решеткой, здесь звонят в церкви к заутрене так громко, что будят всех в домах вокруг, но в церковь на Пасху идут из казино и потом туда же возвращаются.

Читая все эти пассажи, я задумывался над вопросом, очень занимающим меня в последнее время (в связи с очевидным нарастанием во всем мире, и в Европе в том числе, — несмотря на благодушные надежды гуманистов — национального размежевания и нетерпимости). Почему для одних Россия — страна деспотизма и рабства, повального пьянства и варварства, воровства и отсталости, антигуманизма и агрессивного бескультурья, немногие мыслящие представители которой, в порядке компенсации, выдумали некую химеру о народе-богоносце, страна, постоянно ведущая войны с соседями и подчиняющая себе окружающие малые народы; а для других — красивейшая и чистейшая (в духовном смысле) страна мира, хранительница Православия, родина величайшей в истории человечества культуры — иконописи и храмового зодчества, литературы и философии, призванная спасти мир сбереженными ею идеалами

любви, братства и нестяжания, сохранившая все вошедшие в ее состав народы с их цивилизацией, языком и культурой (в отличие от Германии, Испании или США), вынужденная постоянно защищать свое право на существование (а порой и спасти Европу) от кочевников и тевтонов, от шведов и французов, от немцев и мусульманских фундаменталистов? Почему для одних США — the top of the world (вершина и центр мира), страна-рай, государство подлинной демократии, высочайших достижений человеческой цивилизации и экономического развития, гарант и защитник свободы во всем мире, а для других — лишь раздувшийся экономический колосс на глиняных ногах, с поразительно неразвитым в культурном отношении народом, где слова «цивилизация» и «культура» вообще синонимы, пытающийся навязать свои лживые идеалы демократии (на самом деле управляемой, больше, чем где-либо в мире, властью денег) и специфические национальные нормы всему миру, не останавливаясь (как и СССР в свое время) перед прямой агрессией?

Думаю, что человек, судящий о любой стране мира *только так* или *только этак*, занимает весьма специфическую позицию — позицию стороннего наблюдателя, *субъекта* по отношению к объекту. Тот, кто ощущает себя *кровной частью* того или иного тела — государства, народа — не может не видеть и красоту его (потому что это источник существования) и не ощущать болезней и бед его (потому что болит ведь свое!).

Но персонажи «Взятия Измаила» занимают положение стороннего наблюдателя не только по отношению к стране, но и к Божьему миру в целом. Позиция эта — отчуждение и ирония. Поначалу, когда группа отправившихся на выездное заседание суда юристов присваивает себе имена языческих богов, соответственно своим — и их — ролям и рангам (судья — Перун, прокурор — Велес и Сварог, а судят преступницу — Мокошь) и воображает себя творцами мира (все с той же помощью слов) — это воспринимается как игра. Но потом игра становится серьезней (если вообще это уже можно назвать игрой): «От кого ребеночек (подозреваемой в матерубийстве подсудимой — Мокоши. — К.С.)? Да мало ли от кого? От римского легионера ли, от плотника ли, от луча с золотыми пылинками...». В их пространных монологах строка «в начале было слово» (с маленькой буквы) может соседствовать с «таракан не муха, не возмутит брюха».

Это действительно какие-то варвары, *незнающие и непомнящие*: «Я купил свечку и поставил ее Варваре Заступнице. Помню, стоял в полумраке среди каких-то полуживых старух и думал: кто была эта Варвара? Что сделала? Почему я прошу ее, совершенно мне не знакомую, может быть, совсем необразованную неграмотную бабу, к тому же давным-давно умершую, сделать так, чтобы у Кати все обошлось?». Но все же: «Удивлялся сам себе, стоял и просил: — Варвара Заступница, сделай так, чтобы у нас родилось здоровое дитя, чтобы Катя перенесла роды благополучно! И ничего больше не надо!».

Герои романа находятся (и телом, и душой) между эпохами и странами (Египет, царство тьмы и мрачной мистики, — Россия — Швейцария), между отрицанием веры, незнанием основ ее и потребностью в ней, между всепоглощающей любовью к своей дочери (сыну) и полным равнодушием к остальным, даже самым близким людям, между рафинированной тонкостью мыслей и чувств и вульгарной злобой («утонченная» Маша о привязавшейся к ним с мужем одинокой старушке: «Что-то наша бабушка не звонит. Сдохла, что ли?»). Они действительно, несмотря на свою почти физическую осязаемость и глубочайшую психологическую проработку, не обладают *реальностью*. Да, им вроде бы удалось поместиться вне времени (автору удалось поместить их там), но та точка, на которой они находятся, не «точка зрения вечности». Они вообще вне Божьего мира, ибо в нем можно находиться, лишь обладая реальным бытием. (Тем самым, находясь вне времени, но и вне бытия, они косвенно подтверждают, что время бытийно.)

Как справедливо напоминает Т. Касаткина в статье «Литература после конца времен» (которая тоже посвящена взаимоотношениям нынешней литературы со словом и временем и которой многим обязана моя работа), человеческое слово сходно со Словом, Богом Сыном, в своей связующей миссии: Христос соединил Бога с людьми, горний мир с земным, а слово соединяет людей между собой.* Но только в том случае, если субъект его — человек — осознает себя частью Божьего мира. В ином случае слово — как между персонажами Шишкина — становится преградой для понимания

* Татьяна Касаткина. «Литература после конца времен» («Новый мир», 2000, № 6, с. 190).

между людьми, перестает что-либо означать: «язык есть средство размножения зла и передачи его по пространству и времени». Такому иллюзорному миру, для самосохранения, надо представить нереальным и слово Божье (после безуспешных попыток справиться с фараоном — в сновидении одного из персонажей — Бог беспомощно «развел руками»).

В упомянутой уже статье Б. Кенжеев писал: «Я полагаю, что роман не случайно появился в трех номерах «Знамени», завершающих век и более того — тысячелетие. Я полагаю, что основной его герой — брошенное Богом человечество, которое ухитрилось не заметить, как Господь его оставил, словно подростка, и проглядело конец света, «когда времени больше не будет».

Но Бог не оставляет и не забывает людей, от Него исходят лишь бесконечные добро и любовь и никакого зла (только если мы впадаем в какое-либо из гностических помрачений, нам начинает казаться иначе); связь Его с человеком и составляет основу бытия. Однако человеку дарована свобода — а потому он, случается, забывает Бога или отворачивается от Него, воображая себя хозяином мира и собственной жизни. Но поскольку человек не может стать действительным хозяином не им созданной Вселенной и распоряжаться не им дарованной себе жизнью (по-воровски, ложно, как тать, конечно, может распорядиться), то, теряя свою бытийную основу, оказывается в распоряжении *другого*, кого, при нежелании употреблять ясные слова, можно назвать «сфинксом с мохнатыми лапами» (а потом удивляется, отчего вокруг так много зла). То же относится и к остановке времени, отказу от него. Остановить время *для себя* — вовсе не значит перейти в вечность. Это значит лишь остановить в себе творчество Бога, согласиться остаться при своих грехах без возможности раскаяния, суда и *искупления*, обречь себя на бесконечное пребывание на земле и отказаться от Небесного Царства. Устроить самому себе конец своего *света*. Это — в предельном выражении — и есть ад, выбранный уже здесь, на земле. Начинаящий юрист Саша, будущий известный адвокат Александр Васильевич, мечтал, в знак признания, «получить свой крик в швейцарской». Младший брат Саши, один из трех других главных героев романа, — Женя, потом Михаил Шишкин из *Эпилога*, был подвешен на крюке в школьной раздевалке (то же произошло, если вспомним, с Одиноким, героем «Бесконечного тупика» Д. Галковского). Крайним выражением отрыва человека от реальности называет замечательный отечественный философ С. Франк в своей книге «Реальность и человек» висение в воздухе (над пропастью) (вспомним Иуду). Судя по тому, что в одном из интервью («Ex libris НГ», № 38 от 5/Х 2000 г.) сам М. Шишкин заявил, что «все мы в чем-то граждане кантона Ури» (т.е., напомню, Ставрогены) — подобный конец может грозить нам всем. Вряд ли это можно назвать неоправданно пессимистическим прогнозом. Тогда и мир оказывается миражным, «набитым истиной» (являющейся «продуктом судебного разбирательства»), где добро и зло равноправны и переходят друг в друга, и одно якобы не может существовать без другого, где равнозначны (или равно-незначны) и молитва, и ерническая пословица, и высокий и низкий стили, и вообще все.

И слово тогда становится чем-то вроде языческого кумира, закрывающего от человека небеса (я писал об этом в статье о романе В. Маканина «Андеграунд» — «Кризис слова на пороге свободы», «Знамя», 2000, № 8). Поскольку антиподом подобного мироустройства является русская классика, то персонажи пытаются всячески переосмыслить ее; особенно достается Достоевскому, и в строках из его романов, и лично — Д. и его жена Марья Дмитриевна — присутствующему в тексте. Но и это кажется Б. Кенжееву (в последний раз возвращаясь к нему) недостаточным, и он сводит вместе (разъединенные в романе) рассказ матери о нечеловеческих вытарствах с ребенком в погребке от жадности вагоне с эсками — и заключительную фразу романа «Идиот» (она принадлежит, напомню, Лизавете Прокофьевне, матери Аглаи, Александры и Аделаиды): «И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите!».

А между тем в сложной структуре романа «Идиот» эти слова вовсе не являются некоей антизападной сентенцией (и потому не лишаются смысла рядом с рассказом о наших отечественных ужасах). Смысл их (и всего романа «Идиот») в другом: если Христос *только* человек (к чему склонялись и склоняются многие на Западе, а потом и в России, десакрализируя культуру), то всякая реальность жизни исчезает, все становится фантазией, фикцией, иллюзией.

Что же повествователь? Его взгляд на мир отличается от мировоззрения большинства персонажей, о чем мы можем судить по мелким, но весьма значащим деталям,

вроде неожиданного абзаца о «бабе Лене» или памяти об охраняющих крестах в ночь зачатия ребенка. «Гиперид» — называют его приходящие к нему «афиняне». «Гиперионом» звался в греческой мифологии титан, сын Урана и Геи, и буквально имя его переводится как «ходящий по верху». Может быть, тоже шутка, как со Сварогом и Велесом, а может быть... Ведь самое главное, что мы узнаем о персонажах, — это то, в чем они отражаются в повествователе (или он в них), что важно для него самого — трагическая любовь к ребенку, муки непонимания с остальными близкими, а вот за что, скажем, сидит в тюрьме его брат Саша, мы так никогда и не узнаем. С одной стороны, истинная любовь и истинная боль, не подвластные никакой иронии, составляют основу его повествования (можно даже сказать, что это роман о любви и боли). С другой стороны, такой же основой (или одной из основ), давшей название роману, допустимо посчитать сцену-метафору со штурмуемым дрессированными крысами макетом крепости Измаил, в которой спрятана приманка — сыр. Если сопоставить это со словами отца героя, моряка-подводника: «Жизнь нужно брать, как крепость!» — то можно эту метафору распространить на весь мир и всю жизнь: все определяется и направляется слепым инстинктом, ведомые которым люди совершают иллюзорные, псевдозначимые действия в картонном мире-макете.

С одной стороны, весь эпилог романа освещен светом Швейцарии, *нормальной* страны, где наконец налаживается жизнь героев и откатывает ужас всего предыдущего («здесь, в стране Цвингли и Кальвина, звонят совсем по-другому: умеренно, воспитанно, вежливо»). С другой стороны, нельзя не вспомнить заведение, культивирующее «передовые методы швейцарской психиатрии», куда *сдаст* свою жену Александр Васильевич.

Можно ли сказать тогда, что Михаил Шишкин написал постмодернистский роман, в том смысле, в каком постмодернистским является, скажем, роман «Андеграунд»? И все, описываемое им, суть лишь экспонаты коллекции, собираемой для музея («эта инстанция не суд, ибо по всему сданному сюда, в музей, восстанавливается и покупается жизнь, но никто не осуждается <...> подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея»).

Нет. Вспомним многозначный символ: когда *весовщик* (Осирис), встречая на пороге загробного мира «мужа желаний», бросает на одну чашу весов «ваше сердце», а на другую, где должна быть статуэтка Маат, символ правды, — перо, которым и будет все написано. И очень многое меняет отчаянный — несмотря на кажущееся, вроде бы, устройство жизни в *нормальной* стране — финальный вскрик повествователя: «Где сошел? Куда попал? <...> Где я?». Это начало смирения и сокрушения, начало покаяния, а значит — возобновляется движение времени.

* * *

*Что с того, что я не был там только одиннадцать лет.
У дороги осенний лесок так же чист и подробен.
В нем осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин
у ночного костра мне отлил из шлица пистолет.*

Александр Ерменко

На одной из первых страниц своего романа-идиллии «Ложится мгла на старые ступени» А. Чудаков рассуждает, от имени своего героя Антона Стремоухова (историка!), о преимуществе литературы перед исторической наукой: «Разговоры с дедом почему-то чаще всего наталкивали на тему, которую Антон озаглавливал «О тщете исторической науки». Что может твоя наука, историк Стремоухов? Пугачевский бунт мы представляем по «Капитанской дочке». И повись еще куча исследований — уточняющих, опровергающих, — пугачевщина в сознании нации навсегда останется такою, какой изображена в этой повестушке. Ты занимался Пугачевым как историк. Много изменили в твоём ощущении эпохи документы? Будь откровенен. А война 1812 года? Всегда и во веки веков она пребудет той, которая разворачивается на страницах «Войны и мира». И сколько здесь от случая. Допиши Пушкин «Арапа», мы бы и Петра знали по нему. Почему? Историческое бытие человека — жизнь во всем ее охвате; историческая же наука давно разбилась на истории царствований, формаций, революций, философствующих учений, историю материальной культуры. Ни в одном научном сочинении человек не дан в скрещении всего этого — а ведь именно в таком перекрестье он пребывает в каждый момент своего существования. И сквозь этот прицел его видит только писатель».

Но видит ли писатель? Или точнее: видит ли современный писатель?

Тут опять сразу оговорюсь. Вопрос этот вовсе не относится к уровню писательского таланта. Известный литературовед Александр Чудаков успешно опроверг казавшуюся мне незыблемой аксиому: есть люди с аналитическим складом ума (критики и литературоведы в частности) и с художественным (писатели), и переход к несвойственной тебе деятельности (особенно от первой ко второй) обычно ничем хорошим не кончается. А Чудакову удалось замечательное (и в целом, и в самых мелких слагаемых) повествование, и я верю читателям, которые пишут, что отдельные фразы им хочется повторять по нескольку раз.

Содержание воспоминаний А. Чудакова составляет рассказ о детстве и юности в далеком зауральском городе, о нескольких последующих приездах туда из столицы, и о последнем, уже после смерти самого дорогого и близкого человека — деда. Автор признается в том, какую боль доставляло ему всегда разрушительное действие времени. Однако ни стилевых, ни эмоциональных отличий между разными временными пластами нет. Автору вроде бы действительно удалось остановить время. Но это потому, что он всякий раз возвращается в самого себя.

Некоторые из окружавших его в детстве людей даны лишь одной-двумя запомнившимися Антону деталями, о них самих мы не узнаем ничего. От других запомнились больше всего вкусно звучащие слова — «изоляция», «хромпик», «жизнь жужелиц», или, например, слово *кочедык*: «Не мог же Антон объяснить ему (деревенскому умельцу и лаптежному мастеру Гурке. — К. С.), что больше всех лаптей, вместе взятых, настоящих и будущих, ему нравилось это слово и то, как Гурка его произносит...». И здесь язык не связывает, а разъединяет. О других, более близких Антону людях мы, конечно, узнаем больше, но проникнуть во внутренний мир почти ни одного из них не сумеем. Автор и сам осознает себя одиноким путником или даже одиноким псом, ровно бегущим по проселочной дороге. Но «мы не можем проникнуть в песью душу»; не можем и увидеть мир глазами кого-либо из многочисленных персонажей «Мглы...». Исключение составлял, пожалуй, только трое. Дед и отец — потому, что они максимальным образом отразились в Антоне и, соответственно, он в них. (Но и тут мы, например, так и не узнаем об очень важных вещах: например, что же помешало деду, еще до революции, после окончания духовной семинарии, принять священнический сан и заставило заняться педагогической работой, или как случилось, что дед, определивший практически все внутреннее формирование своего внука — «без него я был бы не я», — будучи человеком убежденно верующим, этого так и не смог Антону передать, вплоть до того, что уже в зрелом возрасте тот всерьез думает, что Пушкин и другие великие люди умерли так рано потому, что Бог им позавидовал?).

Третье и последнее исключение — учитель немецкого языка Роберт Васильевич, над которым издевались одноклассники Антона. Ему посвящено лишь несколько абзацев, но автору удалось здесь почувствовать и пережить чужую боль — и дать почувствовать нам.

Отчего происходит так? Думается, что вовсе не от душевной глухоты автора или недостатка писательского мастерства. Сколько замечательных писателей-фронтовиков второй половины минувшего века писали о Великой Отечественной войне, но все равно рассказы очевидцев, не-писателей открывают нам какую-то такую правду о ней, какой нет в самых лучших книгах и фильмах (об этом, кстати, пишет и А. Чудаков). Боясь громких обобщений, но, видимо, что-то есть в специфике нынешней литературы — начав рассказывать о себе, автор словно бы оказывается в некоем коконе, мешающем ему увидеть мир глазами других. В чем причина — в усилившейся разъединенности современных людей, в том ли, что мы «присвоили» слова, используем их лишь для себя, для своих целей, а не для того, чтобы обогатить чем-то важным *другого*, сохранив способность говорить, потеряли способность слышать? И слова — наиболее уязвимое из них художественное слово — действительно стали не соединяющим, а разъединяющим фактором? Не знаю. И никогда не решился бы на подобные обобщения, если бы то же самое не отмечали и другие, отечественные и зарубежные, наблюдатели.* Только в последней главе «Мглы...», озаглавленной «И все они умерли», где

* См., напр.: Игорь Смирнов. «Бытие и творчество». Приложение к альманаху «Канун», вып. I. СПб., Пушкинский Дом, 1996; гл. I — «В поисках самоопределения» и подборку высказываний крупнейших современных философов и критиков, приведенную там; выступление И. Роднянской в упомянутой дискуссии на страницах «ВЛ»; статью Т. Касаткиной «В поисках утраченной реальности» («Новый мир», 1997, № 3).

боль утраты становится нестерпимой, внутренний мир деда несколько приоткрывается перед нами (единственным каналом связи между людьми осталась боль?). Антон начинает понимать, что ни слова, ни предметы, ни фотографии, ни записи и дневники не в состоянии даровать ни бессмертие, ни воскресение (автор не случайно отмечает, что все записи деда, кроме одной, оказались выброшены, как оказались уничтожены поразительные картины-предсказания художника-самоучки дяди Кузика и записанные майором устные свидетельства солдат о войне). От кого-то остались кинокадры, фотографии... «Но как быть с теми, от кого не осталось *ничего*?» Однако по-настоящему живы мы только в Божьем мире, и только Он (а не потомки, пусть даже «совокупными усилиями», как у Н. Федорова) может даровать воскресение. Тогда надобность во времени действительно исчезнет и его «не будет». Как и слов, наверно.

«Немота перед кончиною подобает христианину». Такой некрасовской строкой завершается повествование, во второй от начала фразе которого автор признается, что всегда любил выразиться пространно и «книжно». Молчание открывает возможность иного диалога, «снимает» смерть и высвобождает течение времени.

В словах пытается удержать, запечатлеть рай своего детства — Купавну (великолепное русское слово, заключающее в себе и *купальские* огонь и волшебные травы, и диалектное «купавый» — «белый», и, главное, *купель*) — прозаик Алексей Варламов в одноименной повести, опубликованной осенью минувшего года «Новым миром». Причем в словах почти буквально, как бы стараясь вместить в многострочные перечни весь мир своего детства: «долгие дни, измеряемые цветением и созреванием клубники, смородины, малины и вишни, падающими яблоками, огурцами, патиссонами, кабачками, первыми клубнями молодой картошки, заготовкой варений, походами в лес за грибами и купанием»; в саду «были нарциссы, тюльпаны и анютины глазки, незабудки, колокольчики и ромашки, флоксы, пионы и ирисы, васильки, крокусы и гладиолусы, а еще георгины, астры, табак, фиалки, маргаритки, маки, ноготки, китайские гвоздики, розы, люпины, лютики и тигровые лилии»; «все лето пололи, поливали, пасынковали, окучивали, подвязывали, подкармливали, опрыскивали, боролись с вредителями и болезнями». Таких перечней в небольшом романе не один десяток. Безусловно, для автора-повествователя каждое из этих слов значимо и напоминает многое, но читателя таким образом в этот утраченный рай не переселишь, гораздо большее сопереживание вызывает тонкое описание душевных состояний взрослеющего мальчика.

С одной стороны, роман — типичный образец нарциссического повествования. Автор-повествователь относится к своему автобиографическому герою с нежностью, называя «Колюней» и «Колюнчиком» не только в период раннего детства, но и в достаточно зрелом возрасте (а еще «дите», «восприимчивый ребенок», «бедное дитя» и т.п.); весь внешний мир чужд и враждебен, несет обиды, горе, беды, болезни и смерть, полон преимущественно неприязненными, постоянно в чем-то героя обвиняющими, «бесцеремонными и вздорными людьми обоих полов». То же и со временем: то прошлое, которое он пытается «спасти от забвения», автор любит «куда больше, чем невыносимое, неразрешимое настоящее и безликое будущее». * И здесь повествователь, по собственному признанию, «скользит по поверхности»: из многочисленных персонажей романа приоткрывается нам немного только отец мальчика, с которым у героя наибольшая близость и связь («чувствовал обиду за себя и за него») — трудяга, замкнутый и молчаливый человек, создавший вокруг себя стерильный и закрытый мир и сумевший поместить туда своего сына столь успешно, что тот — московский подросток — искренне восхищается чилийской революцией и Корваланом, возмущается вместе с отцом поведением чехов, освистывавших (в 1969 году!) советский гимн, только от зарубежных гостей молодежного форума узнает о существовании в СССР лагерей и тоталитарного строя; а затем еще винит какие-то злые силы за свое «космополитическое и атеистическое детство» (непонятно только, почему «космополитическое» — ведь ему нравились при этом не генерал де Голль, скажем, спасший Францию от коммунизма, или испанский король Карлос, сумевший воссоединить расколотую гражданским противостоянием страну, а именно Корвалан и Че Гевара; да и сегодня «удачливый Колюнин ровесник налепил изображение *родного лица* (курсив мой. — К. С.) на глянцевую обложку своей неряшливой книги»).

* Очень точная фраза. Попытка остановить время и материально оживить минувшее делает будущее безликим: взгляд повернут назад.

Но, с другой стороны, этот нарциссизм преодолевается и искупается предельной искренностью и самообнажением, любовью к тихой и молчаливой красоте русской природы, явным предпочтением духовной жизни суете будней (это при всем желании не сымитируешь), смелостью признаний в таких вещах — речь не идет о так называемой «половой сфере», — которые обычно стремятся скрыть.

А в общем, после прочтения романа А. Варламова, как и романа-идиллии А. Чудакова, и сравнительно давней повести А. Терехова «Сон в летнюю ночь» (в те поры, до того как ушел в журналистско-социальные баталии, он писал хорошо), впечатлительное остается типологически сходное: явственный, объемный, до деталей высветленный облик автора-повествователя, одна-две тоже хорошо запоминающиеся фигуры рядом (отец, дед, бабушка), и дальше — *фотографии* родных, друзей и близких.

* * *

«Сидели мы с другом за пластмассовым столиком рядом с набережной, где каменный юноша бьет каменного орла по его орлиной морде. На этом памятке написано просто: «Ганимед».

Владимир Березин. «Хроника нулевого года».

Ганимед — так зовут героя романа Николая Кононова «Похороны кузнечика». Здесь вообще гипертрофированное «я» занимает весь мир. Попытка остановить время с помощью долгих, ветвистых описаний своих рефлексий и ощущений (порой прерываемых самим автором: «совсем забалтываюсь я») делают плохо различимыми не только самых близких — мать и бабушку (хотя описанию ее, бабушки, болезни и умирания посвящена большая часть романа), но и самого героя. На первый план выходят *две вещи*: языковая изошренность (подчас совершенно изумительная в умении «расслаивания» эмоций и мыслей на мельчайшие составляющие) и физиологические подробности, тоже тщательно описанные. Надо сказать, что это последнее в той или иной мере свойственно и другим рассматриваемым здесь произведениям, но у Кононова — свыше меры, мне кажется. Тем самым явственнее становится то, о чем шла речь выше: сгущенная плоть слова и переуплотненная физическая плоть (до того, что за ней уже не различим дух) становятся преградой и между повествователем и персонажами (и читателем), и, боюсь, между автором и горним миром. Орлу не удастся унести мальчика ввысь (как в мифе о Ганимеде) — он сопротивляется, он бьет его тяжелыми словами.

И вот что еще надо отметить. Роман Николая Кононова начинается почти с того же вопроса, каким заканчивается «Взятие Измаила»: «Где же я, Господи? Кто я, Господи?». Таких *рифм* в произведениях М. Шишкина, А. Чудакова, А. Варламова и Н. Кононова много, но эта мне кажется наиболее знаменательной.

* * *

«Солнце слепило, все кругом было зеленым, золотым <...> Улыбаясь, Ивачев <...> стал смотреть в небо. Высоко-высоко в безоблачной голубизне выжидающе кружил неторопливый коршун».

Андрей Волос. «Хуррамабад»

В книге «таджикских» рассказов Андрея Волоса, объединенных в цикл «Хуррамабад», почти нет *личных* воспоминаний (кроме, может быть, первого рассказа), хотя в целом она основана на воспоминаниях автора о детстве и молодости в этой среднеазиатской республике. Перед нами разворачивается крушение прекрасного, уютного, райского — или казавшегося таким — мира (в котором уже были, однако, заложены все предпосылки его скорого разрушения), превращения его в нечеловеческий, вымерзший и голодный, наполненный ненавистью и насилием ад. И вот что удивительно: я, никогда не бывавший в Таджикистане и видевший происходившее в то время в совсем ином мире — в Закавказье, в точности узнавал в «Хуррамабаде» чуть ли не уличные пейзажи, сцены, атмосферу — словно все заново переживая. Я почти уверен, что знал их раньше — таких непохожих людей: раздавленную обломками вдруг рухнувшего привычного уклада Анну Валентинову, и трагично неудачливого русского

пьянчужку Беляша, попавшего между даже не заметивших его жерновов начинающегося передела мира, и его таджикского друга, мрачно-сурового Камола, и страшного Черного Мирзо, и наивно-благодушную жертву разборок двух «полевых командиров» журналиста Ивачева, и отчаянно цепляющегося за призрак прежней жизни в родной квартире Васильича, и всевластного Карима Бухоро, и посевшего за ночь от ужаса при мысли, что утром ему придется стрелять в людей, но не могущего просто уступить наглой силе «новых хозяев» Николая Ямнинова; я вижу мир и их глазами. А главное, изнутри, и через таджиков, и через русских, ощущаю, как это — когда *чужой* вызывает лишь презрение, ненависть или страх, и сколь это ужасно, и сколь тяжело с этим бороться и, хотя бы в себе, преодолеть. Автору важно все это понять, — может быть, чтобы сохранить свой внутренний мир, — а для этого нужно увидеть мир глазами других.

Надо еще отметить, что выразительность и глубина анализа достигаются автором с помощью достаточно *простых* языковых средств. Здесь нет стилиевой виртуозности М. Шишкина и тяжеловесной лепнины Н. Кононова. А Волос вот что знает о слове: «в жизни вообще нет ничего неслыханно нового, и говорят люди друг с другом не для того вовсе, чтобы передать известные им сведения, а всего лишь чтобы в очередной раз признаться в любви»; «там, где есть понимание, связность необязательна». И, может быть, именно наличие вроде бы непохожего, но все же похожего личного опыта обусловило мое понимание книги А. Волоса? Но, возможно, широта и зоркость авторского взгляда обусловлены именно тем, что, повторяю, собственно автобиографических воспоминаний в книге почти нет? Подождем следующих произведений А. Волоса — они, наверно, ответят на эти вопросы.

* * *

*«Чужой он и есть чужой. Что в нем хорошего?
А свой — он теплый. У него и глаза другие.
<...> Свой — он немножко как ты сам».*

Татьяна Толстая. «Кысь»

Роман Татьяны Толстой «Кысь» вроде бы никак не отнесешь к анализируемому в этой статье жанру *воспоминаний*. Если это и воспоминание, то «воспоминание о будущем», сиречь антиутопия. Население образовавшейся после Большого Взрыва на месте нынешней Москвы деревни составляют несколько уцелевших «прежних», а в основном — разного рода мутанты, «перерожденцы» и новородившиеся поколения. Здесь воссоздаются быт и культура, несущие, по мысли автора, все признаки культуры прежней: деспотизм и рабство, восторженную покорность «набольшему мурзе» и малым «мурзам», взаимную вражду, дикость, нищету, ксенофобию и вроде бы «высокую» тягу к книге, обращающуюся лишь кровью и насилием. Однако в связи с темой реальности — иллюзорности существования не могу не сказать об этом романе несколько слов. Чудесное обаяние первых рассказов Татьяны Толстой (составивших позднее сборник «На золотом крыльце сидели») создавалось, помимо великолепного языка, потрясающим чувством сопереживания автора (а значит, и нас, читателей) своим странным, «не догоняющим» эту жизнь героям; это было не сопереживание даже, а осознание того, что и она сама, автор, и мы, ее читатели, невзирая на сегодняшний социальный статус каждого, — в общем, такие же, вынесенные на обочину грохочущего мира, беззащитные в своем уродстве (наивности, простоте) существа. И серьезная неудача ее последнего романа «Кысь» заключается, на мой взгляд, в том, что точка зрения автора переместилась: она стала наблюдать своих героев снаружи, они стали для нее объектом, объектом иронии. Отсюда и «головное» построение ее антиутопии (и по замыслу, и по структуре: разбивка всего текста на главы с символическими названиями по порядку букв старорусского алфавита — «аз», «буки...»), и холодная издевка над узнаваемыми или типизированными личностями, ситуациями, образами отечественной истории, и бесцветный, лишь иногда сверкающий блесками-напоминаниями о прежнем великолепии, язык.

Язык в романе вообще очень своеобразный. Повествование ведется от лица одного из «новых», после взрыва родившихся и почти ничего из прошлого не знающих «голубчиков» (так именуются жители деревни). Непонятные слова и выражения в речах «прежних» передаются в его пересказе: «Да вышло по-матушкиному. Уперлась: три, говорит, поколения ЭНТЕЛЕГЕНЦЫИ в роду было, не допущу прерывать

ТРОДИЦЫЮ»; «Глядишь, говорит, через тыщу-другую лет вы наконец вступите на цивилизованный путь развития, язви вас в душу, свет знания развеет беспробудную тьму вашего невежества, о народ жестоковыйный, и бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути и привычки. Чаю, говорит, допрежь всего, РИНИ-САНСА духовного, ибо без такового любой плод технологической цивилизации обернется в ваших мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место». Возможно, тут стиливая игра — но почему-то слова «интеллигенция», «традиция», «ренессанс» вызывают у «голубчика» непонимание и изумление, а «чаю», «бумеранг», «технологическая цивилизация» — нет? Почему он, будучи замшелым язычником, еще до своего «приобщения» к «прежним» книгам то и дело повторяет «не приведи Господь» и другие подобные обороты? Таких примеров много. Вот «голубчик» думает: «Искусство возвышает, учит Федор Кузьмич («набольший мурза», тоже ведь знаковые для русской истории имя-отчество. — К. С.), слава ему. Но искусство для искусства — это нехорошо, учит Федор Кузьмич, слава ему. Искусство должно быть тесно связано с жизнью»; «Вы нам в прошлый раз не дали (огня. — К. С.), а мы вам — теперь; хозяйство — дело рук каждого»; «вот тогда и чувствуешь, что такое есть государственная служба, ея же и сила, и слава, и власть земная, во веки веков, аминь». Может, кому-то это смешно, мне — нет.

Ну и, конечно: «Вот те и праздник Новый Год. Прошел, минул, как и не было, — такая жалость, все упустили! А голубчики, видать, веселились вовсю, плясали, да хоро-воды водили, да свечки по Указу жгли, да ржавь пили: после праздника, как водится, увечных да калечных в городке прибавилось. Идешь по улочке, сразу скажешь: праздник был да веселье: тот на костыликах клякает, у того глаз выбит али мордovorот на сторону съехамши». Ну и, конечно: «Вспомним Достоевского. Всему миру погибнуть, а мне чтоб чай пить. Или мясо прокручивать (от умершей старушки осталось «духовное завещание» — инструкция к мясорубке. — К. С.). Пушечное мясо, господа». И, конечно: «Что, что в имени тебе моем? Зачем кружится ветер в овраге? чего, ну чего тебе надобно, старче? Что ты жадно глядишь на дорогу? Что тревожишь ты меня? скучно, Нина! Достать чернил и плакать!». Во «Взятии Измаила» тот же (не новый, прямо скажем) прием используется гораздо эффективней.

А в конце романа (до которого добрался с трудом) — двое «прежних», интеллигенты Лев Львович и Никита Иваныч, один повизгивая, а другой смеясь басом, возносятся на небо на глазах изумленного «голубчика»...

Так слова, которые прежде соединяли меня с автором «Кыси», теперь, в этом новом ее произведении, разъединяют.

Что тому причиной — вредное воздействие долгого опыта писания сатирических статей для периодики (нами с удовольствием читаемых), многолетнее пребывание за пределами родной национальной стихии, либо причины более глубокие, личностные — невозможно судить. Просто очень не хочется потерять одного из лучших прозаиков последних десятилетий минувшего века.

* * *

«Надо было уезжать из Цюриха на север, покидая красные корпуса Rote Fabrik и холмы, и горы, другие города этой земли и этот город, где по ночам звенят своими мачтами маленькие яхты, качаясь на волне Цюрихского озера. Звон этот тих и стра-нен, будто звон длинных серег, струющихся от ушей к ключицам. Звон печален, звон этот — как унылое коровье стадо на склоне» (Владимир Березин. «Хроника нулево-го года»).

И все-таки — несмотря на швейцарскую доминанту «Взятия Измаила», на прус-товские мотивы «Похорон кузнечика», на холодновато-отчужденное повествование «Кыси» — эти и другие рассматриваемые в статье произведения созданы русскими авторами, выходят к главным проблемам начинающейся эпохи, написаны замечатель-ным языком (и в «Кыси» ведь иногда, как сквозь туман при посадке самолета, вдруг просверкивают ослепительно яркие фразы, заставляющие радостно вспоминать вос-хищение пятнадцатилетней давности «татьянотолстовской» прозой). Такой язык не может не содержать, хотя бы в потенции, подлинную реальность. П(р)ойдет *время* и она вернется — уже возвращается — и в жизнь, и в великую русскую литературу.

Подождите немного, сами увидите.

И птицу паулин изрубить на каклеты

Татьяна Толстая. *Кысь*. Роман. — Подкова, Иностранка. М.: 2000, 381 с.

Татьяну Толстую у нас не любят. Не любят не только «патриоты» за ее *издевательств над святынями*. Не очень любят, честно говоря, и либералы: где пропала, пока мы боролись? почему не поклонилась, когда приехала? зачем всем всем прямо судит, высказывается? почему в Америке преподает *письмо художественное*? В тусовку не ходит. Глаз крупный, черный, блестящий. Рот большой, зубов много, голос громкий, волосы могучие. Ведь и пожалеть такую нельзя. Можно только посторожиться, чтоб место освободить. А мест у нас мало, и освобождать никто ничего не хочет.

Новую книгу Татьяны Толстой ждали так долго, что уже и глаза прищуривали, и носами поморщивали, и ушами качали: мол, нет у нее никакой рукописи! все врет; стыдно признаться, что не пишется. Да и то: все обещала, обещала, вот и в «Знамя» определила анонсом название, короткое, непонятное, — «Кысь». «Знамя» роман объявило, а вдруг он и выйди отдельным изданием! Медлила-медлила, а то и заторопилась, да так, что растерявшиеся критики не успели прочесть и вставить в какие нужно премиально-упоминательные листы. Нерасчетливо поступила писательница Толстая.

А что за книжка! Боги мои, что за издание! Бумага — газетный срыв. Обложка картонная, такая в советское время шла на школьные учебники. Картон черной краской крашен. Той, что быстро облезает, обтерхивается. А поскольку оформление книги делал Арт. Лебедев, Толстой не чужой, то все это не прихоть издателя...

В общем, мораль: ничто не должно, по замыслу — отвлекать от текста. А сама Толстая — на последней странице картонной обложки в крохотном окошке серийной фотографии из черноты непроглядной читателя высматривает.

Роман ли это, не роман, Бог весть. Но то, что намерение автора было объять — стянуть? — текстом обширное русское слово, — это однозначно, как говорит наш смачный Жириновский. Каждая глава обозначена буквой дореформенной русской азбуки от «Аза» до «Ижицы». Вместилось все.

А Кысь — кто это, что это? Воеет в лесах, точит когти, кричит так дико и жалобно: а Бенедикт, главный герой, живет в городе под названием Федор-Кузьмичск, на семи холмах расположенном. Бывшей Москве. Уже как далеко во времени здесь был Взрыв, и после него произошла, говоря по-научному, деградация, и никаких следов от прежней цивилизации: остались и выжили *перерожденцы*, «страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто...» Перерожденцы служат у голубчиков. Вроде лошадей будут.

Чем жители Федор-Кузьмичска питаются? Да мышами из-под подпола, да еще огнецами. Жизнь вполне удалась: избы чернеются, лучины в запасе, снег хрустит, мороз ничо чем.

«Жизнь» в романе-сказке Толстой разворачивается по законам жанра: зайцы живут на деревьях, петушиные гребешки растут на головах голубчиков, случаются чудеса, сердца точат черворами...

Под текстом стоит дата написания: 1986–2000. Дата не случайная — Толстая попыталась *вместить* это время, на которое выпали две эпохи — горбачевская и ельцинская — в свою книгу, — и ей это удалось: путем сгущения гиперболизации, гротеска. Тесто замешено круто и в печь посажено. А кроме русской сказки, напоминает об уроках трех великих: Рабле, Свифта и Салтыкова-Щедрина.

По выходе газетная критика объявила «Кысь» антиутопией; а если это и впрямь антиутопия, модная в конце 80-х, то Толстая, мол, запоздала, вышла из моды, сегодня антиутопия литературно не актуальна.

Не знаю, не знаю; по мне, сам писатель, преодолевая сопротивление материала, выбирая жанр, либо актуализирует его,

либо хоронит. Толстая не антиутопию очередную пишет, а *пародию* на нее. Причем не в иртеньевском, а тыняновском смысле. Она соединила антиутопию «интеллектуальную» (последствия Взрыва — от знаменитого американского фильма «На том берегу» до «Последней пасторали» А.теса Адамовича) с русским фольклором, со сказкой; соединила «научную фантастику» (популярный сюжет: *взрыв* отбрасывает страну в средневековье) со жгучим газетным фельетоном: то есть массолит с элитарной, изысканной прозой. Соединила, да еще и приперчила. Чем? Разочарованием, скепсисом, горечью. Пеплом несбывшихся иллюзий, надежд и мечтаний. Скорбью по потерянному-растерянному. Сначала-то было *ого-го*, а потом становилось *ой-ой-ой*. Помню, как Толстая с Мальгиным (был такой прогрессивный молодой человек, открыто заложивший союзписательского функционера Карпова; теперь, если не путаю, переродился в богатейшего владельца рекламного холдинга) лезли как кошки чуть ли не через женский сортир на общеписательский пленум: глаза горели, от волос искры летели! Ну и где этот союз, кому нужен? Но была энергия прорыва, победы; ножкой топнуть, врагов прихлопнуть! Пере-рожден-цы... На ком голубчики ездят? Ну то-то...

Сюжет: Бенедикт человек (?) молодой, резвый, пытливый, все допытывается, отчего был Взрыв. Происхождения по матушке (с университетским образованием) достойного, по тятеньке — из простых. Тянется к знаниям, ходит на службу в Рабочую избу, переписывает, перебивает сказки, или поучения, или указы самого Федора Кузьмича. Типичный, скажете, герой русской прозы. И Акакий Акакиевич *переписывал*, и Лев Николаевич Мышкин (Мышкин! Кысь!) был прекрасный *каллиграф*. Женившись на явно номенклатурной Оленьке, Бенедикт становится зятем Кудеярова, который «делает революцию», переломив хребтину «на-большему мурзе», *тирану* Федору Кузьмичу, на самом деле — «маленькому такому». и сам объявляет себя *Генеральным Санитаром*. И это — торжество дурно пахнущего Кудеярова — результат длительных диссидентских усилий по свержению режима; борьба *ЭНТЕЛЕГЕН-ЦЫИ* за права человека, и т.д., и т.п. (В результате Взрыва повредился сам язык, пропала грамотность, все слова с абстрактным значением и иноземного происхождения искажены). Птица *Паулин* давно провернута на *каклеты*, *тюльпаны ско-*

шены, а Бенедикт-то, оказывается, Кысь и есть — недаром ему пришлось — стыдно кому сказать — хвост рубить... Но после процедуры с хвостом — ведь женился Бенедикт на номенклатурной Оленьке, и в семью вошел, и сам стал *голубчиков* преследовать, *крюком* тащить, книги их уничтожать — одного голубчика даже этим крюком и намертво загубил. И вот уже Бенедикт — с наеденными брылами, наеденной широкой шеей — властью ступает по базару, *контролирует*... Но ведь Бенедикт хотел — по-настоящему — в жизни только одного: языку — слово вернуть, себе — книгу прочесть. А слово, опять отнимают! И *пушкина*, памятник которому Бенедикт со старомодным Николаем Ивановичем тайно ваяли! Последний завет Николай Ивановича: азбуку учите, азбуку! Без азбуки ничего не прочтешь!

Интересное, кстати, дело с этим *пушкиным*; сначала цитату, внутренний монолог Бенедикта: «Ты, пушкин, скажи! Как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбал, голову склонил, руку согнул: грудь скрести, сердце слушать: что минуло? что грядет? Был бы ты без меня безглазым обрубок, пустым бревном, безымянным деревом в лесу <...> Это верно, кривоватый ты у меня, и затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету — сам вижу, столярное дело принимаю.

Но уж какой есть, терпи, дитяtko, — какие мы, таков и ты, а не иначе!»

Привет от Буратино (от графа Алексея Николаевича) — и от сказочных кукол, от Карабаса-Барабаса, Дуремара и прочих.

Но там была веселая детская сказка. Буратино хотел быть артистом — и стал им. Пушкин *у нас* не может пока еще стать Пушкиным — он только *пушкин*. Какие мы, таков и он. Мы сами — вместе с Бенедиктом — вытесываем его из бревна. Плохо, топорно. Но ведь вытесываем. Стараемся. Поэтому у Толстой и такой конец книги. Огонь, зажегший *пушкина*, спалит Федор-Кузьмичск дотла. А душа — выживет, выпорхнет.

— Вы чего не сгорели-то?

— А неохота!

Расшифровывать роман я не буду: в конце концов дураков нет, все это время — 1986–2000 — прожили, всем ясно, кто есть ху. Вернее, на каком герое какой отсвет горит. Или лежит. Но Толстая не аллегория пишет (сноски давай! — получится несмешно и наивно, как в псевдомемуарно-романной книжке Киры Сапгир «Ткань лжи», где все персонажи, пе-

реведенные сносками в реальность, оказались известно в чем, а только автор — в неизменно белом). В свою черную книгу Толстая вместила печальную историю деградации общества. Моральной, интеллектуальной, духовной. Ибо нам только кажется, что 1) жить стало лучше, веселее — с «мерседесами», бассейнами во дворцах телеведущих и доступными теперь нам сплетнями о личной жизни Наташи Королевой; 2) жить стало хуже — см. № 1. На самом деле жизнь переворачивалась и менялась не единожды, а результаты ее — минус на плюс что дает? вот именно.

А книги — это что? Пушкин — кто? грамотность — зачем? ум — кому? азбука — чья?

Что с нами случилось — произошла культурная революция или все-таки катастрофа? Остались с Михалковыми, государственной идеологией имени Александра III, советским гимном, парадными кремлевскими лестницами, Путиным вместо Деда Мороза на елке? Или, наоборот, живем наконец в свободной от ограничений и насилия цензуры стране, строим свое настоящее сами, своими руками — у кого жемчуг мелок, а у кого суп жидок; рядом проносятся хозяева жизни, за ближайшим углом их отстреливают; растут дворцы с колоннами рядом с вонючими помойками, солнечевская братва сдирает со Швейцарии полмиллиона долларов; идет война на Кавказе, наши — это мальчики, их — гражданское население; а в лесах так жалобно кричит: кысь... кы-ысь!

Кстати, так называемого *авторского* слова, *авторской* интонации в романе нет.

Авторская речь намеренно вытеснена словами героев — сентиментальным (Бенедикт), официальным (указы набольшего мурзы, а потом и Главного Санитаря), псевдонародным, стилизованно фольклорным, словом-монстром (язык *образованщины*).

Ни слова — гладкого, нейтрально-описательного. Синтаксис возбужденный, бегучий, певучий, — всякий, кроме упорядоченно-уныло-грамматически правильного.

Слово, как и деталь в этой прозе, изурасано какой-то почти подсознательной, детской памятью — оно наговорено, напето, сказано. Слово в романе — это почти устная речь.

Поэтика романа Толстой исключает правдоподобие и психологизм, а не следует им. Чем буйнее фантазия, тем лучше. Правым — левым рукавом махнет: чудеса и посыпались. Несмотря на то, что

история очень невеселая, книга получилась искусная, нарядная, артистичная. Вот это напряжение — *между скорбью и гневом внутреннего послания и узорочьем исполнения* — и делает роман Толстой особенным словом в новой русской прозе. Да и не только в новой.

Наталья Иванова

Ностальгия по несостоявшемуся

Алексей Варламов. Купавна: Роман. — Новый мир, 2000, №№ 10, 11.

Алексей Варламов — реалист, он пишет о вещах бывших, произошедших — мемуары о себе самом — младенце, мальчике, подростке, юноше, постоянно забегаем вперед и предупреждая читателя о присутствии где-то в будущем себя взрослого, умудренного, прозревшего.

Но он пытается открыть уже задолго до него открытые истины — о лжи советских начальников разного ранга — от пионервожатых до членов ЦК, о фальши всего того, что называлось словом «советский», о прозрении мальчика Коллюни, ставшего писателем. Эти описательные размышления, выдаваемые Варламовым за откровения, запоздали по крайней мере лет на 20. А кроме этого, в романе почти и нет ничего.

Летнее детство московского мальчика из благополучной семьи в дачном районе Купавна, семейные предания, ссоры, обиды многочисленных родственников — скороговоркой рассказанная за обеденным столом (чтобы скоротать время до телесериалов) и тут же забытая история — еще одна попытка семейной хроники и ностальгического проникновения в мир якобы детского сознания. Бабушка, сочиняющая к каждому семейному событию стихи, обильно рассыпанные по страницам романа. Сам автор не в восторге от бабушкиного творчества, что не мешает ему периодически взваливать на читателя поэтический груз:

*Полсотни лет тому назад
Мы с дедом в загсе расписались,
Тогда не в моде был парад,
В любви и верности не клялись.*

*Жизнь завертелась колесом,
Но шла она и вкривь и вкось;*

*Мы все же создали свой дом,
Хотя годами жили врозь.*

Этот милый провинциальный примитивизм, наряду с литературным воспитанием мамы-учительницы на примерах Белинского, Гоголя, Чернышевского, навсегда отрезал «послушному сыну губительные пути в геенну жизненного постмодернизма и шутовских экспериментов, благословляя его на служение отечественной народолюбивой идее». Понятно, что только после такого воспитания и мог вырасти и сформироваться из маленького Колюни «вполне зрелый, патристически настроенный и демократически мыслящий литератор». Альтер эго Варламова непрошибаемо серьезен и несокрушимо уверен в своей значимости для великой русской литературы. Но имитация старческой умудренности и признание за собой права наставлять других, не таких народолюбивых и патристически настроенных, не удается ни герою (мы не знаем, в каком возрасте он пишет свои мемуары), ни тем более 37-летнему автору. Нагруженный ответственностью непонятно за что (за патриотизм и демократию?), автор тщится дать ориентиры и направления «потешным филологическим мальчикам». Ему невдомек, что эти мальчики и сами способны разобраться, что к чему в окружающем мире и литературном пространстве.

Варламов старается быть честным и описать подробно восприятие действительности мальчиком 70-х годов. Оттого-то мучительно напоминает его повествование какой-то роман из этих самых 70-х с заменой знака плюс на минус. Один из тех безымянных романов в традициях соцреализма, которые, возможно, остались в памяти преподавателей, читавших курс советской литературы. Оттого-то роман становится неким документальным фактом, вроде бумажки в архиве с повесткой комсомольского собрания — вроде бы занимательно, но к чему это сейчас — непонятно.

Тема романа — прозрение. Но об одном не говорит Варламов: что это не мучительный поиск выхода из безвоздушного пространства советской эпохи, а поиск компромисса с самим собой. Мальчик Колюня верит в то, что сообщают газеты, говорят взрослые, учит комсомол, а потом Коммунистическая партия. Став взрослым, он точно так же верит теперешним ТВ, газетам, начальникам, как и во времена своей юности, с той только разницей, что говорят они в наше время сами знае-

те что. Выходит, что и прозрение тоже липовое — это не труд души и ума, а та же слепота, та же покорность массового сознания, что напрочь лишила основную массу советских людей своего взгляда на происходящее и намертво закрепила мысль о чувстве безопасности в коллективном строю, будь то демонстрация или мышление.

Мальчик и юноша Колюня в растерянности: кому верить — словам официальной пропаганды или неофициальным разговорам, — но ни слова, ни намек на свою собственную позицию, взгляд, мнение. «Он привык во всем слушаться взрослых и не подозревал, что среди них могут оказаться не просто больные люди, но настоящие враги, для которых в мире нет ничего святого: ни Коммунистической партии, ни пролетарского интернационализма, ни Всемирного национально-освободительного движения». И став взрослым, так и остался в положении человека, который нуждается в указании, кому верить и что чувствовать. Все лживо и пакостно, а настоящая жизнь — только на русской природе, не испорченной идеологией, где не надо ничего решать самому — все уже решено бабушкой и родителями. «Превращенная из болота в сад, пусть даже и поделенная заборами и мешанством мешерская окраина не позволила ему скурвиться и загнить, когда все вокруг к тому подталкивало. Она оказалась его островком свободы посреди пленного и лицемерного мира, и настоящая жизнь у него все-таки была».

Эпопея Варламова сентиментальна и вторична. Уж если Купавна — малая родина, то в ее описании то и дело сквозят отсылки к есенинскому Константинову с посещением разрушенной церкви в соседнем селе и благоговейным пониманием ее сокровенной сути (это 11-летний мальчик, отягощенный отнюдь не дворянским, но пионерско-атеистическим воспитанием).

Автор стремится втиснуть в роман все — политику, религию, бородатые анекдоты, расхожие мысли и штампы речи и сознания. Ну как московскому мальчику обойтись без упоминания «Битлз», Тарковского, Окуджавы, Театра на Таганке. Причем внешние события просто пересказываются, перечисляются через запятую — бойкот московской Олимпиады, высылка Сахарова, приняли новую Конституцию, «свободу Луису Корвалану» — перечень в стиле газетных заголовков. Иногда Варламов и сам осознает непрочность и ненадежность своего повествова-

ния, шаткость и неустойчивость позиции газетного обозревателя. «Все это, в сущности, так похоже на матушкины литературно-художественные композиции и школьные сочинения». Этакий коллаж лирических отступлений с газетными передовицами.

Колюня пишет роман. «Не любовный роман с поцелуями, объятиями, свиданиями и ревностью, а нечто гораздо более грандиозное — роман из слов и предложений, которые были гораздо богаче самой любви».

Вот образец прозы достойного воспитанника бабушкиных виршей: «По утрам случались заморозки, хрупким инеем покрывалась трава на болотах и засыхали цветы. И в этом трагическом мире всеобщего прощания и разрушения создавалось предчувствие того, что вместе со смертью лета произойдет непоправимое — погибнет и никогда более не воскреснет жизнь». Автор и сам иногда сомневается в своем творении, впрочем, кокетливо становясь в позу, явно ожидая опровержения и напрашиваясь на похвалу. «Быть может, адресованное горстке позабывших моего героя людей не имеет цены в глазах посторонних и непосвященных». Ожидается, что «горстка» читателей «Нового мира» (тиражом в 13300 экземпляров) — люди непосторонние и посвященные. На самом деле все не так просто, и здесь не обойтись без высших сил. Ведь Колюня не просто писатель, у него есть «неведомое, потаенное» предназначение — «мальчика делегировали от этого мира написать о том, что было ими пережито, узнано, встречено, утрачено, сделано и сочинено, к чему уже приближалась бабушка, писавшая не только длинные стихи, но и короткие рассказы, ... и тогда она передала неиспользованный дар внуку». К чему приближалась бабушка, мы уже видели.

(Впрочем, надо отдать должное автору, рассказы бабушки все же в роман не вошли.)

Реализм как метод не устарел, но он никогда не сводился к повторению расхожих мнений и описанию, пусть даже порой и добросовестному. Роман Варламова — беллетризованный учебник истории с готовыми выводами и ответами. Добавляет ли это что-нибудь к уже известному, какой новизной поражает читателя автор, каким откровением?

Что сможет увидеть читатель, кроме отражения, возвращенного ему пыльным зеркалом?

Галина Ермошина

«Крохотки» Эткинды

Е. Эткинд. Три автобиографические новеллы. — Звезда, 2000, № 6.

«Барселонская проза» Е.Г. Эткинды (так он ее называл, поскольку писал ее каждое лето в Барселоне, когда там гостил) — необычная форма мемуаров.

Как опытный литературовед, изведавший и проанализировавший абсолютно все литературные жанры, Ефим Григорьевич был настоящим классик и мог сказать, как Блез Паскаль, что «я» — ненавистное дело. Однако его, как многих литературоведов, на склоне лет посещал демон «письма». По истечении столь богатой и бурной жизни (война, антикосмополитская кампания, увольнение со всех должностей после знакомства с А.И. Солженицыным, принужденная эмиграция, прославленность на Западе, реабилитация историй и возвращение в Питер после крушения коммунизма...) захотелось ему сообщить читателю эпизоды из своей жизни. Своих близких друзей он уговаривал писать воспоминания. И уговорил. Таким образом мы имеем «Книгу воспоминаний» И.М. Дьяконова*. Это классические по форме мемуары, с хронологической последовательностью, чрезвычайно интересные в деталях, но тяжеловесные по общей структуре. Ефим Григорьевич попробовал другой ход: давать считанные эпизоды, узловые моменты в коротеньких новеллах.

Эти новеллы имеют внутреннюю энергию и даже заключительную «пуант» классической новеллы. Но они также сообщают много деталей о биографии автора-героя. Изящность стиля, скромность размеров придают особый шарм этим маленьким текстам. Давно сам Ефим Григорьевич мне рассказал, например, о кузене Малама. А вот «новеллизация» эпизода попытки знакомства с кузеном-эмигрантом и евреем-антисемитом особенно удачна. Мимоходом мы узнаем о матери автора, Полине Михайловне, дочери петербургского сапожника и прелестной певице (в 70-е годы Ефим Григорьевич попросил меня навестить ее в Ленинграде, сам он был отделен от нее эмиграцией и железной стеной, т.е. бесчувственной глупостью советского режима, — и я познакомился с импозантной, все еще кокет-

* И.М. Дьяконов. «Книга воспоминаний». СПб. 1995. — Изд. Европейского Университета в Санкт-Петербурге.

кой и жизнерадостной дамой). Быт семьи, карьера матери, ее любовь к «цыганщине» указаны мимоходом, а главная пружина новеллы — тайна поведения кузена молдаванина — Маламы. Он резко отвергает все попытки завести с ним знакомство по почте. Чета Эткиндов после 1974 года живет в Париже и возобновляет попытку. Опять резкий отпор. Читатель может придумывать самые фантастические, «готические» догадки (по принципу загадочной новеллы), но вот «пуант», т.е. неожиданный ключ. Он дан другом Эткиндов, Ниной Александровной Кривошеиной (княжной Мещерской — автором воспоминаний под парадоксальным заглавием «Четыре трети моей жизни»). Кузен попросту «церковник и юдофоб». Вот разгадка!

Прекрасно построена новелла: она читается за десять минут, но подает богатую информацию, вырисовывает загадочный «характер» по Лабрюйеру и заставляет задуматься над сложностью человеческой природы.

Другая новелла преподносит нам эпизодик из военной жизни лейтенанта Эткинда во время войны. Тут его воспоминания прямо перекрещиваются с воспоминаниями Игоря Дьяконова, который так описывает появление молодого Ефима Григорьевича: «Недели через три к нам в комнату ввалился очень странный человек. Эткинд был в черном собачьем полушубке, у него были роскошные черные усики, и из каждого кармана торчало по бутылке водки. Дело в том, что благодаря Яранскому водочному заводу Фиме водка была легко доступна и в дороге он пользовался ею, как валютой». Дьяконов приводит то же малое стихотворение по-немецки, чем Эткинд начал свою карьеру в Седьмом отделе Карельского фронта. И мимоходом Дьяконов также упоминает тот эпизод, который служит фабульной пружиной в маленькой новелле Эткинда: историю с полковником Сувмалайненом, который снабжал финнов «дезой» (дезинформацией) и поэтому маленькими штрихами выдавал себя за финского шпиона. И тут Эткинд строит микроновеллу с атмосферой тайны и со внезапной разгадкой.

История с венгерским пленником молодым графом Батгьяни грустнее. Без громких слов повествователь дает нам чувствовать тупость и жестокость военных механизмов. Воюя с фашизмом, Эткинд отождествлялся с советской властью. Но уже кое-какие капли дегтя падали в бочку меда...

Изящность, скромность, краткость этих новелл из «Барселонской прозы» Ефима Григорьевича Эткинда замечательны. Опытный, начитанный, вдохновенно-неутомимый литературовед нашел совершенно подходящий прием выражения. Не впал он в столь частый и смешной (но безобидный) порок стареющих профессоров словесности, которые хотят соперничать со своими кумирами, решив, что они раскрыли все тайны ремесла. Но скупым и нежным пером написал свои «крохотки». Что и дает нам возможность воскресить в нашей памяти пламенность и остроумие этого замечательного человека.

Жорж Нива

Хаксли тут недодумал...

Олдос Хаксли. Серое прееосвященство: Этюд о религии и политике / Перевод с английского В. Гольшера и Г. Дашевского. — М: Московская школа политических исследований, 2000. — 320 с. Серия «Культура, политика, философия».

Жозеф Парижский, «серое прееосвященство», министр, говоря современным языком, иностранных дел в кабинете кардинала Ришелье, вызывает не больше интереса, чем любой злодей от политики. Этот был еще и не первого плана. Разумеется, интриган и обманщик, двуличный и коварный, разжигатель и раздуватель войн, организатор тотального осведомительства и пятых колонн. Лично не пытал, головы не рубил, младенцев не кушал, но активно способствовал. Аскет, женоненавистник. Властяницу носил. Часами предаваясь молитве, боролся с дремотой, стоя на одной ноге. Принадлежал к тому типу власть имущих негодяев, которые ворюгами не являются, а сосут человеческую кровь «бескорыстно», то есть не в целях личного обогащения, а ради великого идеала, на который имеют мандат непосредственно от высших сил. Вполне омерзительная личность и вполне типичная в своем роде. Это, впрочем, на мой погруженный в мир иллюзий и невежества взгляд.

Для Олдоса Хаксли, безоглядно увлекшегося *истинной, мистической реальностью*, отец Жозеф был мучительной загадкой, которую необходимо было разре-

шить, ибо она грозила разрушить сам фундамент новообретенной веры писателя. «Мистики — это те каналы, по которым хоть какое-то знание о реальности просачивается в человеческую вселенную невежества и иллюзий. Окончательно лишенный мистиков мир будет миром окончательно слепым и безумным». Отец Жозеф был мистиком: «То, что он напрямую, непосредственно соприкасался с высшей реальностью, не вызывает сомнений».

Так как истинный, чистый мистицизм остается одним и тем же, по убеждению Хаксли, в ведической, буддистской, суфийской и христианской традиции, то «мистицизм предоставляет нам фундамент для религии, свободной от неприемлемых догм, которые зависят от произвольных и недостоверных истолкований исторических фактов». Писатель надеялся, что распространение мистического знания или хотя бы для начала благоговейного уважения к нему поможет «обыкновенным нераскаянным мужчинам и женщинам» раскаяться и человечество сможет выработать политику «хоть немного менее самоубийственную, чем велась до сих пор». Отец Жозеф своей личностью эту надежду опровергал: его тайнозрение благополучно сочеталось с самой людоедской политикой. И хуже того: этот босоногий капуцин понимал себя «как канал, через который течет божественная сила», и тем самым собственные усилия по, например, раздуванию Тридцатилетней войны полностью оправдывал повелением высших сил. Обыкновенным нераскаянным мужчинам и женщинам было до жути очевидно, что этот служитель добра и любви умножает несчастья и бедствия. Самому служителю, как и многим ему подобным, было столь же очевидно, что он выполняет божественную волю, по сравнению с которой страдания всяких там нераскаянных пренебрежимо малы.

Гуманист и мистик Хаксли решительно пошел навстречу столь тягостному для себя противоречию и искал разрешение, которое позволяло бы и осудить бесчеловечную политику отца Жозефа и сохранить неприкосновенными драгоценные ризы мистицизма. Решение нашлось: по мнению писателя, благороднейшие французские мистики-католики, учителя мистической практики, в начале XVII века допустили ошибку. Тончайшую, духовнейшую, но роковую: они стали утверждать и убеждать, что мистик должен размышлять о страданиях Христа даже на высших ступенях молитвы. Результаты, настаивает Хаксли, были катастрофически-

ми: последователи практического благочестия этого рода, «выбирая предметом любви и созерцания не Божество, а некое лицо и его свойства, воздвигали непреодолимую преграду между собой и высшими ступенями слияния с Божеством». Этот путь мог привести к горячему молитвенному поклонению Божественным лицам, но «он не мог привести к слиянию с высшей реальностью».

В предварающем книгу эссе Исайи Берлина «Олдос Хаксли» утверждается, что писатель «скептически относился к тем, кто пытался свести в единую систему проблески истины, дарованные мистикам и визионерам, в которых он видел необычно восприимчивых, или талантливых, или удачливых людей, взрастивших и расширивших свою восприимчивость с помощью усердной и самоотверженной практики. Он не верил в сверхъестественную благодать. Он не был теистом, тем более ортодоксальным христианином».

«Этюд о религии и политике» тем не менее убеждает читателя в обратном.

Судя то тому, что сказано в книге, теистом Хаксли безусловно был и разделял ту гипотезу, что некое особое состояние, которого человек может добиться путем мыслительных упражнений, является не психофизическим феноменом, а узрением Бога, «прилеплением» к нему, выходом в высшую реальность и т.д. «Система», *правильная* мистическая практика для достижения высшей реальности в книге с пафосом утверждает, а против неправильной выступают трагические для европейской истории ошибки Жозефа Парижского. Следуя наставлениям католических мистиков, отец Жозеф уклонился от пути чистого мистицизма. В итоге это привело его к ошибочной и бесчеловечной политике, а Европу через три века — к катастрофам XX века. *А все потому, что он был не совсем правильным мистиком!* «С пути мистического совершенствования отца Жозефа сбил целый набор тесно взаимосвязанных искушений — искушение исполнять то, что представлялось ему долгом; искушение неверно понять волю Бога и выбрать вместо высшего долга низший; искушение поверить, что неприятная задача праведна просто потому, что она неприятна». Хаксли повторяет это на разные лады: «С пути совершенства его сманило самое утонченное из искушений — соблазн верности и самопожертвования. Но — верности делу не такому высокому, как высшее благо, и самопожертвования — во имя чего-то, что меньше Бога».

Хаксли защищает в книге гуманизм и терпимость. И чем дальше, тем больше это вызывает у читателя удивление: ну кому, спрашивается, нужен гуманизм перед лицом высшей реальности, какая может быть терпимость, если малейшее отклонение от правильного пути мистического созерцания ведет к чудовищным последствиям? Рискну выразиться непочтительно в том духе, что Хаксли тут *недодумал*: «высшая реальность» с гуманизмом не сочетается.

Выйдя за рамки книги, приходится еще больше недоумевать перед тем, что поборник единственно верной практики созерцания ушел в пятидесятые годы в самую неверную — в наркотики, превратившись в некоего психоделического мексиканского гуру.

В общем, скажем прямо: «Этюд о религии и политике» отнюдь не читается с захватывающим интересом и мыслительных горизонтов не открывает.

Хотя в аннотации сказано, что «данная книга соединила в себе достоинства Хаксли-романиста и Хаксли-мыслителя», никаких достоинств, равно как и недостатков, романного повествования в книге нет. Это публицистический трактат на историко-биографическом материале, а в качестве такового просто требует реального комментария, именного и предметного указателей. Если и другие книги серии «Культура, политика, философия» будут выходить без подобного аппарата, то это весьма прискорбно.

Елена Иващицкая

Демидург из Дрогобыча

Бруно Шульц. Трактат о манекенах. — СПб.: ИНАПРЕСС, 2000.

Есть в литературе особый род трагизма, который порождается избытком впечатлений и слов. Так сказать, трагизм не от бедности, а от богатства выразительных средств, когда автор в тщетной надежде отобразить многообразие, красочность, плотскую сочность мира — задействует все мыслимые ресурсы языка. И, конечно же, терпит поражение, поскольку убогий язык не способен передать все нюансы сотворенного мира. Язык — гениальное изобретение Бога, но отразить в словах Универсум — задача, увы, невыполнимая

и обрекающая некоторых авторов (возможно, помимо воли) быть трагиками и богоборцами.

Таков был наш Бунин, неистово желавший ухватить в слове — и передать читателю — аромат каких-нибудь антоновских яблок; таков и классик польской литературы Бруно Шульц. «Блестящие черешни, полные влаги под прозрачной кожурой, таинственные черные вишни, аромат которых был еще нежнее, чем вкус, абрикосы, в чьей золотистой мякоти крылась сущность тягучих вечеров, а рядом с этой чистой поэзией плодов она выкладывала набухшие силой и сытостью пласты телятины с клавиатурой ребер, водоросли овошей, словно бы мертвых спрутов и медуз...» Прервемся, иначе можно пустить слюну от этого сочного описания даров природы. Что-то тут есть от Снейдерса, и не потому ли Бруно Шульц был еще неплохим художником? А его скрытая тяжба с Творцом? Возможно, именно творческая жадность (замечательная жадность!) сделала центральной мыслью его «Коричных лавочек» — мысль о продолжении демиургии, то есть творения жизни уже после Демиурга.

«Материя наделена неограниченной плодовитостью, неиссякаемой жизненной силой и в то же время — влекущей силой соблазна, понуждающей нас к созиданию. В глубинах материи формируются смутные улыбки, завязываются напряжения, сгущаются пробы форм. Материя вся трепещет от бесконечных возможностей. Пронизывающих ее слабой дрожью». Так говорит в своем «Трактате о манекенах» отец, Иаков Шульц. Имя Иаков тут вполне символично — вспомним библейскую историю про того, кто боролся с Богом и стал Израилем. Вот почему юному герою-рассказчику слышится рычание Иеговы, недовольного упрямым богоборцем. «Мы слышали шум борьбы и стоны отца, стоны титана со сломанным бедром, который тем не менее продолжает поносить противника». Иакова Шульца можно было бы назвать «дейстом», но, думается, тут нечто более сложное. «Престижиджитатор фантазии» — пожалуй, будет точнее, поскольку гимн материи, ее изменчивости и податливости в устах Иакова-Израиля не имеет рационально-научного оттенка, он, скорее, относит героя к алхимикам и магам.

Сборник «Коричные лавочки» или, как считал сам Бруно Шульц — автобиографическая повесть, — составляет первую часть книги, выпущенной петербургским издательством «ИНАПРЕСС». Духель между отцом-фантазером и воплощен-

нием здравого смысла — служанкой Аделю — является стержнем повести, скрепляющим разрозненные на первый взгляд мотивы и фрагменты. Казалось бы, к чему тут нравы Крокодилей улицы? Или описание бродяги, справляющего нужду в бурьяне на заднем дворе? А к тому, что в детстве — все значимо и полно скрытых символов: бродяга превращается в мифического Пана, а ушедший из жизни отец — в чучело кондора. Значимо то, что запечатлелось и убереглось от тлена, будь то шенок Нимрод или путешествие подростка на улицу коричных лавочек. Потому что Бруно Шульц, конечно же, — один из искателей утраченного времени, и недаром безвестный рецензент из львовского журнала (тогда Львов был уже советским) ответил автору так: «Нам Прусты не нужны». К счастью, они нужны нам, хотя было бы натяжкой сводить оригинальное творчество к прустовским или бунинским мотивам.

Не будем забывать, что родной для писателя Дрогобыч — город срединной Европы, где за последние сто лет рождались весьма необычные культурные феномены. И у Шульца то мелькнет «Голем» Густава Майринка, когда начнет развиваться идея создания из податливой материи своего рода гомункулуса, то появится силуэт Франца Кафки, когда отец вдруг станет превращаться в таракана. Мистика, метафизика, экстравагантные философемы — переплавляются у Шульца в вещество прозы, причем вполне органично, поскольку впитаны вместе с воздухом этой срединноевропейской культуры. Надо признать, что органика Бруно Шульца плохо поддается сухому анализу. Сам автор в письме Ст.И. Виткевичу писал, что автобиография в «Коричных лавочках» скорее — духовная генеалогия, которая уходит корнями в мифологические праглубины. И в то же время замечал: «В привычках, в способе жизни той реальности проявляется своего рода принцип — панмаскарада. Реальность обретает определенные формы только для видимости, шутки ради, для развлечения. Кто-то — человек, а кто-то — таракан, но форма эта не затрагивает сущности, она только на минутку взятая роль, только оболочка, которая через секунду будет сброшена... И это блуждание форм является сущностью жизни».

Реальность продолжит свой «панмаскарад» и в следующей книге — «Санаторий под Клепсидрой». Это повествование

не столь едино, как предыдущее: в него включены фрагменты книги «Мессия», над которой писатель работал в последние годы жизни. В этих рассказах очевиден поиск абсолюта, истинной Книги (правда, воплощен этот поиск в ироническом ключе). В рассказе «Весна» такой книгой становится альбом для марок, открывающий путь фантазии и превращающий затхлый провинциальный Дрогобыч в фантастическое место, где сходятся великие эпохи и выдающиеся судьбы. Однако в «Санатории под Клепсидрой» фантазия уже не столь искрометна, наоборот, тут тянет могильным духом, потусторонний ветер проникает в текст. И опять появится отец (уже умерший), вокруг фигуры которого, строго говоря, вертится все вселенная Бруно Шульца. В этом отношении он является Кафкой-наоборот, поскольку у австрийского гения жизнь прошла под знаком борьбы с отцом, что метафорически или явно отражено во многих произведениях. У Шульца же налицо апология, он сочинил мифическую сагу об отце, которую не может принизить даже финальное превращение в некое ракообразное (рассказ «Последнее бегство отца»).

В аккуратном лиловом томике впервые представлена на русском вся художественная проза писателя. И тут, конечно же, следует отметить работу составителя и переводчика Л. Цивьяна, который позволил нам ознакомиться с миром Бруно Шульца в полной мере, со всеми его восхитительными нюансами и полутонами. Прозаик Игорь Клевх писал: «Шульц примыкает к тому ряду прозаиков XX века, которые провели внезапную и стремительную операцию по захвату исконных территорий поэзии. Способ речи потеснил у них и перевесил традиционные прозаические «добродетели». А такого писателя-поэта, согласитесь, переводить нелегко».

В последнем разделе книги собраны отдельные рассказы, немногие из уцелевших писем и эссе «Мифологизация действительности». Оно небольшое, но очень важное, можно сказать: в нем выражено эстетически-философское кредо автора. Бруно Шульц однозначно заявляет о том, что сущностью действительности является смысл. Но не голый и прямолинейный, разумеется, а такой, когда освобожденное от груза повседневности «слово устремляется к давним связям, к дополнению смыслом», и возникает «поэзия — короткое замыкание смысла между словами».

Владимир Шпаков

Трансгрессивный эрос или лесбийский эпос?

Диана Бургин. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. Пер. с англ. С. Сивак. — СПб.: ИНАПРЕСС, 2000. — 240 с.

В общем, бедная Цветаева! В детстве ненавидела мать, ревновала ее к сестре, сплюхалась с Чертом, хотела быть еврейкой, а стала лесбиянкой, да испугалась, вот и пропала ни за что. А еще талантливый человек! Могла бы, кажется, понять, что к чему!

Перевернутый мир книги «Марина Цветаева и трансгрессивный эрос» госпожи Бургин, славистики, овладевает сознанием читателя исподволь, вполне политкорректно. Округленно-протяженные пассажи в «старом добром» академическом стиле с лексикой типа «палимпсест, дихотомия, гендерный апартеид» удачно уравновешивают диковатое даже для самозабвенных любителей цветаевского творчества содержание.

Волшебным мановением автора данного «исследования» вся трагедийность Цветаевой, обусловленная трижды проклятым эстетам историзмом, остается за скобками и переносится целиком в сферу «гомоэротических переживаний» и «отчуждающего влечения к евреям». Никак пока не оспаривая научных достоинств пособия, хочется прежде всего и с некоей невинностью во взоре спросить: а вот интересно — революция, эмиграция, муж, завербованный НКВД, жизнь под надзором по возвращении в СССР — не могли случайно сыграть роль посущественнее «романа с Парнок» или «истории с Розенталем»? Придется попросить прощения у госпожи Бургин, славистики, за вынужденное невнимание к ее основным тезисам, какое продиктовано, очевидно, навязчивым присутствием в мозгах рецензента гендерного апартеида (а может статья, и палимпсеста с дихотомией, как знать), но русское литературоведение, к несчастью, основано и прозябает как фундаменталистское, исходящее из видимых глазу проблем, из целостных корпусов авторского наследия, а не из invalidных рот всяческой диффузии и периферии. От общего, так сказать, к частному. Или у кого как получилось.

В казусе госпожи Бургин мы видим куда как характерное для славистики восхождение от милых и незатейливых частностей к весьма глобальным обобщениям: миг — и уже читаем о «цветаевско-

бургинской» мифологии Пушкина, жидимой на... бисексуальности Петра Первого, обратившего «страшный» взгляд на молоденького Ганнибала с определенной-дальше-некуда целью. Еще мгновение — и русский генерал-аншеф, превзошедший инженерии силой природного ума, предстает купленным во утоление страсти дворцовым фаворитом. Еще пара страниц — и Пушкин претворяется в еврея, а Цветаева спрашивает Пастернака (в неоправданном, стоит заметить, письме) осознать себя... негром, чтобы стать немного Пушкиным, а все потому, что сама никогда не хотела быть им, а только его женой, но не такой, как Гончарова, а без интима. Нюанс.

Ну это еще ладно. Переживем. Сумеречный и скудный мирок Цветаевой, рисуемый нам Д. Бургин, такого рода «идеями» явно бедноват, зато уж если сказано нечто, то междустрашим, в качестве факта общезвестного и давно доказанного какими-то другими изданиями. Тогда приходится признать, что некий пласт «альтернативного» литературоведения неведомо как ускользнул от русскоязычного читателя едва ли не безвозвратно. Исследовательница легко, без дрожи в голосе (все-таки не об Агнии Барто пишет) обкатывает «лесбийскую природу Цветаевой» со всех мыслимых сторон, не оставляя ни единого просвета ее — да да — «нелесбийской природе». Более половины всех эссе, составивших книгу, посвящены различным аспектам «цветаевского лесбиянства», выразившегося, по мысли автора, и в стихах (их цитируется не сказать чтобы много, раз-два и обчелся), и в письмах (тоже одно-два), трактующих с великолепным бесстрашием, и в дневниках, которые у Цветаевой сливаются с автобиографической и психоаналитической прозой, но пуще всего — в письме «к Амазонке», написанном Цветаевой по-французски, а посему приведенном двумя-тремя излюбленными клочками.

На сей, с позволения сказать, базе и строится внутренняя работа с цитатой. Не то чтобы госпожа славистка выдергивала подходящее по смыслу место с кровью и мясом, но ограниченность источников, связанных меж собой лишь обильным употреблением слова «лесбийский» и слова «гомоэротический», наводят на мысль, что целью настоящей работы стала извинительная в пылу строгого научного поиска подмена контекста и склонение его в сторону схемы, которую мы имеем основания признать идеологической.

В последнее время налицо возникно-

вение однополой идеологии, имеющей к собственно литературе отношение мизерное. Художественные достоинства гомосексуальных книг под большим вопросом, следовательно, различные «голубо-розовые» лобби стремятся склонить под свои знамена почивших, и потому практически беззащитных, классиков.

Доказывать что-либо Бургин не трудится. «Лесбийская природа Цветаевой» для нее пресуществлена, как и «еретическая природа Толстого». Скорее как ярый эссеист, Бургин «переживает» «лесбийскую природу Цветаевой» со всей страстью сочувствия и сострадательного непонимания: и правда, что же сподвигло гениальную русскую — о, нет, слово «поэтесса» — запретно для Бургин, правоверной если не лесбиянки, то уж феминистки точно — гениального русского поэта Цветаеву отречься от ослепительных перспектив пожизненных наслаждений с гениальным и тоже русским поэтом Софьей Парнок (кстати, тоже лесбийским, и, что приятно, первым русским лесбийским поэтом) ради — страшно подумать — брака с мужчиной Сергеем Эфроном! Гибельность подобной близорукости дала себя знать уже вскоре.

Начав с истоков трагедии, Бургин бескомпромиссно анализирует варварскую, полную предрассудков и в конечном счете ханжескую атмосферу так называемого Серебряного века русской поэзии. Отдав должное заслугам таких персонажей, как И. Анненский, Вс. Иванов и М. Волошин, в определенной популяризации лесбийской поэзии, она справедливо пеняет им на стереотипичность мышления, общую ограниченность: мыслимое ли дело видеть в лесбийстве угнетенный нонсенс, вид приема, шокирующий изыск, когда всякому демократическому созданию в Европе уже давно было ясно — высокий идеал женско-женской любви не может быть рассмотрен с мужской точки зрения. Мужчина, если он претендует на нормальность в глазах настоящих лесбиянок, обязан безоговорочно принять лесбийский идеал и отойти в сторону, если вообще хочет хоть что-нибудь увидеть. Не поучаствовать! Уже достаточно было мужского участия в мире за все прошедшие века беспардонного угнетения лесбийских отношений. Женщина может и должна жить за счет мужчины, но она не должна позволять ему большего, руководствуясь все тем же небесным идеалом однополости.

Всего этого Серебряный век не понял. Он именно что заигрывал с духовно

неразвитыми лесбиянками России, заставляя их мучиться (чем?! социальными запретами?) неразрешенностью отношений, шатким положением в обществе и эзоповым языком в литературе. Огорчительно, что русские лесбийские авторши... то есть авторы, сами были склонны рассматривать себя более как ошибку природы и «проклятых женщин» (будто бы это не божественный знак спасения и выгодное отличие в закоснелом патриархальном бардаке), нежели как свободных творцов, призванных живописать все картины своих нравов с предельной и чарующей обнаженностью.

Отсюда обостренное внимание к робким попыткам утвердить свою самоидентификацию: фамилии Анненского и Иванова даны в тексте без инициалов, а вот Зиновьева-Аннибал, обессмертившая себя декадансным романом «Тридцать три уroda», снабжена не только именем-отчеством, но и датами рождения-гибели, как и положено истинным революционерам стиля. Поликсена Соловьева вкупе с мадам Вилькиной-Минской (что за ласкающие слух благородные фамилии!) приводятся в сопровождении таких эпитетов, что начинаешь поневоле сомневаться — а верно ли понят в русском самосознании Серебряный век? Может, его единственный смысл заключался в том, что это было время «больших возможностей», а косное общественное устройство не дало лесбийской революции в России свершиться раз и навсегда? Аннинский, в силу своего разума, неумело подыгрывал лесбийским поэтам вроде Парнок, Гиппиус, но своими оценками вряд ли принес больше пользы, чем вреда: революция захлебнулась. Внимательнее надо было быть к чаяниям народным! В первые писки гомопоззии вслушиваться как в райскую музыку! Падать ниц надо было, а не выскивать огрехи!

Что возьмешь с отсталого социума? Только гендерный апартеид.

Вот и Цветаева сначала неплохо разбиралась в происходящем. Аноним, оставивший потомство безымянные дневники, описывает типическую сцену в одном из столичных салонов — Цветаева сидит в обнимку с Парнок, любовницы (любовники?) смоят одну на двоих пахитоску. Зрелище, полное душевного покоя и гармонии. Но! Самое прекрасное недолговечно. Лесбийская природа Цветаевой неожиданно дала сбой. Хотелось детей. Желание, спору нет, гадкое. Недостойное высоких отношений. По отношению к несчастной (кто бы сомневался) Парнок —

вообще бестактно. Из-за хронической болезни Софья не могла иметь детей. Да и зачем, позвольте спросить, они нужны, дети? Только как вынужденная мера на горизонте зловеще замаячил некто Эфрон. С Парнок пришлось завязывать.

Были, конечно, и другие влюбленности, по большей части платонические, к сожалению. К примеру, адресат(ка) «Письма к Амазонке» матрона Барни, потерявшая (или укрывая) рукопись цветаевской поэмы «Молодец». Или вот Сонечка Голлидей, актриска. Этим возвышенным натурам помешало пойти на высокий плотский контакт с Цветаевой ее упрямое, просто твердолобое какое-то гетеросексуальное состояние. Брось детей, оставь мужа, пиши только о восхищения достойном женском теле, а потом уже и люби нас по праву равного и достойного! Логика.

Да... Умерла Цветаева в одиночестве. Дети не в счет. Задушила в себе единственное, что в человеке бывает хорошо, — однополость. А ведь именно с Парнок она испытала настоящее удовлетворение любовью (откуда это узнала Бургин, не постигаю, но в отсутствии цитаты проникаюсь к ней мистическим уважением).

Отдавая дань трудолюбию автора, следует отметить удивительное совпадение ее устремлений и вектора эпохи, так сказать, направление умов. Веяния времени объясняют и точный выбор издательства «ИНАПРЕСС», остановившего взор на исследовании г-жи Бургин. Книга содержит полный набор феминистских штампов, распространившихся теперь в области квазилитературы с невиданной интенсивностью. Легко видеть, что понятия «феминизм» и «лесбиянство» в «Трансгрессивном эросе» сближены до степени полного наложения. Значит, происходит либо откат к прежнему пониманию вещей, когда всякие нетрадиционные стервозы и воспринимались здоровой частью населения априори извращенками, либо ознаменован новый этап в развитии общественного сознания — это когда ему, сознанию, спокойно и с достоинством разводящего говорят: а в чем дело? Это раньше мы вас приучали к «феминизму» как общечеловеческой ценности. Баста! С сегодняшнего дня мир принадлежит извращенцам и извращенкам всех гендерных мастей. А чего стесняться в революцию?

Цветаева, разумеется, здесь ни при чем. В гробу она видала рассуждения о

своей сущности, тем паче о половой ориентации. Глаза бы за такое повыщарывала, будь жива. Свадебных генералыш ныне к столу за уши тянут. Больно уж фигура удобная: сказать, что Лермонтов был наикрутейшим геем и убит Мартыновым из ревности к Столыпину-Монго, затруднительно. Можно и по шее схлопотать.

С лесбиянками проще. Комплекс вины перед слабыми созданиями еще довольно силен. Мол, пусть их, лишь бы не рыдали и из окон не кидались. Подурят — и перестанут. Как бы не так.

Трижды несчастная Марина Ц. имела глупость протянуть дурковатым исследователям толстенный... повод к их штудиям — хватайтесь, поедим к Черту, сама отвезу. И славистики здесь никакой не надобно. Ни палимпсестов, ни дихотомий. Текст Цветаевой — что стихи, что дневники с письмами — это хаос, в котором найдется все окружающее без остатка, да еще в кубе. «Вы еще не поняли, что я просто вою?» — что тут еще нужно выискивать, резать по распятому?

То, что излагает Д. Бургин в главах о цветаевских горах, островах, собаках, чертях и еврейях, заслуживает прочтения постольку, поскольку низовая «женская» поэзия XX века из этих архетипов сформирована и никуда от них не делась, а «женская» проза на них умело паразитирует и слезать не собирается, что Нарбикову возьми, что Садур.

Бездомье, кликушество, быт и заумь в окружении ангелов и домашних животных. Причем, с точки зрения читателя это уже скорее минус. Ахматовой подражать сложнее, потому что надо следить за лексикой. Хотя бы. Думается, Цветаева хотела, как и все истые поэты, иметь дело с нормальным читателем, которого можно заворожить, потрясти, увлечь. С которым можно пошептаться и которого можно для его собственного удовольствия немного поводить за нос.

Туда же, куда призывает читателя большая величина славистики г-жа Бургин, нормальному человеку ходить заказано. Шею можно сломать. Что делать?

Не стоит стремиться «понять» поэта. Он не понимания ищет, а преклонения. Не перед собой — так перед словом, тайна которого непонятна ему самому, и оттого — божественна.

А впрочем, слависты могут и дальше радовать нас своими глубоченными трудами. Крепитесь, други, из-за бугра виднее.

Сергей Арутюнов

Пятьдесят восьмая во всей красе

58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Аннотированный каталог. Март 1953 — 1991. Под редакцией В.А. Козлова и С.В. Мироненко. Составитель О.В. Эдельман при участии Э.Ю. Завадской и О.В. Лавинской. — М.: Демократия, 1999. — 940 с.

Международный фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева) выпустил очередной том из серии «Россия. XX век. Документы».

В советской юридической практике надзор за следствием, ведущимся органами государственной безопасности, осуществлялся в специальных отделах областных, республиканских или союзной прокуратур. Прокурорский надзор оформлялся в виде надзорного дела (производства), заводившегося в органах прокуратуры параллельно с ведущимися следственными органами уголовными делами в соответствии с их поднадзорностью. Кроме того, надзорные дела заводились и задним числом по жалобам осужденных и просьбам о пересмотре дела. По оценке составителей, в томе представлены сведения о 60% осужденных за антисоветскую деятельность за рассматриваемый период.

В последнее десятилетие немало опубликовано о сталинских репрессиях. Неплохо известны дела и о преследовании инакомыслящих в последние годы существования СССР. Менее других изучен промежуточный период, хорошо представленный в данной книге.

Миф о временах гуманизма, наступивших сразу же после смерти вождя, оказывается просто мифом. Поражает ничтожность поводов для уголовного преследования и жестокость осуждения. И еще — при почти полном отсутствии осмысленного противостояния режиму, — государство своими действиями само формирует себе «оппозицию». Это прекрасно прослеживается при чтении рассматриваемой книги. Именно при чтении. Потому что — вознамерившись бегло ее пролистать, с первых же страниц переходишь на внимательное чтение и, на следующем шаге, изучение.

Судите сами: 1953 год. 1617 осужденных. Значительное количество их связано со смертью Сталина. Большинство дел совсем невинны: например, дело новосибирского слесаря Е.Ф. Моисеева, который при сообщении о болезни Сталина

сказал: «Что мы сейчас сделаем, откуда не поможем, своих рук не подложим». Есть и поинтересней: днепропетровский рабочий А.В. Кузнецов по этому же поводу сказал: «У темных малограмотных ослов тоже бывает кровоизлияние в мозг», а матрос из Батуми М.А. Фишбейн в день траура говорил: «Сегодня мой праздник, и поэтому я пьян». Совсем уж анекдотичный случай: директор магазина из Станислова А.Н. Котлярский на траурном митинге оговорился, сказав: «Мы потеряли дорогого и любимого врага». Не менее десятка человек село, как сговорившись, за одну и ту же фразу: «Умер Максим, ну и х... с ним». Киномеханик из Чарджоу А.Т. Иванов во время демонстрации фильма, когда на экране появился Сталин, крикнул: «За смерть Сталина, ура!». Машинист Н.Д. Сычев высказал такое предположение: «Поскольку у т. Сталина анализ мочи был ненормальный, возможно, у т. Сталина было венерическое заболевание, может быть, схватил что-нибудь наподобие триппера». Плотник из г. Орска М.Б. Григорович «в трезвом состоянии и молча проявлял надругательства над портретом вождя, т.е. показывал свой половой член, а второй раз, испортив воздух и обращаясь к портрету, говорил, что крутит носом, не хочет нюхать».

Фраза «в трезвом состоянии» не случайна: подавляющее большинство эпизодов проходило по пьяному делу. Этого, правда, не скажешь в случае А.Р. Розенберга, заведующего кафедрой института усовершенствования врачей, который на семинаре врачей-гинекологов г. Сталинска «высказал, что работниками кафедры микробиологии выведен новый вид венерического гонококка, назвав его по имени одного из руководителей партии и правительства Советского Союза».

Многочисленная группа осужденных получила срок за фразу типа: «...жалобу напишу в Америку Трумену» (Гриценко М.Н.), «Вот придет Трумен, тогда мы заживем» (Кулев П.К.), «Поздно или рано будет война с Америкой, американцы возьмут свое, вот тогда и поживем» (Корнеев А.И.), «Трумен всех коммунистов будет бомбить и убивать» (Аликперов Г.А.), «Придут скоро братцы-американцы и пересадят всех коммунистов» (Логинов И.Л.), «Да здравствует Америка и ее руководитель Эйзенхауэр. Долой Сталина, долой коммунизм, долой советскую власть. Да здравствует американское правительство и ее свобода» (Борисов Н.И.).

Не менее многочисленная группа осужденных — анонимщики. Анономки

писались в газеты, райкомы и вождям. Нельзя не восхититься огромной работой, проделанной органами по разоблачению анонимщиков.

Интересно написанное еще в 1941 году анонимное письмо бывшего царского офицера И.С. Бокунова писателю А.Н. Толстому: «Ненавистная всем нам советская власть умирает, а вы ищете своим подлым умом и поганым сердцем слов для ее защиты...». Е.А. Ласточкина, крестьянка из Псковской области, написала 4 антисоветских письма в адрес прокурора, Трумена и знакомой женщины.

Письмо стрелочника из Одессы Л.А. Ефимова Сталину начинается так: «Ты жидовский наймит, залил кровью всю Украину», а письмо бульдозериста М.И. Аккуратова Председателю Президиума Верховного Совета СССР содержит такие строчки: «...9 марта почти весь народ СССР с душевной радостью похоронил еврейского подданного, который целиком и полностью продан сам и продал русский народ под иго евреев».

Еще одна популярная статья — анекдоты, частушки и прочее народное творчество. Интереснее, пожалуй, частушки:

*Кто сказал, что Ленин умер?
Я вчера его видал.
Без кальсон в одной рубашке
Пятилетку догонял.
(Манжурцев В.Ф.)*

Или:

*Коммунисты просят масла,
Комсомольцы молока,
А им Сталин отвечает:
Х... сломался у быка.
(Акимов М.Е.)*

Или:

*Когда Ленин умирал,
Сталину приказывал,
Рабочим хлеба не давать,
Мяса не показывать.
(Батаков А.В.)*

А.Я. Павловский, агроном, бывший член партии эсеров, написал повесть, герой которой возвращается из лагеря, отсидев по статье 58-й. Персонажи критикуют советскую пропаганду, паспортную систему, рассуждают о судьбе страны, ссылаются на идеи Богданова и Лаврова. Срок — и акkurat по 58-й. А.А. Попутникова писала стихи контрреволюционного содержания — срок. Ю.С. Попович сама стихов

не писала, но хвалила стихотворение Союры «Люби Украину» — тоже срок.

М.В. Дербенев из г. Горького рассказал такой анекдот: «Встретились американский и русский еврей и разговорились, как они живут. Американский еврей сказал, что он живет хорошо, имеет две машины. Еврей из Советского Союза сказал, что он тоже имеет две машины — скорую помощь, которая приезжает за ним, когда ему плохо, и «черный ворон», — когда ему хорошо».

Получить срок можно на производстве — преподаватель П.П. Кондрацкий, по показаниям свидетеля: «В 6-м классе тема была «строение дождевого червяка». Во время урока Кондрацкий уделил слишком большое внимание английскому ученому Дарвину, и о наших ученых упомянул только вскользь, этим самым умалял значение достижений наших ученых». Можно получить срок и дома — начальник цеха из Баку Б.А. Мишле в доме матери за обедом пошутил: «Наша мама настоящий коммунист, она хочет, чтобы домработница на нее много работала, но кушать ей она давать не хочет». Можно как А.И. Шойтович, за хранение дома сионистской книжки и журнала «Венгерская внешняя политика» за 1943 год, или как М.А. Геринас, у детей которого были марки с изображением Гитлера и Пилсудского, а Г.С. Балцату «хранил в своем доме «портрет руководителя царской власти».

Начальник вагонного участка ст. Харьков П.М. Дибров вообще пострадал за чрезмерную бдительность: «В нетрезвом состоянии явился в женское общежитие вагонного участка, увидел на стене портреты Сталина и Свердлова, показал на портрет Свердлова и спросил: «Почему у вас до сих пор находится портрет фашиста Троцкого?», снял портрет, порвал и бросил на пол». То, что бдительность не помогает и даже вредна, хорошо видно на примере заведующего кафедрой духовной академии из Ленинграда А.И. Макаровского, который «когда в 1952 г. в Ленинград прибыла немецкая церковная делегация, советовал коллегам меньше с ней общаться, т.к. советский представитель в Берлине наговорил им, что у нас полная свобода религии, а в разговоре выяснится, что мы не получаем никаких журналов и т.д.». Опять же — срок.

Среди осужденных, естественно, больше мужчин, но зато свидетелями чаще выступают женщины. Впрочем, свидетели бывают всякие. По делу электрика из г. Пятигорска М.С. Григориади, который «допустил враждебный выпад» против

Сталина, в жалобе родных указано, что один из двух свидетелей обвинения является глухонемым (справки прилагаются).

Групповые дела, помимо «националистических», связаны, как правило, с религиозными преследованиями. Тут и пятидесятники (А.Ф. Чуб и еще 7 человек), иннокентьевцы-архангелисты (Н.В. Руссу и еще 8 человек), апокалипсисты (Г.Л. Журавель и 14 человек), пятидесятники-трясуны (Н.Ф. Сорокопуд и 11 человек), свидетели Иеговы (С.И. Романюк и 6 человек), субботствующие пятидесятники (В.И. Ключкович и 7 человек), члены ботбурдовской общины (К.Ф. Роммель и 8 человек), истинно-православные христиане (Е.М. Дудкин и 5 человек), адвентисты седьмого дня (Ф.П. Чубаров и Н.Г. Лыткин) и другие сектанты. Но есть и самые что ни на есть православные (7 прихожан из г. Калинина во главе со священником Л.М. Светозаровым).

Что касается групповых дел по национальному признаку, то это, прежде всего, дела жителей Прибалтики и евреев. Первых среди осужденных за 1953 год 7,3%, притом что латыши, литовцы и эстонцы составляли не более 3% населения страны, а евреев и вовсе — 13,5% (чуть более процента от населения СССР). Такой высокий процент осужденных в 1953 году евреев, конечно, связан со сталинской антисемитской политикой, но можно убедиться, что и в последующие годы прибалты и евреи в относительном исчислении прочно удерживают лидерство среди осужденных.

Для наглядности приводим следующую таблицу:

| Года | Прибалты | Евреи |
|------|----------|-------|
| 1953 | 7,3 | 13,5 |
| 1954 | 11,7 | 3,9 |
| 1955 | 5,8 | 8,2 |
| 1956 | 14,0 | 11,0 |
| 1957 | 4,9 | 3,1 |
| 1958 | 11,0 | 1,3 |
| 1959 | 6,5 | 5,0 |
| 1960 | 23,8 | 4,5 |
| 1961 | 14,5 | 3,7 |
| 1962 | 11,2 | 0,7 |

Можно, конечно, проанализировать эти данные и выяснить, что стоит за всплеском осуждения прибалтов в 1960 году, или, наоборот, за уменьшением количества осужденных евреев в 1958 и 1962 годах.

Вообще вся книга является богатейшим объектом для изучения и анализа, что и будет, думается, сделано в ближайшее время.

Еврейские дела примерно одинаковы: анекдоты, пересказ передач зарубежного радио, хранение «не той» литературы, в том числе «Еврейской энциклопедии», попытка посетить иностранное посольство, надо думать, израильское, высказывание желания выехать за границу, разговоры о государственном антисемитизме. Основанием для осуждения жителей Прибалтики было даже хранение книг, изданных до Советской власти, или «сбор и хранение националистических песен» (Вайчулявичине).

А как же шпионы, диверсанты и пр.? Были и шпионы. Ввиду серьезности обвинения привожу текст полностью: «Никитас А.Ф (1924 года рождения, украинец, слесарь завода, г. Кременчуг Полтавской области) в 1950–1953 гг. рассказывал рабочим о том, как он жил и работал в Германии и Бельгии во время войны, рассказал двум сослуживцам о том, что он является американским шпионом, имеет связь с американским представителем, ездит к нему в Галешину и получает от него деньги, причем один из слушателей показал: «Меня предупредил никому об этом не говорить. В процессе работы, говорил Никитас, я иногда просился у бригадира Шпюта отпустить меня дня на два с работы, т.к. необходимо поехать к агенту американской разведки получить за свою работу деньги. Шпюта верил в это и отпускал меня. По возвращении он меня спрашивал: «Получил». Я отвечал: «Да». И угощал его водкой».

Такие вот шпионы. Такая же, в основном, была и оппозиция. Ее типичный представитель, А.Н. Иванов, в нетрезвом состоянии, естественно, «...говорил, что он — сын Троцкого, скоро будет поднимать восстание, резать евреев и коммунистов».

Но уже в 1954 году уровень протеста стал резко повышаться. Не только в лагерях — отказ выходить на работу и вооруженное сопротивление администрации в лагерном пункте «Заречная» (дело В.И. Новикова и еще пятерых заключенных), массовые беспорядки в 1-м отделении Горного лагеря в Норильске (дело Каилова И.С. и еще троих), дело В.П. Скирука — одного из руководителей известной забастовки в Степном лагере (Кенгир), создание подпольной организации «Группа революционных марксистов» в Куневском ИТЛ (Р.И. Доценко и 9 заключенных), но и на «воле» происходит нечто новое — заместитель начальника по политической части городского отделения МВД города Киселевска пишет и распространяет листовки с таким текстом: «Товарищи! Налицо враждебность нашего уп-

равленческого аппарата народу. Особенно местной власти. Бросьте терпеть. Надо бороться». Заместитель управляющего треста «Союзрыбстрой» М.Е. Михайлов в обнаруженном при обыске экономическом труде пытался доказать несостоятельность Советской власти с момента ее возникновения.

Коммунист, участник войны, орденоносец Е.З. Полевой пишет в анонимном письме: «Близится 37 лет существования этого авантюристического строя, который кроме несчастья и горя ничего не дал народу, России». И что уж совсем невероятно — Ш.А. Гоберман «...ездил в Ригу и передал деньги в помощь семье политзаключенного». Особенно сильную реакцию вызвали венгерские события 1956 года — десятки осужденных, в той или иной форме протестовавших или просто не одобрявших действия советских войск в Венгрии, или же, наоборот, выражавших радость по поводу восстания в Венгрии.

Однако все это не означает, что перестали сажать по совершенно пустяковым поводам и уж, определенно, власть не стала гуманнее: вот А.З. Добровольский, автор сценариев фильмов «Трактористы» и «Богатая невеста», и А.Я. Высокский, директор детской спортивной

школы, — они осуждены за то, что «с ехидцей» отзывались о мероприятиях партии и правительства. Вина А.Д. Прохорова в том, что он «27 марта 1957 г. сказал, что признает только дореволюционных писателей». В.А. Лядецкий в октябре 1955 года «в нетрезвом состоянии проник на дебаркадер, пытаясь перебраться на английский военный корабль, стоящий на Неве, а когда был задержан, кричал: «Англия или смерть!», «Я ненавижу Советский Союз, Англия или гибель. Ол райт». Кстати, в 1957 году его дело пересмотрено, срок наказания при этом был уменьшен, а увеличен!

На этом можно остановиться. Дальше идет еще не всеми забытое время и хорошо знакомые фамилии: Гамсахурдия З.К., Ивинская О.В., Гинзбург А.И., Буковский В.К., Бродский И.А., Синявский А.Д., Даниэль Ю.М., Григоренко П.Г., Новодворская В.И., Суперфин Г.Г., Ковалев С.А., Светов Ф.Г. и многие, многие другие.

Кончается том 1991 годом. В нем всего две записи. Первая — прекращение дела о деятельности союза «Память», вторая — о прекращении дела о деятельности «Демократического Союза».

Основы плюрализма заложены. Продолжение возможно любое.

Николай Поболь

ВЫСТАВКА

Усилия любви

Живопись Льва Табенкина в галерее «Манеж».

Выставка получилась жесткая и почти грозная. Как-то совсем не в лад сегодняшнему умонастроению с поиском «тихой гавани», мирного разрешения «всех конфликтов» и иронической улыбкой по поводу любого «пафоса», любого сильного и бескомпромиссного движения души — псих или придуривается?

Тихо делаются личные и государственные дела, тихо уезжают на жительство за границу ученые и артисты, и порой приезжают в гости и тихо удивляются — как вы тут живете? Тихо включаются переставшие было работать (и, казалось, навсегда) каналы телевидения. И мы молчим, чего-то ждем — холодов? оттепели? И читаем в журналах что-то такое бесхребетное, что через минуту после завершения

чтения трудно вспомнить, о чем. И живописные выставки все какие-то «смазанные», хотя порой и мастеровитые...

Сильные чувства, предельная выразительность не в моде, под подозрением. Вон даже и Блоку досталось за «Скифов» (см. «Знамя», № 11 за 2000 г.). Этот яростный напор, это вслушивание в подземный гул стихий, этот страстный пророческий тон теперь не понятны. «Фашизм» — так обозначил внутреннюю интенцию «Скифов» А. Эткинд. Но милостиво разрешил не запрещать их вовсе (может, стоит все же завести реестрик «подозрительной» классики?), но в школе не изучать. Между тем, никто «Скифов» на уроках литературы в школе не изучает, — не до них!

Но вот гимназические уроки русской художественной культуры я, например, начинаю со «Скифов»! Мы вчитываемся в блоковский текст, чтобы понять, чем все-таки «свирепый гунн» (по Блоку, одномерный варвар) отличается от «скифов»,

обладающих и варварской «силой», грубой необузданностью, — но и любовью к утонченной европейской культуре. Отсюда и их роль — посредников и «замирителей». Для Эткинды же разницы нет. И «мясо белых братьев» в случае чего будут жарить скифы, а не гунны, как у Блока. Ну, если все смешать, — то действительно — «фашизм». Хотя едва ли «фашистам» взбредет на ум сзывать человечество на «светлый братский пир»!

Само неприятие этого «громкого» и взрывоопасного стихотворения характерно. Исчез вкус к предельным противопоставлениям, сильным чувствам, порой необузданным и пугающим своим напором, но подлинным и внутренне выстрадаанным. Это тут же заклеят «фашизмом», «односторонностью», «фанатизмом» или даже глупостью.

Но подлинный художник часто односторонен! Он идет в **свою** сторону, и порой идет до конца, до предела, как Блок, как Врубель, как в нашем веке прозаик Милан Кундера и живописец Михаил Шварцман.

Давно исчезнувший из современных выставок «предельный накал» свойствен и живописи Льва Табенкина. Речь не о внешнем крике и истощном голошении, которых как раз очень много и в публицистике, и в искусстве. Речь о внутренней установке на **художественную** предельность. На то, что Серов называл «выше нормы».

Это живопись **усилия**. Всяческого. Усилия живописца внятно и художественно выразительно высказать то, что у него накопилось, по евангельскому завету: «от полноты сердца глаголет уста». Усилия персонажа что-то «сдвинуть» во внешнем мире и в себе самом. Усилия зрителя пробиться сквозь дикую «скифскую» телесность персонажей к авторскому лицу и авторскому голосу.

В экспозиции преобладают интонации язвительные, жесткие, облитые авторской «горечью и злостью».

Усилия персонажей разнообразны.

Вот два мускулистых мужичка, надрывааясь, тащат громадное блюдо с кабачком («Фирменное блюдо»). А вот трое «мыслителей», почти соприкасаясь бритыми головами, носами и зубастыми ртами, затрачивают массу усилий на какие-то явно бессмысленные словопрения («Дискуссия»). Нагруженные поклажей люди идут, — кто вперед, кто назад, — мощно, напористо, но в каком-то «бруновском» движении («Движение»).

Работы яростные, однако несколько

однозначные в своем «обличительном» пафосе. Интереснее те, где направленность телесного и духовного усилия не так ясна, где мотивы, стимулы, желания персонажей парадоксально переплетаются.

Так, в трижды повторенном варианте «Чудесного улова» везде ошутима загадка. Крутые парни — ловцы, жадно уносящие свой странноватый улов, словно охвачены каким-то непонятным ожиданием. Чего они ждут? Денег? Жратвы? Освобождения от усилий? А может, и впрямь... чуда?

Птиц на этой выставке всего две — в начале и в конце экспозиции. И они небольшие и словно притихшие. Это как бы знаки всегдашнего авторского «полета». Но на выставке ликующе-полетных работ (которые я видела в мастерской) мало. Бегущие женщины в «Античном сюжете» грузны и тяжеловесны и мало напоминают «легконогих» античных богинь. Но, видимо, тут снова дело в «преодолении» этой тяжеловесной неповоротливости. И танцы даются не всем. Лишь одна из танцующих, кажется, слышит музыку, три остальные лихо изгибаются явно «не в такт» («Танец»).

Мир «усилий» причудлив и странен. От «усилия» простого физического существования до отрыва от Земли, пусть и немного нелепого («Вознесение»), от погони за материальным до попытки услышать неясную музыку мира («Бегущие», «Танец», «Поющие»).

Все бытовые мотивы художника амбивалентны. За ними всегда ошутимы библейские или античные прообразы и архетипы. А греческие и библейские сюжеты — о нас с вами.

Три женщины прядут свою пряжу («Парки»). Две крайние делают это совершенно спокойно. А вот средняя... средняя... Откинула голову, задумалась. Может быть, это духовное «усилие» сохранит кому-то жизнь?

Художник обрушил на нас, притихших и озабоченных житейскими обстоятельствами, целую лавину кипучих страстей, порой смешных, порой обжигающих. Дел, бессмысленных, но и грозно-необходимых. Удивил мощной «микеланджеловской» кистью, яркой, высвечивающей лица и мощные телесные формы палитрой, неистовым темпераментом библейского пророка...

На выставке в субботний день три человека. Но ведь художник все равно будет совершать это свое усилие, в конечном счете — усилие любви.

Вера Чайковская

**Тексты... литература,
однако****Альманах литературный визуальный
«Черновик», № 14, 1999.****Альманах «Черновик» (смешанная техника), № 15, 2000.**

Редакционная статья № 14 альманаха «Черновик», проект которого был задуман и осуществлен его бессменным составителем, главным редактором и издателем — уехавшим в США Александром Очеретянским, открывается сообщением, что этому изданию минуло 10 лет. В течение всех этих лет альманах успешно поддерживал репутацию одного из самых последовательных и органичных периодических изданий, неукоснительно следуя заявленному проекту — отражению всего нового и мало-мальски экспериментаторского, что создается литераторами, пишущими на русском языке. Хотя в данном случае точнее будет сказать — работающими с русским языком, и временами — не только с русским, и не только с языком, поскольку речь, фактически, идет о следовании и развитии традиции, идущей от авангарда начала века. С еще большей отчетливостью об этом свидетельствует характер материалов, помещенных в только что вышедшем № 15 альманаха. При этом необходимо отметить, что чисто территориально авторы «Черновика» довольно широко разбросаны как по России, так и за ее пределами, включая так называемое большое зарубежье — этот факт говорит о серьезной организационной работе составителя альманаха.

Безусловно правы те теоретики, которые считают, что история русской литературы XX века складывалась под знаком авангарда. Возникнув в лоне необходимости всмотреться в структуру речи, структуру сознания и механизм взаимодействия этих структур, на протяжении века авангардная традиция претерпела ряд существенных изменений. Прежде всего — освободилась от идеологических наслоений модерна, начало чему положили еще обэриуты. И ныне неоавангард самоидентифицируется как «сумма технологий» — данное определение принадлежит Сергею Бирюкову, поэту и теоретику современного авангарда, одному из старейших и постоянных авторов «Черновика».

Эта «сумма технологий», расширяясь

и обновляясь, на протяжении всего века взаимодействовала с устоявшимися жанрами и традициями, проверяя их на прочность и разрушая или модернизируя. И сегодня мы живем во время равноправного существования и взаимодействия множества традиций, в том числе и авангардной. Пытаясь отразить эту ситуацию, альманах публиковал все, что хоть мало-мальски выделялось из общего фона, который на протяжении времени существования альманаха стремительно менялся — согласно тем бурным процессам, которые шли в нашей культуре в последнее десятилетие. По мере того как снимались запреты отнюдь не литературного характера, становилось очевидно, что, скажем, верлибр как форма стихотворения — отнюдь не верх новаторства и авангардизма и что широкое распространение концептуализма вызвано прежде всего необходимостью вычистить авгиевы конюшни массового сознания.

Итогом поисков редактора «Черновика» стала введенная им рубрика «смешанная техника», включающая в себя несколько подрубрик, главными из которых стали «визуальная поэзия», «опыты не в стихах» и собственно «смешанная техника» — в редакционной статье № 14 альманаха ее материалы определяются как те, «которые редактор затрудняется отнести к какой-либо из подрубрик». Однако в редакционной статье уже № 15 альманаха говорится, что «смешанная техника, вбирая все сущее, включая живопись, музыку, прикладные и естественные науки, компьютерные технологии и пр., — все дальше и дальше отходит от собственно литературы, становясь независимым самостоятельным явлением». В одной из теоретических статей этого номера Лариса Фоменко пишет, что «смешанная техника» «вбирает в себя все современные технологии от искусства, науки, их прикладные материалы», а становясь «зрелой», она «выделяется в жанр». Все материалы № 15 проходят под рубрикой «смешанная техника», что заявлено и на следующий номер, и уже каждый из них маркирован какой-либо подрубрикой — например, текст Юрия Эморевича, представляющий собой 120 пронумерованных и внешне никак не связанных друг с другом сентенций, названных «загадки, прорицания, поучения, эротики и музыки для увеселения дочерей и сыновей века», которые надо «читать под индийские раги,

Моцарта, Айвза, Градского, будильник, консервную банку» и многое другое, обозначен подрубрикой «МОНОмногоафрИзмЛОГ».

Что касается визуальной поэзии, интересные образцы которой широко представлены на страницах «Черновика», то она имеет свои, уже вполне устоявшиеся и развитые традиции и своих серьезных теоретиков, один из которых — Татьяна Назаренко — постоянный автор «Черновика». Здесь речь явно идет о сложившемся, хотя и непредсказуемо развивающемся жанре. (Хотя надо отметить, что трудно определить, чем отличается «текст» Александра Сурикова, помещенный в подрубрике «смешанная техника» (№ 14) от «текстов» подрубрики «визуальная поэзия».) С остальной частью введенной Очеретянским классификации, не отрицая общей постановки вопроса, можно спорить.

«Вбирание в себя всех современных технологий от искусства, науки, их прикладных материалов» безусловно выражает авангардную традицию и восходит к историческому авангарду начала века. Однако «вбирание» означает непрерывно длящийся процесс, в ходе которого в осадок постоянно выпадает некий результат. Этим результатом является либо модификация существующих жанров, либо выделение некоей определенной «суммы технологий» в более-менее устойчивый жанр, возможно, что в будущем даже с образованием каких-то новых видов искусства. Но, строго говоря, авангард исключает остановку — отторгая от себя устоявшееся, пусть и рожденное им, он должен идти дальше, ища все новое и новое. И здесь начинается терминологическая неопределенность: можно ли, например, сказать, что визуальная поэзия, являясь жанром авангарда, способна бесконечно оперировать все новыми технологиями? Или, создав свои устойчивые традиции, она перестанет быть авангардом, хотя это и дело далекого будущего?

Если обратиться к литературе, тем более что в данном случае речь идет о журнале, то можно говорить о становлении новых жанров, которое произошло где-то за последние пятнадцать лет — за это время в атмосфере «свободы» успело сформироваться и стать зрелым новое поколение. Если всмотреться в тексты № 14 «Черновика», помещенные в подрубриках «смешанная техника» и «опыты не в стихах», то станет очевидно, что большинство из них исполнены в двух вполне определенных на сегодняшний день жанрах. Первый — проза, относящаяся к ее совре-

менному, устоявшемуся и очень распространенному течению, которое можно обозначить как магический реализм. Суть его в том, что описываемые события происходят одновременно и в реальном, и в иллюзорно-мистическом мире — такова реакция литературы на философско-религиозную ситуацию времени, в силу которой литературе приходится брать на себя мифотворческие функции. Второй — так называемая малая проза, в этом случае автор описывает как бы фрагмент картины мира, воспроизводя свое сугубо индивидуальное моментальное впечатление и в том или ином сочетании задействуя при этом сюжет, иронию и сюр. Малая проза имеет тенденцию к цикличности, приближаясь тем самым к большой прозе направления магического реализма. Разумеется, об отдельных аспектах можно спорить, но в целом в таких текстах использованы устоявшиеся и уже отработанные приемы, а внимание автора сосредоточено отнюдь не на «технологии» и «технике» построения текста, а на других вещах. Надо отдать должное редактору «Черновика»: в № 15 подобные тексты сосредоточены уже исключительно в рубрике «опыты не в стихах».

В качестве примера малой прозы можно привести один из текстов Марины Орловой (№ 15):

— Но это мы или снова Он?
Конечно мы. И Он. Язык растет как цветы — корни спутаны, а венчики разные. Но кажется мы истратили ночь. Который теперь час?

Ты смотришь, как будто боишься
сморгнуть звезду:

— *Без четверти утро.*

Циклы текстов малой прозы часто связаны между собой трудно определимой связью, видимо, поэтому авторы этого жанра часто, чтобы обозначить наличие цикла, просто пронумеровывают несколько идущих друг за другом текстов. И чем теснее и очевиднее связь между текстами цикла, тем неотделимее она от большой прозы. Такова работа Инары Озерской, названная «Ловцы сумерек» (№ 14). Первый текст содержит внутренний монолог, начало которого выглядит так:

Как волосы в пустой комнате летают
и поворачиваются в сквозняках, а
потом только кошки плавают в пыли
да рыбы тугие... И ты ходишь, не от-

вода взгляда от размытой белой точки. Там, вот там и здесь. А чернота западает в углубление кожи, в дремотную теплоту скомканной одежды. Иногда останавливаешься (ненадолго, правда, ненадолго), пропускаешь по лучику в отверстие, порыжелое изнутри, — там нет тебя.

Второй текст содержит диалог между некими «мы» и короткое сообщение о «нем». Третий и четвертый — только многоточия. Пятый — рассказ от первого лица о соединившихся «мы», которых *«донимали гортанные запахи окраинных богов»*.

Для этой прозы характерны неуловимо-неопределимые персонажи, действующие в неуловимо-неопределимых мирах, каким-либо образом привязанных к обычному миру. Речь, как правило, идет о некто и нечто, даже если повествование ведется от лица «я» или фигурирует конкретное название. Например, в тексте Станислава Львовского «Жизнь и смерть доктора Сергеева» (№ 14) о герое сообщаются только отрывочные сведения типа: *«был последователем Карла Густава Юнга»*, *«иногда посещал кинотеатры»*, *«совершал бесконечное путешествие по одному и тому же месту»*, *«был большим любителем китайского фарфора»*, *«застрелился из пистолета-пулемета Шагина 27 марта 95 года»*. Александр Дашевский в тексте «Музей логики» (№ 14) описывает музейные залы, среди которых, например, зал *«логики раннего Китая»*, где *«нет ничего кроме обилия света и пролитого на пол чая»*, и *«зал добра и зла»*, где *«представлен гигантский самоучитель, проливающий тусклый свет на проблему их логического взаимодействия»*. При этом *«книга подвешена к потолку»*, что *«делает ее недоступной для огромного большинства посетителей, невыносимо раздражая всех вместе взятых»*. В отношении здания музея сообщено, что оно вполне тривиально *«огорожено чугунной оградой»* и имеет *«два стеклянных купола»*, а *«цена билета — 1 доллар»*.

В сущности, можно сказать, что эта проза отражает работу сознания, которое обживается в условиях разорванности восприятия как мира, так и включенного в него «я», и, несмотря на обусловленную им тотальную фрагментарность, учится ощущать за всем этим целое и единое. Необходимость этого действительно возникла в начале века и была обусловлена сложившейся к тому времени общекультурной

ситуацией, которая в этом отношении на протяжении всего столетия только усугублялась. Мы вынуждены жить в мире дробящихся и перетекающих друг в друга смыслов, внутри наслоения не то множества ликов реальности, не то множества непонятно как соотносящихся реальностей, а наше сознание вынуждено функционировать в поле множасьихся символов-знаков. В этом смысле показателен текст Данилы Давыдова «Жизнь в Венеции» (№ 14), в котором фантазмагорический образ Венеции, разворачивающийся в сознании героя-писателя, строится вокруг символа-знака «вода».

Однако подрубрики «Черновика», вобравшие в себя тексты описанного жанра, содержат и часто трудноотличимые от них тексты, в которых видна откровенная работа с «технологией». Как правило, это работа со структурой речи, которая может производиться как на уровне чередования или слияния прозы и поэзии, так и на уровне лексически-грамматических экспериментов, а также — со шрифтами и размерами букв, что является уклоном в сторону визуальности. Например, Андрей Урицкий в одном из своих текстов (№ 14) обыгрывает восприятие по частям одного длинного предложения, а лексико-грамматический эксперимент может быть проиллюстрирован отрывком из текста Сергея Кромина (№ 15):

／ он шел лишившись пожалуй всего
немного опешив дорога проходила
мимо колодца／ в ведре вода щепкой
еще оттуда ／ у кладбища чуть-чуть
потоптавшись прыгала по бугор где
разделившись одна тужилась вверх
и другая тоже вверх но подальше он
был ближе чем когда-либо блеснув
болотцем из ведра нырнул в нору
колодец был ему нора а бугорки-кочки
как баранчики снегом присыпанные
муравьи под ними ночуют почему
нам все-таки приходится узнавать
это много позже а не до того как снег
встает

Так или иначе, но начиная с № 15 рубрика «опыты не в стихах» представляет собой поле, по которому проходит трудноуловимая пограничная полоса между нарочитым экспериментированием и отражением усваивания результатов этого экспериментирования. В самом «смешаннотехническом» тексте № 14 альманаха — «Сны о смешанной технике» Михаила Богатырева, представляющие собой исполненное в форме цикла малой прозы

философско-культурологическое эссе-трактат, мощно задействующее визуальные приемы, говорится о *«попытке достоверного пересказа сновидения, в основе которой лежит несбыточная мечта о том, чтобы методом выпар(х)ивания устранить БОЧКУ ДЕГТЯ, сохранив на доньшке вожделенную ЛОЖКУ МЕДА»*. Можно сказать, что одни авторы заняты раскачкой механизмов восприятия, другие — попытками творения на фоне усвоения этих механизмов, а третьи — тем и другим. В итоге рождается огромное количество самых разнородных текстов, с большим трудом поддающихся классификации и часто трудно воспринимаемых неподготовленным сознанием.

В № 15 альманаха содержатся работы, исполненные в технике смещения литературы и визуальной поэзии. Таковы помещенные в рубрике «прозорис» «тексты» Бориса Кудрякова и Эдуарда Вирапяна, похожие на своеобразные комиксы, — они представляют собой серию картинок, под которыми помещены тексты, которые могут быть отнесены к малой прозе. Есть в этом номере и рубрика «монтаж стиха и музыки», «тексты» которой содержат в себе как непосредственно визуальные элементы, так и нотные записи, в силу специфики журнальной страницы несущие в себе элемент визуальности. И здесь встает вопрос, ответ на который явно лежит в будущем, — насколько современный неомодернизм повторяет приемы, разработанные авангардом начала века, и что качественно нового привнес он в авангардное течение? Над этим серьезно работают современные теоретики, об этом — серия статей о «смешанной технике», помещенная в № 15 «Черновика». От ответа на этот вопрос зависят и взгляд на феномен авангарда, и прогноз развития видов искусства, в том числе — литературы.

К настоящему моменту культурного состояния уже совершенно очевидно, что традиционализм и авангардизм, сложным образом взаимодействуя, могут существовать только при наличии друг друга. Вечное остается вечным только одним путем — непрерывно обновляясь в своем выражении. А это требует повышенной рефлексии и непрерывного поиска новых

форм, чем и занят авангард. Именно об этом — теоретические статьи № 14 «Черновика», авторы которых не только защищают и обосновывают позицию обновления, как М. Россиянский и Александр Уланов, но и обеспокоены тем, что, как пишет Рафаэль Левчин, в наше «Смутное время» не кажется *«странным наличие писателей, не владеющих грамматикой и синтаксисом языка, на котором они пишут»* и которым необходимо напоминать, что *«требовательный к себе литератор (сиречь профессионал) введет в текст нецензурное слово тогда и только тогда, когда все остальное, невероятное количество раз перепробованное, ему в этом месте никак не подходит»*. Иными словами, авангардист ли литератор или традиционалист, главное для него — профессионализм и требовательность к себе.

Также в № 14 альманаха, заявившего со следующего номера резкий поворот в сторону наращивания плотности «смешения техники» (что и было исполнено), содержится связанная, видимо, с осмыслением этого поворота серия статей о маргинальности. Как известно, глубокий поиск всегда сопряжен с риском — хождение по границе неизведанного несет с собой последствия самого непредсказуемого характера. Размышляя об этом, Андрей Цуканов пишет о грани интеллигентного, которую неизбежно переходят уходящие в этот поиск, и об угрозе со стороны хаотической стихии неинтеллигентного, считая, правда, что в этом случае ей уготована апокалиптическая роль, после которой опять начнется обновление литературы. Как пишет Александр Крамер, стихи которого помещены в рубрике «литература / эстетика // ВИДЕНИЕ» (№ 14):

Входя в это пространство, оказываешься по ту сторону смысла и бессмыслицы.

Молитва, заклинание, заговор — знаю ли я, что это?

Руны, древние письмена, петроглифы, наконец?

Тексты...

Литература, однако.

Людмила Вязмитинова

главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

редколлегия

Александр АГЕЕВ
Ольга ЕРМОЛАЕВА
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*
Карен СТЕПАНЯН
Елена ХОЛМОГОРОВА *ответственный секретарь*

редакция

Ольга Трунова, Елена Хомутова, Александр Шиндель

общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,
Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер, Евгения Кацева,
Владимир Маканин, Марк Масарский,
Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

**Из общего тиража Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
1700 экземпляров журнала «Знамя».**

**Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Министерства культуры и Министерства по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Российской Федерации.**

Электронная версия журнала: www.infoart.ru/magazine/znamia

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921·24·30,
первый зам. главного редактора — 921·08·09,
ответственный секретарь — 928·22·78, отдел прозы — 923·72·82,
отдел публицистики — 923·76·33, отдел критики — 928·94·45,
отдел библиографии — 923·62·61, отдел поэзии — 921·59·67,
производственный отдел и отдел распространения — 921·32·72,
для справок — 924·13·46, факс — (095) 921·32·72,
E-mail: znamlit@dialup.ptt.ru

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.
Рукописи, поступившие по e-mail, не рассматриваются.

Корректор Елизавета Полукеева.
Компьютерная верстка: Елена Кот.
Художник Татьяна Вахлина.

Сдано в набор 8.01.2001. Подписано к печати 14.02.2001. Заказ № 4127.
Тираж 8500 экз. Формат 70х108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
полиграфической фирме «Красный пролетарий».
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя», 2001.

“Знамени” — 70 лет

18 января 2001 года в Атриуме Государственного музея А.С. Пушкина состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию журнала “Знамя”.

За помощь, оказанную в подготовке и проведении юбилейных торжеств, редакция выражает свою признательность:

- Правительству Москвы;
- Институту “Открытое общество”;
- общественному Совету по предпринимательству при Правительстве Москвы;
- Федеральному фонду оценки;
- компании “Вимм-Билль-Данн”;
- дирекции и сотрудникам Музея А.С. Пушкина.

Редакция благодарит Институт “Открытое общество” за финансовую поддержку в выпуске антологии “Наше Знамя” и Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ за помощь, позволившую издать юбилейный, январский номер журнала в улучшенном полиграфическом исполнении.

Наша благодарность —

- телеканалам “Культура”, НТВ, ТВ-Центр, REN TV,
- радиостанциям “Голос России”, “Маяк”, “Радио России”, “Свобода”, “Эхо Москвы”,
- газетам “Версты”, “Вечерний клуб”, “Вечерняя Москва”, “Время МН”, “Время новостей”, “Известия”, “Книжное обозрение”, “Коммерсантъ”, “Культура”, “Литературная газета”, “Московский комсомолец”, “Наш век”, “Независимая газета”, “Общая газета”, “Труд”,
- журналам “Витрина читающей России”, “Коммерсантъ-Власть”,
- другим средствам массовой информации, рассказавшим о нашем празднике и нашем журнале.